

Н О В Ы Й
М И Р

6



1962

6

И И Р

1962

НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVIII

№ 6

Июнь, 1962 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
Е. РЖЕВСКАЯ — <i>Земное притяжение</i> , повесть	3
ВАС. ГРОССМАН — <i>Дорога</i> , рассказ	96
РИММА КАЗАКОВА — <i>В пору черемухи</i> , стихотворение	102
ЯАН КРОСС — <i>Из первой книги стихов</i> . Перевели с эстонского Л. Тоом и Д. Самойлов	103
И. ЭРЕНБУРГ — <i>Люди, годы, жизнь</i> . Окончание	106
ИЗ СТИХОВ ВЕНГЕРСКИХ ПОЭТОВ. <i>Аттила Йожеф</i> . <i>Мать</i> , После похорон, <i>Та прелестная прежняя женщина...</i> Ты перешла дорогу.— <i>Михай Бабич</i> . <i>Цыганская песня</i> .— <i>Дьюла Юхас</i> . <i>Пьяница</i> , <i>Кайзергруфт</i> . Предисловие и перевод Николая Чуковского	153
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
Е. ДОРОШ — <i>Книги о наших предках</i>	159
ПУБЛИЦИСТИКА	
Е. ТЕМЧИН — <i>Жизнь требует</i>	165
В МИРЕ НАУКИ	
КИРИЛЛ АНДРЕЕВ — <i>Моя Вселенная</i>	173
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
Д. ГРАНИН — <i>Остров молодых</i>	190
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
А. КОНДРАТОВИЧ — <i>Человек на войне</i> (Заметки критика)	216
П. ПАЛИЕВСКИЙ — <i>Фантомы</i> (Буржуазный мир в романах Грэма Грина)	229
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	244
А. Турков. <i>Тропка вокруг Земли</i> .— Е. Старикова. <i>История одной семьи</i> .— Л. Арутюнов. <i>Гомер гор</i> .— Р. Орлова. <i>В борьбе за реализм</i> .— Л. Лазарев. <i>Точка опоры</i> .	
(См. на обороте)	

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<i>Политика и наука</i>	260
Дм. Рудь. Одна из немногих.— Мих. Цунц. Мост в завтрашний день.— И. Брайнин. Книга о старшем брате Ленина.— Николай Габинский. Свободная территория Америки.— Сергей Львов. Большое путешествие — большой труд.— Б. Могилевский. Молчаливый профессор Флеминг.— А. Иглицкий. Шахматная поэзия.	
МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ	
Л. Шалагинова.— Письмо пятидесяти и С. Есенин	278
КОРОТКО О КНИГАХ	280
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	286

Е. РЖЕВСКАЯ

★

ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ

Повесть

Глава первая

1

Исходя к дому, Лешка издали увидел Жужелку. Она обрадованно помахала ему рукой.

Он крикнул:

— Сдала?

Она подняла растопыренную ладонь, загнув внутрь большой палец.

— Четыре? Ого! Я же говорил. Ты далеко полетишь. А что ты тут делаешь?

Жужелка смутилась, приподняла плечи, острые ключицы показались в широком вырезе платья.

— Так просто. Хотела тебе рассказать. Я ведь уже давно пришла. Мне, Лешка, знаешь, как повезло! Вот слушай, какой мне билет попался: равнобедренные треугольники, потом уравнение совсем простое, но главное — задачка. — Она быстро затараторила, пересказывая условие задачи. — Ну вот, и надо найти вот этот угол, понимаешь? — Объясняя, она быстро проводила носком босоножки невидимые линии по асфальту.

— Сдала, и ладно, — сказал Лешка. Он еще осенью бросил школу и не изучал этого. — Одним экзаменом меньше. А я сейчас в порту был. Там ребята отчаливали в Камыш-Бурун. На строительство комсомольского цеха.

— В Камыш-Бурун? Твои знакомые?

— Да нет, какие там знакомые. Я бы тоже поехал. Запросто. Если бы все туда не ехали. А то вечно одно и то же — надумаешь что-нибудь дельное, и все туда же. Вкус сразу отшибает.

Жужелка не слушала его, о чем-то глубоко задумавшись.

— Хотя едут они красиво, — сказал Лешка. — С музыкой, и все такое прочее...

— Интересно! — сказала она.

Было слышно, как во дворе задребезжал железный жбан — Лешкин отчим, Матюша, обливался под душем. И этот дребезжащий звук был оскорбителен своей обыденностью.

— А что у тебя с пальцем?

Она посмотрела в свою растопыренную ладонь, засмеялась, подняв перемазанный в чернилах указательный палец.

— Да это я за одну девчонку из нашего класса палец держала. Мы сговорились друг за дружку держать. Как ее вызвали и она пошла тянуть билет, я сразу палец опустила в чернильницу и все время держала, пока она не отмучилась.

— И здорово помогает?

— А ты не смейся...

Она не успела договорить, потому что в эту минуту над ухом у нее кто-то произнес громко и раздельно:

— Я вас всесторонне и разнообразно приветствую!

И Жужелка увидела широкоскулое, крупное лицо, коротко, под «ежик» стриженную голову.

— Виктор!

— Здорово, Брэнди! — сказал Лешке незнакомый парень, глядя на Жужелку. — Толково скрутили мы вчера...

— Еще бы... — возбужденно сказал Лешка, и у него неприятно засало под ложечкой оттого, что сейчас Жужелке станет известно о вчерашнем происшествии у кино.

Но Виктор сказал ему загадочно:

— Ты далеко полетишь! — И, продолжая в упор смотреть на Жужелку, он выжидательно шагнул к ней. — Хоть нас не знакомят... Лабоданов.

Она протянула руку, и он ласково сжал ее.

— Клена.

— Клеопатра, чего уж там, будем откровенны...

Лешка вертелся, точно на шарнирах, поддельваясь под какой-то несвойственный ему тон. Жужелка никогда его таким не видела, ей было смешно и досадно.

— Ого, какое имя! — Лабоданов даже причмокнул.

— Какое?

— С воображением.

— Ну уж, — сказала Клена, почувствовав себя отчего-то польщенной.

— А теперь мы с тобой бросим девушку Клеопатру...

— Девушка Клеопатра, — развинченно сказал Лешка, — заворачивай к дому, а мы прошвырнемся...

— Бросайте, — сказала Жужелка, но ей было жаль, что они уже уходят. — Только не надо называть меня так, зовите Кленой...

Лабоданов снова ласково сжал ее руку.

— До свиданья, — сказала Жужелка.

Но она не ушла, осталась на прежнем месте у ворот и смотрела им вслед. Лабоданов уходил, пришаркивая подошвами, его покатые плечи раскачивались в лад шагам. Он обернулся и приподнял прощально два пальца с зажатой в них сигаретой.

— Откуда она? — спросил он Лешку.

— Да ниоткуда. С нашего двора.

— Ну и двор. Всякой твари по паре.

Лабоданов остановился, чиркнул спичкой, прикурил.

— В милицию не вызывали?

— Да нет.

Вчера они сунулись было в кино. Протолкались к кассе, но тут вся очередь загалдела. А гражданин в чесучовом пиджаке грубо толкнул Лешку и схватил за плечо маленького пацана, стоявшего в очереди, громко крича:

— Все они тут — одна компания!

Лешка, страшно разозлившись, обругал его и потребовал, чтоб он сейчас же принял свои рычаги и не трогал пацана. Все завопили, начали с угрозой надвигаться на Лешку. Гражданин в чесучовом пиджаке схва-

тил его за руку и стал изо всех сил дергать, словно она приставленная, — пришлось потащиться за ним. Есть ведь такие любители, они готовы в кино не попасть, только дай им кого-нибудь в милицию сволочь.

Протокол бы составили, как пить дать. Это точно. Если б не Лабоданов. Он объявился тут, словно свидетель со стороны. Лешка, мол, первый подвергся оскорблению действием. И ведь дежурный в милиции проникся к нему доверием, хотя тот, в чесучовом, грозил жаловаться начальству.

— Если вызовут, — сказал Лабоданов, — держаться железно: ударил тебя и обозвал «хулиганом». Усвоил? Вот что, серость, просветись, сделай милость, изучи гражданский кодекс. Ведь не под богом живешь — под законом.

Они пошли дальше, и Лабоданов принялся негромко напевать, сильнее пришаркивая в такт подошвами:

— Па-звольте, Чарли Чаплин, па-беспокоить вас...

— Та-та́, та-та́, та-та́м! — подхватил Лешка.

Они вышли на проспект как раз на самом людном его участке, который прозван «топталовкой».

— А Клеопатра в курсе? — спросил Лабоданов.

— Она-то? Да нет, откуда же.

— Это я скумекал, что она не в курсе.

— Угу, — сказал Лешка, расцветая в душе товарищеской признательностью.

Лабоданов напевал, а он подсвистывал, и легкий, небрежный ритм песенки уводил его от обременяющих мыслей, от всякой тяготины, и ему становилось легко и приятно.

На проспекте было много народу. Люди вышли гулять, дышать воздухом, пить воду и болтать со знакомыми. Тут же были Лешкины соседи по двору — Игнат Трофимович с женой. В тот момент, когда Лешка с Лабодановым проходили мимо них, Игнат Трофимович покупал жене пломбир в вафельном стаканчике. Он окликнул Лешку и настойчиво поманил его. Лешка вразвалочку подошел к нему.

— Все ходишь? Слоняешься?

Мороженщица, дожидаясь денег, нетерпеливо постучала по ящику.

— Не отвлекайтесь! — сказал ему Лешка и склонил набок голову. — Па-азвольте, Чарли Чаплин, па-беспокоить вас... — протянул он.

— Не связывайся с ним, — быстро сказала жена. — Он на ногах-то едва стоит. Набрался.

— Сопляк! — сердито сказал Игнат Трофимович. — Кто тебя только воспитал такого.

Лешка вразвалочку вернулся к стоявшему поодаль Лабоданову, и на его лице было написано, что он чихал на них на всех. Его в самом деле трудно было сейчас задеть. От него все отскакивало, когда он бывал с Лабодановым.

Они шли по «топталовке», напевая, и Лешка казался себе независимым, небрежным, совсем не тем, каким он был еще час или два тому назад. Пошли они все к такой-то маме. До чего же нудные люди, вечно у них одно и то же: почему школу бросил да почему с кроватной фабрики ушел? Почему то да почему се? Ну и ушел. Не понравилось, и ушел.

Сунулись бы они к Лабоданову, отскочили бы, как пешки. Он-то не даст себя по линейке водить.

— А ты чего Клеопатру не приведешь? — спросил вдруг Лабоданов. Лешка вспыхнул.

— Это я могу. Запросто. Хоть сегодня.

Он предупредил Жужелку, наскоро, не разогревая обед, поел на кухне и теперь поджидал ее во дворе. Он курил и наблюдал издали, что делалось у дверей их квартиры. Уже был вынесен во двор стол, и мать с отчимом и Игнат Трофимович с женой приступили к домино. Они сидели вокруг стола под лампой, протянутой в окно на длинном шнуре, и Лешке с его темной половины двора хорошо была видна мать, близируко подносящая к глазам на ладонях костяшки. Свет лампы освещал надо лбом у нее пышные волосы. Слышались возгласы: «Дуплюсь!» — с плаксивыми интонациями, предназначавшимися Матюше. И его отзывчивый, верный баритон:

— Ну что ж. Ну что ж. Все к лучшему.

Они каждый вечер усаживались играть в домино, и вихри дня огибали их стол, как незыблемый утес. Лешка не чувствовал снисхождения к их слабости. Скучные люди. Он курил, не выпуская из пальцев сигарету, то и дело длинно сплевывая.

Наконец появилась Жужелка в чем-то белом, пахнувшая духами. Они тут же пошли со двора, но не к воротам, выходящим на Пролетарскую улицу, потому что для этого надо было идти мимо играющих в домино. Они перевалили через горку, и теперь у них под ногами гремели обрезки железа, которые свозят почему-то сюда, в этот угол двора, с кроватной фабрики, и старуха Кечеджи, наверное, пугалась у себя за белыми ставнями. Всякий раз, когда за горкой гремели железные обрезки, ей чудились воры. Они вышли на улицу. Жужелка старалась держаться немного в стороне от Лешки, потому что она первый раз в жизни надушилась, и теперь ничего уже нельзя было поделаться с этим странным и едким запахом, шедшим за ней по пятам и ужасно ее смущавшим.

У фонаря она вдруг остановилась.

— Тебе что, холодно? — спросил Лешка.

— Наплевать, — сказала она, поеживаясь. Она расправила платье под поясом, предлагая Лешке оглядеть ее, и призналась: — Мать, если узнает, что я надела платье, ох и заругается. Платье-то это к выпускному вечеру.

— Ну и дела! — хмыкнул Лешка.

Он терпеть не мог на девчонках белые платья, которые им непременно заговорялись родителями к выпускному вечеру. Ни капли веселого в них — просто последняя дань школьным порядкам. И вид в них у девчонки был неуклюжий и поддельный, точно им предстояло, выйдя за порог школы, воспарить в безоблачные дали.

С Жужелкой обстояло не так скверно, но и ее тоже уродовало это белое платье в широких оборках.

Она сейчас что есть мочи форсила. И, поняв это, Лешка небрежно и покровительственно сказал:

— Сойдет! — И пошел вразвалочку, важничая, точно он одаривал чем-то Жужелку. — Вот увидишь, что за парень Виктор. Ты такого парня еще никогда не видела и не увидишь!

У ворот он остановился, пропуская вперед Жужелку, и сбоку оглядел ее: она в самом деле не в своей тарелке в этом белом фасонистом платье. И вообще-то ничего в ней особенного нет. Девчонка — как все.

Они поднялись по наружной крутой лестнице, ведущей на второй этаж. Лешка, не постучав, толкнул оказавшуюся незапертой дверь, и они, пройдя небольшую кухню, попали в просторную комнату.

— Укомплектовывайтесь! — громко приветствовал их Лабоданов.

Он сидел на стуле, а перед ним на табурете была разложена доска с шашками.

— Здравствуйте! — сказала Жужелка как можно громче — в комнате гремела радиола.

— Салют! — сказал партнер Лабоданова.

Это был Длинный Славка. До прошлого года он учился в школе вместе с Жужелкой и Лешкой, а теперь, кажется, устроился в пищевой техникум.

Возле радиолы стояла тоненькая темноволосая девушка, она приветственно приподняла руку.

Жужелка, растерянно потоптавшись у двери, инстинктивно наметив самое короткое расстояние, отделявшее ее от места, где можно присесть, направилась к дивану. Она шла по комнате, чувствуя сбоку от себя незнакомую тоненькую девушку, и ей было страшно, как утром на экзамене.

Потом Жужелка не раз вспоминала свое первое впечатление от этой комнаты. Побеленные стены, дубовый буфет, чашки и фаянсовый кот-копилка — все привычное, все, как у всех. И все-таки все здесь показалось ей странным, точно люди и предметы в комнате находились в каком-то разладе между собой, а в чем состоял этот разлад, Жужелке не понять. Может быть, это ощущение возникало из-за испорченной тарахтящей радиолы. Но никому, казалось, она не мешала. Лабоданов и Славка, переставляя шашки, поднимали их высоко над доской и с грохотом опускали. Сидя они все время пританцовывали, постукивая об пол подошвами, и напевали что-то бессвязное, насмешливое, с повторяющимся припевом: «Ах, брэнди, ах, брэнди будо-ра́-жит нас!»

А Лешка, над которым они так явно подтрунивали — ведь это его они называют Брэнди, — сидя у окна, тарабил ладонями о подоконник в такт им.

Девушка меняла пластинки и, прислонясь спиной к столику, на котором стояла радиола, неподвижно выжидала, пока прокрутится пластинка, и опять оборачивалась к радиоле. Движения ее были механичны и непринужденны, и Жужелка, преисполненная старательности сидеть прямо, глаз не могла отвести от девушки, чувствуя ее превосходство над собой.

Девушка не взглянула больше ни разу на Жужелку, будто ее и не было тут вовсе. Она опять сменила пластинку. Услышав знакомую мелодию, Жужелка оживилась.

— Это ведь «Рио-Рита»! — обрадованно оповестила она всех.

Славка обернулся к ней, вскинув бровь.

— Колоссально!

— А что, разве нет? — теряясь, спросила Жужелка. — Разве это не «Рио-Рита»?

— Как же! — всхлипнул от сдавленного смеха Славка. — Это.. это «Рита-Рио»...

Жужелка сильно покраснела и смутилась. До сих пор она была в радостном ожидании чего-то очень интересного, что должно сейчас произойти, и сидела напряженно, как в детстве перед фотографом.

— Глупо! — сказала она громко, с досадой, и в комнате вдруг стало намного тише. Даже молчаливая девушка у радиолы подняла глаза.

— Чего ж так сидеть! Давайте чего-нибудь делать, — напряженным голосом произнесла Жужелка.

Славка оживился и опять стал пританцовывать одними ногами.

— Клена споет, а мы послушаем.

— Право на труд мы уже сегодня использовали восемь часов, — сказал Лабоданов. — Вот Брэнди, он свободный художник, пусть поработает, поразвлекает девушку...

Она невольно взглянула на Лешку. Он растерянно улыбался, прижимая ладонями свои длинные волосы.

Лабоданов подался вперед, и рубашка натянулась на его покатых сильных плечах.

— Пижонство это! Понимаете? Бросим пижонство!

Жужелка увидела совсем близко от своего лица суженные зрачки ярко-голубых глаз, и у нее забегали мурашки по спине.

— Не понимаю, о чем вы.

Лабоданов вдруг молча встал и протянул Жужелке руку. Она вспыхнула и положила в нее свою. Лабоданов потянул ее за руку, поднимая с дивана, и Жужелка поняла, что он хочет танцевать с нею, и покраснела еще сильнее.

Злополучная «Рио-Рита» была уже сменена. Тарахтевшая радиола выбрасывала живой, быстрый и заразительный ритм. Жужелка очень любила танцевать, но в присутствии молчаливой незнакомой девушки и противного Славки она стеснялась до слез. Если б поглядеть сначала, как они-то сами танцуют.

— Нет, нет, я не умею.

Лабоданов нагнулся к ней, ласково обхватил за плечи, приподнял и повел ее. Жужелка старательно прилаживалась к нему, сбивалась и даже останавливалась, потому что Лабоданов танцевал непривычно для нее, то вертел ее, то отталкивал от себя, продолжая крепко держать за руку, то снова привлекал к себе.

— С вами танцевать — одно удовольствие. А вы «не умею»...

Жужелка польщенно взглянула на Лабоданова. У него было замкнутое выражение лица, будто он ничего такого и не произносил только что.

— Так я ведь, правда, не умею. Сами видите,— сказала она, радуясь тому, как ловко, легко и изящно у нее все получается.— А потом я думала, может, вы еще как-нибудь танцуете...

— Как?

— Ну там, знаете, что-нибудь такое, вроде рок-н-ролла...

Лабоданов хмыкнул у нее над ухом:

— Это под такую музыку?

Она засмеялась, поняв, что опять сказала невпопад. Он пригнулся и своей щекой отодвинул пряди ее волос и шепотом, касаясь губами ее уха, сказал:

— Детский сад.

Жужелка засмеялась — ей нисколько не было обидно. Лабоданов повел ее медленно, прижимая к себе. Ей нравилось танцевать с ним. Они проплыли мимо повеселевшего Лешки, хлопавшего в такт им ладонями о подоконник. Жужелка помахала Лешке и опять положила руку на плечо Лабоданову.

Девушка сделала знак Славке, и он встал. Он был чересчур высоким, сутулым, девушка, приподнявшись на носках, протянула руки к нему на плечи. Покачиваясь, припав друг к другу, они топтались на одном месте, будто комната битком набита танцующими. Мешковато, молча, с равнодушными лицами переминались они в такт музыке, как бы изнемогая от безразличия к тому, чем были заняты. Жужелке стало смешно.

Потом на полу появилась старая фуражка железнодорожника — отца Лабоданова, и все стали бросать в нее деньги, кто сколько имел с собой. И Жужелка нащупала в карманчике платья пять рублей — ей после каждого экзамена мать давала на кино — и гоже бросила деньги в фуражку, и ей это показалось очень забавным.

Деньги вытряхнули из шапки на стол, и Лешка сбегал за вином. Разлили по стопкам, их достали из буфета.

Лабоданов пододвинулся со стулом к сидящей на диване Жужелке, держа в одной руке стопку с вином, в другой — сигарету.

— Когда мне что-либо не нравится, я называю это пижонство.

Жужелка видела его ярко вычерченный, все время чему-то улыбающийся рот с широкими промежутками между зубами. Ей было жутко и интересно. Она спросила:

— А что вам не нравится?

Он затянулся, а в это время стоявшая тихо за его спиной девушка взяла у него изо рта сигарету и стала курить. Жужелка даже вздрогнула от неприятного волнения.

— Давайте лучше выпьем.— Лабоданов чокнулся своей стопкой о стопку Жужелки.— За что? Да за то, что н а м не нравится.

Девушка отошла, но Жужелка все время чувствовала ее присутствие в комнате.

— Значит, за пижонство? — сказала она натянуто.

— Как хотите. Вы меня поняли, и это все.— Он выпил и потянул Клену за руку танцевать.

Славка подошел к Лешке.

— Клена-то твоя... Гляди...

— Таких девятьсот на тысячу.

— Закадрят ее.

— Иди ты знаешь куда?

Но Славка и не подумал отойти.

— Послушай...

— Отстань!

— Да у меня деловой разговор.

— Отзынь в конце концов. Сделай милость.

— Честное слово, очень исключительное дело.

Похоже, он не балаганил. Лешка поднялся, пошел за ним на кухню.

— Заработать хочешь? — сказал Славка, затворяя плотно дверь.

— Что значит -- хочешь?

Приглушенно, точно издалека, доносилась сюда радиола. Они были одни на кухне. Громко стучали маленькие ходики с нарисованным на циферблате котенком.

— Счас все узнаешь.

Славка провел ладонью по клеенке кухонного стола и, убедившись, что она чистая, сел на стол. Ох и дотошный. Это он только так держится, вроде расхлябанный, а на самом деле он чрезвычайно дорожит своими брюками.

— Надо помочь вывезти с вашего двора кое-что. Хлам.

— Не понимаю!

— Чего ты, собственно, орешь? — вяло сказал Славка.— Тебе говорят: хлам. Железные обрезки к вам ведь во двор свозят с кроватной фабрики?

— Ну?

— Надо помочь людям их вывезти. И чтоб все тихо и в ба-альшом порядке...

— А на кой они?

Славка поболтал в воздухе свешивающимися ногами.

— Вот именно — на кой? А не наше с тобой собачье дело. Нам, Леша, подавай вот это.— Он выразительно пошевелил пальцами.— Деньги в наше время решают все.

— Ладно,— сказал Лешка, его слегка лихорадило,— давай без политэкономии.

Лично ему деньги нужны позарез. Чертовски нужны.

— Ну, так как?

Лешка в замешательстве пожал плечами. Интересно, в курсе ли Лабоданов?

Славка ухватился руками за край стола и раскачивался, протянул кисло:

— Конечно, тут риск, я понимаю.

— Какой там риск? Вот еще ерунда какая! Кому эти обрезки нужны? У нас во дворе все только рады от них избавиться. Какой тут может быть риск?

— Ну, а ты, ты можешь? Или, по чести, мандраж берет?

Лешка чуть не подскочил на месте. Он страшно обозлился.

— Послушай, Длинный...

— Ладно, ладно. Не трогай меня руками.

Лешка достал пачку сигарет, и Славка полез в нее, не спросясь. Было слышно — за дверью уже запустили другую пластинку.

— А куда их вывозить и на чем? Ничего не пойму. Афера какая-то.

— А я почему знаю. Это тебе объяснят все как следует. Ты это дело одной левой толкнешь.

Лешка распахнул дверь, и дверь со всего маха стукнулась ручкой о стену.

Он взглянул на танцующих. Белое платье Жужелки развевалось. Мелькнуло из-за плеча Лабоданова ее лицо. Никогда еще до этой минуты оно не казалось Лешке таким красивым. Он стоял пораженный и вдруг почувствовал, как в груди у него что-то принялось стучать, точно ходики.

Лабоданов тихо проговорил у самого уха Жужелки:

— Мне нравятся девушки-гречанки.

— Разве они какие-нибудь приметные? Я вот не отличаю. В классе только по фамилии иногда догадаешься, что не русская и не украинка...

— Еще как отличаются. Гречанка — это интереснее.

— Интереснее?

— Больше забирает.

— Забирает?

— А вы ведь гречанка?

— Я? У меня отец...

Ей вдруг показалось, что Лабоданов смотрит на ее рот, дыхание у нее перехватило, она замолчала. Они танцевали медленно, однообразно, ей боязно было еще раз взглянуть на Лабоданова. Он тоже молчал и сжимал ее руку. Жужелку это отчасти тяготило, но и очень льстило ей: теперь и у нее есть свой секрет. Ведь именно о чем-то таком секретничают девчата в классе.

Пластинка окончилась, и Жужелка, покрасневшая, запыхавшаяся, отошла к окну. К ней тут же подошел Лешка.

— Клена! Сейчас мы потопаем домой. Понятно?

Она глянула на него, и Лешка увидал широкое переносье и раздвинутые друг от друга зелено-желтые глаза, такие ослепительно яркие, что ему стало не по себе. Она потупилась, пряча глаза.

— Как хочешь.

Было десятое июня. Вознесенье. Старуха Кечеджи не притрагивалась ни к какой черной работе и с утра отдыхала на лавочке возле своей квартиры.

Тем временем все шло своим чередом. Работницы артели массового пошива «Вильна Праця» построились во дворе на производственную зарядку. Общественный инструктор, лысый широкогрудый мужчина,

объявил: «Начинаем физкультурную паузу!» — и девушки дружно вскинули руки.

С улицы метнулся в ворота запыхавшийся Леша Колпаков, шелковая косыночка растрепалась на шее — где-то уже с самого утра носился. Тихо окликнул Жужелку, сидевшую на крыльце с учебником, и поманил ее. Жужелка подняла глаза, загнула уголок страницы, закрыла книгу и послушно пошла за Лешкой.

— Наклон корпуса вправо, левая рука идет, — повелительно командовал инструктор, провожая глазами Лешку и Жужелку. — Делай со мной — раз, два!.. Получше, девушки! Теперь руки на пояс и попрыгаем для кровообращения. Раз-два! Сделали вдох? Хорошо!..

Старуху Кечеджи любопытство смыло с лавочки за ворота. Она отыскала в потоке людей две знакомые удаляющиеся фигурки, готовые вот-вот совсем исчезнуть с глаз, и комкала подол чистого фартука.

«...Кто не имеет любви, тому невозможно спастись, хотя бы он постился, хотя бы молился и хотя бы совершал другие добрые дела. Если он не любит, все суетно и не приносит ему никакой пользы...» — Старуха помнила это изречение из какой-то священной книги.

За воротами ничего особенного не происходило, но старуха Кечеджи растроганно оглядывалась по сторонам. Шли с базара женщины, неся в плетенках пучки тугой редиски. Из распахнутой по соседству двери тира доносились громкие мужские голоса. Трамвай возвращался из порта, громыхая, раскачиваясь, и быстро промелькал пустыми окошками. А на газонах расцвели, оказывается, красные сальвии.

Может, для того и даны праздники, чтобы человек, ничего не делая, смотрел и слушал, как движется и шумит жизнь.

Лешка и Жужелка свернули за угол и припустились бегом к трамваю. Лешка посадил Жужелку в вагон, а сам пробежал немного рядом с трамваем и вскочил на ходу.

— Кончайте безобразничать! — сказала пожилая кондукторша, перевела рычажок, и дверь с грохотом задвинулась. — Пора уже в конце концов сознательность иметь.

— В другой раз, — сказал Лешка и посмотрел на Клену.

Лицо ее было серьезным, а глаза смеялись. Она показала ему на плакат, висевший над кондуктором: «Граждане, разъясните правила движения детям. Пресекайте их шалости на улицах и дорогах». Шел десятый день месячника безопасности движения в городе.

— Платить за проезд будете? — профессионально грубым голосом сказала кондукторша.

— Запросто, — ответил Лешка, полез в карман песочных брюк и вместе с деньгами вытащил на веревочке ключ от двери.

— Ты куда так рано ходил? — спросила Жужелка.

— В пираты нанимался. Не веришь? Все законно, можешь не сомневаться. — Он болтал ключом, крутил на пальце веревочку и снова раскручивал, то и дело упиравшись взглядом в ее широкое переносье и зелено-желтые глаза, такие чудные, поразившие его еще вчера вечером.

— Ты все чего-то выдумываешь, — сказала она и вздохнула. И в этот момент опять она была совсем не похожа на себя, на Жужелку.

— До чего же рассудительна, — сказал он, досадливо усмехаясь. — Стынет по тебе техникум дошкольного воспитания. Не иначе.

Она засмеялась и стала смотреть в окно. Трамвай уже спустился в гавань и покотил у окон маленьких побеленных рыбацких домиков. В промежутках между домиками сквозь яблони и кусты просвечивало море.

— Мне бы только вот химию сдать. Самый страшный экзамен...

— Это всегда так: чего сдавать, то и самое страшное, — осведомлен-

но вставил босой мальчишка с удочками и консервной банкой, набитой червями.

— Нет, все же химия — самый противный экзамен, — сказала Жужелка. — Одних элементов сто один.

Трамвай, сворачивая в объезд, сильно дернулся. Жужелку качнуло, и она удержалась за Лешку. Трамвай стал, пропуская встречный, потом покотился по однопутной колее дальше. Жужелка, прижав к себе локтем учебник, держалась обеими руками за Лешкину руку. Лешка, расставив ноги, крепко упирался в пол, свободной рукой он нащупал в кармане пачку и вынул смятую сигарету.

— Придется вас высадить, гражданин, — тускло сказала кондукторша.

— Не стоит. Огоньку бы лучше поднесли.

Мальчишка с удочками довольно хмыкнул.

Открылось море. Трамвай, сильно раскачиваясь из стороны в сторону, бежал вдоль берега, отделенный от моря только железнодорожной линией и кромкой пляжа. Ветки клена хлестали по его крыше. Наконец трамвай стал.

Первым прыгнул мальчишка, опустил на землю банку и, зажав коленями удочки, чиркнул спичкой о коробок. Лешка нагнулся и прикурнул.

— Ну, будь здоров, браконьер!

— Сами вы аш два о, — огрызнулся мальчишка.

Он перешел железнодорожное полотно и направился берегом к лодочной пристани.

А Лешка и Жужелка пошли по шпалам вдоль ограды пляжа, и Жужелка придерживала раздуваемый ветром подол платья.

— До чего ж хорошо! Ах, как хорошо! А я еще ни разу в этом году не была на море. — Она вдруг спросила: — Ты, Лешка, правда ездил устраиваться на работу?

— А то нет, что ли. Не веришь?

— Да нет, ну что ты. С чего ты взял?

— Я в заводском порту был. Я на шаланду устраиваюсь. На «грязную».

— На «грязную»?

— Ну да, на заводскую грязечерпалку. Это самоходная шаланда. Ил, грязь и все такое со дна моря выгребают. Очищает канал, который в заводской порт проложен. Поняла?

— Это интересно?

— Еще как! — Он глубоко затянулся дымом. — Маяк видишь? Там суда вступают в зону канала...

— Я же знаю. Мы на экскурсии там были.

— Ну, тогда сама знаешь. Из Камыш-Буруна руду везут на завод. Дно-то илистое, а суда будь здоров сколько тонн водоизмещением. Осадку дают. Вот грязечерпалка и обеспечивает им проходимость. Канал-то ведь — основная артерия завода. Свирепо вообще.

— Да, это интересно, — согласилась Клена.

Они задержались у лестницы при входе на пляж. Оба невольно посмотрели туда, где вдалеке над берегом дымили трубы. Молча спустились по ступенькам на пляж.

— А кем ты будешь?

— Как кем? Матросом.

— Это очень интересно, — еще раз согласилась она. — Знаешь, мне кажется, это то, что тебе нужно. Правда? Ведь ты все время искал, чтобы не просто работа, а чтоб что-то еще было такое... Да?

Она опять все понимала, как раньше. Он кивнул и бросил окурочек.

— Завтра оформляться поеду.

На пляже было безлюдно, наверное, оттого, что пасмурно. Ветер гонял волны, море потемнело и пенисто ударялось о берег. Клена сняла босоножки, несла их в руке и с наслаждением шла босиком по песку.

— Ты вот только сдай все экзамены,— сказал Лешка,— будем сюда ездить. Каждый день.

Она кивнула.

— Да, да. Хорошо бы. Хотя бы две недели так поездить. А потом по-ступлю куда-нибудь на работу.

— Глупости! А в институт кто за тебя сдавать будет?

— Думаешь, попаду?

— Посмотрим.

На берегу маленькая девочка в очках с визгом отбежала от прибоя и опять возвращалась к воде. На скамейке, откинувшись к спинке, блаженствовал, зажмурясь, разметав по сторонам руки, совершенно спекшийся мужчина.

— Ну вот здесь,— сказала Жужелка, когда они отошли в сторону.

Они постояли молча, подавляя охватившую вдруг обоих неловкость. Жужелка бросила на песок учебник, помедлила, нагнулась и прихватила подол платья. Мелькнули ее длинные ноги, полосатые трусы. Лешка отвернулся и торопливо стянул с себя ковбойку.

— На вот, садись,— сказал он, расстеливая ковбойку на песке, не поднимая головы.

Он долго возился, складывая брюки, потом сел к ней боком и стал выбирать в песке ракушки.

— Ни за что мне не сдать эту химию,— сказала из-за учебника Жужелка.— Ни за что.

— Да сдашь ты ее.

Лешка набрал уже целую пригоршню ракушек и пересыпал их из одной ладони в другую. Он увидел мельком, как ветер расшвыривал волосы Жужелки, и они металась по ее голому плечу, по спине.

Лешка лег на живот, уперся подбородком в кулаки и смотрел на качающиеся у причала рыбацкие лодки.

— А когда у нас кончатся экзамены, ты ведь уже не сможешь каждый день сюда ездить. Ведь ты будешь работать.

— Да, уже буду, конечно.

— Смешное название — «грязнуха».

— Это не название — так, прозвище.

— Все равно. «Грязнуха», а такое важное значение.

— Труженник моря. А в общем ерунда.

Он вспомнил, что ему надо сегодня идти по делу, о котором говорил Славка, и посмотрел на часы. Еще бездна времени.

Лешка приподнялся. Лицо Жужелки заслонял раскрытый учебник. Полосатые трусы и такой же лифчик — больше ничего на ней не было.

— Послушай, Клена...

Она опустила книгу, встретилась с его взглядом и покраснела.

— Я совсем не загоревшая,— быстро, смущенно заговорила она.— А я ведь очень сильно загораю. Вот сдам экзамены и тогда совсем черная буду.— Она наклонилась к нему и положила свою руку на песок рядом с его темной рукой.— Вот, даже смотреть смешно — ты и я.

Она взяла в горсть собранные Лешкой ракушки и посыпала ему на ногу. Лешка схватил ее руку, подложил себе под голову и прижал к песку. Жужелка, не переставая смеяться, выдергивала свою руку и наконец освободила ее.

Лешка видел, как на горле у нее под подбородком зажегся стрельнувший из-за облаков солнечный луч.

— Тебе понравилось вчера у Виктора?

— Да. Мне было интересно.

— А Лабоданов? Произвел впечатление? — грубовато спросил Лешка и увидел, как медленно краснеет ее лицо.

Она не сразу ответила.

— Мне было очень интересно слушать его.

— Еще бы. Парень законный!

— Как ты сказал?

— Законный, говорю, парень! — Он сел и принялся пулять ракушками перед собой. — Таких, как Виктор, ребят мало. Его не окрутишь всякой ерундой, как какого-нибудь чижика. Он из всех выделяется...

— Да? — спросила Жужелка.

— Еще бы! Он где хочешь завоюет внимание. Плевал он на разную там муру. И вообще он не хочет быть серым и обыкновенным, как другие...

Лешка говорил бурно, развязно. Клена слушала его, обхватив руками колени. Лешка секунду передохнул.

— Поглядела бы ты, как он по перилам бегают.

— По каким перилам?

— Да по обыкновенным. Заметила, когда к нему в квартиру поднимаешься на второй этаж, там площадка обнесена перилами? Он по этим перилам любит бегать.

— Как бегать? Зачем?

— Просто так. Он очень пропорционально сложен. И, конечно, развит физически. Это упражнение на перилах доставляет ему удовлетворение. Ведь сверзиться-то ничего не стоит. Прощай, мама! — И Лешка помахал над ухом рукой.

— Я знаю, — сказала Жужелка, — он закаляет волю, преодолевает страх.

— Ну да еще. Очень это ему надо. Просто нравится. На этих перилах он чувствует себя на краю гибели, как наш шарик.

— Какой шарик?

— Наш, земной.

— Это он сам так говорит?

— А то кто же. Это, правда, опасно для жизни. Зато, когда снизу смотришь, впечатление сильное.

Он сказал честно все, что мог. Больше он ничего не мог сказать. Он лег на живот, лицом в песок, и ему не хотелось больше ни о чем говорить, ничего слушать.

За пляжем, гудя, прополз товарный поезд — в порт. На море потянулся дым.

Вот возьмет, да и уедет куда-нибудь. Если Славка не соврал и он получит за эту аферу с обрезками какие-то деньги, так он в самом деле возьмет и махнет куда-нибудь.

Когда он поднял глаза, Жужелка сидела все в той же позе, на его ковбойке, обхватив руками колени. Лешка мог протянуть руку и дотронуться до нее. Он украдкой смотрел на ее ноги, и у него было такое чувство, точно свершилось что-то непоправимое.

Пришли какие-то парни, поскидали робы, плюхнулись на песок и принялись резаться в карты. Они были загорелы, обветрены и разрисованы татуировкой. Проигрывая, они ругались, но ветер, к счастью, относил прочь их крепкие морские выражения.

Заметив Жужелку, они принялись то и дело посматривать в ее сторону, переглядываясь между собой, смеялись.

— Что это за девушка была вчера? — спросила Жужелка, не замечая того, что происходит сейчас на пляже.

— Так, какая-то,— отмахнулся Лешка, следя за парнями.
— Ты знаешь, я видела, Славка целовал ее.
— Ну и что?
— Да так как-то. Странно. Лицо у нее было какое-то... Ничего в ней не было такого...
— Какого?
— Ну, счастливого.
— Счастливого?
— Ну да.
Парни громко заспорили.
— Да вам много не надо,— грубо сказал Лешка.
— Кому это вам?
— Вашему брату.
— Глупости! — Она сердито поправила плечом волосы.— Противно слушать.

А ему было все равно, ему даже хотелось задеть, рассердить ее.
— Чего мы сидим? — сказала Жужелка немного погодя.— Пошли купаться.

Он качнул наотрез головой, притянул к себе брюки и достал сигарету. Он не хотел ни вставать, ни идти купаться с ней. Он хотел бы уткнуться в песок и забыть, что она существует.

Жужелка поднялась и пошла к морю.

Парни, бросив игру, не сговариваясь, встали и двинулись за ней к морю, насвистывая, раскачивая темными от загара спинами, облепленными приставшим песком и мелкими ракушками.

Лешка отстегнул часы, сунул их под ковбойку, вскочил и быстро зашагал наперерез парням, тиская в кулаки пальцы.

Жужелка шла по берегу у самой воды, по вытуженной прибоем песчаной кромке, в своих полосатых трусах и лифчике, закинув руки за голову. Парни молча стояли и смотрели ей вслед, и пеннистая вода ударила по их ногам.

И тут же на берегу между ними и Жужелкой стоял Лешка в «фестивальных» трусах, с мотавшейся туда-сюда кссынкой на шее.

Жужелка вошла в воду, подпрыгивая в набегающей волне, потом поплыла.

Парни тоже полезли в море. Они ныряли, карабкались друг другу на плечи, плыли наперегонки, забыв про Жужелку.

4

Дом двадцать два на Пролетарской улице. Он расположен между пошивочным ателье легкого женского платья и городским тиром. Собственно, даже не сам дом, а чугунные ворота уездного значения, оставшиеся от прежних дней. Они ведут во двор, горбатый, мощенный булыжником.

Двор проходной. Если перевалить через горку, можно выйти в другие ворота на Кривую улицу. При этом надо обогнуть сваленные тут железные обрезки. Вот они — невелика куча! Прикрыты сверху ржавым листом — так целее будут. Точно кому-то они нужны. В сущности, они захламляют двор, но с этим почему-то мирятся. Время от времени в ворота вползает полуторка, гремят в кузове обрезки, пустеет эта часть двора, только железная мелочь еще кое-где под ногами. А через неделю-другую опять с кроватной фабрики волокут сюда на телеге обрезки. Жители двора привыкли к ним, как к неизбежному злу, но стараются входить в ворота с Пролетарской. Здесь, на ветру, долетающем с моря, вздрагивает тонкий кран водопровода, расцветает крученый паныч, похо-

жий на маленькие граммофонные трубы; сохнут на веревке куртки-спецовки, гавкают разномастные собаки, колесящие по двору; на летней мазаной печке бренчит крышка кастрюли, и рвущийся наружу пар пахнет лавровым листом, перцем, петрушкой и сельдереем, а в другом углу двора на такой же белой печке медленно и сладко упевают черешни в кипящем сахаре.

Это уголок старого города, каких еще немало. Всех дольше живет здесь старуха Кечеджи.

Из-под темного платка низко, на брови ей спускается другой, бело-снежный, старые темные глаза так и поблескивают из-под сизых век. Глядя на нее, с волнением думаешь о чем-то таком смутном, древнем, чего и сам толком-то не знаешь. Ведь это ее предкам, уведшим из Крыма из-под татарского ига своих жен, детей и скот, была дарована Екатериной II земля Азовского побережья, где и основан город. Это было давно, а ныне греки растворились в пестрой уличной толпе.

Старуха Кечеджи живет с дочерью, женщиной еще сравнительно молодой и красивой и, как истая южанка, расположенной ко всему яркому, веселому. Но из-за неудачно сложившейся личной жизни — разошлась с мужем — хорошее настроение у нее долго не удерживается.

— Для чего жить? — вдруг подавленно спрашивает она.

Мать вне себя.

— Живем ведь, как ни говори. Ты живешь для своего дитя. А между прочим, может, еще и человек найдется.

— Ай, мама. Иди в баню.

— Не ты его бросила, он тебя — пусть ему будет стыдно.

Дочь работает делопроизводителем в райжилотделе. Зарботок у нее маленький, а еще надо от себя оторвать, чтобы послать деньги в Рязань, где в фельдшерском училище учится «дитя». Поэтому они пускают на свою жактовскую жилплощадь командированных. Две чисто заправленные койки, по семь рублей суточных — «частный сектор» металлургического завода на квартире у старухи Кечеджи.

Когда койки пустуют, это больно бьет по бюджету семьи, и старуха чаще вздыхает у стены, где томится на фотографии внучка, перекинув косу со спины на грудь, на черный школьный фартук. И рядом с ней с такой же косой ее любимая школьная подруга Полинка.

Полинка работает теперь крановщицей на заводе и славится своим голосом в самодеятельности, ездит выступать в область. Сидя с вышиванием на пороге своего домика, она частенько напевает сильным, действительно замечательно приятным голосом. И тогда старуха, прислушиваясь, растроганно кивает в такт у себя за окном. Она следит, как Полинка, отложив вышивание, идет за водой, придерживая от ветра подол, как задумчиво смотрит на бегущую в ведро струю, и ее тень раскачивается на кирпичной стене.

Под вечер, собираясь гулять, Полинка выносит большое зеркало и, примостив его на ящик с углем — а уголь ей завозят с завода самый лучший, «орешек», — охорашивается прямо во дворе.

— Полинка! — кричит старуха в форточку. — А, Полинка!

И через минуту слышится ленивое:

— Вы, что ли, звали, бабушка?

— Ты когда, Полинка, замуж выходишь?

— А-а, бабушка! На что? Очень надо!

— Крепись, умница. Выходи только за хорошего.

— Полинка! — опять зовет старуха. — Чего ж до сих пор свет не проведешь в квартиру?

Полинка пожимает плечами. Ведь дом-то на слом должен пойти, а ей обещана новая квартира.

— А между прочим,— говорит Полинка,— есть хлопцы такие, что бесплатно проведут. Но раз сказали, что на слом,— так на слом.

Часто старухино окно загораживает легковая машина.

— Холерная твоя душа,— бурчит у окна старуха.— Где-то живут, а здесь гараж устраивают.

Шофер, шуплый малый в замызганной кепчонке — козырек свисает на бесстыжие глаза,— то и дело ковыряется под окном в машине. Дородная женщина в атласном халате, с оголенными до плеч руками смотрит на его работу, грызя подсолнух. Зовут ее Дина Петровна, или, точнее, Дуся. Она и сама-то в этом дворе живет без года неделю — всего второе лето, как выменялась, а уже привадила сюда этого разбойника с машиной.

— Куда прешь, паразит! — голосит в окно старуха Кечеджи. — Ай-й-й! Лень ему на горку подняться, как люди, в уборную, холера проклятая. Под дом направляется. Не хочется заводиться, а то бы я ему кирпичину пустила. Шофер называется!

А Дина Петровна тем временем ковыряет носком тапочка землю и грызет подсолнух.

Она работает продавщицей в подвальчике, торгует вином в разлив, а по вечерам частенько гадает одиноким женщинам на картах.

Мать Полинки, толстая банщица с завода, громко, на весь двор корит ее:

— Брехни точишь! Чаруешь. Працевать треба.

И как только могло случиться, что у такой вот матери, у Дины Петровны, выросла Жужелка?

Утром, когда во дворе трясут половики, просеивают золу, гремят ведрами, мать Полинки в валенках развешивает по холодку белье на веревке, а старуха Кечеджи выпускает во двор Пальму, белошерстную, взъерошенную, радостно и нетерпеливо вздрагивающую («Иди гуляй, Пальма, на горку!»), — вот в такое обычное утро прошлым летом появилась во дворе эта девчонка. Она сидела на корточках, прижав к плечу свою черноволосую головку и обхватив большое решето.

— Ты что же делаешь? — не выдержала старуха.

— Здравствуйте,— сказала девчонка и бросила комочек спекшегося угля на землю. А зола сыпалась прямо на ее красные босоножки.— Я, тетенька, жужелку выбираю.

— Сама ты жужелка и есть! Кто ж так делает?

Вздыхая про себя — видно, некому в семье поучить девочку,— старуха показала ей, как надо встать за ветром, чтоб золу относило, и как держать решето. И та послушно и рассеянно повторяла за ней.

Она вообще немного рассеянная, эта девчонка Клена, или Жужелка, как с тех пор ее стала ласково звать старуха Кечеджи, а за ней и другие обитатели двора. Прошлой весной, например, когда еще только только набухли на деревьях почки, она примчалась в школу, запыхавшись от радости, что первая в классе явилась в носках. Но тут же напоролась на осуждающее фырканье девчат. Никто из них и не собирался надевать носки. Всего год прошел, а другое шегольство теперь у девчат — туфли на каблучке-гвоздике. А Жужелка все это по рассеянности проглядела. Но потом, когда она догадалась, что же произошло, взяла и отрезала косу в знак того, что детство кончилось.

Она выходит во двор, неся откинутую немного назад голову так мило, так доверчиво, и черные волосы сыпятся по ее стройным плечам, а на матовом лице сияют глаза.

До чего радостно делается, глядя на нее.

Не удивительно, что Леша Колпаков часами вертится на лавке, ждет, когда Жужелка пройдет домой из школы.

Когда она появляется в воротах в коричневом школьном платье и черном фартуке, с большим портфелем в руке, Лешка, встрепенувшись, вскакивает с лавки и мчится ей навстречу. Они подолгу стоят, тихо переговариваясь, и Жужелка перекладывает из одной руки в другую свой тяжелый портфель десятиклассницы. О чем они говорят? Не слышно. Только легко догадаться, как им интересно, как они заняты собой, и нет им сейчас никакого дела до всех взрослых, навязывающихся учить их уму-разуму.

— Помнишь, Леша, как ты Томочку на коньках подбил и Томочка ушиблась и плакала? — опускаясь рядом с ним на лавку, спрашивает старуха Кечеджи.

Томочкой зовут ее внучку, она теперь далеко, в Рязани.

Лешка крепко затягивается сигаретой.

— Бабуся, такое уж больше со мной не повторится. Это уж точно.

Старуха медленно сбоку рассматривает его.

— А ведь ты, правда, уж совсем вырос.— И это открытие трогает ее.— Теперь смотри не подкачай! — с азартом говорит она.— Человеком надо стать!

— Можете не сомневаться! — Он выталкивает изо рта окурки сигареты и сплевывает на землю вслед ему.— С чего только все об одном, сговорились, что ли? С утра до ночи только и слышу. Вот и вы, бабуся...

Да, он уже не тот, и Томочка больше не заплачет от его мальчишеского озорства. Теперь пришел черед плакать его матери, санфельдшеру с большим золотым пучком волос на затылке. Когда летом во дворе она распускает над тазом свои волосы, готовясь мыть их, в этот момент, по словам старухи Кечеджи, она — форменная русалка.

— Поступишь работать — все деньги тебе будут,— сулит она сыну.— Ты ведь любишь одеться, любишь повеселиться.

А то в присутствии Лешки принимается жаловаться соседкам:

— Что ему надо? Чего ему не хватает? Извел меня...

— Мамуля, хватит! — строго говорит Лешка и рубит вот так рукой воздух и бежит за ворота в своих песочных узких брюках, скрываясь от слез и жалоб.

Отец Лешки убит на войне, но у него есть отчим, красивый, под стать матери, Матвей Петрович, Матюша, как она зовет его, — главный механик кроватной фабрики. Это очень выдержанный, даже тихий человек. Если он не сидит во дворе с газетой, то что-нибудь чинит, мастерит в сторонке, и всем соседям предупредительно первый кивает головой.

Старуха Кечеджи говорит, что Матюша будто восемь классов гимназии кончил — такой он деликатный и выдержанный.

И вот есть же в семье готовый образец — старайся только во всем брать пример с него, и тебя будут уважать и на производстве и дома. Будь, как Матюша!

Но Лешка плевать хотел на готовые образцы. Он пойдет своей дорогой, он еще всем покажет!

— Мамуля, вы еще пожалеете, что так говорили обо мне!

Но пока что он не вышел ни на какую дорогу, а вечно где-то слоняется, попусту проводя дни.

А давно ли он, в пионерском галстуке на шее, собирал лом по дворам. Говорят, были, правда, отдельные выходки у него: курил на перемене, а однажды в воспитательский час спустился по водосточной трубе из окна с четвертого этажа школы. Не все, конечно, было гладко. Но вот в сочинениях он очень мало ошибок делал, и учительница Ольга Ивановна считала, что из него толк будет.

А теперь что же? Школу бросил, ни к какому делу не пристал.

Глава вторая

1

— Ну и почерк!

Женщина зашла за его стул и через его плечо смотрела, как он заполняет анкету. Лешка вообще-то мог писать лучше, в школе нареканий на его почерк не было, но сейчас у него отчего-то вздрагивала рука и брызгались чернила, и он с трудом соображал, как должен отвечать на вопросы.

Кадровичка направилась к своему столу. Лешка мельком глянул на нее. Скошенные плечи, неустойчивая, подпрыгивающая походка.

Теперь, когда она не стояла больше за его стулом, он немного успокоился. «Взысканий не имел», «не привлекался», «в белой армии не служил», «в плену не был» — дело пошло быстрее.

Он кончил, встал и протянул ей анкету. Она долго изучала ее, расставив широко локти на столе. Рот у нее маленький, верхняя губка подмалевана и распадается посредине надвое, точно бантик. Губки, как из прошлого века. Но в общем симпатичная особа, ничего не скажешь. Голову от такой не потеряешь, но так ничего себе.

— А где же трудовая книжка?

— Нету.

Она откинулась на спинку кресла. Фасад этой женщины ничего общего не имеет с неуверенной спиной. Тяжелую грудь украшают рюшики крепдешинового цветастого платья, надо лбом висится уложенная в корону коса.

Он вдруг заметил, что и она рассматривает его. Он хорошо знал этот взгляд. Смотрят, точно он чучело какое-то. Обычно он плевал на это. Но сейчас вдруг весь напрягся под ее взглядом. Страшно глупо это, но он волновался. Он даже пожалел, что не снял, идя сюда, свою пеструю косынку, и теперь чувствовал себя так, будто косынка сдавливала ему горло.

— Что только делается с нашей молодежью! — сказала кадровичка, покачивая из стороны в сторону головой.

Ему отлично было известно все, что она сейчас скажет.

— Вы о чем? — спросил он, приглаживая разлохмаченные волосы, стараясь сдерживаться, потому что помимо его воли в нем поднималось раздражение.

— Не у советской молодежи учитесь. Наша форма одежды другая. — Говоря это, она приподнялась на локтях и бросила взгляд через стол вниз, на обшлага его брюк.

В груди у него прямо-таки заколотилось от раздражения.

— У кого какой вкус в конце-то концов!

— Это не вкус, а распушенность.

Ну что с ней разговаривать. Ведь это как о стену головой. Вот на ней, например, надето черт знает что — крепдешиновое платье в цветах с рюшиками — порядочное уродство, но ведь он не тычет ей в нос это.

— Почему вы думаете, что вы лучше всех все понимаете? Ну почему? — Он вспомнил, зачем пришел сюда, присмирел и добавил: — А вообще-то это все ерунда, кто как одет. Не имеет значения.

— Еще как имеет! У нас передовое предприятие. Моральный облик молодого рабочего...

Лешка понял: работы ему не видать. Он молча стоял, подавленный.

— Не кипятись. Ты сядь. — Он опустил на стул. — Ну и народ. Мы такими не были. — Она включила маленький вентилятор, стоявший на столе, и наклонилась к нему. — Это все оттого, что не знакомы с трудно-

стями. Поверь мне. Привыкли, чтоб вас опекали, нянчились с вами. Вот и растете уродами. Вам подавай все в готовом виде.

Он почувствовал такой гнет и уныние от этих слов, что ему страшно захотелось испариться отсюда. Ветер обдувал ее лицо, шевелил на лбу прядки волос. Наклонившись, подставив лицо под вентилятор, она снизу смотрела на Лешку мягкими карими глазами.

— Я не обо всех, конечно,— строго добавила она.— Есть прекрасные кадры молодежи. Ты вот поезжай на Восток, на большие стройки. Послушай меня. Трудности там, конечно, есть, так на то и молодость. Зато попадешь в большой здоровый коллектив. Всю эту гниль с тебя собьет. Поваришься в таком коллективе, характер закалишь и станешь человеком. Это ведь тебе на всю жизнь,— горячо убеждала она.— Ты сам себя потом не узнаешь. Поверь мне. Только не надо бояться трудностей.

— Все учат! На нервы действует, честное слово.

Она выключила вентилятор, села, выпрямившись.

— Мы не такие были. Много переживать приходилось. Благодаря этому и вышли на большую дорогу. А вы? — с жаром говорила она, заглядывая в лицо Лешке.— Ведь вы каждый о себе думаете, а не о стране в целом. Что с вами делать? Ну что?

Она горячилась, но не кричала, а старалась, чтобы до него дошло то, чем она так сильно озабочена. Как бы там ни было, Лешка почувствовал себя тронутым. Конечно же, не все благополучно. Взять хотя бы его...

— Только не в трудностях причина. Я, например, если честно, их не боюсь. Можете верить или нет.

Он хотел сказать, что, может быть, поедет на Восток или еще куда-нибудь. Но не сейчас. Сейчас он никак не может уехать. Чисто личные обстоятельства. Сейчас ему совершенно необходимо устроиться на шаланду.

Кадровичка читала его анкету, и он замер, выжидая.

— Так где же трудовая книжка?

— Нету.

— Не понимаю. У тебя ее что, совсем нет? Как это может быть? Так ты работал на кроватной фабрике или нет?

— Работал, но мало совсем. Я ж вам говорил. Так что не успели выдать.

— Ах, вот что — не успели,— сказала она таким тоном, что Лешка даже взмок, поняв: она не верит ему.

— Ну да. Не успели.

— Понятно.— Она покладисто сложила руки на стекле, покрывающем письменный стол.— Не ты первый. Позволяете себе много... Что вам трудовой стаж! Запачкаете трудовую книжку, бросите ее, давай новую!

Он понял, в чем она подозревает его.

— Говорят же вам! Не оформляли. Там ведь сначала испытательный срок был. А я ушел, не стал оформляться...

— Вот-вот,— сказала она.

Он почувствовал, как кровь ударила ему в лицо. Но он молчал. Он сдерживался. Он даже сам удивлялся, как крепко держал себя в руках. Ему во что бы то ни стало необходимо было устроиться на шаланду.

— Ваше дело. А только...

Он замолчал, волнуясь. Сунул машинально руку в карман, вытянул ключ от дома. Все в его жизни сошлось сейчас на ее решении.

— А мы тебя тоже без испытательного срока не допустим.

— Это конечно. Это пожалуйста. Я не подведу, сами увидите.

— Школу бросил. Фабрику бросил. Что же получается? Вот и надо было это отразить в автобиографии. Русским языком. И объяснить, как это: взял и ушел с фабрики.

— Понятно. Это я сейчас все допишу.

Но она и не подумала вернуть Лешке его коротенькую автобиографию.

— А почему с фабрики ушел? Не понравилось, неинтересно мне было. Вот и ушел. А почему не понравилось?

Он намотал до отказа на палец веревочку от ключа, с отчаянием чувствуя: что б он ей ни говорил, она будет верить себе, а не ему. И как только она могла показаться ему привлекательной? Это же отравя, не человек.

— Во вторник явишься за ответом,— сказала она и в последний раз взглянула на него бархатистыми карими глазами.

Он постоял, слушая, как подрагивают, дышат и скрежещут заводские корпуса. Посмотрел на строгие мартеновские трубы в полукилометре отсюда, зачем-то пересчитал их, хотя, как любой житель в городе, и так знал, сколько их.

Доменные печи, соединенные подвесными мостами, растянулись по берегу, заслонив море. Слышен ритмичный звук. Это скользит вверх груженная вагонетка. «Жжж-и-их!» — Вагонетка сыпает шихту в доменную печь.

Лешка пошел по заводской территории, спускаясь с нагорной части в низину, к заводскому порту. Его обгоняли машины. Они громыхали в облаке пыли, и пыль оседала на серые кусты, аккуратно высаженные у дорожной насыпи. А верхом, заслоняя солнце, несло сюда огромные клубы дыма, удушливо пахло гарью, и драло лицо и глаза от несгоревшей угольной мелочи.

Тут надо не один год поработать, чтобы прилепиться душой. Лешка шел мимо одноэтажного длинного дома — столовой,— сквозь затянутые густыми проволочными сетками окна виднелись на столах бутылки из-под кефира. У входа был прибит комсомольский стенд. Он подошел ближе. Стенд назывался «На сатирической орбите». Какой-то мастер товарищ Берландий — его хмурая сфотографированная физиономия была приклеена к нарисованному телу — грубит рабочим. «Вот так дядя-автомат — что ни слово, то и мат».

«Заснять бы кадровичку и приклеить сюда,— подумал Лешка.— Эта и без мата заплывает». Она все время старалась уличить его в чем-то, а он вертелся, как паршивый шенок, оправдывался. Ему стало жарко от вспыхнувшей в нем злости. Он пошарил в кармане и вытащил сигарету.

Рядом под стеклом висела вчерашняя многотиражка с какими-то стихами. Заводской поэт писал:

...В этом городе в большой семье рабочих
Человеком стал, как говорят.

Лешка усмехнулся и присвистнул. «Откажет»,— твердо решил он. Он хотел бы знать, о чем это она говорила, на какую такую большую дорогу она вышла в своей жизни.

Бренчали стрелки, волоклись составы — по исполосованной рельсами заводской земле надо ходить умеючи.

Над стареньким туннелем виднелась полустершаяся дата: «1933» — год пуска завода. Это одно из немногих сохранившихся за войну сооружений на заводе.

Лешка вошел в туннель. Проезжая часть его была сильно изношена, а на отгиснутой к стене узкой пешеходной доржке то тут, то там стояли лужи воды, и через них приходилось прыгать.

— Эй, откуда ты взялся?

Перед Лешкой стоял, загородив проход, парень в темном комбинезоне, проволочная скоба прихватывала его курчавые волосы. На плече у него лежал конец трубы, которую несли вместе с ним несколько человек, вынужденные из-за него остановиться.

— Как дела?

Это был Гриша Баныкин. Лешка обрадовался ему — как-никак вместе плавали на шаланде прошлым летом.

— Дела? В большом порядке.

— На завод устраиваешься, что ли?

Лешка бросил под ноги в лужу окурок, одернул ковбойку, спросил настороженно:

— А что?

— Давно не виделись с тобой. Надо бы поговорить. Не здесь, конечно, в нормальной обстановке.

Он поправил конец трубы у себя на плече. Лешка, не зная сам, для чего он это делает, подставил плечо, и труба сразу же тяжело налегла.

Они двинулись по туннелю, неся трубу, — впереди Гриша Баныкин, за ним Лешка, а позади еще несколько человек. Мимо, обгоняя их, шли и шли торопливо люди в комбинезонах, на их спины падал свет лампочек. Лешке нравилось так шагать со всеми, таша на плече эту тяжелую трубу. Он готов был идти и идти так без конца. Они уже вышли из туннеля, кто-то сзади сунул Лешке рукавицу, и он подложил ее под трубу.

— Куда это все прут? — крикнул он в спину Баныкину.

— Привет, Маруся! Ты откуда свалился? Не знаешь ничего? Печь номер два стала!

Ему передалась общая тревога. Аврал. Вроде как в ту штормовую ночь прошлым летом. Тогда шаланду метало в волнах, как какую-то щепку. Волны перекатывались по палубе. Кого-то смыло, и Лешка бросился в воду, ничего не разбирая. Они барахтались вместе — Лешка и свалившийся дядька, грузчик, не нюхавший моря, он совсем ошалел, захлебывался и топил Лешку. Лешка помнит только прыгающий конец, который он старался ухватить, чтобы приладить к нему дядьку, и свое бессилие, и мгновенную леденящую жуть от сознания, что сейчас утонет. И вынырнувший вдруг рядом Баныкин, этот самый, что шагает впереди него своей морской походочкой, слегка покачиваясь.

Баныкин остановился и стал громко командовать: «Раз-два!» Все дружно сняли с плеча трубу и опустили ее на землю.

Лешка обернулся. Рядом был парень в тельняшке, видневшейся в распахнутом вороте комбинезона, на голове его ловко сидела шапочка, сложенная из газеты. Лешка протянул рукавицу.

— Ваша?

Тот кивнул, беря.

— Познакомились, Цыган? — спросил, подходя, Баныкин. — Это мой приятель, — сказал он, показывая на Лешку. — Мы с ним вместе в одной переделке прошлый год были.

Лешка покраснел даже — помнит все-таки. Это была не пустячная аттестация. Он понял это по тому, как зыркнул на него черными глазами Цыган, промямлил вежливо:

— Будем знакомы.

Баныкин отвел Лешку в сторону и, переминаясь с ноги на ногу, стал вдруг выпрашивать, свободен ли он завтра.

— А то приходи в клуб моряков.

— А что там?

— Так, кое-что. Я там выступать буду. Если, конечно, здесь управимся. Пока дутье не дадим, с завода никуда. — Он сунул Лешке руку, накло-

нившись и ищуще заглядывая в лицо.— А то, может, придешь завтра? В семь ровно.

— Постараюсь. Если свободен буду.

Лешка поправил косынку на шее, одернул ковбойку и пошел назад к выходу с заводской территории. Издали он увидел: на солнцепеке в группе людей торчала лысина Игната Трофимовича, его соседа по дому, мастера доменного цеха. А сам Игнат Трофимович, размахивая руками, шумел:

— Здрóрово! Воодушевили людей! Нечего сказать!

Он заметил Лешку и не удивился, откуда тот мог взяться, не до того ему сейчас. Подозвал его пальцем.

— Леша! Слетай домой, живо! Предупреди там у меня: может, к ночи вернусь, может, нет. Как печь задует. Пусть не тревожится.

— Схожу. Погода немного. У меня дело тут,— сказал Лешка. Он хотел заглянуть в заводской порт.

— Ты только не забудь.

Игнат Трофимович и вообще-то не умел обижаться, зла не затаивал. А тяжелые впечатления дня и вовсе вытеснили у него из памяти недавнее столкновение с Лешкой. Он позабыл, что позавчера на «топталовке» между ними произошла перепалка. Он с доверием наклонился к Лешке, темные косоватые глаза запали на осунувшемся лице.

— Слышал?

Лешка кивнул.

— Слышал.

— Стала,— сокрушенно сказал Игнат Трофимович.— Режем прямо по живому месту.

Он замолчал, прислушиваясь к разговору рабочих. Один из них вызывался лезть на верхотуру, чтобы ускорить дело.

— Милый,— сказал прочувственно Игнат Трофимович,— сейчас время не военное — не допустят.

Он опять заспорил, и Лешка, удаляясь, слышал, как он ругал какого-то начальника из «Домноремонта».

Лешка спустился в заводской порт незадолго до обеденного перерыва. Скоро «грязнуха» причалит сюда.

С моря дул ветер, дышалось легко. Лешка сел на лавочку у портовой которы, в тени, отбрасываемой лихтером, пришвартовавшимся под разгрузку. Лихтер пришел, как и все остальные суда, выстроившиеся у причала, из Камыш-Буруна, доставил агломерат для доменных печей.

Камыш-Бурун. Может быть, для кого-то это название полно загадочной неизведанности, а Лешка сколько себя помнит, столько же и его. Однако, чтобы добраться туда, надо пройти сто тридцать миль. Это уже кое-что.

Он заметил вдалеке черную точку, привстал, следя за ней,— «грязнуха» ковырялась в километре отсюда. Но вскоре он потерял ее из виду. Может, «грязнуха» зашла за «Прибой», ждущий на рейде разрешения войти в порт и стать под краны.

— Эй, посторонись, пацан! — предупредил его пожилой помощник моториста: Лешка зашел в зону подъемного крана.— Глянь сюда! — Он мотнул через плечо Лешки большой брезентовой рукавицей.

Лешка обернулся и обомлел. Левее, на третьей домне, шел чугуи. В такой близости Лешка никогда это не видел. Из крошечного дыма вырвалась огненная лава и била отвесно вниз, в огромный ковш, подставленный на платформе. Дым рассеивался, светлел, и было видно, как на литейном дворе по канаве движется река пламени, выбрасывая языки. Освещенные пламенем, мелькали горновые в суконных куртках и суконных шляпах с опущенными на глаза полями. Огненная река бурным

водопадом срывалась вниз, бушевали искры, каждая величиной со звезду — просто дух захватывало.

Когда пуск чугуна закончился, часы у портовой конторы показывали двадцать минут первого. Лихтер отошел, и под разгрузку стало судно «Ява». «Грязнухи» не было. Либо пристала на обед на том конце канала в большом порту, либо застряла в море.

«Грязнуха» не дредают, это точно. Но все-таки тоже шаланда. Когда Лешка вспоминал, как прошлым летом плыли на шаланде «Эрика» к Островам за ракушечником, ему казалось: и у него кое-что в жизни было.

2

Лабоданов играл в шашки с Длинным Славкой. Лешка поздоровался.

— Что так кисло? — не поднимая головы, сказал Лабоданов. Он был без рубашки, в одних брюках.

— Там одна в отделе кадров мутит воду. «У нас передовое предприятие»... и прочие красоты.

— Стерва,— сказал Лабоданов.— Видал я ее в гробу в белых тапочках.

— Счас я буду плакать.— Славка откинулся на спинку стула и загоготал.

Лешка тоже засмеялся. Когда есть товарищи, понимающие тебя с полуслова, и ты сам мгновенно настраиваешься на их волну, все тусклое, гнетущее отступает, и вообще — море по колено.

— Говорил я тебе, что не возьмут? Нет, ты скажи — говорил? — спросил Лабоданов.

Лешка кивнул.

— И не возьмут! — сказал Лабоданов.— Тут, знаешь: не подмажешь — не поедешь. А много дать — ума не хватит.— Он пошевелил в горстку сложенными пальцами.— Да и не со всяким свяжутся.

— Это точно,— согласился Лешка.

— А то, может, нашелся на это место хмырь — папенькин сынок. Десятилетку заканчивает. Виды на институт имеет. Ты разбежался, а место для него придерживают. Немного поплавает взад-вперед на «грязнухе». А там сезон вышел — шаланду консервируют, хмырь сидит дома, учебники листает. А стаж, между прочим, идет.

— Точно! — сказал Лешка; он почувствовал себя совсем шатко.

Лабоданов посмотрел на доску — Славка проводил еще одну шашку в дамки — и сказал:

— Надо уметь примениться. При любых обстоятельствах. И ущерба не нести.

Все это было туманно и недостижимо для Лешки.

— С кроватной фабрики нечего было уходить — вот что!

— Да ведь он получал там шиш с прицепом,— ответил за него Славка.

— Не в том дело...— сказал Лешка.

— Не в том,— передразнил Лабоданов.

Он сдался и, подавляя досаду, сильно потянулся, встал, поддев ногой табурет, и шашки подпрыгнули на доске, а некоторые свалились на пол.

— А ты бы походил слегка для видимости в разнорабочих и примостился бы к литью этих, как их, шаров на кровати — самая там денежная работа. Разряд бы получил и так и далее, с помощью папаша.

— Вот это и хуже всего для меня там было.

Лабоданов стоял спиной к нему у комода и, напряжив плечи, разглядывал себя в зеркало. Он обернулся.

— Дешевка! Не терплю дешевой рисовки!

— Не кричите, не утомляйте меня,— сказал Славка.

— Да я не вру,— сказал Лешка сникая.

Лабоданов пошел на кухню.

— Чего ты, правда, из себя строишь? — вяло спросил Славка.

Лешка огрызнулся:

— А что тебе?

— Скажи лучше, ты виделся с тем человеком? Куда я тебя посылал, ты был там?

— Ну, виделся, ну что? Унылый тип он...

— Я не влезаю, не влезаю в суть. Конспирация так конспирация. Ну, ты молодец. Я даже не ожидал, откровенно говоря.

Выглянул из кухни Лабоданов, слышавший, о чем они говорили.

— Уголовщиной пахнет. Не терплю!

Всерьез это он или подшучивает? Через минуту Лабоданов появился с кружкой воды для бритья.

— Не кисни,— дружелюбно сказал он Лешке.

— Да я что! Перезимуем!

— Мой совет тебе — развлекись! Хорошее настроение — это все!

— Это точно,— подтвердил Славка.

Лабоданов, стоя у комода перед зеркалом, быстро намыливал лицо. На спине его бугрились мышцы, а между лопатками залег тугий желобок.

— Познакомь его, Славка, с какой-нибудь... Есть что-нибудь на примете?

— замутозят такого щенка.

Разговоры о девчонках Лабоданов и Славка не раз затевали между собой при Лешке, и он добродушно слушал со стороны. А сейчас его подташнивало.

— У него ведь своя есть.

Лешка вспыхнул, смутился. Славка стоял, привалясь к подоконнику. Он многозначительно пристукнул носком туфля.

— Если ее, конечно, не закадрят...

Лабоданов с занесенной над щекой бритвой молча обернулся к Славке и перевел взгляд на Лешку.

— Так что тебе, Брэнди, в жизни надо? Выскажись! — Лешка встретился с ним взглядом и почувствовал — какая-то неловкость встала вдруг сейчас между ними.— Может, ты горишь положить свой кирпич в здание счастливого будущего?

— На черта мне сдалось! — угрюмо сказал Лешка и пригладил волосы. Хорошее настроение окончательно улетучилось.— Вот выпить охота!

— Это благородно! — вяло сказал Славка.

Он вообще был вял, безразличен и держался так, точно вялость и безразличие составляют особые преимущества его перед прочим человечеством.

А у Лешки внутри все запротестовало от собственной лжи, подыгрывания. Он нервно покусывал ногти.

— Честно говоря, я б не отказался. Если б строили, например, домну. Я б пошел...

— А что потом? — спросил Лабоданов.

— Ну, поглядел бы, как чугун идет.

— Колоссально! — лениво протянул Славка.

Лабоданов медлил, точно решал что-то, вытирал бритву, пудрил лицо, всматриваясь в зеркало. Он обернулся, странный, с белым от пудры лицом, обнаженный по пояс, как цирковой борец. Голубые глаза со злым холодком.

— Выходит, Брэнди — мальчик с идеалами.— Он был явно чем-то задет и не скрывал этого. Долго стирал полотенцем пудру, что-то обду-

мывая. — Был бы ты Ванятка — без своего лица. А то ведь парень как парень — имеешь вкус к жизни, пообтесался тут.

В самом деле, ходит рядом малый, смотрит тебе в рот. А вот, оказывается, что у него за пазухой...

Лешка старался не смотреть на Лабоданова. То, что всегда так пленяло в нем Лешку — его физическая сила, — сейчас отталкивало.

Лабоданов надел рубашку, с непривычной для него возбужденностью сказал:

— А я вот, понимаешь, делаю то, что для меня лучше. И каждый так. Если это не слюняй и не серость. И пусть не врет! Не прикрашивается! Чего ж ты мечешься? Чего до сих пор не пристроен? Ну чего? — спрашивал он, все больше ожесточаясь.

— Вот именно! — вставил Славка.

— Заройся! — прикрикнул на него Лабоданов.

У Лешки гудело в голове. Они никогда так не разговаривали.

— Я думал, правда, парень место себе в жизни ищет. А при таких понятиях давно можно было прилепиться.

— Не липкий, значит. — Лешка хотел огрызнуться, не вышло, не привык не то чтобы грубить — возражать Лабоданову.

Лабоданов и не слушал.

— Я вот слюней не пускаю. Мне все равно: хоть завтра объявляйте коммунизм. А при этом я вкальваю, как надо, не то, что ты. Передовик как-никак у себя на производстве. И работа арматурщика, сам знаешь, тяжелая. А я еще как-нибудь и учусь. Окончу вечернюю школу на ту весну, как раз три года рабочего стажа отстучит. В любой институт подамся — только захоти. А что ты? Проболтался год. Ни туда и ни сюда! Ведь не хуже тебя я, а вкальваю. Потому что всеми силами борюсь за жизнь. Без этого не возьмешь ничего в жизни.

Лешка молча, насупленно страдал от презрения к себе. Прав Лабоданов — пустопорожнее у него все.

Лабоданов закурил и протянул, замиряясь, пачку Лешке. Лабоданов был чисто выбрит, подтянут, шеголеват. Как быстро он овладел собой. Он вообще знает, чего хочет в жизни и как ему этого добиться. Лешка всегда ставил Лабоданова намного выше себя. Но как тяжело, как неприятно было сейчас его превосходство!

3

В семь утра гудит Большой металлургический. Ширясь, разбухая, гудок рвется с моря на город, повисая над улицами и закоулками.

Один за другим — целая вереница автобусов катит по мосту через Кальмиус на завод.

В восьмом часу на проспекте лоточница Книготорга первая раскладывает свой товар, покрывает его рыбацкими сетями, чтоб не разлетелся. Возвращаясь с базара, присаживаются на скамейки передохнуть женщины с живыми утками под мышкой, с плетенками, из которых торчат редиска, салат, перья лука. Нетерпеливо бренча пустыми бидонами, покупатели ждут открытия продмага.

Потом появляются озабоченные школьники. Девочки в белых фартуках — идут на экзамены.

Дворник поливает из шланга асфальт, и асфальт уже мокрый, почерневший, весь в лужах, и пахнет, как после дождя от мокрых листьев и земли на газонах. Мальчишки околачиваются возле дворника, норовя попасть под струю воды, и тут же отбегают, визжа и встряхиваясь. В такое вот утро Лешка отправился на базар по делу. Ему надо было договориться с возчиком — вывезти со двора железные обрезки.

Салют, товарищ инспектор. Можно, оказывается, заработать и без оформления в отделе кадров. Сучить ножками не станем в ожидании вашего ответственного решения. Пока что позаботимся о себе.

Чрезвычайно заманчивым рисовалось ему получить деньги. Если кадровичка откажет, в родном городе его больше не увидят. Уедет, куда ему вздумается. На Крайний Север, например. Там люди нужны.

Он шел и думал о Славке. Как он сказал тогда: «Мандраж берет?» Он чуть не дал ему в морду за это. И стоило. Да и было б с чего трусить! Мальчишкой в седьмом классе не побоялся спуститься с четвертого этажа по трухлявой, проржавелой водосточной трубе. А тут что? Ерунда.

Но затея на самом деле казалась ему нелегкой: сумеет ли, как надо, договориться с возчиком. Кроме того, он боялся столкнуться с Жужелкой. Он слышал, как ее мать, торопясь на работу, громко, на весь двор, наказывала ей сходить на базар.

Лешка поплутал по базару, нигде не встретив ишака с повозкой, попал в галдящий рыбный ряд и застрял тут. Вяленая тарань, вздетая на веревочку, темные кучки тяжелоголовых бычков, красные вареные раки. Лешка смотрел на рыбаков с расписанными татуировкой руками — злых, неуступчивых, на рыбачек, молодых, полногрудых, и старых, темнолицых, тощих, дымящих папиросами и свирепо торгующихся. Он-то их знал совсем другими. У себя в гавани они совсем не жадные, щедрые люди. Когда они возвращаются с моря, они готовы любого встречного наделить рыбой.

Кто-то пихнул его.

— Проходите, детонька.— Вкрадчивый, певучий, осторожный голос торговца из-под полы: — Щелок, дамочка? Синька, ваниличка?

Лешка пошел дальше, пробираясь между рядов. В проходе он увидел пониющую голову ишака, спохватился и торопливо подошел ближе.

— Дяденька, с вами сговориться можно?

— Шо такое, а? — равнодушно протянул пожилой возчик в соломенном брыле, с кнутом в руке.

Он следил за тем, как рослая женщина в белой выпачканной куртке стаскивала с лотка бочонки и грузила к нему на повозку. Женщина расторговала свой товар — маринованные сельди,— и в бочонках плескался рассол.

Лешка помялся.

— Тут вот кое-что перевезти надо.

— А мы этим и занимаемся. Вот отвезу сейчас, тогда, значит, освобожусь.— Из-под соломенного брыля глянули на небритом лице кроткие голубые глаза.

— Мне не сейчас. Мне заранее договориться надо,— смелее сказал Лешка.— И так, чтоб уж точно.

— Приходи. Мы тут всегда на базаре. Нас нанимают, кому надо.

— Мне на завтра договориться надо. Я задаток могу дать.— У него было тридцать рублей, их дал ему для уплаты возчику тот унылый тип, к которому посылал его Славка.

— До завтра еще дожить надо.— Он помог женщине втащить на повозку последний бочонок.— А то приходи ко мне вечером во двор, коли у тебя такая нужда. Я на Торговой улице живу, возле булочной, дом четыре. А задаток ты пока что придержи. Договоримся после.— Он легонько потыкал кнутовищем в слинявший бок ишака.— Я ведь за него фининспектору плачу.

— Ясно,— подхватил Лешка.— Я точно приду. Вы меня ждите.

Старик заломит цену. Ладно, чего там. Он был доволен — сумел договориться. Теперь дело, можно сказать, пошло на лад, и от этого оно показалось куда привлекательнее.

Женщина уселась на повозку, плечом подперла бочонок. Возчик хлестнул ишака, тот неохотно потянул, повозка затарахтела по булыжнику, запрыгали бочонки.

— Пшел, ну пшел же, кому говорят,— понукал возчик.

— Так вы, дяденька, имейте в виду,— идя за ним, возбужденно говорил Лешка,— значит, завтра точно. А я еще, само собой, зайду к вам...

Среди солнца и поднятой ветром пыли, пустых ящиков из-под лимонада, которые сбрасывали рабочие с машины, стояла Жужелка с большой соломенной кошелкой в руках.

Он в замешательстве поспешно шагнул за машину — пусть она пройдет мимо,— ждал, уставясь в прикрепленный к борту грузовика плакат: «Переходя улицу, убедись в безопасности».

Кто-то следом зашел за машину, а Лешка, не оборачиваясь, почувствовал: Жужелка.

— Я тебя видела,— раздалось у него за спиной.

Он вздрогнул. Не оборачиваясь, продолжал изучать плакат.

— Ты что тут делаешь на базаре?

— А что тебе?

— Мне? Интересно, вот и спрашиваю.

— Мало ли кому что интересно.

— Вот еще новости! Секреты!

Он пошарил в карманах, слушая ее незнакомо звучащий голос, достал сигареты и спички. Затянулся и сразу как-то окреп.

— Не видишь, что ли, читаю: «Переходя улицу, убедись в безопасности».

Она тоже прочла вслух плакат, улыбаясь и раскачивая в руках большую кошелку.

— Будет дождь. Посмотри, какая туча движется.

— Да, прет всюю.

— Хорошо бы дождь. Только бы ветер не разогнал тучу. Вот будет жаль.— Она выговаривала слова старательно и звучно, точно слушая сама себя.

— Дождь — это вещь,— сказал Лешка.

Вдруг перед ним всплыло, как она стояла вчера на проспекте с Лабодановым и Лабоданов держал ее за руку. Они вели себя так, точно Лешка умер и его не существовало на свете.

Ему стало так больно, так нехорошо, хуже, чем вчера.

— Пошли отсюда, что ли.

— Обожди. Сейчас, минуточку. Я загадала.— Задрав голову, она покачивалась на носках, безмятежно уставясь в небо,— там быстро плыла огромная туча, растрепывая и поглощая на своем пути небольшие облачка.— Я вон на то облачко загадала, вон оно, вроде собачонки. Заденет его или нет?

Огромная дождевая туча приближалась сюда. Она достала наконец краем маленькое облачко, похожее на собачонку.

— Ну, пошли теперь,— с удовлетворением сказала Жужелка.

Лешка сказал срывающимся от напряжения голосом:

— Клена, я тебя спрашиваю, ты занимаешься? У тебя ведь экзамен на носу!

— Не так, чтоб особенно. Понемножку.— Она смотрела на него невозмутимо сияющими глазами.— В общем кое-как. Плохо.

Он быстро заговорил, закипая возмущением:

— Это ведь черт те что! Ерунда какая-то. Где ж твои стремления в конце концов? Выходит, трепотня одна.

Она не защищалась.

— Два дня у тебя осталось. Ты что же, завалиться хочешь? И вооб-

ще тебе каждый день дорог. О чем ты думаешь? Не понимаю! Могла бы и на базар не ходить.

— Мама послала.

— Ведь тебе химию готовить надо и для экзамена в институт тоже.— Он искоса взглянул на нее, сказал мягче: — Это для тебя сразу же подготовка и в институт. Два дела. Ведь так я говорю?

Она молча кивнула. Сомкнутые губы ее огорченно набрякли. Он взял у нее из рук кошелку, и они пошли медленно, не заговаривая друг с другом, мимо развевающихся мочал, кипы веников, железных кроватей, мимо загона с живыми колхозными утками и больших красных яблок, привезенных грузинами.

— Купите лилии! По рублю за ветку. Хорошо пахнут. Купите лилии!

— Ладно, ты не расстраивайся.— Он не мог вынести, что у нее такое огорченное лицо.— Сейчас быстро купим, что тебе надо. И все. Наверстаешь, что прохалтурила.

Ветер теребил ее волосы, и она иногда отбрасывала их с лица движением головы или слегка поправляя их плечом. И от ее такого знакомого движения, от того, что они шли рядом, затерявшиеся в толпе, и их толкали, и Лешка невольно касался ее руки, его захлестывало радостью и празднично гудело в груди. И даже кадровичка сейчас не казалась ему мегерой. Может, еще и не откажет...

Жужелка остановилась, выбирая молодую картошку. Тот же вкрадчивый голос торговца из-под полы вопрошал за их спинами:

— Щелок, дамочка? Синька, ваниличка?

Лешка наклонился, подставляя кошелку, и вдруг увидел открывшееся под прядью волос маленькое ухо Жужелки, такое детское, трогательное, жалкое; у него дрогнуло в груди и часто-часто заколотилось сердце.

Жужелка взяла два пучка редиски, попросила:

— Вы не обрежете листья?

— Могу, могу, моя рыбонька, моя славненька,— запела старуха.

Женщины за прилавком задирали головы и переговаривались о том, будет ли дождь. Дождь наконец закапал. Сверкнула молния.

— Гроза! Господи, гроза! — с восторгом сказала Жужелка.

Пророкотало. Ветер поднял и закружил пыль, принялся хлестать дождь. Кто плащом, кто мешком накрылся, разбегаясь. Продавцы, подхватив свой товар, причитая, бросились под навес. Лешка и Жужелка тоже помчались вместе со всеми. Они вбежали на крыльцо. Жужелка обернулась к нему запыхавшаяся, и ее мокрые волосы хлестнули Лешку по лицу.

Она внимательно посмотрела на него, точно впервые увидела, и молча стала поправлять на нем выбившуюся из ворота ковбойки косынку.

Их сжали со всех сторон набившиеся на крыльцо люди. Проталкивались с весами к окошку — расторговались, сдавали веса.

Кто-то рядом вздохнул:

— Вот цэ добре. Трошки смочить.

Девушки-мороженщицы в белых куртках, с ящиками наперевес громко перекрикивались. Жужелка вертела головой, ловя каждый возглас, заражаясь общим оживлением. А Лешка ничего не слышал, он не сводил с нее глаз, и в ушах у него стоял гомон.

Жужелка протолкалась к перилам и смотрела, как дождь хлестал по булыжнику. Лешка протиснулся за ней. Будь у него сейчас деньги, те обещанные двести рублей, ну пусть хоть не двести, а рублей двадцать или даже десять, он накупил бы Жужелке всех сортов мороженого.

Сверкнула молния. Затрещало, загрохотало где-то совсем близко.

— Ай, картошка молодэнька! — ужаснулась рядом толстая бабка, глядя, как на прилавке у кого-то на весах осталась под дождем картошка.

— Скоро стихнет. Ты сразу домой иди. И садись зубрить. И не нервничай. Зубри себе спокойно. За два дня наверстаешь. — Лешка говорил и удивлялся, как тупо у него выходит. Все эти слова не имели отношения к тому, что чувствовал он сейчас. — У тебя ведь память что надо. Сама знаешь.

Она обернулась к нему.

— Пусть лучше не стихает. Пусть. Пусть льет и гремит всюю! — настойчиво, горячо сказала она и прижалась спиной и затылком к столбу, поддерживающему навес.

— Можно подумать... Можно подумать, что тебе наплевать.

Она ничего не ответила, смотрела, как девушки-мороженщицы, визжа: «Ай, такси наше приехало!» — грузили под дождем свои ящики в кузов крытой брезентом машины и следом сами переваливались через борт туда же, — помахали на прощанье и уехали.

— Не пойму. Ты какая-то не такая, на себя не похожа.

— Да? — переспросила она. — А какая же я? Нет, ты скажи. Интересно ведь.

Она смотрела на него, выжидая.

— Ты всегда занималась как надо.

— Ах, ты об этом, — разочарованно протянула она.

Он нервничал.

— Да! Об этом. А об чем же еще?

Она сказала беспечно:

— А другие не больно стараются. И сходит ведь. Живут себе.

Он уткнулся взглядом в широкое переносье, над которым легкой черной дужкой сбегались брови.

— Ты — не другие.

Она покраснела. Стало слышно, о чем говорят по соседству с ними люди.

— Видали, как енакиевские забили?

— Так то были дурные два гола.

— Мамка, где вы тапочки брали?

Жужелка спросила:

— А как же вот ты, например, живешь?

— Я-то? — переспросил Лешка, больно задетый. А ему казалось, она все понимает. — Мне бы только цель найти. Я б добрался до нее всеми силами. — Он никогда не мерялся с ней. Его колыхало из стороны в сторону, а она была устойчивее, яснее. — Мне бы только найти... Уж я бы вцепился.

Она обеспокоенно посмотрела на него.

— Если б ты только знал все... Я развинулась, конечно. Но я поступаю... — торопливо, сбивчиво заговорила она. — Если б ты знал! Может, ты не говорил бы так...

Она посмотрела на него и замолчала.

Лешка постоял, точно сквозь пелену, но отчетливо, слово в слово, слыша, как за спиной у него женщина хвалила плащ на другой женщине и справлялась, подарили ли ей его, а та отвечала: «Да нет. Муж куплял». Стучало в висках. Руки наливались тяжестью. Он не хотел услышать больше ни слова. Он понял все, что Жужелка говорила. Не глядя ей в лицо, отдал кошелку и, проталкиваясь плечом, стал пробираться с крыльца.

Он шел под дождем, не разбирая луж. В оставленную на прилавке

банку с томатом падал дождь, и кто-то накрывшийся с головой плащом, обгоняя Лешку, весело сказал:

— Бог добавил!

Он слышал, как Жужелка громко позвала его:

— Леша! — И потом еще раз опять: — Леша!

Он не обернулся.

Прямо на земле под прилавком сидела женщина, по ее подолу, по голым коленям ползала белая морская свинка. Женщина доставала из-за пазухи скомканные рубли и пересчитывала их. Заслышав шаги, она привычно затянула, поглаживая морскую свинку:

— Боря не обманет, погадает сейчас. Боря все знает.

Лешка быстро прошел мимо.

— Есть ли мне счастье в жизни. Скоро ли придет, кого ожидаю, из заключения,— монотонно неслось ему вслед.

4

Он вошел в ворота и, точно слепой, не видя перед собой ничего, направился к дому.

— Алексей!

Он оглянулся. Они сидели вдвоем, мать и отчим, за вынесенным на улицу столом и играли в домино, точно ничего не случилось и сегодня такой же день, как вчера.

— Алексей! — нервно позвала мать.

Он вернулся от двери и подошел к их столу.

— Нам нужно поговорить с тобой. Это очень серьезно.— Мать замолчала, поглядывая то на мужа, то на сына возбужденно округлившими глазами.

Ему было все равно: пусть говорят.

Матюша был в майке, белые руки и плечи его оголены.

— Вот твоя мать и я... Мы решили. Я согласен был тебя учить. Дать тебе образование. Настоящее. Но ты...

Слова доносились приглушенно, точно в ушах набилась вата. В них было что-то оскорбительное. Лешка усмехнулся и отставил ногу.

— В наше время, когда мы наблюдаем такие свершения...— Матюша с усилием выбросил из зажатого кулака все пальцы и опять собрал их в кулак.— Когда спутник в небе... и другие достижения. В такое время бездельничать — позорное дело.

Это была истина, и тем хуже для нее, что она высказана таким скучным белотелым человеком в майке. Матюша запнулся, задвигал костяшки домино по столу.

Помолчали. Во дворе хорошо пахло после дождя от кустов и деревьев. По булыжнику еще сочилась, стекала с пригорка вода.

Лешка мотался по городу в каком-то нервном возбуждении, ничего не чувствуя, а сейчас, настигнутый болью, безучастно ждал, когда можно будет уйти, скрыться с глаз.

— Как ты стоишь? Что ты корчишь из себя? — крикнула мать.

Чего она кричит? Было нестерпимо представить, что после всего, что произошло, Жужелка, если она появится сейчас здесь, услышит, как его песочат. Он не взглянул на мать. Медленно пригладил обеими руками волосы, пропуская их сквозь пальцы, чувствуя холодную испарину на спине.

— Ну так дальше-то что? Или это все?

— Ты не нукай! — сдерживаясь, строго сказал Матюша. Он никогда не забывал о сложности своего положения: он — отчим, не отец.— Тебе дело говорят.

— А я слушаю.

— Тебе добра желают. Надо понимать и ценить это.

— Везде добрые советы, вроде директив.

— А если кто не умеет понимать советы, так таких заставлять надо.

— Свирепо вообще.

Здесь опять помолчали. Матюша, скрестив на груди голые руки, раздраженно похлопывал себя по плечам.

— Ты не философствуй,— сказал он.

Мать обеспокоенно поглядывала на мужа, лицо ее пошло красными пятнами.

— Да ты скажи уж ему.

— Так вот,— туго, нехотя заговорил опять Матюша.— Фото у тебя есть? Две штуки надо.

— Какое фото? Откуда оно у меня?

— Значит, завтра же без промедления надо сняться. Заявление и короткую автобиографию — раз, фотографии — два, справку из школы, что окончил девять классов,— три. Пойдешь на Торговую, там учебный комбинат ремонтно-механического завода. Туда отнесешь все.

— Загадки,— сказал Лешка.

— Два места всего от фабрики было,— живо вставила мать.

— Туманности Андромеды,— сказал он, настораживаясь.

Он им не доверял. Могли бы объяснить яснее. Как-никак его касается.

— Развязно держишься,— хмуро сказал отчим.

— Вот именно,— подтвердила мать.

— Какие еще загадки! Представилась тебе возможность выучиться на помощника мастера. В общем кончай лоботрясничать.

Матюша стал излагать, как было дело. Как узнал вчера, что с их фабрики посылают двоих молодых рабочих в школу помощников мастеров и как сразу же принял меры, чтобы одно место оставили за ним, то есть за Лешкой. Он говорил обстоятельно, неторопливо, как уже давно не разговаривал при Лешке, а мать не выдержала, ворвалась, захлебываясь, возбужденно:

— Это все так уладилось только потому, что директор так ценит отца! Только из уважения к нему. (Он не выносил, когда она о Матюше говорила «отец».) Как он тебе сказал: «Матвей Петрович, только для тебя могу пойти на это». Так, да?

То, что ей с Матюшей казалось благом для Лешки, не раз принималось им в штыки. И сейчас, обращаясь к Матюше, мать не спускала пугливо скошенных глаз с сына, не умолкала и все захлебывалась:

— Год поучишься — и станешь прилично зарабатывать. Сможешь одеться и веселиться, как тебе нравится. Ну, чем тебе плохо?

— Я не пойду,— угрюмо сказал Лешка, глядя себе под ноги.

Мать притихла, грузно осев, зло, несчастно вскинулась:

— Ты что, совсем ушалел? Нет, ты объясни, что это такое?

— Не пойду, и все,— упрямо повторил Лешка.— Пусть посылают, кого намечали. А я что? Откуда взялся? Сбоку-припеку? — Что он, какой-нибудь хмырь, папенькин сынок вроде того, что расписал Лабоданов?

— Абсурд! — веско сказал Матюша и похлопал себя по плечам.

— Я в другое место устраиваюсь. Уже договариваться ходил.

— Интересно,— сказал Матюша; он был задет.— Это интересно. Что ж ничего не сказал? Молчком, значит. Чего ж ради было просить, унижаться?

— Да, да! Ведь он просил, унижался.

— А куда это ты устраиваешься? — привалась грудью к столу, недоверчиво прищурился Матюша.— Давай обсудим, что целесообразней!

— Да, да! Давай обсудим,— всполошенно подхватила мать.

Они оба чувствовали себя с ним неуверенно, бессильно и потому отчужденно.

— Чего ж обсуждать. Сперва ответа дожидаться надо.

— Так у тебя и ответа еще нет? — Матюша вытер рот рукой, сказал тяжело: — Ты вот что — ты прекрати издеваться над матерью. Ты вон до чего ее довел. Завтра же собери, что надо, и отправляйся на Торговую улицу.

— Не пойду. На чужое место усаживаться не собираюсь.

— Сопляк ты! — громко сказал Матюша, и его ноздри задрожали от возмущения.— Кто ты такой, чтобы судить! Посознательнее тебя, такого молокососа, люди...

Лешка шагнул к столу, лицо его потемнело от бешенства.

— А вы, вы... — задыхаясь, заговорил он.

— Как ты смеешь! — крикнула мать.— Отец все для тебя старается!

На их громкие голоса выглянула старуха Кечеджи и опять закрыла дверь. Зло, сквозь слезы, визгливо, мать не унималась:

— Вот дрянь! Какая дрянь! Что себе позволяет? Еще рассуждает!

А у самого одна гадость на уме... Девчонка!

Он вцепился в край стола, яростно потрянул его, и костяшки домино шархнулись на землю.

— И скажу! Скажу! Это подлость! Все равно это подлость!..

Все, все подлость! И эти выкрики матери и то, что Матюша отнял у кого-то место для него. Все, все!

Мелькнуло побелевшее лицо матери. Она поднесла руку к глазам, защищаясь, будто ее собираются ударить.

— Что я такое сказала? Ну что я сказала? (Он сразу остыл, у него сжалось сердце: такая она была жалкая, испуганная.) Давай говорить по-хорошему. Слышишь? По-хорошему! — просила она.

Но уже было поздно говорить по-хорошему, даже если б он мог ее простить. Да и как с ними разговаривать? Все вызывало с их стороны бешеный отпор. «Кто ты такой, чтобы судить! Заслужи сначала это право! Сопляк!» — и так далее, вроде как сегодня, как будто только выйдя на пенсию, научишься отличать честное от подлого.

Мать робко поглядывала на Матюшу, ища в нем поддержки, но он молчал. Никто не собрал с земли домино.

Лешка постоял молча, повернулся и побрел к двери. Он лег на свою кушетку лицом вниз и слышал, как тихо вошла мать. Она опустилась к нему на кушетку, и он подвинулся, давая ей место. Она нерешительно гладила его по спине, и он чувствовал запах ее волос, который так любил в детстве, похжий на запах сена, потому что она мыла волосы настоем ромашки. Пригнувшись к его затылку, она шептала торопливо:

— Ты ведь не такой. Это все твой дружок научает тебя. Все наши несчастья от него. Все он, Лабоданов...

Лешка молчал; пусть говорит, бог с ней. Он не мог сейчас ничего объяснять, спорить. Ему было так плохо, так мучительно больно, что он даже хотел, чтобы она вот так сидела около него. Он рывком повернулся на спину. Ее белое поблекшее лицо повисло теперь совсем близко над ним. Он видел ее светлые глаза в красных прожилках и располневшую шею, окольцованную глубокими складками. Она больше не казалась ему красивой, и он жалел ее.

— Ты был совсем другим, пока с ним не подружился. Ты был ласковый мальчик, Леша.

Он встрепенулся.

— Если б ты только знала все, мамуля! Если б ты могла понять!..

Больше он не сказал ни слова. Ведь она ничего не понимала, ничего. Когда она начинала рассказывать о нем, она всякий раз припоминала одно и то же: что у него были очень маленькие ножки и он лет до семи ходил в туфельках с пуговичками, как у девочек. И еще — как однажды она вернулась домой очень поздно, а он не спал, ждал ее и кинулся к ней с воплем: «Мамуля, я боялся, что ты умерла!» Его тошнило от этих рассказов.

Что с ним было потом, когда он сменил туфельки на ботинки с подошвой из кокемита, неведомо ей, прошло мимо нее.

Он подбил на катке внучку старухи Кечеджи, он убежал, и его возвращали домой из детприемника, он спустился по водосточной трубе с четвертого этажа школы — в ее представлении все это означало только одно: он г р у б е л.

На своих маленьких, неустойчивых ножках, обутых в купленные еще по ордеру туфельки, он куда-то навсегда ушел от нее. И превратился во что-то крайне неудобное: тайно курил, огрызался ломающимся голосом, вечно терзал ее тревогой за его будущее.

Она всегда сопоставляла то, каким он был, с тем, что с ним стало, и эта перемена всякий раз ошеломляла ее.

Он был куда чувствительнее ко всему, что происходило с ней.

Как принесли извещение о гибели отца и вообще подробностей того дня он не помнил — слишком мал был. Но крик матери, ужасом отозвавшийся где-то внутри у него, еще много лет готов был зазвучать опять, стоило только подумать об отце. И, оставаясь один в доме, он избегал смотреть на стену, где висела увеличенная фотография отца в пилотке. И если нечаянно встречался с его непреклонным взглядом, поспешно отводил глаза.

— Мой муж погиб в Берлине, — говорила всем мать, и ее глаза краснели от сдерживаемых слез.

Лешка знал: отец погиб, участвуя в штурме Берлина, за два дня до его падения. Всего за два дня. Плохо всем, к кому не вернулись отцы. Но им с матерью хуже всех, потому что отец погиб всего за два дня до победы.

Растерянная, сбита с толку тем, что еще всего два дня, и он бы вернулся, как возвращались к другим женщинам мужья, и они бы тоже пили водку, смеялись, и плакали, и пели бы песни, а потом он стал бы заботиться об угле и картошке и после работы гулял бы за руку с мальчиком, она всюду твердила:

— Мой муж погиб в Берлине.

Ее слушатели сочувственно покачивали головами и часто в утешение говорили ей, что она еще молода и красива, и тем еще больше растревляли в ней обиду на жизнь.

В то время она еще работала в больнице медсестрой, пропадала сутками на дежурстве, а вернувшись домой, отсыпалась и, вялая, с растрепанными волосами, сидела у патефона, подперев кулаком щеку, слушала музыку, мечтательно уставившись куда-то в пустоту.

Лешка вечно хотел есть. Когда оставался опять на сутки один под присмотром соседок, старуха Кечеджи — ее зять Петька вернулся с войны с одним глазом и устроился на консервную фабрику кладовщиком — приносила ему тарелку вкусного рыбного супа. Он половину съедал, половину оставлял матери.

Изредка он спрашивал мать об отце, но она либо ничего не знала о нем, либо позабыла и помнила только то, что у нее был муж и он погиб в Берлине за два дня до победы, и она осталась одна с ребенком на ру-

ках. Из-за смешивших его слов «с ребенком на руках» то, что она говорила, казалось ему не совсем правдоподобным. Но отца все же не было, и его не ждали больше.

Ему не нравилось играть в войну. А когда Лешку как меньшего ребенка заставили быть «фрицем», потому что кто-то ведь должен им быть, иначе игра не могла получиться, и вскоре у него вышибли из рук палку, которой он размахивал, и закричали, что «фриц» убит, а Лешка продолжал драться, размахивая руками, и тогда ему сильно вlepили по уху, чтобы играл как надо — по правилам, он едва не разревелся, но сдержался: у него не было отца, чтобы наказать обидчиков.

К матери время от времени стали приходиться по вечерам гости. Перед тем, как им прийти, мать возилась на кухне и напевала своим нелепым, деревянным голосом. И ему становилось весело, он шумно хлопал дверьми, вбегая со двора, и подпевал ей. Она надевала нарядную кофту, сшитую из голубого панбархата, присланного в посылке отцом в те последние дни, когда он еще был жив и она еще не была «одна с ребенком на руках».

Иногда мать звала его, чтоб он шел к ним в комнату, где пили и веселились гости, и те угощали его, и мать, красивая и чужая, прижималась к нему и чмокала его в щеку, и ему было неприятно, что она это делает на глазах у всех. И он был рад, когда вскоре его выдворяли за дверь. В такие вечера он укладывался спать на кушетке в проходной комнате, и слышал, как гости хором пели «Выходила на берег Катюша», и различал голос матери, и ему казалось, что это песня о ней с отцом. Но не о той, которая сидит сейчас с гостями, в голубой панбархатной кофте, и не о том, который погиб в Берлине, но в то же время о них, но только молодых, и без кофты, и без «погиб в Берлине».

Потом в доме завелся небольшого роста тихий человек в старом милицейском кителе, взлохмаченный кларнетист, которого все звали Духовой. Гости вывелись. Духовой приволок выданный ему в школе, где он руководил кружком, мешок картошки. Мать стала исправно готовить обед. В это время на Большом металлургическом восстановили взорванную немцами домну, и по вечерам все выходили на Торговую улицу, откуда хорошо было видно, как шел чугунок. Он шел огненной лавиной, брызги огня отражались в реке Кальмиус, розовый дым окутывал их, а на небе вставало зарево, и люди восторженно подбрасывали вверх шапки, обнимались и говорили: «Это счастье. Это необыкновенная красота. Это наш салют».

Духовой, как чуть ли не все в городе, считал себя причастным к Большому металлургическому. В дни своей молодости он работал на заводе и был, по его словам, выдвинут из рабочей массы в училище как музыкально одаренный. Он рассказывал, как потом руководил духовым оркестром в мартеновском цехе при покойном начальнике Бережном и как тот приходил усталый на репетиции, сидел, закрыв глаза, дремал и слушал. И гордился: на демонстрации мартеновский цех выступал со своим оркестром. А с его смертью стала глохнуть в цехе культура, не нашлись средства, и Духовому пришлось перейти с завода в оркестр городской милиции. Он считал, что перевелись люди, умевшие ценить культуру, и нынешние некультурные руководители ради копеечной экономии не привлекают к работе квалифицированных музыкантов.

Если ему возражали, он не настаивал, легко уступал, тушуясь.

Он оставался здесь в годы оккупации — не успел вовремя выбраться из города — и был схвачен немцами как сотрудник советской милиции. Но отчаянные рыбаки из слободки — среди них он прожил всю свою жизнь и на их свадьбах неизменно играл на кларнете — сумели сунуть немцам хабар и выкупить его. Он был человек с оккупированной,

к тому же подвергавшийся, и, если не был выпивши, вечно чего-то боялся и храбрился, лишь когда открывал футляр, припадал к кларнету и надувал щеки. И мать, притихшая, напряженная, заражалась его тревогой. Она теперь говорила тихо, как бы защищаясь от возможных бед: «Мой муж погиб в Берлине»,— и делала вид, что по-прежнему живет вдвоем с сыном, хотя это было нелепо — все знали про Духового и видели каждый день, как он шел по двору. Если кто-нибудь колот ей глаза Духовым, мать вспыхивала: «На что он мне сдался!» Или говорила еще грубее, передергивая нервно плечами: «На черта мне его обстирывать!»

Старуха Кечеджи недоверчиво покачивала головой:

— Не скажи! Когда мужчин нету, то и петух Сулейман паша.

Но беда пришла не с той стороны, откуда ее ждали. Она явилась из слободки в облике старых рыбацек, галдевших под окнами, требовавших, чтоб Духовой к ним вышел.

Суровые и властные, они увели его, и он покорно пошел за ними назад в слободку, к объявившейся невесть откуда жене, старой, измученной гречанке, угнанной немцами много лет назад вместе с поездом, где она служила проводницей, и была еще тогда молодой и здоровой.

Духовой несколько раз приходил и молча, страдая, смотрел на мать. А мать сидела красная, надутая. Лешка чувствовал, как она оскорблена и несчастна, и ему было мучительно жалко их обоих.

В это время в доме у старухи Кечеджи тоже разыгрывалась драма. Ее зять, Петька, такой покладистый до войны, не приживался в семье во второй раз, подозревал, что жена ему изменяла, пока он воевал и лишился глаза.

Он скандалил и громко требовал развода. И старуха Кечеджи на весь двор, чтобы слышали люди, уговаривала дочку:

— Дай ты ему развод. Не ты ж его бросила, он тебя — пусть ему будет стыдно!

Но взрослым стыдно никогда не бывает. Стыдилась за них и страдала внучка старухи Кечеджи — Томочка, которая сейчас учится в Рязани в фельдшерском училище. Повзрослевшая, молчаливая, ни на кого не глядя, она быстро проходила через двор. Лешке нравилось, идя в школу, красться за ней, смотреть, как она разбегается и скользит по обледенелым, накатанным дорожкам. Залепить ей в спину снежком и следить из-за укрытия, как, обернувшись сердито, она будет искать, кто это сделал, и не найдет и пойдет дальше быстрым, деловитым шагом, и две косы будут осторожно подпрыгивать на спине.

Он отчаянно влюбился в нее. Она училась двумя классами старше, и на такую мелюзгу, как он, никакого внимания не обращала. Отец ее переселился в общежитие консервной фабрики. Стояла зима — короткий сезон коньков, и Томочка, махнув на взрослых рукой, весело каталась с Полинкой на катке. Лешка гонял у них под носом, выделял всяческие фортеля, но тщетно — его не замечали.

Тогда и случилось это — он подбил Томочку. Он хотел только слегка задеть ее, чтобы заставить обратить на себя внимание, а произошло нечто ужасное. Она грохнулась на лед, сильно разбив колено. Полинка помогала ей дотащиться домой. Томочка плакала, и они обе с возмущением гнали его, а он шел за ними, забегал вперед и видел, как из разбитого колена Томочки сквозь чулок просачивалась кровь.

Истощенно кричала и бранилась старуха Кечеджи.

Лешка бежал из дому, сложив в школьный портфель карту и альбом с марками, шестнадцать рублей, кусок хлеба, горсть сахара, наточенный кухонный нож и зубную щетку.

Через четыре часа пути его высадили из поезда в Сталино и отправили в детприемник. За ним явилась мать с взволнованно округлившимися глазами и возмущенно стиснутым ртом.

Потом он пристрастился к чтению и не заметил, как в доме водворился Матюша.

Что это за человек Матюша? Проживя с ним вот уже семь лет, Лешка не смог бы объяснить это словами. Но он точно знает, что Матюша не такой, каким видят его люди.

У него рано поседевшая голова человека, потерявшего в войну единственного сына. Он овдовел и женился на Лешкиной матери — не шастал по женщинам, завел сразу новую семью. Он работает главным механиком на кроватной фабрике, и им дорожат на производстве. При этом он охотно первый здоровается с соседями, произнося низким приятным голосом:

— Доброго здоровья!

Этого достаточно. Его видят во дворе или за чтением газеты, или за домино, или за каким-нибудь домашним делом — он, например, любит прочищать проволокой носик чайника, — и он внушает всем окружающим почтительное к себе отношение.

С легкой руки старухи Кечеджи он слывет деликатным человеком. Но деликатным был Духовой, хотя это никого не интересовало, зато благодаря ему Лешка знает, что деликатность — это что-то совсем другое. И уж во всяком случае это не то, когда умеют считаться только с собственным мнением, а тебя вечно одергивают.

Стоит обмолвиться о каком-нибудь происшествии в школе, хотя бы о том, как во время дежурства в раздевалке одному мальчишке по ошибке подали девчачье пальто, и он, не обратив внимания, надел его и пошел на улицу, как тебя тотчас же прервут и начнут говорить о дисциплине и сознательности, и так нудно, тошно, будто заранее подозревают в чем-то.

В конце концов стараешься ни о чем не рассказывать. Но и молчание — с к р ы т н о с т ь — распаляют подозрительность. Что-нибудь случилось? Ты что-нибудь натворил? Чего ты молчишь?

Войны еще нет, но уже два враждебных лагеря стоят друг против друга. При всем том Матюша не злой человек, он ничего не жалел для Лешки, заботился о нем и лелеял какие-то иллюзии на его счет. Как-то, отчитывая его, он вдруг сказал, и глаза у него глубоко запали, и спустились надбровные дуги, как это бывало, когда он принимался чем-нибудь восторгаться:

— Я думал, ты заменишь мне сына.

Лешка тупо молчал, чувствуя свою вину и бремя возложенных на него надежд. И тогда первый раз повисло бичующее слово: «неблагодарность».

Духовой ничего не мог принести в дом, кроме своей тревоги, мешка картофеля и искренности. Матюша принес достаток, прочность и апломб.

Читая газету, рассуждая о вычитанных новостях, он восторгался нашими успехами. Лешке запомнилось, как на первых порах их совместной жизни Матюша был в восторге от того, что у нас строятся грандиозные каналы, и как потом, когда их законсервировали, он был тоже в восторге от этого решения. «Мудро!» — говорил он и в том и в другом случае. Лешку изумляло такое бесстыдство. А простодушный Игнат Трофимович поддавался его апломбу.

Матюша и Игнат Трофимович — приятели, но какие же они, в сущности, разные. Игнат Трофимович больше всего на свете любит свою домну, завод, свою работу. А Матюша любит не кроватную фабрику и работу, а свое служение фабрике, директору и убежден, что он человек

более значительный, чем Игнат Трофимович. Игнат Трофимович без слов отдает ему предпочтение.

Мать постоянно говорит о нем с придыханиями: «Матвей Петрович такой человек! Такой человек!»

Как уверено она почувствовала себя в жизни! Посмотришь на них с Матусей: он со своими спесивыми рассуждениями и она с суестью, с пустой крикливостью — как они схожи, точно созданы друг для друга. Будто и не было никогда ни Духового, ни погибшего отца. Боль матери давно исчезла, осталось самое живучее — тщеславие. И теперь, когда она произносит при нем: «Его отец погиб в Берлине!» — Лешку бросает в ярость.

То, что ее прежний муж погиб на фронте, а теперешний — достойный, уважаемый на производстве человек, она постепенно стала считать своей собственной заслугой, возвышающей ее над прочими женщинами, не сумевшими ничего создать себе наново взамен рухнувшей в войну жизни, вроде матери Жужелки, путающейся с этим неказистым шофером.

Лешкина мать работала теперь санитарным фельдшером. У нее появилась профессиональная осанка контролера, чье появление внушает беспокойство, и возбужденный, требовательный тон.

Теперь, когда она во дворе распускала над газом пушистые волосы, старуха Кечеджи не устремлялась к ней, как прежде, поболтать, пока она будет мыть голову, наблюдала за ней издали: «Соседка! Вы — форменная русалка!» Она забыла, что раньше говорила ей «ты».

Фотография отца переместилась в проходную комнату. Она висела теперь над кушеткой, где спал Лешка. Она давно уже не пугала его. С каждым годом отец становился моложе, его невозможно было представить себе мужем матери, скорей он был старшим братом Лешки. Отец был так же одинок в доме, как и Лешка, и они состояли в молчаливом заговоре

Глава третья

1

К вечеру он поднялся, одернул помятую ковбойку, перевязал косынку на шее и вышел за ворота, ни с кем не столкнувшись.

Люди шли мимо него вниз, где в конце улицы в белесой дымке лежало море, или поднимались навстречу, громко смеясь и разговаривая. Он сделал всего несколько шагов в этой толпе, и на него накатились тоска.

Он вспомнил, что Гриша Баныкин звал его сегодня в клуб моряков, и свернул за угол.

Перед клубом группками стояли моряки с девушками. По фойе разносился мощный голос. Дверь в зал была открыта, Лешка вошел и увидел на освещенной сцене Баныкина, размахивающего руками, выкрикивающего что-то в затемненный зал. Гулко отражавшийся голос его был неузнаваем. Лешка постоял в проходе, вслушиваясь, и постепенно стал собирать слова:

Над миром страшной угрозой
Висит, темнея, она —
Страшная,
 грозная
Ядерная война!

Баныкин был без пиджака, в рубашке с галстуком.

Окна зашторены — темно и свежо в зале. Моряки смотрели на сцену, мяли в руках бескозырки, шаркали ногами. Голос Баныкина перебивал все шорохи зала, гремело его раскатистое «р»:

Эпохи, зры прошумели, как воды,
И хоть травка весной прорастает, буйна,
Ничего нет, о земные народы,
Страшнее, чем ядерная война!
Умрут народы. Страны умрут.
Города и деревни будут пустыней.
О земные народы!

Чего они ждут?
Кровь в моем сердце стынет.

Лешка сел на свободное место. Он слушал с возрастающим удивлением. Он знал про Баныкина — парень законный, плавает как бог, куплеты про всех на шаланде сочинял. И вдруг такое:

Не будет чернее этого времени.
Но разве допустим,
 народы Земли?!
Потомки скажут:
 более дикого племени
Материки никогда не несли.

Баныкин в последний раз взмахнул рукой, сотрясаясь от пафоса, и застыл. Ему вяло похлопали, и занавес стал сдвигаться. Вышел курчавый человек в чесучовом пиджаке и заговорил о расцвете художественной самодеятельности. За его спиной, скрытый занавесом, струнный оркестр настраивал инструменты, и в зале нетерпеливо ерзали. Баныкин, стоя в двери зала, кого-то высматривал, увидел Лешку, поманил его.

— Пошли, а? — Он был расстроен холодным приемом, но старался не подавать виду, помахи́вал соломенной шляпой, что-то напевал.

Лешка протянул ему сигареты, молча, с интересом разглядывал его сбоку.

— Ну, рассказывай! — сказал Баныкин.

— А чего рассказывать?

— Про свои дела рассказывай. Мне, например, этим летом поплавать не придется — не отпускают с завода. А ты как живешь, как здоровье? Школу кончил? — Он задавал вопросы, но было видно, что думает он в это время о чем-то своем.

— Здоров, что мне делается. А школу я бросил.

— Это мода теперь такая пошла. Ты тоже, значит, подался.

Лешка не возражил.

Они вышли на «топталовку». По проспекту катила свадьба, и люди, высыпавшие погулять в субботний вечер, с любопытством толпились у края тротуара. В головной машине ехали жених и невеста, за ними еще десять легковых машин, и в каждой за стеклами — букеты цветов, а позади громыхал грузовик, и в кузове его, опоясанный полотенцем дружка и женщины в ярких лентах производили под гармонь невообразимый шум — плясали, стуча о дно кузова, и пели.

— Цыган женится. Либо грек, — громко сказал кто-то из толпы.

Баныкин докурил сигарету, рассеянно надел соломенную шляпу слегка набекрень.

— Я у них заместо торжественной части, — сказал он, не скрывая больше огорчения. — У зрителя только одно стремление: давай побыстреей и отчаливай. Не слушают...

— Слушали,— неуверенно сказал Лешка.

Он боялся, Баныкин пристанет к нему: каковы впечатления, то да се. Он не мог бы сразу объяснить. У него сейчас целый вихрь в голове, и мысли насакакивают одна на другую. И вообще лучше не разговаривать, молча идти и идти с Баныкиным вроде как вчера на заводе, когда несли трубу.

— А как на заводе? Аварию ликвидировали?

— Ну да. За восемнадцать часов справились. Спать, правда, не пришлось.

Свадьба развернулась на площади вокруг сквера и покатила вниз по проспекту, мимо недостроенного театра, в последний раз показывая себя народу.

По опустевшей улице вслед укатившей свадьбе промчался спортсмен-велосипедист, припав к рулю, весь слившись со своей гоночной машиной. Казалось, он мчится на одних никелированных спицах.

У Лешки дух перехватило. До чего же здорово едет!

Он посмотрел на Баныкина. Тот и внимания не обратил на велосипедиста.

— Ты-то меня слушал? — настороженно спросил он.

Лешка кивнул головой.

— Ну как? Только, знаешь, давай по-честному, без вранья.

— Мне понравилось. Только много общих слов и, по-моему, не всегда складно...

— Так что же понравилось? — обидчиво вскинулся Баныкин.

Лешка и сам не знал. А все же что-то понравилось.

Он отмолчался, и Баныкина, как видно, это заело.

— Пивка б раздавить, что ли,— плохо скрывая досаду, сказал он.

— У меня ни шиша.

— Не в том дело. У меня есть.

Ресторан для этой цели не подходил, а больше вроде бы некуда поехать в такой час.

— Голова гудит от мыслей. Поговорить надо,— сказал Баныкин.— Сюда, что ли, зайти?

Они поравнялись с кафе-молочной, раскинувшей свои столики на тротуаре, за невысокой деревянной загородкой, перешагнули загородку и сели у накрытого клеенкой столика.

— Ты сиди. Я сейчас, мигом.— Баныкин ушел в павильон и вернулся с двумя стаканами сметаны, накрытыми сдобными булочками.

— Тут, брат, не разживешься.— Он снял соломенную шляпу и бережно опустил ее перед собой на стол, отстегнул запонки, спрятал их в карман и закатал рукава.

Ели сметану, кроша в нее сдобную булку.

— Я вот о чем думаю,— сказал Баныкин.— Не растормошил, не зажег зал. Значит, слаб. На них Маяковского напустить надо было. Лично для меня каждая строчка его — золото. Я Маяковского так читаю, что со мной никто в городе тягаться не может. А между прочим, люди его тут не все любят. А как у вас на производстве обстоит с этим?

— В норме,— сказал Лешка.

Баныкин посмотрел на него, что-то соображая, и смутился.

— Ты ведь на завод к нам устраиваешься, я и забыл. Берут тебя?

— Еще не дали ответа.

— Вольнят. А ты чего же? Напористей надо. А пока, значит, дела у тебя нет. Так?

Лешка кивнул и даже не удержался — присвистнул. Одно только дело у него — вывезти эти несчастные обрезки. Ему надо еще сегодня побывать на Торговой. Не в учебном комбинате, куда посылал его Матюша.

Туда он не пойдет. Этого им не дожидаться. На чужом месте он не рассядется ради их покоя. Ему надо к возчику зайти окончательно договориться.

— Паршиво это, когда нет дела.

— Хорошего мало.

— Я тебя понимаю лучше, чем кто-либо. Понял?

Банькин сказал это искренне, но как-то размашисто. Лешка молчал.

— Ты что-то не в себе,— сказал Банькин.— Не в своей тарелке, что ли. Когда на шаланде работали, вроде ты другой был. Парень как парень.

— Господи, чего вспомнил, когда только это было.

— Ну уж! Всего год назад было. Неужели ничего и не помнишь? Хотя б ту ночку, когда шаланду в море накрыло.

— Еще бы.

Но когда вспоминаешь про это, становится больно отчего-то. Лучше не вспоминать.

На тротуаре, почти рядом с их столиком, отделенные от него только загородкой кафе, стояли красные автоматы с газированной водой. Сюда раз десять в день бегают пить Жужелка.

— Ты с родными живешь? У тебя кто — мать, отец?

— Ну мать. И отчим.

— А товарищи-то у тебя есть? Ну хоть один верный друг?

— Верных друзей только в кино показывают. Красиво! — огрызнулся Лешка. Его коробило от простоватых вопросов Банькина.

Он подумал, что Лабоданов и Матюша с матерью в чем-то схоже смотрят на жизнь. Только подход у них разный и разные слова. И это открытие почему-то задело его.

— Ты что, брат, в растерзанных чувствах?

Лешка ничего не ответил. На шаланде два месяца вместе работали и близко не сходились, даже после той штормовой ночи. Чего ж теперь ему надо, чего лезет в душу?

Он поставил локти на стол, сказал медленно, твердо:

— До меня никому дела нет, и мне ни до кого.

— Ну, ну,— произнес Банькин с недоумением.

— До меня — никому! — упрямо повторил Лешка. И пусть Банькин не притворяется, не делает вид, что это не так.

— И тебе?

— Да и мне ни до кого.— Сказал и осекся, будто натолкнулся на что-то жесткое.

Банькин с шумом отодвинулся от стола, смотрел на Лешку, точно видел впервые.

— Вот так ты, значит, живешь,— враждебно сказал он.— Тут подлостью пахнет! Понимаешь ты это или нет?

— Я сказал, что думал. И нечего орать на меня.

— Не переносу. Такие убогенькие сами, и представления и чувства такие жалкие. А пыжатыся, точно сотворяют мир. Не терплю! — Банькин пристукнул кулаком по столу и наклонился к Лешке. — Вот таких, как ты!

— Свирепо! Можешь это про себя держать. И вообще я тебя просил — не ори! Сделай одолжение.

— Вот, выходит, и надо стихи сочинять. И читать надо. Ничего не поделаешь! Ни на минуту вам покоя нельзя давать. Маяковский не дождал до наших дней — до этой атомной бомбы и всякой дряни. Приходится за него. Понимаешь? Приходится! Пока не перевелись такие, как ты. Где только вы живете? Вас точно ничего не касается.

— Ну это ты брось.

— Сам же признался.

Банькин успокоился, чиркнул спичкой, закурил, спохватился:

— Я тебя не обидел?

— Да нет.

— Может, еще сметаны возьмем? Ты не торопиться?

Лешка пожал плечами — куда ему торопиться. Впрочем, пора было отправляться на Торговую. Вдруг возчик заваливается рано спать.

В эту минуту он увидел Жужелку. Он много раз ошибался, принимая за нее проходивших мимо девушек, и теперь даже не поверил, что это она. Он смотрел, как она приближалась, не замечая его.

— Клена!.. Я сейчас,— сказал он Банькину и перешагнул загородку.

Жужелка остановилась в замешательстве.

— Я весь день зубрю,— издали громко заговорила она, предупреждая его расспросы.— Я только выпить вышла.

Она вымыла стакан под струей воды, опустила в автомат мелочь. Стакан, пенясь, наполнился. Жужелка протянула Лешке стакан.

— Пей.

Он отпил немного и отдал стакан ей.

Банькин крикнул, чтобы они шли к столику, и сам нетерпеливо перелез загородку и, подойдя к ним, протянул Жужелке руку:

— Банькин.

— Клена,— сказала Жужелка и поставила на место стакан.

— Посидите с нами. Сделайте нам такое одолжение,— учтиво сказал Банькин.

Они втроем опять пошли в кафе. Вокруг все столики были заняты, но на их столике красовалась соломенная шляпа Банькина, и на него никто не покушался.

— Негде посидеть вечером трудящемуся человеку. Не тянуть же девушку в шашлычную. Придется вам сметану есть. Не откажетесь?— громко говорил Банькин, не спуская глаз с Жужелки, и, не слушая ее возражений, ушел в павильон.

Жужелка водила пальцем по клеенке, стараясь не смотреть на Лешку.

— Кто это? — спросила она и на секунду встретилась глазами с Лешкой, и взгляд у нее исподлобья был робкий, виноватый.

— Это мой товарищ.

Она опустила голову. Черные колечки волос лежали на шее, на ключицах, виднеющихся в широком вырезе белой кофты.

— Клена!

Она еще ниже опустила голову, не отозвавшись.

— Клена, ты слышишь?

Она подняла голову и с тревогой смотрела на него, подперев ладонью щеку. Вдруг она спросила:

— Ты оформился на «грязнуху»?

Он не ответил. Ей-то что? Не ее это забота.

— Тебя взяли, Леша? Чего ты молчишь?

Вернулся Банькин, радостно неся мороженое в металлических вазочках.

— А я совсем ведь забыл про этот продукт. Ну просто вывалилось из головы.

Он поставил вазочки на стол и одну протянул Жужелке.

— «Гриша»,— прочла она вслух татуировку на его руке.

— Гриша и есть,— широко улыбаясь, покраснев, повторил за ней Банькин. Он пододвинул вазочку с мороженым Лешке.— Давайте на спор, кто быстрее съест. Кто раньше съест, тому еще одна порция причитается. Идет?

И они оба с Жужелкой заспешили, обжигаясь холодным мороженым и смеясь. Лешка, точно откуда-то издалека, слышал, как Баныкин спросил Жужелку, какое мороженое она больше всего любит, и Жужелка, подумав, сказала: «Крем-брюле». Потом они опять спохватились, что у них ведь спор, кто съест раньше, и опять заспешили, и Лешка видел, что Баныкин только прикидывается, что спешит, а сам ест понемножку, смотрит на Жужелку и тает, как мороженое в вазочке.

«Уеду,— думал Лешка.— Теперь уже совсем скоро. Вот получу деньги и уеду. Куда-нибудь далеко-далеко...»

Она сидела рядом, нагнув голову, а он смотрел на прямой пробор, рассекающий ее темные волосы, и думал о ней грустно и нежно, будто уже уехал и они расстались навсегда.

2

Жужелка спала во дворе возле крученого паныча. Она лежала на спине, подложив под затылок руку. В голове мешались мысли. Виктор Лабоданов, Лешка. В небе недвижно стояли звезды. Все было спокойно. Иногда гавкала собака. Слышно было, как работают станки ночной смены в «Вильна Праця». Над тихим городом, как пульс его, повис ритмичный звук скользящей вверх и вниз вагонетки и протяжное «жи-их!», когда вагонетка сбрасывала в домну шихту. Кто-то шел по двору тяжело и нетвердо, цепляясь за булыжник.

Когда Жужелка опять открыла глаза, звезды погасли, небо просветлело. Она еще раз заснула и проснулась оттого, что ее теребили за плечо.

— Клена, а Клена, уже время.

Это будила ее Полинка. Она открыла глаза и села. Черепица на соседнем доме уже зажглась от солнца.

— Ну как, поехали? А то у меня время в обрез, по минутам рассчитано.

Полинка была сама не своя, в новом, сильно накрахмаленном ситцевом платье.

Жужелка быстро влезла в юбку и кофточку, достала из-под изголовья учебник, скатала постель — мать встанет, заберет постель в дом.

Они помчались. У Полинки в самом деле в обрез времени, ей скоро заступать на смену.

Водитель трамвая — нарядная женщина с сонными глазами, в длинных серьгах. Пахнет клубникой — это везут на базар ягоды в лукошках, обвязанных лоскутом.

Переехали мост, и скоро за рекой в степи начался новый город.

Полинка нетерпеливо высовывалась в окно. Вдруг вскочила, потянула Жужелку.

— Скорей же. Скорей!

Пока протиснулись, трамвай тронулся.

— Прыгай! — закричала Полинка и первая спрыгнула на ходу.

Трамвай круто затормозил, женщина-водитель посмотрела на них сонными глазами и сердито помотала серьгами.

— Бежим, бежим! Скорей же! — волновалась Полинка.

Они куда-то побежали по нерасчищенной строительной площадке. Повсюду, куда ни глянь — движутся над городом, над шиферными крышами подъемные краны. Переваливая через груды строительного мусора, обошли вокруг дома, казавшегося совершенно готовым.

— Вот тут.

Они остановились и стали пятиться, задрав головы, и пятились, пока им не стал виден самый верхний этаж. Полинка про себя отсчитала и сказала вслух:

— Вон на самом верху шестое окно с того края. Поняла какое?

— Ой, как здорово!

— Вон какая верхотура.

— Ой, Полинка, с такой верхотуры у тебя теперь море будет прямо как на ладони. Подумать только...— Жужелка порывисто пододвинулась к ней. Полинка стояла, как истукан, не отрываясь от окна.

— О, господи,— сказала она, посуровев от волнения.— Значит, здесь буду.

И вдруг она сказала, обратив к Жужелке строгое лицо:

— Я ведь замуж выхожу.

У Жужелки даже захолонуло внутри.

— Ой, Полинка, что ты говоришь!

Они неловко замолчали.

— Ты только никому ни слова, слышишь?

— Угу.

После ее признания Жужелке страшновато было прямо взглянуть на Полинку.

— А то начнут болтать безо времени. Волнуюсь я.

Они стали вспоминать, как старуха Кечеджи, ни разу не побывавшая здесь, когда ей рассказывали о строительстве на левом берегу, качала в волнении головой, приговаривая: «Встали бы наши мертвые и поглядели бы...»

Они пытались подражать ее голосу, произнося эти слова, и качали головами, и это их рассмешило, они стали смеяться и не могли остановиться, и Полинка запрокидывала голову и хотела до упаду.

Жужелка смутилась, почувствовав вдруг, как Полинка счастлива и довольна своей судьбой.

Полинка заторопилась на завод, и Жужелка проводила ее до трамвайной остановки, а сама пошла вдоль линии.

Широченные улицы, кинотеатр в глубине парка за пирамидальными тополями, трамвайный путь, мчавшийся на взгорье к горизонту,— этот размах нового города радостно захватывал дух.

Жужелка незаметно прошла несколько кварталов, ее нагнал трамвай, и она села в него. И всю дорогу, пока трамвай вез ее обратно в старый город, минут десять, она чувствовала себя беспричинно счастливой, и ее даже не страшил предстоящий экзамен.

Было еще рано, и навстречу катили автобусы с рабочими утренней смены. На углу улицы Артема Жужелка сошла. Она перешла на другую сторону и спустилась в подвальныйчик, над которым маячила вывеска «Вино».

Матери за стойкой не было. Два посетителя в рабочих спецовках пили вино у прибитого косячком к стене столика и закусывали пирожками с повидлом. Жужелке страшно захотелось есть. Она приподняла марлю, взяла из вазы пирожок и пошла за перегородку.

Мать, стоя над бочонком, отбивала пробку. Она глянула на Жужелку.

— Я пирожок взяла.

— Вижу.

Мать ударила тяжелым камнем сбоку по пробке, и пробка наконец отлетела. Она подняла пробку и заткнула отверстие, чтобы не расплескать вино. Жужелка положила учебник и стала помогать ей. Они подтащили бочонок к перегородке.

— Мама,— робко сказала Жужелка.— Я похожа на гречанку?

Мать подняла лицо, сердито поправила на голове накрахмаленную наколку.

— Ты чего явилась? Тебе делать нечего? А готовиться за тебя кто, Пушкин будет? Ты учишь химию?

— Да,— неуверенно сказала Жужелка.

— Девушка! — позвали из-за перегородки.

Мать вынула из бочонка пробку и надела на отверстие шланг, закрепленный в стене.

— Ты же сама говорила, что я — вылитый Федя...

— Ну и что? — Она разогнулась и посмотрела на Жужелку внимательным сумрачным взглядом.

— Скоро, что ли? Девушка!

Мать пошла, шлепая разношенными тапочками.

— Терпения ни у кого теперь не стало,— громко сказала она, становясь за стойку.

— А что, Дуся, самообслуживание, что ли?

— Как же, чего захотел! Вас только допусти сюда, как козлов в огород.— Она взяла протянутые ей пустые стаканы.— Повторить?

Открыла краник, и из прибитой к стене львиной пасти, сделанной из рыжего самоварного золота, полилось вино. Оно лилось через невидимый шланг, из бочонка, стоящего по ту сторону перегородки.

Мать завернула краник над львиной пастью, отдала наполненные стаканы. Скрестив на груди голые руки, она молча смотрела на Жужелку.

Двое посетителей в спецовках пили вино и громко разговаривали между собой, не стесняясь в выражениях.

— Полегче! Эй вы! — крикнула им мать. Она опять взглянула на Жужелку, уплетавшую еще один пирожок с повидлом, и вспылила: — А ты чего стоишь! Не место тебе тут. Убирайся! Сейчас же.

Жужелка потеряла сладкие ладони одну о другую и, прижимая локтем учебник, вприпрыжку направилась к лестнице, ведущей из подвального наверх, на улицу.

Раз — ступенька, два! Ситцевая короткая юбчонка, стройные ноги, открытые до самых колен, широкий пояс туго стянут на талии.

Три — четвертая ступенька! По шее на ворот белой кофты раскинулись черные волосы. Как выросла девчонка!

Пять—шесть ступенек! Вот и выросла... И уже по глазам видать, что на уме у нее.

— Клена!

Она скатывается вниз по лестнице и стоит покорно перед матерью, ждет, за что еще та станет ее отчитывать.

...Выросла девчонка. Все залаталось вокруг, и опять для всех хватает парней. Слава богу. Будто и не было войны. А что ее любовь оборвалась в самом расцвете, в молодые годы, что она свое недолбила — это ладно, да? Никого не касается.

Она смотрит, насупившись, в зеленоватые глаза Жужелки и медленно кладет ей руку на голову. Уж не тебя-то по крайней мере. Ты-то тут ни при чем.

Мать гладит ее по волосам, ничего не говоря, и Жужелка стоит по-нуру, будто понимая все, а на самом деле — лишь самую малость.

— Ну, иди.

— Ладно, мама.

— Весь день чтоб учила химию. Молока поешь. И не отрывайся никуда. Поняла? В обед приду — проверю. Чего ж стоишь?

И опять замелькали ее ноги. Короткая ситцевая юбчонка. Черные колечки волос прыгают на плечах. Пропуская ее, колыхнулось в открытых дверях полотнище от мух и, покачиваясь, встало на место, загордив улицу, по которой она сейчас идет.

Девчонка, родившаяся в подвале, на ящиках, под вой промчавшихся мотоциклов, грохот танков, пальбу автоматов.

Есть ли молоко или нет его, есть ли сухая тряпка... Ни на что не надейся. Замолкни. Не накличь беды. Не дыши. В затаившемся городе тишина. Страшно.

Федя пробрался к ним из партизанского отряда, оглядел подвал, уставился растерянно в ящик, где шевелился, дышал живой комочек. Забыл, что хотел сына. Не все ли равно. Нагнулся над ящиком. торопливо, неуклюже взял на руки. Подержал. Раз только. И все. И уже надо идти куда-то в темь, слякоть, туман.

Вот и все. Стоит теперь новый мост через Кальмиус — кто ж его не знает. Ходят, ездят люди, ни о чем таком не думая. А ведь тут в октябре на старом деревянном мосту ради того, чтобы не прошел немецкий транспорт с рудой, оборвалась молодая жизнь Федеи.

Он упал в воду в том месте, где теперь поднимается из реки на сваях огромный цветной щит «Храните деньги в сберкассе» и мальчишки, закатав штаны, сидят весь день с удочками на перекладах свай.

3

Еще не было двенадцати, когда Лешка, топтавшийся у ворот, выходящих на Кривую улицу, услышал тарактеные повозки. Возчик, разглядев подбежавшего Лешку, придержал своего непрыткого ишака и крикнул:

— Садись. Куда поедем?

Лешка вздрогнул от его крика; казалось, проходящие по улице люди и те, что за окнами, слышали его.

— Здравствуйте, — тихо, почти шепотом сказал он, подойдя вплотную к повозке. — Я-то ждал вас так через полчаса, не раньше, как угорворились.

— Здрасте.

Возчик сидел на повозке в соломенном брыле и в ватной телогрейке, хотя вечер был на редкость теплый, душный, и жевал калорийную булочку.

— Это я на всякий случай заранее вышел, смотрю: вы едете.

— А чего ж временить. Отвез. куда надо, и к стороне.

— Ладно, ладно, чего там. Полчаса не играют, конечно, роли. Я счас, минуточку.

Он нырнул в ворота. Во дворе вроде тихо. У старухи Кечеджи ставни закрыты — спят. Свет горит в квартире Игната Трофимовича и тускло, но все же светится в домике у Полинки. Возможно, она еще не вернулась с гулянки, и мать ее прикрутила фитиль керосиновой лампы, дремлет, ожидая ее. Еще бы с полчаса, и все бы уже дрыхли намертво. И чего он прикатил раньше времени?

Лешка обошел вокруг кучи обрезков, приподнял прикрывавший ее железный щит, подтащил его на высоту груди, приналег всем телом и толкнул — щит, колыхнувшись, пошел вверх, ударился о стену, еще раз качнулся, сотрясаясь и издавая ужасный грохот, и привалился к стене.

Лешка съежился, затаив дыхание, пережидая. Шум железа замер. По-прежнему было тихо, так тихо, что Лешка услышал, как стучат по соседству в «Вильна Праця» станки и журчит вода, сочившаяся из неплотно прикрытого крана водопровода.

Он выглянул за ворота.

— Давай!

Дремавший сидя возчик сполз на землю и стегнул ишака. Не успела повозка, отчаянно тарактя, въехать в ворота, как на нее с лаем кинулся черный кобель Игната Трофимовича.

— Султан, назад! — пугаясь своего голоса, прикрикнул Лешка. — Кому говорят, Султан!

— Уймись, чучело! — сказал возчик и добавил матом.

Пес насккивал то на возчика, то на ишака, и несчастное животное вяло пятилось. Это было какое-то проклятье — сию минуту все повискочат на этот бешеный лай. Вне себя Лешка кинул в него камнем, Султан отскочил и издали еще упорнее облял их. А за белыми ставнями у старухи Кечеджи ему беспокойно отозвалась Пальма.

У Лешки руки тряслись, когда он ухватил обрезки и потащил их, волоча и громыхая по земле, на повозку. Спихнулся — ведь припас старые варежки, достал из кармана, надел — рукам стало легче. Он торопился, как только мог.

— Тут за два раза не управиться, — сказал возчик.

— Тише.

— Чего тише? На две повозки не погрузить, говорю.

— Да ладно, сколько уместится. Только тише, а то людей перебуди.

— А коли белый день тебе мал, так чего же... — Он отошел.

Стало заметно светлее. Фонарь над уборной светил и так более чем достаточно, а тут еще вышла из-за туч луна.

Попробовал еще раз сунуться Султан, но Лешка потрепал его по шерсти и отогнал, он утихомирился, улегся неподалеку. У Лешки мелькнуло в голове: вот почему его на это дело подбили. Из-за собак он им и понадобился.

Он перетаскивал обрезки. Он старался набрать те, что покороче и не будут волочиться по земле, и нес их, прижимая к себе. Если удавалось поднять и дотащить охапку обрезков почти бесшумно, то, когда укладывал обрезки на повозку, они отвратительно звякали.

Лешка, Лешка, давно ли ты собирал металлолом с пионерским отрядом, а теперь куда-то воровски волочишь эти несчастные обрезки!

— Ну как, справляешься?

Он вздрогнул: он совсем забыл о возчике.

— Я никогда не подсобляю. Если б подсоблял, я б озолотился. Однако воздерживаюсь. Здоровье не позволяет.

Теперь возчик ходил следом за Лешкой, заткнув кнут за голенище сапога, чиркал спичкой, раскуривая папиросу, и громко говорил о том, что врач ему строго-настрого запрещает курить, а то он помрет.

— А я говорю, — громко сказал возчик, — когда-нибудь придет та минута.

Лешка озирался. Двор — проходной, и в те и в эти ворота могут войти. Или кому-нибудь взбредет в уборную из дому выскочить.

Попробовали б они, Славка и Лабоданов, сейчас тут вместо него крутиться. Еще черта с два бы справились.

Он тащил, и длинные обрезки волочились по земле, гремя, и Лешка продолжал остервенело тащить их, а этот никчемный тип — возчик — стоял, как истукан, вместо того, чтобы помочь. У него зло мелькнуло: втравили его в это дело, а сами за его спиной готовятся урвать деньги, попользоваться. Но некогда было сейчас об этом думать.

Где, когда он испытал такое же вот отчаянное напряжение? Ну да, в море, когда налетел шторм и шаланду тряхнуло... Но тогда было совсем по-другому...

— Может, все уже? — спросил возчик; он жалел ишака.

Но Лешка добросовестно наполнял повозку. Ну, теперь все. За кучей обрезков у стены он достал заранее припрятанное старое, драное одеяло, накрыл воз.

— Ну, теперь все. Поезжай! — Возбужденно махнул рукой.

Возчик мочился, зайдя за повозку. Он равнодушно обошел воз, потыкал в одеяло кнутовищем.

— Поезжай! — нетерпеливо приказал Лешка.

Они выехали на улицу, и Лешка почувствовал невероятное облегчение. Но тут же с повозки, вздрагивающей на булыжнике, стали валиться обрезки, и Лешка бросился поднимать их.

— Перевязать надо было. Бестолковщина! — ругался возчик.

Возчик остановил ишака. Они подоткнули со всех сторон одеяло, и возчик, ворча и вздыхая, жалея ишака, уселся на повозку и велел влезть Лешке. Лешка влез и не сел, а лег животом на одеяло и, не обращая внимания на то, как впивались железные обрезки, прижимал груз всем телом, придерживал руками.

Ишак плелся страшно медленно. Слева над крышами, нагоняя их, бежала луна, скошенная на четверть. Лешка видел ее, повернув набок голову. У него не было ни одной мысли в голове — только острая, обжигающая тревога.

Возчик разговорился. Он жаловался на ишака: купил, чтобы иметь приработок, а прокормить его оказалось накладно, да еще фининспектору плати.

Лешка вдруг вспомнил: не навалил мусор поверх железа, как учил его Славкин знакомый, когда договаривались обо всем, а теперь, если отвернуть одеяло, сразу видно, что везут.

Сворачивали на Торговую. Здесь, слава богу, асфальт. Повозка мягко пошла под гору. Только бы проехать благополучно. Во второй раз он сделает все как надо, как его учили: завалит обрезки сверху мусором, чтобы в случае чего мог сказать: вывозит мусор на свалку. А ему-то казалось — пустячное дело.

Звякнуло о мостовую упавшее железо.

— Езжай! Не останавливай. Езжай!

— А чего так гнать?

Разве объяснишь? Все время надо быть начеку, хитрить, не подавать виду. Случись что — пропадешь с ним запросто.

Только бы проехать улицу. Там у поворота на мост к заводу всегда болтаются комсомольские патрули. Еще остановят, чего доброго. Было жутко, и в голову бог знает что лезло.

В домах большей частью было темно. На улице попадались лишь немногие прохожие. В каждом из них Лешке чудился патруль.

Неожиданно загудело на металлургическом, и Лешка невольно прильнул лицом к одеялу. Гудок, сначала слабый, тревожно разрастался, расплывался над городом, с резким характерным подвыванием.

Повозка стала.

— Ты чего? — спросил Лешка.

— Не слышишь? Гудит безо времени.

Возчик повернул голову к заводу, откуда властно, неся тревогу, рвался гудок. Редкие прохожие останавливались и тоже смотрели туда, захлопали кое-где ставни, люди высовывались из окон.

— Поезжай, дяденька, — просил Лешка. — Ладно, чего там, без нас разберутся.

Возчик не трогал с места.

— Не слышишь, что ли, воздуходувка воеет. Наверно, воздух не пошел в домну...

Они поволоклись дальше. Кончилась улица, и город оборвался. Они продолжали спускаться вниз, теперь уже по выбитой дороге, между молодыми садами; скошенная луна бежала за ними. Лешка вдруг почувствовал себя невыразимо одиноким и чужим всему на свете — и этой домне, так тревожно, щемяще гудевшей, и яблоневым деревьям сбоку от дороги... Что он тут делает на этом возу, куда едет?

Возчик что-то монотонное говорил о себе, о том, что работал на заводском транспорте, пока не получил язвы, и с тех пор вот сидит на инвалидности. Лешка не слушал. Ныло расслабленное тело, впивалось железо. Впереди по косогору уже лепились побеленные, залитые светом луны домики — начинался Вал, отросток города, слободка. Они сошли и, подталкивая воз, помогали ишаку карабкаться на подъем.

Гудок смолк. Втянулись в тесную улочку. Такие же побеленные домики под черепицей-татаркой, как в старом городе. А за ними пустырь. Глухо тут ночью.

«Ремонт велосипедов...» Сюда, значит. Лешка обогнул дом, вошел во двор и сразу понял: его ждут. Кто-то выдвинулся ему навстречу от крыльца, заслонив кого-то другого, шарahnувшегося в дом. Здоровый мужик в военном галифе и сапогах.

— Кто тут?

— Мне тут дядя Саня нужен, сторож...

— Привез, что ли?

Деловитый, спокойный вопрос. Голос немолодой, надтреснутый. Лешка представлял себе сторожа ветхим старичком, а этот верзила какой-то.

Они вместе вышли за ворота, подогнали повозку во двор к сараю. И пока разгружали, а появившаяся женщина в фартуке, должно быть, жена дяди Сани, стала помогать так расторопно, хозяйственно, спокойно, так мирно, точно Лешка привез уголь или картошку, и возчик не удержался, тоже стал понемножку перетаскивать обрезки в сарай, и вместе они в два счета разгрузили повозку, — пока это длилось, Лешке все время казалось, что это происходит не с ним, а он видит все это в кино. И весь его путь сюда и погрузка показались ему совсем несложным, неопасным делом.

— Маловато. Еще разик, значит!

Лешка сразу пришел в себя. Ему вдруг показалось неправдоподобным, что этот грубый, здоровенный человек, приземисто стоящий перед ним, широко расставив ноги в сапогах, отвалит ему деньги за такое пустяковое дело. Да он вытолкает его в шею, как только Лешка привезет второй воз. И он вдруг, ощутив в себе глухую решимость, шагнул к нему и, немного стыдась, хмуро проговорил:

— Мне тут получить надо...

Сторож помедлил, глядя на него.

— За полдела не спрашивают.

Женщина отряхнула фартук и исчезла. Лешка не двигался с места, и сторож сделал знак головой, чтобы он шел за ним. Он вошел за ним в дом и в освещенных сенях увидел большое мучнистое лицо, цепкие глазки, вдавленные под нависшие веки. Он был куда старше и не так крепок, как это показалось в темноте, а скорее тучен. И все-таки это не был сторож. Ряженный какой-то, подставное лицо.

Сторож сказал, вразумляя, отечески, с одышкой произнося слова:

— Большое дело начинаем, не к лицу мелочиться.

Он достал из кармана галифе деньги, сто рублей. и протянул Лешке.

— Половина. На вот. Поторапливайся со вторым возом, — сухо добавил он.

Лешка торопливо пошел, унося в кармане деньги.

Во дворе за их отсутствие особых перемен не произошло. Зияла под луной развороченная куча железных обрезков. У Игната Трофимовича свет погас. В Полинкином домике все еще светилося окошко. Под ака-

цией стоял «москвич» — значит, шофер прикатил ночевать к матери Жужелки.

Лешка принялся за погрузку проворнее и смелее прежнего. В случае чего, если кто вылезет во двор, как-нибудь отбрешется. Его радовало, что он выдрал деньги у толстого воротилы, пусть только попробует не заплатить сполна.

— Чего стоишь? Помоги! Быстрее кончим,— напористо сказал он возчику.

И возчик послушался, стал грузить.

За белыми ставнями у старухи Кечеджи вдруг залаяла Пальма. Лешке послышалось — кто-то идет по двору. Он перестал грузить, прислушался. Шаги то приближались нерешительно, то замирали вдруг. Лешка пошел навстречу и увидел Жужелку.

— Что ты тут делаешь? — сонно спросила она.

— Не ори! — Он старался заслонить собою повозку.

— Я не ору.— Она смотрела с недоумением на его всклокоченную голову. Он был в старой рубашке, которую обычно не надевал.

— Что ты делаешь, правда, я не пойму?

— Ничего особенного. А откуда ты взялась?

— Ниоткуда. Я тут сплю. Проснулась, слышу — какой-то шум.

Жужелка ежилась, ссутулила плечи, стесняясь того, что она в неподпоясанном платье, с нерасчесанными волосами, и украдкой смотрела через его плечо на ишака с повозкой, на развороченную кучу железного хлама.

— Одно тут дело. Это тайна. Только ты ничего не видела. Поняла? — возбужденно сказал он.

Мерзкая Пальма не переставала лаять за ставнями. Возчик громко ворчал и без дела топтался у повозки.

— Не пойму ничего,— сказала Жужелка.

Под ее испуганным взглядом он показался себе необыкновенно сильным и мужественным. Ласково и твердо он взял ее за руку.

— Иди спи. Считай, что все это тебе приснилось.— И вдруг почувствовал: если она сейчас не уйдет, он поцелует ее.— Уходи! — настойчиво приказал он.— Иди, иди. И не оборачивайся.

Он вернулся к повозке, ошеломленный, взбудораженный только что пережитым.

Гнусная собака Пальма, чтоб ей сдохнуть, лаяла, надрываясь, уже осипла совсем.

— Ну, кончай,— сказал он помогавшему ему опять возчику, хотя повозка была нагружена на этот раз не полностью.— Сойдет!

Он вспомнил про мусор и стал перетаскивать всякую дрянь прямо из мусорного ящика и бросать на повозку. Потом накрыл все одеялом. Сорвал бельевую веревку, оставленную на ночь Полинкиной матерью, и стал перевязывать воз.

Еще порядочная куча обрезков оставалась на прежнем месте. Он опустил тяжелый железный щит, придавил развороченную кучу — и опять все как ни в чем не бывало. Поехали!

Повозка тронулась, и ее тарахтенье заглушило быстрое шарканье по двору стоптанных туфель старухи Кечеджи.

Разбуженная Пальмой, старуха Кечеджи — ей всегда чудились воры, — пожалев будить дочь, выскользнула за дверь и, трепеща от страха, считая, что каждую минуту ее могут убить, выглядывала из-за кустов. А когда ишак потянул повозку со двора, она опомнилась, зашпешила.

— Соседка! — стучала она в окно Лешкиной матери и, сложив козырьком у рта ладони, звала: — Соседка! Выйдите сюда поскорей!

Улица совсем опустела, темно в домах. Лешка шагал за повозкой. Завтра он явится к Лабоданову и небрежно скажет им со Славкой: все в полном порядке. Очевидно, надо будет выпить. Без этого такие дела не делаются.

Двести рублей — это же независимость от матери и отчима. Езжай, куда вздумается. У него никогда не было таких денег. Он накупит Жужелке мороженого всех сортов. Она сказала, что любит крем-брюле. Крем-брюле так крем-брюле.

Да если бы все это нужно было делать не для «дяди Сани», а для Жужелки, он еще не такое бы оторвал.

Свернули на Торговую. Повозка покатила быстрее, и Лешка едва успевал за ней. Здесь фонари были расставлены чаще. И по освещенной безлюдной улице, под громкое цоканье ишачьих копыт он спешил за повозкой, как заправский ворюга.

С каждым шагом надвигалось все ближе гигантское дыхание завода, так странно ошугимое ночью.

— Садись, — сказал возчик, натянув вожжи, придерживая ишака.

Лешка сел. Возчик стегнул ишака, и тот потянул живее по спускавшейся вниз улице. Миновали поворот на мост, к заводу — самое опасное место. Дома пошли реже. Вот бывшая школа, каркас без крыши, без полов, — руины, оставшиеся еще с войны... Кончалась улица.

Кто-то поднялся со скамейки у забора. Двое. Два темных силуэта под луной на краю тротуара. Вразвалку, руки в карманах, один из них направился по мостовой, преграждая дорогу ишаку.

— Стоп! Стоп! Эй, кому говорят, не слышишь?

Другой заходил за повозку.

— Попрошу на минуту сойти.

Это еще что за номер?

— Гриша! — опешил Лешка.

Это был он, Гриша Баныкин.

Лешка слез с повозки и голосом неподатливым, не своим, стараясь держаться развязно, сказал:

— Что это я тебя встречаю без конца? Куда ни пойду — ты тут. Только всегда при шляпе, а сейчас без...

Баныкин изумился:

— Это ты?

Он что-то сказал, но Лешка не расслышал и громко спросил:

— Ты откуда тут взялся?

— Что везешь, говорю? — натянуто, отчужденно переспросил Баныкин.

Второй парень подошел и стал с ним рядом, нахально светя в лицо Лешке фонариком.

— Мусор на свалку свожу. А что?

— Это ночью-то? — подозрительно спросил парень. — Чего ради?

— Попросили люди. — Он запыхался, точно бежал.

— Подрабатываешь? — спросил Баныкин. — Так, что ли?

Лешка мотнул головой, подтверждая. У него стучало в висках, а в груди металось что-то, точно он не стоял на месте, а бежал изо всех сил. Сейчас все обнаружится. Ему было мучительно стыдно перед Баныкиным.

— Ври, да лучше, — сказал равнодушно парень и потыкал палкой в воз.

Возчик, не разбирая, что происходит, всполошенно объяснял:

— По пятнадцать рублей сговорились. Ничего тут такого незаконного нет. Один конец туда и назад: время-то ведь какое — ночь. Люди спят, а я у сна отрываю, чтобы вот его прокормить, врага шелудивого. — Он тыкал кнутом в бок ишаку.

Банькин о чем-то посовещался с парнем, отойдя в сторону, и вернулся к Лешке.

— Ты не подумай ничего такого.— От его тихих и очень внятных слов Лешке стало не по себе.— Мы ничего такого не думаем... А только у нас есть задание. У нас тут комсомольский пост. Ты развяжи веревку.

Лешка сказал упрямо:

— Не буду.

С досадой, присвечивая карманным фонариком, Банькин отогнул одеяло, насколько позволяла перехватывающая его веревка.

Лешка застыл, не двигаясь с места, и Банькин стал шарить по возу и, должно быть, тут же напоролся на железо. Он крепко выругался.

— Тут ерунда какая-то навалена.

Подоспел его товарищ, тоже с фонариком.

— Да тут одно железо,— недоумевая, сказал Банькин.

Парень неуверенно протянул:

— Что-то не так.

Тут бы Лешке сказать: мол, это всего лишь хлам, тоже идет на свалку,— они бы и отстали. Его сковывало присутствие возчика. Спроси они у него, и все бы тут же обнаружилось. Но им это не приходило в голову — они были не очень ловки и расторопны. Обо всем этом Лешка сообразил много позже. А в ту минуту он почувствовал себя в ловушке. Он не сомневался — они все знают и хитрят только. Он молчал, точно все это его больше не касалось.

— Чего ты молчишь? Объясни же, что это еще за железо? Где рзьял? — твердил Банькин.

Лешка молчал.

Банькин еще раз взглянул на него, и Лешка почувствовал, как вражда разделила их, будто они совсем чужие, незнакомые люди.

5

Это было давно, когда он учился еще в седьмом классе. Однажды он выкинул такой номер: не пошел на воспитательский час, а поднялся на верхний этаж, вылез из окна лестничной клетки на карниз, обхватил водосточную трубу и стал по ней спускаться.

Когда поравнялся с окном своего класса, дотянулся ногой до рамы и постучал.

Первой кинулась к окну учительница Ольга Ивановна. Это она придумала тогда название их отряду — «Впередсмотрящий». Ребята не успели привыкнуть к такому громкому названию, а об отряде уже писали и в городе и в области. В дни дежурств по школе они старательно драили пол, терли окна. Вот и все их скромные доблести, но если б у них и вовсе не было доблестей, их придумали бы — таким притягательным оказалось само название отряда.

Лешка на уроках Ольги Ивановны стрелял бумажными голубями в девочек или играл с Длинным Славкой в морской бой. Раньше Лешка недолюбливал Славку, а теперь его привлекала Славкина беззаботность и пижонская манера одеваться. На переменах они, скрываясь в уборной, накуривались до одурения. А если случалось, что их застукивали, Лешка отправлялся к завучу и клялся, что курил он один, а Славка при этом только присутствовал. Славку жестоко драл отец, когда на него поступала жалоба из школы, и Славку надо было во что бы то ни стало выгораживать.

Так вот. Он постучал ногой по раме и вызвал страшный переполох в классе, а сам продолжал сползать вниз по трубе.

Вся школа поескакала на ноги. Старшеклассники старались пере-

хватить его из окон и кричали, что труба проржавелая, не выдержит. Но он отбилсЯ от них, хотя сам чувствовал, как труба трещит и крошится. Жуть брала. Для чего он это затеял? Неизвестно. Но его прямо-таки подмывало выкинуть что-нибудь такое. Наконец он благополучно спустился на землю, как раз на стыке здания школы с детской библиотекой.

— Ты, ты — бич класса! — кричала завуч, бледная от испуга и негодования.

Подбежала Ольга Ивановна, у нее дрожали губы.

— Ты ничего не повредил себе? Как так можно! Как можно! — Она была просто в отчаянии.

Дома была выволочка.

— Люди, которые противопоставляют себя коллективу... они не нужны нам. Это балласт! С такими людьми далеко не продвинемся.— Это говорил Матюша.

Лешка смотрел, как большое белое лицо его лиловело от негодования, и кусал губы.

И опять слово «неблагодарность» пошло гулять по двору. И опять при мысли, что у Матюши погиб на фронте единственный сын, Лешка чувствовал себя виноватым.

Что тебе надо? Чего ты хочешь?

Глава четвертая

1

Дальше все происходило так. Парень, который был вместе с Баныкиным, порывался доставить Лешку в милицию, а Баныкин сказал, что он сам разберется, а двоим с поста уходить нельзя.

Повозка со скрежетом развернулась — поехали назад. Возчик был вне себя, что втравлен, как оказалось, в грязное дело.

— Как же он меня... Никогда такого паскудства не возил.— Всю остальную дорогу он подавленно молчал. Иногда только забегал перед Баныкиным, тряся своим брылем.— У меня, товарищ, третья группа... Я по инвалидности...

Поднимались вверх по Торговой. Баныкин шел рядом с Лешкой за повозкой. Он был ошеломлен и торопливо объяснял, точно оправдываясь:

— Бандиты палатку на базаре обчистили. Рулоны мануфактуры. Сегодня повсюду на выходах из города комсомольские посты дежурят. И вот, пожалуйста, являешься еще и ты с какими-то грязными махинациями.

У Лешки все горело внутри. Мелькнуло в голове: как же ему удалось проехать в первый раз? И погасло. В милицию, значит, угодил. Наплевать. Накатывалась пустота. Он почувствовал, что измотан до предела. Будь что будет.

— И кому эта ерунда могла понадобиться?

Лешка тоже этого не знал. Во всяком случае он не собирался никого выдавать. Будь что будет.

— Тебе не совестно?

Баныкин спрашивал так осторожно и сокрушенно, точно имеет дело с тяжелобольным.

Лешка грубо ответил:

— Что я, девочка?

Баныкин дернул его за рукав, чтоб он остановился.

— Я сейчас взвинчен в высшей степени.— Они стояли друг против друга.— Я что-нибудь наделаю, потом не поправишь. Заявить недолго. Протокол составят — и хана, тогда привлекут. Мне во всем этом надо сперва разобраться.

Повозка медленно отъезжала от них вверх по улице, и расстояние между ними и повозкой росло, а Баныкин все еще тяжело раздумывал.

— Вот что. Завтра же, нет, день еще мне нужен. Значит, послезавтра ровно в девятнадцать ноль-ноль явись на то место, где мы тебя задержали. Понял? Если что, я тебя где хочешь достану.

Он посмотрел на Лешку.

— Догоняй же! Чего стоишь? Черт тебя возьми совсем. Ты отвези назад эту дрянь, слышишь? — завопил он.— Где взял, туда отвези!

Опять въезжали во двор, и опять он поднимал железный щит, придавивший кучу железного хлама, и разгружал повозку, сбрасывал обрезки и думал о том, что произошло.

Он достал тридцать рублей, врученные ему тем дядькой для уплаты возчику.

Возчик спрятал деньги в карман телогрейки, не пересчитывая, и при этом сказал:

— Чтоб мои глаза тебя не видели.

2

Утром Жужелка обегала все соседние улицы в поисках Лешки и вернулась ни с чем. В воротах она испуганно остановилась, услышав громкие голоса.

— Тебя давно наладить отсюда нужно! — кричала Лешкина мать.— Чтобы твоей ноги тут у нас не было!

— Это можно, пожалуйста.— Жужелка вздрогнула, узнав голос Лабоданова.— Только вы мало что выиграете от этого.

Быстро выходявший со двора Лабоданов увидел в воротах Жужелку, смутился.

— Пижонство! — сказал он, подходя к ней, кивнув через плечо назад во двор.— Дура она.

— Я тоже не переносу ее! — порывисто сказала Жужелка. Глаза ее сияли — она не могла скрыть, как рада ему.

Лабоданов немного отвел ее от ворот.

— А где же Брэнди? Куда он девался?

— Я даже не знаю, где он может быть. Я ишу его все утро. Я думала, он уже вернулся домой...

— А что? — спросил Лабоданов, внимательно глядя ей в лицо.— Чего беспокоиться? Пошел, куда ему надо.

— Все-таки...

Ей так тревожно, так тяжело было одной со всем тем, что она видела этой ночью.

Лабоданов сказал:

— А я ведь исключительно из-за тебя пришел.

— Да? Ты хотел меня видеть?

Он улыбнулся.

— Хотел тебя вызвать на улицу.

Сейчас только до нее дошло, что они говорят друг другу «ты».

Точно во сне возникла вдруг откуда-то Полинка.

— Клена! — громко сказала она.— Чего делается, если б ты только знала! Какие подарки мне в цеху готовят! — Она улыбнулась упоенно, во весь рот, но, заметив, что Жужелка не одна, осеклась и нахмурилась.— Зайдешь за мной потом...— И скрылась в воротах.

Лабоданов потянул книгу, которую Жужелка прижимала к себе локтем.

— Это что? А, учебник.

Он посмотрел на нее рассеянно.

— Ты что, голову мыла?

— А ты откуда узнал?

— У тебя волосы мокрые.

— Мокрые,— повторила она за ним, робея, не зная, как выглядит сейчас, с мокрыми прямыми волосами.— Я почти что не спала всю ночь. Тут у нас что было...— Ей неудержимо хотелось все ему выложить.— Ужас... Утром решила вымыть голову, чтоб спать не хотелось.

— А что ж такое у вас было?

Она растерянно замолчала, что-то в его тоне мешало ей говорить.

— Ты-то Брэнди видела?

Она кивнула головой.

— Когда же?

— Ночью.

Он не стал больше ни о чем расспрашивать, взял ее за руку повыше локтя, и тревога вдруг улеглась, стало спокойно. Он был таким взрослым, надежным.

Лабоданов подвел ее к распахнутой двери тира. Из тира доносились возбужденные голоса, то и дело хлопало духовое ружье. Они вошли внутрь.

Здесь почти ничего не изменилось с тех пор, как Жужелка еще девчонкой забежала в тир. Она с интересом осматривалась. Старая цветастая обивка на прилавке. В глубине, у стены, в четыре яруса — веселые мишени. Чего только тут нет: и мельница, и обезьяна Чита, и пушка, и танцующий с полотенцем заяц. Рябой дядя Вася в ситцевой полосатой рубашке показывал женщине, как заряжать ружье.

— Ломайте смело, как дома капусту.

Он переломил пополам ружье — выпала маленькая гильза — и вставил новый патрон.

— Сильное у вас оружие, — сказала женщина, — зверь.

У женщины немолодое лицо, наведенные брови и маленькие, детские розовые уши, за которые она то и дело закладывала грубо завитые пряди волос.

— Приготовься, — сказал дядя Вася.

Женщина долго примашивалась, отыскивая удобный упор на прилавке, и вскинула ружье. Ее резкие, энергичные ухватки говорили об опыте, но совсем другом, имеющем мало общего с духовым ружьем и лотерейными мишенями.

«Бах!» — пальнуло наконец ружье. Женщина волновалась. Она переломила ружье, вкладывая в каждое движение куда больше силы, чем требовалось. «Бах!» На этот раз в ответ хлопнул пистон сраженной мишени — маленькой пушки. Потом свалилась голубая бабочка, завертелись крылья мельницы. Женщина кинула на прилавок смятую рублевку.

— Заберите пока что, — сказал дядя Вася.

Ей полагались премиальные. Он пошел за прилавок поднимать мишени, и его протез гремел, как уключина в лодке.

— Настя! — позвал мужчина в парусиновом, туго облегающем пиджаке, томясь с буханкой белого хлеба под мышкой.— Пошли уже?

— Отстань! — сказала женщина, не оборачиваясь, и отвела за ухо прядку волос.— Я в отпуске гуляю.

Дядя Вася отсчитывал патроны, высыпал их с ладони на прилавок и все не отходил от женщины.

Несколько посетителей с ружьями в руках ждали, пока она отстре-

ляется. Она целилась в «спутник» — новую, самую трудную мишень. Если попасть в него, маленький шарик завертится вокруг большого, вокруг «Земли». Но «спутник» оставался неуязвим.

— Анастасия! — позвал мужчина.

— Не играй на нервах. Тебя просят.

Женщина прикупила патроны, легла на прилавок и целилась. Платье на ней задралось и открыло высокие икры. Ее голые ноги будто принадлежали другой женщине, с более легким и молодым телом.

— Ладно, — сказала она, досадуя, что никак не удастся попасть в «спутник», и напоследок прицелилась в зайца, танцующего с полотенцем.

Заяц свалился.

— Дай-ка, Вася, — сказал Лабоданов. — Мое?

Он проверил ружье и, стоя боком, вполоборота, высматривал, по какой мишени бить.

«Надо же, — подумала Жужелка, — у него даже ружье свое здесь есть». Второй год она живет рядом с тиром, а не была здесь, кажется, с самого пятого класса. Она украдкой потрогала волосы, они были еще сырые.

Женщина, заметив, что ожидавший ее мужчина ушел, стала торопливо расплачиваться.

— Вася! — громко сказал Лабоданов. — Самому подлезть?

— Ни-ни! Запрещено. — Он посмотрел вслед женщине, усмехнулся. — Перерабатывает нашего брата. Видал? Это же партизаны. Мост через Кальмиус взрывали. Ты что-нибудь знаешь про это?

— Я знаю! — звонким, срывающимся голосом сказала Жужелка.

— Изучали в школе, — сказал Лабоданов и прицелился в «спутник».

— Ну-ка, положи ружье. Инструкция для всех одинакова.

Дядя Вася ушел за прилавок, гремя протезом, и принялся устанавливать сбитые мишени. Пока он не вернется назад, ружье в руки брать не разрешается.

— Приготовься, — сказал он, ковыляя назад.

— Бью по «спутнику», — объявил Лабоданов.

— Раньше тебя тут желающие есть.

— Свирепо, — сказал Лабоданов и положил ружье. — Тогда жду.

Солидный гражданин без рубашки, в одной белой сетке, прицелился. Он стрелял в «спутника», но все мимо.

— Ерунда! — сказал он, недоумевая и рассердившись в конце концов. — В него попасть невозможно. Или ж испорчен — не вертится.

— Сейчас увидите, — сказал, улыбаясь, Лабоданов и посмотрел на Жужелку. И невидимая ниточка перекинулась от него к ней.

Гражданин критически оглядел Лабоданова и направился к двери.

— Спортсмен! — раздраженно сказал он, хотя явно хотел сказать что-то похлеще. Белая спина его колыхалась в сетке.

Подталкивая друг друга, хихикая, два паренька прилегли с ружьями на прилавок и замерли.

— Вы по «спутнику»? — спросил их Лабоданов.

Они покачали головами. Лабоданов прицелился.

Раздался выстрел. Жужелка вздрогнула. Лабоданов снова целился. Оба паренька не стали стрелять, следя за ним. Лабоданов выстрелил.

— Готово! — сказал один паренек, и они оба засмеялись от удовольствия.

Жужелка подошла ближе, посмотреть, как кружится «спутник».

— Вы тоже интересуетесь? — спросил дядя Вася.

Жужелка замотала головой и засмеялась. Она была очень горда за Лабоданова.

Лабоданов продолжал стрелять теперь уже по другим мишеням, а она стояла рядом, не отрываясь, следила за ним.

— Спортсмен! — сказал дядя Вася. — Ты у меня сегодня все патроны за премию перетаскаешь.

Но Лабоданов бросил стрелять.

— Отдай за меня ребятам. Я кончил. — Он повел Жужелку на улицу.

Они немного прошли молча и остановились. Настроение у Лабоданова спало. Он курил, поглядывая на проходящих мимо людей.

— Так ты передай Брэнди, что я его жду. Не забудь.

— Да, да. Я не забуду.

Вдруг он пристально посмотрел на нее.

— Девушка Клеопатра! — сказал он точно так же, как в первый раз, когда они познакомились, и бросил недокуренную сигарету.

— Клена, — мягко поправила Жужелка.

— Девушка Клена! Нет, лучше Клеопатра. — Он приблизился к ней и взял ее за руки повыше локтя, и Жужелке стало вдруг страшно отчего-то. — Слушай же. Сегодня в восемь часов, нет в девять. Так в девять, поняла? Приходи в парк, к памятнику, ну знаешь — крыло самолета у обрыва. Вот туда. Буду ждать. А теперь я ушел. — Он сжал ее руки. — Так в девять, значит.

Она молча кивнула, соглашаясь. Его раскачивающаяся спина вскоре скрылась из виду. Жужелка потрогала мокрые волосы и пошла, прижимая локтем учебник.

3

Рано утром он тихо встал, чтоб бежать от дознаний и не глядеть в честные глаза людей, никогда не нарушавших никаких законов. Но в двери он столкнулся с матерью. Увидел ее измученное лицо, понял, что она не спала. Она не проронила ни звука. Это было совсем не похоже на нее. Лешка готов был куда-нибудь провалиться, чтоб не причинять ей таких страданий.

За воротами он вспомнил о ста рублях, лежащих в кармане брюк, и теперь все время ощущал их, точно это камни, а карман, казалось ему, тяжело набит и топорщится, и в то же время эти сто рублей волновали его — у него никогда не было таких денег.

Он не мог окончательно прийти в себя и трезво обо всем подумать. Он чувствовал себя главным действующим лицом в каком-то странном спектакле, который неизвестно еще чем окончится. И от этой неизвестности слегка дух захватывало.

Обгоняя его, ехали в порг битком набитые людьми, истошно звенящие трамваи. Дул сильный норд-ост, раскачивал ветки деревьев. Прямо перед Лешкой и дальше по всей глубине малолюдной улицы медленным белым дождем осыпалась с деревьев акация.

Лешка вдруг подумал, что какой-нибудь день всего остался ему, чтоб так ходить, смотреть. От этой нелепой мысли в висках принялось стучать. Он присел на лавочку у чужих ворот. Ему необходимо было все обдумать.

Но на месте не сиделось. Он вскочил и быстро пошел отсюда, с этой тихой улочки, на проспект, в толпу.

Он шел по проспекту, больше всего на свете желая, чтобы сейчас что-нибудь произошло: выбежал бы на мостовую ребенок, и Лешка ринулся, выхватил бы его из-под самой машины. Или загорелся дом. И Лешка бросился бы в огонь и появился перед голпой с пострадавшим на руках, сам тоже сильно обгоревший. И все поняли бы, чего Леша Колпаков стоит, что он на самом деле собой представляет.

Вдруг кто-то сильно дернул Лешку за рукав. Он обернулся.

— Помоги, парень! Опаздываю! — выдохнула ему в лицо незнакомая девушка в тюбетейке и темных очках.

Он не сообразил еще, чего от него хстят, как в руках у него оказалась тяжелый мешок и парусиновый саквояж.

— Не тяжело? Донесешь?

Он тупо кивнул. А девушка возбужденно торопила его:

— Девятнадцать минут осталось до отхода эшелона! Учти!

Она пошла вперед, торопясь, спотыкаясь от волнения, от боязни опоздать на поезд, изредка оборачиваясь всем телом.

Он тащился за ней, как дурак, как лопух, как груженный ишак, которым каждый может помыкать на свой лад. Какого черта! Мелькнуло: Лабоданов никогда не дал бы себя так облапошить. Он догнал девушку и, идя с ней рядом, спросил:

— А чего вы не поехали на трамвае?

— Ох, эти трамваи! Задержка бывает. Не могу рисковать.

Он не успел ей возразить, как уже замелькали впереди черные спортивные шаровары да подпрыгивающий на спине рюкзак и тюбетейка над ним.

Они пошли по мостовой — так казалось почему-то быстрее. Асфальт сменился булыжником. Спускались под гору. Ветер гнал пыль им в спину. Мимо проносились, подскакивая, машины. Лешка нервничал, заразившись незаметно для себя беспокойством — не опоздать бы.

По сторонам лепились старые одноэтажные дома под черепичной крышей. Будочка холодного сапожника. Бойкая парикмахерская с одним оконцем, вделанным в двери. Показалась вокзальная площадь. Трамвай, скрежеща, давал круг, огибая клумбу в центре площади. Вокзал. Сумрачно, прохладно и пусто внутри. А у выхода на перрон — толчея пассажиров, узлов, чемоданов. Вслед за девушкой, решительно расталкивающей всех, Лешка протиснулся к выходу под ожесточенную брань публики.

— На целину где состав? — крикнула девушка дежурному, и тот махнул рукой.

— За переездом.

И тогда девушка побежала из последних сил по перрону, и рюкзак прыгал у нее на спине. И Лешка бежал за ней, задевая тяжелым мешком об асфальт. У опущенного шлагбаума ждала подвода, запряженная двумя лошадьми. Стрелочница держала в сложенных на животе руках зеленый флажок.

— Вон-на! — указала стрелочница на видневшийся на путях состав.

Но в этом уже не было нужды. Было понятно, что это он, целинный, весь в плакатах, гомонящий, облепленный шумным народом.

— Успели! — обернувшись на Лешку темными очками, выдохнула девушка. Она шла вдоль вагонов, расталкивая провожающих, спрашивая: — Где фармацевтический техникум? Фармацевты где?

Из теплушек неслось пение, и было пестро, шумно.

— Лизка! Лизка! Девочки. Лизка! — закричали, замахали руками, высываясь к ней через перекладину в раздвинутых дверях теплушки.

И Лешкина девушка в тюбетейке завопила счастливо:

— Девочки! Девочки, милые! Это я! Ох, девочки, держите консервы!

Ахая, тормоша Лизку, бранясь: «Ах, чтоб тебя, дуреха! Чуть не опоздала!» — девчата подхватили мешок у Лешки и передали в вагон. И туда же уплыл парусиновый саквояж. Парень в берете, проходя мимо, деловито сообщал:

— Салют, девоньки! Подтягивайся в вагон! Сейчас двинемся...

Зазвучал горн. В груди у Лешки тревожно отозвалось. Все встрепнулись, замолкли и полезли поспешно в вагоны.

Лизка сняла очки, вытерла скомканной тюбетейкой лицо и крепко встряхнула Лешкину руку.

— Ну, пока. Спасибо тебе.— Она вдруг быстро приблизила к нему распаренное, все в красно-белых пятнах лицо и чмокнула его в щеку. И тут же кто-то другой с торчащими из-под платочка косицами, вывернувшись из-под ее руки, тоже громко чмокнул Лешку.

— А ну вас,— сказал, смутившись, Лешка.— Много вас тут.

— Жди меня! — крикнула девушка с косицами.— И я вернусь! Быть может!

Она протянула руки, и девчата втащили ее, а за ней Лизку в вагон. И теперь они обе стояли в первом ряду, навалившись животами на перекладину, а на них напирала сзади и кричала ему:

— Поехали с нами!

Кто-то затынул:

Мы поедem на Луну,
Там засеem целину.

Состав тронулся. Девчата замахали, закричали что-то Лешке, но невозможно было разобрать что. Лешка тоже махал им и взволнованный шел рядом с вагоном. Его так и подмывало вскочить к ним в загон и уехать далеко-далеко от Лабоданова и Славки, от Баныкина, от милиции... Вагон стал обгонять его, и он отбежал, быстро вскарабкался на откос, чтобы девчата в теплушке еще раз увидели его и помахали.

Мимо поползли вагоны, разукрашенные плакатами:

Нос не вешай,
дорога трудна,
спи. ешь —
впереди целина.

«Не кантовать! Девушки» — это еще на одном вагоне, где едут девушки.

«Даешь целину!»

И в каждом вагоне, навалившись всем скопом на перекладины, махали руками и пели. И в каждом пели что-нибудь свое. а оркестр играл свое, и стояла веселая неразбериха от проезжающих мимо хоров.

Эх, бей дробней,
Сапог не жалей,
Заработаем мы с милым
Больше тыщи трудодней.

Проплыла вагон-лавка: прилавок, весы, дядька в белом халате за прилавком — прямо как на сцене.

Состав оборвался и пошел, вихляя хвостом. Открылись заслоненные им маленькие дома рыбаков и в проемах между ними — море.

Провожающие, стоя на откосе, все махали вслед ушедшему эшелону. и Лешка махал со всеми. Оркестр немного еще поиграл, пока состав не скрылся из виду. Потом музыка разом оборвалась, и все стали расходиться.

А Лешка все еще стоял и смотрел на железнодорожный путь, желто-серый от размолотого ракушечника, лежащего между шпал.

Банькин вошел в ворота под номером двадцать два. Во дворе он застал лишь одну старуху. Она стояла у летней мазаной печки, помешивая ложкой в кастрюле; концы серого шерстяного платка, лежащего у нее на плечах, скрещиваясь на груди, были стянуты узлом на спине.

Небольшая белая собака — Банькин вступил, видимо, в подведомственный ей сектор двора — приподнялась с нагретого булыжника и служебно залаяла.

— Цыц, Пальма, гуляй себе, — сказала, обернувшись, старуха, и глаза ее из-под сизых нависших век с любопытством оглядели пришельца.

Это была такая заядлая старость, что Банькин оробел.

— Бабушка, можно вас?

— Вы к нам? Отчего же, пожалуйста. — Чему-то обрадовавшись и хитровато шурясь, она отставила с огня кастрюлю, вытерла о фартук руки и зашелестела легкими подошвами, ведя его за собой. Перед входной дверью старуха проделала какие-то заклинательные, как показало сначала Банькину, движения.

— Кш, кш! Несчастные! — размахивая темными руками, ругала она мух, облепивших дверь. — Кто-то сало есть собирает, кабана на дворе держит, а ты изволь мух кормить! Не хочется связываться, а то б живо этого кабана дух тут прстыл!.. А где ж ваш чемодан? — спросила она вдруг, впуская Банькина в дом.

— Какой чемодан? Зачем он мне?

— Ну ладно, — сказала она, быстро соглашаясь. — А все же лучше, конечно, когда с вещами. Нам спокойнее, ведь мы еще не знакомы. А узнаем, тогда можно и без чемодана. А по части чистоты спросите любого.

Она юркнула мимо него и, став у изголовья двух пустующих, чисто застеленных коек, сказала:

— Ну, какая больше нравится? Выбирайте.

Банькин окончательно смутился.

— Да мне не нужна койка.

— Не нужна? Вы разве не командированный?

Он покачал головой. Старуха разочарованно замолчала.

— Мне тут, бабушка, кое-что спросить вас надо.

— Я думала, вас из ЖКО прислали, с завода.

— Я, откровенно говоря, из милиции. Вернее, из бригады содействия.

— О, господи! — тихо, испуганно вздохнула старуха и взялась рукой за голову.

— Мне тут кое-что узнать надо у вас о ваших соседях по двору.

— Ой, как мне бьет в голову! Я ничего не слышу.

Зачем только она вышла ночью? Зачем впуталась в это несчастье?

Старуха украдкой разглядывала пришельца. Соломенную шляпу он не снял; она прочно сидела на голове, слегка набекрень, и вид у него был залихватский.

— Колпаков Алексей Степанович вам известен? — спросил он.

— Это Лешка, что ли? — сильно волнуясь, спросила старуха.

— Ну да, Лешка.

— Господи, чего только придумают — Алексей Степанович. Как же, знаю его с самых детских лет. Раз как-то внучку мою подбил на коньках. А так больше ничего особенного. Прекрасный мальчик.

«О боже мой, — вздыхала она про себя. — Что теперь будет? Что будет? Хоть бы дочка пришла скорее...»

— А поесть у вас дадут?

Банькин не понял ее.

— Когда забираете человека...

— Уж как-нибудь,— сказал он неохотно.

Старуха неотрывно следила за ним. Из-под темного головного платка спускалась на лоб ей белая планка поддетого вниз второго платка. И глаза из-под этой белой полоски живо поблескивали.

— А родителей его и, так сказать, окружение,— скованно сказал Баныкин,— вы знаете?

— Знать-то знаю, да вот глаз...

— Что глаз?

Она повернула к нему лицо, старательно приподняв темные веки, и Баныкин увидел, что один глаз у нее будто затянута пленкой.

— Катаракта. Уже давно пора резать. А никак не соглашаются из-за гипертонии... Да вы садьте.

Он нащупал сиденье, опустился на стул и вздохнул. Ну, какие еще болячки станет показывать ему старуха? Ему было стыдно и неловко, и он проклинал себя, что связался с ней, надо было прямо идти к родителям.

Но тут старухе самой в диковинку показалось, что она так смело и вроде бы запросто ведет себя с «человеком из милиции». Она замешкалась в отдалении от него у столика и ни с того ни с сего шелкнула выключателем приемника.

— Ну? Чего ж ты молчишь? — спрашивала она у приемника, припадая впалой грудью к его полированной коробке и лукаво поглядывая на Баныкина.

Она улыбалась, и удлиненный нижний зуб, неправильно прикусывающей верхний ряд, придавал ее лицу страшно хитрое выражение.

Баныкин строго спросил:

— Вы можете дать характеристику родителям Алексея Колпакова и его окружению?

— Характеристику? — Старуха важно задумалась.— Вот мать у него, например, красавица. Только поглядеть. А до чего же как соседка приятная. Прошлый год я перец не готовила на зиму, не мариновала. Врач запретил мне его есть. Из-за катара дыхательных путей. Слышите, как дает себя знать? Кх-кх! — покашляла старуха.— Так соседка, бывало, навестит и перчика мне принесет.

Испуг ее окончательно прошел, и теперь старуха сновала по комнате и маялась, заглядывая в окно,— ей хотелось, чтоб хоть кто-нибудь из соседей увидел, что в старухе Кечеджи нуждается должностное лицо.

— Вы придерживайтесь относительно родителей Алексея Колпакова,— попросил Баныкин.

— Пожалуйста,— охотно согласилась старуха.— Ну, мать иногда на него обижается. Даже заплачет другой раз. Каждому, как ни говорите, хочется, чтобы свое дитя в люди вышло... Ай, вот и она как раз идет!

Баныкин поглядел поверх головы старухи в окно, поспешно простился и вышел.

5

По двору шла женщина в белом платье, с большой продовольственной сумкой в руках. Баныкин подождал, пока она скрылась за дверью, и тогда постучал. Ему тут же открыли. Он сказал бодро:

— Здравствуйте. Я из комсомольской бригады содействия милиции.

— Очень приятно,— сказала Лешкина мать, попятившись в замешательстве.

Он прошел за нею в комнату.

— Я по поводу того, что случилось ночью. По поводу Алексея Колпакова.

Она возбужденно посмотрела на Баныкина и перевела взгляд на Матюшу, сидевшего с газетой тут же за столом.

— Вы присядьте,— сказал Матюша.

Баныкин охотно обернулся к нему. С мужчиной говорить все же легче. Он сел, положив на стол перед собой соломенную шляпу. Матюша поднялся, снял со спинки стула пиджак и надел его. Он опустился на прежнее место напротив Баныкина и напряженно посмотрел на него. Баныкин почувствовал: он в курсе ночного происшествия.

— Этой ночью, находясь на посту,— старательно сказал Баныкин,— в конце Торговой улицы, внизу... Мной лично был задержан ваш сын. — Его отец погиб в Берлине,— осторожно вставила мать.

Баныкин, тушуясь, закивал.

— Никогда б не подумал, что он во что-то замешан.

— В том-то и дело,— тяжело заговорил Матюша.— В том-то и дело, что он замешан. В остальном разберутся без нас.

— Тут какая-то грязная история,— избегая смотреть на мать, сказал Баныкин.— Я хотел размотать ее с вашей помощью.

— Грязь, грязь,— с нервным упорством подхватила мать, тиская ручки,— ужасная грязь. Это все из-за этой девчонки. Это она его подстрекает!

Баныкин изумился. Он откинулся на спинку стула.

— Неужели из-за девчонки?

— Да, да! Я сама ее видела ночью. Она пряталась тут во дворе.

— Какое это имеет значение? — остановил ее Матюша.

Мать испуганно посмотрела на него.

— Мы еще до вас решили: надо сообщить в милицию. Ведь правда, Матюша, мы так решили? — захлебываясь словами, растерянно твердила она.— Надо просить, чтобы его поскорей в армию взяли, не дожидаясь срока. Его нужно поскорей забрать от нее.

— Сообщить в милицию недолго.

— Я могу сказать одно. Он был обеспечен всем необходимым. Больше того, он получал деньги и на сигареты и на кино. Мы сознательно шли на это, чтобы отсутствие денег не толкнуло его на что-нибудь такое,— глухо, с усилием говорил Матюша. Он поставил на стол локти и подпер ладонями голову.— Хотя, возможно, что не на все ее прихоти хватало. За это не поручусь.

— Прошлый год, когда на шаланде плавали,— сказал Баныкин растерянно,— такой был старательный парнишка...

— Шаланда ничего серьезного не могла ему дать. Блажь одна. Распушенность, и ничего больше,— веско сказал Матюша.

— Ну, как сказать. Там у нас был случай... Так он здорово проявил себя.

Когда шел сюда, Баныкин собирался сделать строгое внушение родителям, чтоб знали, какая ответственность возлагается на них,— ведь в случае чего им придется брать сына на поруки. Но разговор велся со всем не так, как надо. Стараясь держаться официально, он сказал:

— Допустим, вскрыется тут уголовное преступление. Тогда что?

Мать, переводившая с Матюши на него воспаленные глаза, всхлинула.

— Матвей Петрович вырастил его, он ничего для него не жалел. Боже мой! Учись только, пожалуйста. Получи законченное образование. А он что сделал? Теперь ведь узнают на фабрике у Матвея Петровича... Ведь это железо по весу сдают.

— Если вскрыется, что этот железный хлам,— сказал Баныкин,— который он куда-то волок... Его ведь тогда привлекут.

Матюша сложил газету, сурово провел ладонью по линии сгиба.

— Это будет для него хорошая встряска.

Под окном на улице кто-то громко вздохнул и пошел прочь, тихо шаркая подошвами.

— Матвей Петрович был для него всегда лучшим примером во всем. Это общее мнение всех,— еле слышно сказала мать. Она сидела на стуле с окаменевшим лицом, теребя пряжку на своем поясе.— Может быть, его простят. Как вы думаете? Ведь он еще пока несовершеннолетний. К нему должны снисхождение иметь...

Матюша опять подпер ладонями голову, сурово, несчастно уставился в стол.

У ворот поджидала старуха Кечеджи. Она стояла, сгорбившись, по-детски наивно прикусив палец во рту.

— Товарищ начальник!

— Ну, я товарищ начальник.

— Как же так! Родное дитя!

Банькин смутился, поняв, что это она подслушивала под окном их разговор. Она взялась крючковатыми пальцами за лацкан его пиджака, не отпускала и уговаривала:

— Раз он молодой, не потерянный еще, из него человека можно сделать.

6

Лешка прошел мимо тира, у дверей которого стояла Жужелка. Она всплеснула руками, точно какая-нибудь особа из прошлого века.

— Ой! Где ж ты пропал!

Она что-то еще крикнула ему вдогонку, но он не обернулся. Жужелка шла за ним. Он это ясно чувствовал. Завернул за угол и остановился. Ну конечно, она подоспела тут же.

— Что ты натворил? Ты скажи! Слышишь? Ну скажи.

Она была сама не своя, уж больно серьезная — взрослая какая-то.

— Чего ты ходишь за мной?

— Как ты мог! Нет, ты скажи, как ты мог! Это совершенно не похоже на тебя. Я бы ни за что не поверила. Ни за что! И все молчком. Если б я только знала...

— Интересно! Что б ты сделала?

— Я б никогда не допустила! Никогда!

— Не ори!

— Я теперь все узнала, что это такое было ночью.

— Колоссально! Что же ты узнала?

— Ты куда-то хотел отвезти это железо... и что-то, кажется, уже отвез.

— Ну и что?

— А это нельзя. Это же на завод идет. Ты что, забыл, как мы лом собирали? Ты все забыл!

— Перестань сейчас же дрожать!

— Я не дрожу. Если б я была мальчишкой, я бы тебя избила. Имей в виду — тебя Виктор Лабоданов ждет.

— А где ты его видела? Он что, приходил?

— Да! Приходил! Ты ему расскажи. Все расскажи, слышишь? Пусть он поговорит с тобой как следует.

Он пошел дальше. Жужелка опять потянулась за ним.

— А откуда ты узнала? Ну, насчет всего этого?

— Старуха Кечеджи говорила, она ужасно нервничает. А мама сказала...

— Ну? Договаривай. Что там сказала мама?

— Нет, нет! Давай сейчас о чем-нибудь другом поговорим.

— Ты что за мной тащишься? Отстань или скажи наконец, что твоя мать сказала. Что еще за тайны мадридского двора?

Он остановился. Солнце пекло. Оно совершенно разморило людей, толпившихся с краю тротуара в ожидании трамвая.

— Она сказала, что ты теперь погибнешь.

— Опять орешь! Обязательно надо оповещать всю улицу.

О господи, она, кажется, собралась реветь.

— Это уж слишком. Я пока еще не покойник.

— Как я могла допустить такое!

— При чем ты тут? Вот еще глупости.

Кто-то там над ними пускал мыльные пузыри, и один из них, переливающийся всеми цветами, опустился на голову Жужелки и тут же лопнул. Она, конечно, не почувствовала. У нее было несчастное лицо.

— Помнишь, какой ты пришел с шаланды?

Он пожал плечами.

— Да знаешь, какой ты был — ты был красивый.

Он фыркнул, сильно покраснев. Он был очень польщен все-таки.

— Я думала, ты ищешь такое дело, чтоб тебя захватило. И что ж поделать, если не сразу можешь найти. Главное, чтоб нашел. Потом ты придумал эту «грязнуху».

— Врал я тебе, что ли, про «грязнуху»? Врал, по-твоему? Да завтра как раз окончательный ответ должны дать.

— Не перебивай меня! А я тебе верила. Я тебе потакала, понимаешь! Я тебя раз-вращала!

— Кончай психовать сейчас же.

Он полез в карман, но не в тот, где лежали деньги, он уже давно переложил сигареты в другой карман. Достал пачку. Последняя сигарета. Зажал сигарету губами. Бросил скомканную пачку. Закурил.

— Завтра схожу за ответом насчет «грязнухи». А это все ерунда. Притащу все их обрезки обратно, и все. Никто не подкопается.

Он врал с воодушевлением.

— Правда? С тобой ничего не будет?

— Ну, а ты как думала? Я уж не такой простачок.

Он сел на выщербленные ступеньки у дома, где они стояли. Оказывался, тут диетическая столовая. Жужелка тоже села на ступеньки.

— Ты даешь честное слово, что никогда ничего такого больше не будет?

— Ну неужели!

— И что будешь работать и учиться...

— Ого! До чего торжественно.

Запахи, несущиеся из двери, прямо-таки не давали ему покоя. Он был зверски голоден — черт знает когда он последний раз ел.

Наконец-то она немного успокоилась. Пододвинулась и прислонилась к нему плечом. Он замер, боясь пошевелиться. Господи, боже ты мой, если бы все, что он натворил, нужно было сделать для нее, да ему тогда б ничего не было страшно!

Мыльные пузыри летели вниз. Люди, толпившиеся у края тротуара в ожидании трамвая, подставляли ладони, и пузыри опускались к ним на ладони или на ступеньки, где сидели Лешка и Жужелка, и тут же лопались. А сверху уже плыли новые.

Жужелка поднялась, задрала голову — на балконе стояла совсем маленькая девчонка в красном сарафане и старательно выдувала в соломинку мыльные пузыри.

Жужелка поправила широкий пояс на юбке. Она совсем успокоилась и повеселела.

— Я у тебя сейчас что-то спрошу, а ты обещаешь, что ответишь правду, ладно?

Лешка кивнул. Ну, ну. Что такое еще она придумала?

Она опять села на ступеньки, вытянула ноги и посмотрела на свои красные босоножки.

— Ты когда-нибудь ходил на свидание?

Он затаился и покачал головой: нет, не ходил. Ведь она училась в одном с ним классе и уже второй год как жила в одном с ним дворе. Куда же ему было ходить? Вдруг страшная догадка осенила его.

— А ты?

Она многозначительно молчала, рассматривая свои босоножки, из которых выглядывали пальцы.

Он вдруг испугался, что она возьмет и все сейчас выпалит откровенно. Она ведь не станет скрывать, играть, возьмет и ляпнет все. Он не хотел ничего знать.

Он был один-одинешенек во всем мире перед лицом надвигающихся на него несчастий. Вообще-то всего день остался у него. Есть о чем говорить. Его посадят в тюрьму, а он еще ни разу не ходил на свидание.

7

Лабоданов ждал его неподалеку от своего дома. Он сказал, увидев Лешку:

— Я тебя жду уже часа два, наверно, ну прямо как девушку. Я из-за тебя на работу сегодня не вышел.

Лешка молча протянул ему руку.

— Что-нибудь случилось? Главное, Брэнди, не кексовать. Ни при каких обстоятельствах. Успокойся!

Его привычный невозмутимый тон ободряюще подействовал на Лешку. Лабоданов все может. Ведь как он тогда в милиции выручил его. Он и сейчас что-нибудь придумает.

Лешка стал излагать все, что произошло ночью. Лабоданов иногда вставлял:

— Шикарно! Ты далеко полетишь, серая шейка!

И уныние этой ночи (лаял Султан, мочился возчик, потом возчик жаловался на здоровье, на прожорливость ишака, потом это мучное лицо «сторожа») отступило под возгласы Лабоданова. Все опять становилось похожим на приключение.

Они шли, переговариваясь, точно между ними ничего не стояло и все было по-прежнему. В конце улицы свернули и увидели Славку, маячившего здесь на тот случай, если Лешка придет другим путем.

— Вот что,— сказал Лабоданов,— надо, чтоб тебя отец вызволил.

— Отчим,— поправил Лешка.— Он не вызволит.

— Я б ему сильно посоветовал. Зачем ему иметь неприятности?

Славка увидел их, подскочил.

— Что, сыпанулся? Провалил все!

— Заройся! — цыкнул на него Лабоданов.

Лешка побелел от злости. К тому же противно было видеть, до чего Славка трусил. Он ссутулился и тряс своей крохотной головой прямо перед носом у Лешки.

— Ты только не вздумай никого припутывать. Тебя предупреждали! Ты крепко это запомни.

— Я и не собирался.

— Сам выкручивайся.

Лабоданов протянул Лешке сигареты, было видно — он что-то обдумывал. Он стал выяснять, записали ли те, кто задержал Лешку, адрес

возчика или номер его повозки. Лешка отвечал через силу; при Славке не хотелось говорить.

— Кажется, нет.

В самом деле, вроде бы они не записывали. Они ведь не сыщики, не такие дошлые, расторопные — обыкновенные ребята.

Лабоданов обрадовался:

— Порядок. Значит, как он тебя завтра поведет в милицию, ты держись твердо: вез на свалку. Кто просил, по чьему поручению? Ни по чьему. Сам. Надоело, что двор захламляют, хотел очистить, площадку сделать. Ну там, для волейбола или для городков, как больше подходит, смотри сам. Вот так. Потянет? Логично?

Лешка кивнул.

— Логично.

Они продолжали разговаривать, шатаясь по улицам, а к себе Лабоданов не завел их, хотя дома у него никого нет; отец дежурит до ночи на станции, а мать с младшим братишкой в деревне.

— Напирай на борьбу за культуру, насчет спорта и так далее.

Славка восхищенно смотрел в рот Лабоданову. Сам он только и спосотри был сейчас на то, чтобы дрожать.

— Только мне надо эти обрезки назад перетаскать. Пусть Славка поможет мне перетаскать.

— Ты что, забыл, что мне нельзя?

Это Славка, значит, опять намекает на то, что отец дерет его. Привык играть на этом, прятаться за спины, сухим выходить из воды.

Лешка разъярился вконец:

— Ты что, уже окончательно в подлость впал?

Славка только хмыкнул, кисло улыбнувшись, и на всякий случай попятился. Так бы и въехать в его наглую физиономию.

— Замолкните! Вы что! Надо было раньше смотреть. Я же вам говорил: уголовщиной пахнет, куда лезете?

Говорить-то Лабоданов говорил, но и тогда, а сейчас и подавно Лешка не поверил в его искренность. Уж, конечно, Лабоданов свою роль играет во всей этой истории. Да и без него Славка шагу не осмелился бы ступить. Ох, этот Славка.

— Это же падло настоящее!

Лабоданов с досадой оборвал его:

— Не сумели скрутить динамо, а теперь раскисли.

Лабоданов, конечно, презирает его за то, что он неудачлив, не сумел повернуть все как надо, попался.

— Все равно, — упрямо сказал Лешка. — Я все равно это железо у них назад отниму.

— В истерику, значит. Пошуметь захотелось. Давай. Только потом не плачь. — Лабоданов бросил окуроч, придавил его носком туфля. — А тебя, заметь, уже завтра допрашивать будут. Так что ты подготовься все-таки. Вызубри, если на себя не надеешься. — Его вдруг осенило. — Если тебе уж так хочется забрать железо, так ты оттащи его прямо на свалку. Это там недалеко. Тогда всё — концы в воду, и никто не подкопается. Разумно? Теперь так. Если ж они там что-то накололи и это не потянет, возьмишь все на себя. Тебя ведь предупреждали.

— А я не отказываюсь.

— Кому ж, как не тебе. Ты ведь несовершеннолетний, — опять влез Славка.

— Будешь как надо держаться, никого не втянешь, так в крайнем случае через год выйдешь — тебе денег отвалят. Такой у них порядок! Это железно. Люди верные.

Господи, это он об этих ряженных, что ли? Гнусные фигуры.

— Это точно. Будешь при деньгах, какие тебе и не снились,— как ни в чем не бывало охотно подтвердил Славка.

— Плевать я хотел на их деньги.

— Придержи, Брэнди, слюну. Деньги между прочим — это все!

— Ха! Деньги — это самый ценный продукт. Они имеют свойство все покупать. Я-то это знаю. С ними красиво жить можно.— Славка прищелкнул пальцами, намекая на какие-то свои похождения.

Ну и скотина! Уже успокоился! Считает, что все уладилось, во всяком случае для него. Лешку просто зло взяло: «Ты же, подлец, подстроил мне все это!» Гордость не позволяла высказать.

Деньги лежали у него в правом кармане. Он очень боялся, что Славка и Лабоданов узнают об этом. Он все равно не даст к ним притронуться. Но они, поглядывая на часы, переглядывались между собой. Им ничто не угрожало, и они готовы были забыть о нем. Он упрямо сказал:

— Деньги — это, конечно, вещь. Все-таки имеет какое-то значение, откуда они взялись... Если, конечно, совесть иметь.

— Ты в бога веришь? — быстро спросил Лабоданов.

— А ну.

— Я серьезно. Если веришь, тогда все понятно. Уважаю даже. А если нет — тогда ты младенец. Не созрел до понимания жизни.

Славка одобрительно хмыкнул.

— Мне эти понятия насчет совести отбили еще в нежном возрасте. Спасибо за науку.— Лабоданов выразительно сплюнул. Он был раззадорен чем-то.— В суде такой громадный мужик, судья, как через стол в меня впился — никогда не забуду. Как рявкнет: «Ты — вор! Понимаешь? Вор!»

— А за что? — спросил Лешка оторопело. Лабоданов никогда не был с ним так откровенен.

— Вот именно — за что? Два листа толя на соседнем дворе, на строительстве взял. Покрыть голубятню мне нечем было. Голуби тогда еще в моду не попали. В суд потащили. Теперь-то на поруки отдают. А тогда-то — не-ет. Судья как рявкнет: «Вор!» И опять и опять. Полный зал народу. А я шкет — двенадцать лет. Меня трясет, думал — сейчас умру: я, значит, вор? С тех пор ничего не страшно. Как бы ни назвали.

Славка подхватил:

— А чего тут пугаться! Этого Брэнди не испугается. Правда?

Он нагнулся, заглядывая Лешке в лицо, и Лешка увидел тоскливые Славкины глаза.

— Тебе родитель не поможет? — заискивая, спросил он.

— Нет, конечно,— жестко ответил Лешка.

Они, похоже, втянули его в расчете на Матюшу.

Славка вздохнул. Лабоданов сказал наставительно и дружески:

— Боритесь за жизнь. Всеми силами.

Он взглянул на часы и постучал по стеклу.

— Время.

— Время,— также со значением подтвердил Славка.— Мне еще за Нинкой зайти.

Он протянул Лешке руку, и Лешка опять увидел тоскливые Славкины глаза: они были куда выразительнее его слов. Он уходил, вихля боками, развязный, жалкий.

— Держи.— Лабоданов протягивал сигареты.

Лешка встретился с ним взглядом. И сразу стало трудно дышать, точно воздух уплотнился, оттого что они остались вдвоем.

— Пройдем отсюда,— предложил Лабоданов.

Они пошли. Идти все же было лучше, чем стоять так друг против друга.

Дальше тротуар по краю был разворочен — здесь делали газон. Идти приходилось по неповрежденной части тротуара, держась ближе к домам. Рабочий день давно закончился. На развороченном асфальте, в земле, у сваленных плит беспокойно копошилась детвора.

Лешка глубоко затыгивался дымом. Он чувствовал: Лабоданов сбоку все время посматривает на него, и это было неприятно, потому что Жужелка, как он ни отгонял ее, стояла тут между ними.

— Послушай, Брэнди. Это так бывает, имей в виду. Сыпанулся человек, и у него в голове все вверх тормашками полетело.

Лешка пожал плечами. Не нужен ему этот участливый тон. Еще размякнешь, чего доброго. Ему теперь надо быть начеку: сухим и подтянутым. В сущности, можно считать, что его уже захлопнули в коробочку. О чем тут еще говорить?

— Ты это усвой. Все это оттого, что сыпанулся. С досады начинаешь прикидывать: честно, нечестно? Это все мура. Таких понятий ни у кого нет, имей в виду.

Они посторонились и очутились на куче скелетного асфальта. Стоять тут было не совсем удобно, зато их больше не толкали. Лабоданов быстро взглянул на часы.

— Возникает вопрос? Ты не стесняйся. Что делать, как жить?

Лешка напряженно смотрел на стриженную под «ежик» голову Лабоданова, просвечивающую на висках кожу, молчал. Ему надо было понять, на кого он оставляет Жужелку.

— Все вполне логично. Тут одно: или в сторону отойти, махнуть рукой — что бог пошлет, или приспособляйся, как все. Лично я это усвоил порядочно давно. Мой вариант такой: держаться в стороне, но приспособляться. Вовсю. С учетом всех условий. В общем то и другое в интересах собственной жизни.

Лешка хмуро слушал. Говорит он красиво, ничего не скажешь. Сразу виден сильный характер в человеке. Но какого черта он поучает? Надоело в конце концов. Неприятно кольнула мысль: перед Жужелкой он вот так же красуется.

— Надо только всю механику жизни освоить. Запросто. В общем если не терять голову, то можно не плестись в стаде, а взять свое, что тебе положено. Согласен?

Лешка медленно покачал головой.

— Что всем, то и мне. А урывать для себя и все такое... Противно в конце концов.

Лабоданов неожиданно покладисто сказал:

— Надо тебе иметь цель в жизни. (Ну прямо — Матюша.) А то все мечешься, болтыхаешься.

Это верно. Он только трепыхается, чувствует что-то, а даже возразить как надо не может.

Лабоданов дал наконец волю своей ярости:

— А я жить хочу. Понимаешь? На других ребят деньги могут сами свалиться: родители, например, оставят что-нибудь ценное после себя на земле. А нам надеяться не на кого. Мы сами должны бороться за жизнь.

Он еще говорил что-то, но Лешка плохо слушал. Они совсем чужие. И как только он подумал об этом, на него стала наползать зеленая тоска. Всего день оставалось ему разгуливать, а тут рвались на глазах последние связи.

— Если ты не уяснишь, — сказал Лабоданов, — дохлое твое дело. Сжует тебя в два счета. И не заметишь.

Чего он все наседает со своими наставлениями? Может, чтобы крепче себя самому чувствовать?

— Послушай, Виктор, только честно. Ты как относишься к Клене? — выпалил и сразу одеревенел.

Лабоданов быстро и с интересом глянул на него.

— Она мне нравится.

— А как ты относишься к ней? Понимаешь? Как относишься?

Ему показалось, Лабоданов усмехнулся, и он понял, что сейчас, в эти минуты, теряет в его глазах последнее.

— Девчонка — как все, — сказал Лабоданов и опять взглянул на часы.

— Нет! Не как все! Не как все!

— Да замолчи ты! Публику собираешь. Опять истерика.

Если б Лабоданов ответил иначе, если б он относился к Жужелке по-настоящему, Лешка не произнес бы больше ни слова, отвалился бы тут же от него.

Он огляделся. Прямо под ногами у него копошились две маленькие девочки, растаскивая сложенные стопкой плиты. На мостовой мальчишка, присев на корточки, бил куском асфальта по булыжнику.

— Имей в виду... Если с ней что-нибудь... — с отчаянной угрозой сказал он.

Как в тумане, он увидел неподвижное лицо Лабоданова. Потом оно поморщилось.

— Несерьезно, Брэнди. Чего ты волнуешься? Женский пол — наше общее достояние.

И добавил, как всегда наставительно:

— Уж если у тебя прорезался интерес к этому... Тут кое-что надо уметь. Во-первых, надо уметь овладевать своим объектом с первого взгляда...

Лешка сунул руки в карманы, он весь напрягся до последнего. Перед ним, точно в каком-то тумане, покачивалось незнакомое, плоское, неживое лицо Лабоданова.

8

В городском парке над обрывом, уводящим к морю, взметнулось крыло самолета — памятник погибшему в войну герою-летчику.

Где-то внизу за зарослями акаций, где так и вьются белые мотыльки, — гудки паровозов, стук вагонов, белые домики в зелени и багряные, точно подожженные солнцем, черепичные кровли. Лают собаки. А правее — пляжи и мост, перекинутый через железнодорожное полотно. И море. Море серебристое. Парусник в море, просветлевший, бесцветный горизонт. Молодецкий месяц в зеленовато-заголубевшем небе.

Крыло самолета встает над морем. И кажется: нет там внизу жизни, такой уютной отсюда, с обрыва, — только крыло и море.

Сюда в парк, к памятнику, на первое свое свидание пришла Жужелка раньше назначенного ей времени. Кое-где на скамейках сидели парни и девушки, уткнувшись в учебники. Жужелка села на пустую скамейку. Ползали муравьи по присыпанной цветным песком дорожке. Мохнатая гусеница вползла на ногу Жужелке, и Жужелка сбросила ее.

Садилось солнце, его лучи окрасили багрянцем крыло самолета.

Отец Жужелки не был летчиком, и такой памятник ему бы не поставили. Но в глубине парка есть другая могила — братская могила, прикрытая бетонной плитой. Жужелка иногда приходит в парк постоять у плиты, на которой написано: «Павшим в Отечественную войну». Она представляет себе, что Федя Халпакчи, ее отец, которого она не знала, лежит здесь, в могиле, придавленный плитой.

Но это одно лишь воображение. Федя Халпакчи не может быть похоронен здесь. Он погиб при взрыве моста через Кальмиус, и река унесла его в море. На праздниках, когда мать выпивала, она плакала, ей мере-

щилось, что мужа ее, Федю, носит по морю. Только он один мил, люб и дорог ей, а его нет и не будет, и жизнь ее обездолена навеки. «Любовь — это все,— говорила мать.— Без нее никакой жизни». У нее так много слов о любви, о злой разлуке и ожидании, что, когда она пристрастилась гадать, к ней потянулись солдатские вдовы.

Что же такое любовь? «А я ведь из-за тебя пришел!», и голубые глаза, от которых невозможно оторвать взгляд и до озноба страшно глядеть в них. И руки, державшие ее руки. Может, это и есть любовь?

Она сидела у памятника, в условленном месте на скамейке. По какой бы дорожке он ни шел сюда, она бы увидела его. Но она не смотрела по сторонам. Она следила за муравьями, ползающими у скамейки по песку, и ждала, когда он сам подойдет и окликнет ее.

Он окликнет ее, и они заговорят. Но о чем же? Она должна ему что-то сказать, ведь она пришла на свидание, но что же, господи? Что говорят друг другу люди на свидании?

Минутами становилось так неловко, так обременительно от всего этого, что ей хотелось, чтобы Лабоданов не приходил совсем.

Мальчишка с пустой бутылкой под мышкой шнырял у кустов акации, растущих по сторонам скамейки, охотясь за мотыльками. Он ловил их прямо ладонью и запихивал в карман.

— Отпусти ты бабочку! — не выдержала Жужелка.

Он не подумал даже обернуться, сказал резонно:

— А они — будущие гусеницы.

Словил еще одну и сунул руку в карман.

— У меня уже полный карман!

Заиграл духовой оркестр, заглушил голос местного диктора, напомнимшего о месячнике безопасности движения в городе. Под музыку живей побежали струйки фонтана, и бронзовый мальчик, восседавший в центре фонтана, радостно заискрился, благосклонно взирая на больших лягушек, выпускающих изо рта прямо на него водяные струйки.

— Приветствую вас всесторонне и разнообразно!

Жужелка вздрогнула. Перед ней стоял Славка.

— Что подельываешь тут? Кого ждешь? — Он спрашивал настойчиво, с каким-то подвохом, наслаждаясь ее замешательством.

— Никого.

Он заметил на коленях у нее учебник.

— А! Занятия на свежем воздухе. Экзамен? Как-нибудь скинешь.— Он достал из кармана пачку сигарет, заглянул в нее.— Не куришь? Печально.— Скомкал пустую пачку и зашвырнул в кусты.— А куда потом подашься, после экзаменов?

— Куда-нибудь.

— Валяй к нам, в пищевой техникум.

— Вот еще.

Ну чего он торчит тут, вяжется с разгвором?

— На институт метишь? Не стоит. Послушай меня. Плохого не посоветую. Топай в какой-нибудь дохленький техникум вроде нашего. Есть знакомые ребята, прошлый год окончили, устроились ничего. На рефрижераторах ездят. Левые заработки. Жить можно.

— Но ведь неинтересно,— натянута, с высокомерием сказала Жужелка.

Он продолжал свое:

— Охота была ишачить в институте! Кто-то потом пойдет наверх, а мы — в глубину. И получай свои восемьсот восемьдесят! В крайнем случае лет через пять — тысяча сто. И крышка! — Он отрубил ребром ладони под горлом два раза — точно жест Лабоданова. Это сходство было неприятно Жужелке.— Уж я-то знаю ставки.

— Что ж, по-твоему,— с неприязнью сказала Жужелка,— вся жизнь сводится к деньгам? И потом, если ты все равно будешь получать восемьсот восемьдесят, то пусть хоть на более интересной работе.

Славка не ответил, вскинул бровь.

— Так вот.— Он многозначительно помолчал.— Виктор Лабоданов передает через меня: он немного задержится.

Жужелка вспыхнула, пораженная. Она посмотрела на дорожку, ведущую к входным воротам парка. Там маячила девушка, та самая, которую Жужелка видела дома у Лабоданова. Она прогуливалась по красному песку, в том же самом платье, облегающем ее стройную, тоненькую фигурку.

— Чего ты волнуешься! У него гость. Как отвяжется, придет. Поняла? Еще целый вечер впереди. Не расстраивайся.— Славка говорил, изогнувшись над Жужелкой, и длинная прядь волос свалилась ему на лицо.

Как неприятен, как отвратителен был он ей с отвисшей длинной прядью, со своим бесцеремонным разглагольствованием.

— Только ты дождись его. Слышишь? Не уходи.

Она ничего не ответила. Тайна ее свидания раскрыта, и все теперь было ей ни к чему.

К ним приближалась девушка, и они оба смотрели теперь, как она шла по красной песчаной дорожке. Девушка приподняла руку, приветствуя Жужелку.

— Здравствуй,— сказала Жужелка и подвинулась, освобождая для нее место на скамейке.

— Курить охота. Деньжат ни у кого нет? — спросил Славка.

— У меня есть два рубля,— сказала Жужелка. Она открыла учебник в том месте, где он был заложен двумя рублями.

— Это благородно! — Славка взял деньги, изогнувшись.— Я сейчас. Промышлю сигареты.

Девушка присела на скамейку. Легкая, в облепившем тоненькую фигурку платье, в своей шапочке темных волос.

Жужелка, робея, сбоку рассматривала ее.

— Ты учишься? — покосившись на учебник, спросила девушка неожиданно низким, простым голосом, теряя вдруг свою загадочность.

— Да вот химия послезавтра. Очень боюсь. А ты учишься?

— Я работаю.

— Да? — сказала Жужелка.— А где?

— В порту работаю. Кассиром.

Разговор не клеился.

— Ты кого ждешь?

— Я? — спросила Жужелка, сильно покраснев.— Никого. Да вот тут... А в общем нет, никого.

Опять помолчали.

— Скучно,— сказала низким голосом девушка.— До чего скучно!

— Что скучно?

— Все скучно. Все,— протянула она, точно ублажая себя этим открытием.— Правда, скучно?

Жужелка пожала плечами. Скучно ей никогда не бывало.

— Вон Славка идет.

— А ну его,— сказала девушка.

Славка подошел, пыхтя сигаретой.

— Пошли, Нинка!

Оркестр смолк, и стала слышна радиола с танцплощадки. Там уже начались танцы.

Девушка поднялась, кивнула Жужелке.

Славка заговорщически пожал большой мягкой рукой руку Жужелки. Он догнал девушку и шел рядом, непомерно возвышаясь над ней на целых три головы, потом вдруг обнял ее за плечи, и она не отстранилась, покорно шла с ним.

Жужелка отвернулась — ей было неловко и неприятно смотреть им вслед.

Оркестр заиграл вальс «На сопках Маньчжурии». Жужелка подняла голову от учебника. Сквозь листья густой шелковицы виднелась голубая раковина, где сидели оркестранты. Вокруг опустели скамейки — парни и девушки разбрелись по парку. Вечерело, прибывал народ. Ввалились за гармонистом подвыпившие пожилые рабочие в спецовках, они отплясывали вприсядку, поднимая пыль, и хлопали себя что есть мочи по груди и коленям. Один из них, поравнявшись со скамейкой, где сидела Жужелка, остановился.

— Крошечка замученная, — нежно сказал он, наклонившись к Жужелке, — ей бы гулять, а она все читает. — И пошел догонять гармониста, болтая руками, приплясывая.

Жужелка увидела, как в ворота вбежал Лабоданов.

Он быстро шел по дорожке, озираясь вокруг, заметил Жужелку, перескочил загородку, напрямик направляясь к ней. Она порывисто встала и, не глядя ему в лицо, протянула руку.

— Опоздал, — говорил он, запыхавшись. — Хотя опаздывать вообще не в правилах Лабоданова.

Она откинула плечом волосы, не слушая, и пошла по дорожке впереди него.

— Я боялся, ты не дождешься, — сказал он, догнав ее, и взял за руку. — Особые обстоятельства. А Славка был тут? Предупредил?

— Да, да.

Пахло розами, их множество расцвело на газоне. Гремела музыка. На скамейках перед оркестром кое-где дремали сидя одинокие посетители.

— А что он сказал? — громко, наклонясь над ухом Жужелки, спросил Лабоданов.

— Кто? — Она подняла лицо и на мгновение встретилась с ним взглядом. — Ах, Славка. Да так, ничего.

— А все же, что он сказал?

— Что к тебе кто-то пришел, какой-то гость, и ты удержишься.

Лабоданов усмехнулся.

— Это точно. Я торопился, как мог. — Он крепче сжал ее руку. — Я боялся, что ты уйдешь, не дождешься.

— Нет, — сказала она, остановившись и прямо смотря ему в глаза, — я бы дождалась.

Медленно, молча они пошли дальше по аллее, присыпанной желтоватым цветом акации. Сбоку, за кустами отцветшей сирени, — братская могила под бетонной плитой.

У бильярдного павильона на вынесенных столах, в папиросном дыму, окруженные толпившимися болельщиками, молча сражались шахматисты. Над деревьями взлетали гигантские качели.

Лабоданов проследил взглядом за качелями.

— Сильные ощущения. Всех это тянет. А красиво провести время не умеют.

Жужелка беспокойно смотрела на него, плохо понимая, что он хочет сказать. Он жил здесь, в городе, ходил по одним с ней улицам, стрелял в тире и даже заглядывал к ним во двор, а она еще пять дней назад не знала его.

Вышли на полянку. Кружилась карусель. На травянистом холмике

толпилось много людей, некоторые были с биноклями. Люди собирались тут наблюдать за небом в надежде увидеть спутник. Жужелка и Лабоданов остановились, и Жужелка стала смотреть на небо. Лабоданов отпустил ее руку и, чиркая спичкой, закуривая, сказал вполголоса:

— Удивляюсь: какой все-таки Брэнди чижик.

— Ну уж,— возразила Жужелка.

— Чижик,— повторил уверенно Лабоданов.

— Ну нет! — с жаром сказала Жужелка.— Ты все знаешь? Он тебе рассказал? Это он у тебя был? Ты из-за него задержался?

Лабоданов кивнул.

— С ним ничего не будет? Как ты думаешь? Я так боюсь.

— Я сказал — чижик, цену жизни не понимает. А из-за него люди пострадать могут.— Он посмотрел на нее.— Ну ладно. Потом поговорим. Надо выручать его.

Он потянул ее за руку.

— Пошли отсюда. Чего ждать? Неинтересно.

Она не возражала, хотя ей очень хотелось увидеть спутник, как он промчится маленькой звездочкой над их городом и уйдет в таинственные миры.

— Мы тоже спутники,— многозначительно сказал Лабоданов и крепко затянулся.— Ты и я.

Жужелка слушала, побледнев.

— Вместе полетим в тартары,— досказал он, опять беря ее за руку.

— Не понимаю,— разочарованно сказала Жужелка.— Ничего не понимаю.

— Как жа-ахнет, и крышка!

Она сбоку смотрела на Лабоданова. Лицо его оставалось замкнутым.

— Ведь это страшно — так думать,— чувствуя его превосходство и гнет, сказала Жужелка.

Лабоданов усмехнулся и ничего не ответил.

Они возвращались по тем же аллеям и пришли опять к памятнику. Солнце село, и потемневшее крыло самолета над могилой погибшего летчика рвалось вверх, точно хотело убедить: вечного покоя нет, все только полет, усилие, порыв.

Жужелка проследила за крылом. Допустим, я тоже умру. Хотя понять это невозможно. Но неужели может перестать существовать весь этот мир — море и звезды в небе?

Лабоданов стоял рядом, раскачиваясь с носка на пятку. И вдруг ласково дотронулся до ее волос, лежащих на плече, и зажал прядь ладонью. Жужелка вздрогнула и перестала дышать, глядя через его плечо на море.

— Ты мне нравишься,— сказал Лабоданов.— Нравишься,— повторил он с нажимом.— Слышишь?

Ухало, замирая, как на качелях, сердце у Жужелки.

— Пойдем отсюда. Чего тут стоять? Нам такую штуковину не поставят. Сгинем так. Без музыки.

Он потянул ее за руку. Жужелка вдруг заупрямилась, пугаясь твердого взгляда Лабоданова. Лабоданов снял пиджак, надел ей на плечи, приговаривая: «Вот мы сейчас согреемся»,— и с силой потянул ее за руку.

Где-то в стороне, в центральной части парка, мигали разноцветные лампочки, а внизу, под обрывом, громко лаяли собаки, чернели крыши жилищ. Лабоданов вертел головой, озираясь по сторонам, и слегка подталкивал Жужелку вниз. Шуршала, осыпалась под ногами земля. В темноте лаяли собаки. Лабоданов раздвинул кусты и юркнул куда-то вниз. Жутко затрещала обломившаяся ветка. Стихло, и до Жужелки, точно

из другой какой-то жизни, донеслась радиоло с танцплощадки. Потом она услышала громкий шепот зовущего ее Лабоданова. Она с отчаянием оглянулась на разноцветные лампочки, мелькавшие вдалеке.

— Чего же ты? Нет никого тут,— услышала она рядом горячий шепот Лабоданова.

Мелькнуло на миг его незнакомое лицо. Он обнял ее. Она в смятении откинула назад голову. Он крепче прижал ее к себе, и Жужелку обдало чужим, громким, прерывистым дыханием, и вдруг губы его больно впились в ее сомкнутый, окаменевший рот. Она задохнулась и закрыла глаза.

Лабоданов приподнял ее, пронес несколько шагов куда-то в сторону с тропинки. Пиджак сполз у нее с плеч на землю, и Жужелка слышала, как Лабоданов нагнулся за ним, поднял и бросил его на куст. Он притянул ее к себе. Она уперлась руками ему в плечо, дико рванулась, охваченная ужасом. Не разбирая дороги, обрываясь в темноте и опять хватаясь за кусты, она карабкалась вверх, поминутно вздрагивая и всхлипывая.

Глава пятая

1

Лешка вернулся домой поздно, когда уже все спали, и, не зажигая свет, лег в проходной комнате на своей кушетке. Спал он крепко. Проснувшись, убедился, что мать и отчим уже ушли на работу. Он вскочил и принялся собираться. Согрел воды и простирнул в тазу две рубашки, трусы и пару носков.

Когда он вышел во двор, старуха Кечеджи бросилась к нему.

— Ай-яй-яй! — Она была вне себя от радости, что видит его.— Я тебя весь вечер караулила.

Она вдруг стихла и зашептала заговорщически:

— Я ему ничего не сказала. Ты не думай. Он как закричит: «Я из милиции! Немедленно все доложите!» А я ему: «Скажите-ка, раскрылся заяц на лес». Как начал грозить: «Вы будете отвечать?» А я ему: «Сначала почините мне глаз, а потом допрашивайте».

Лешка понял только одно: за ним уже приходили из милиции.

— Ну? Чего ты молчишь?

Он стоял перед ней без рубашки, в одних пестрых, разрисованных трусах — «фестивальных», как их называла старуха Кечеджи. Уже совсем большой мальчик вырос, только некрепкий на вид. Еще бы. Дитя войны. На голом плече его лежали свернутые жгутом мокрые рубашки, и с них стекали капли воды, а в руках он держал мокрые носки и трусы.

Старуха с таким горьким сочувствием уставилась на него, что он не выдержал:

— Да вы не волнуйтесь, бабуся.— И стал развешивать на веревке свои вещи.

Старуха, вздохнув, молча сняла с веревки и отжала как следует одну рубашку, потом другую. Она поспешила к себе в квартиру и тут же вернулась, неся прищепки.

— На вот.

Кто-то позвал:

— Хозяйка!

— Иду, иду! — вдруг высоким голосом пропела старуха.— Да, ты ведь не знаешь. К нам командировочного из ЖКО прислали. У дочки даже настроение переменялось.— Она оживленно направилась к своей двери, шелестя подошвами стоптанных туфель.

По двору шла Жужелка. Она шла быстро, стараясь проскочить незамеченной.

Лешка преградил ей дорогу.

— Ты куда?

— В школу. Консультация у нас.

В самом деле, ведь на ней была школьная форма.

Лешка просто видеть не мог, как она стоит так, опустив голову, и не смотрит в глаза.

— Ты где вчера была?

— В парке.— Ей казалось, что это было не вчера, а очень давно.

— Гуляла, значит. С кем же?

— Сам знаешь.

Она разглаживала на талии черный фартук, молча смотря себе под ноги.

Во двор въехал мусорщик, и собаки с лаем сопровождали поднимающуюся на горку колымагу.

— Ведь договаривались ездить на море! Раз ты все равно не зубришь...— срывающимся голосом заговорил Лешка.

— При чем тут море? Чего ты кричишь? — Ей казалось, по ней видно, что произошло вчера и что у нее распухли губы.— Правда, чего ты кричишь? Мы же говорили с тобой... Ты ведь все знал.

— Ничего не знал,— сурово перебил он, пораженный прозвучавшим в ее голосе отчуждением.— Мы еще ни о чем не говорили. Я ждал, когда ты сдашь экзамены. Не хотел отвлекать тебя!

Он плохо соображал, что говорит.

— Ну чего ты,— растерянно сказала Жужелка.

— Значит, гуляла. Воздухом, так сказать, дышала.

Жужелке показалось, что он способен ударить ее.

— Отстань в конце концов.

Он увидел ее красные, заплаканные глаза, и у него екнуло в груди.

Старуха Кечеджи вынесла мусорщику напиток, и тот, возвращая кружку, должно быть, шутил с ней, а она, все время следившая издали за Лешкой и Жужелкой, крикнула им:

— Видали! Комплименты! Семьдесят на семьдесят.— Ей хотелось развеселить их.

— Вот что,— сказал Лешка.— Ты обожди. Я сейчас оденусь. Ты без меня теперь ни на шаг. Понятно?

Они молча шли рядом, и Лешка опять закипал и желал дать ей понять, что отлично знает, о чем она сейчас думает.

— Через проходной пойдем.

Он свернул в ворота, и она послушно пошла за ним, хотя обычно ходила в школу другим путем.

Вошли во двор школы. Жужелка нерешительно сказала:

— Чего ж ты будешь ждать? Это ведь долго, часа два, не меньше.

— Ладно. Топай.

Жужелка ушла. Он сел на загородку, отделявшую школьный сад от двора, и закурил. Благо, было что курить. Разменял вчера вечером сто рублей, что дал ему «дядя Саня».

Появились девочки из бывшего Лешкиного класса и озабоченно проплыли к двери, как стайка коричневых уток в черных фартуках. Издали они прокричали Лешке что-то невнятное. Они ему осточертели за девять лет совместного обучения. Подошел и крепко пожал ему руку Сережка-очкарик, лучший ученик. Все лицо его в мрачных колючках. Давно бриться пора человеку, а за бритву взятыся конфузится. Помешкав, он стрельнул у Лешки сигарету, спрятал ее в карман кителя и пошел не спеша на консультацию. Что ему, он эту химию вдоль и попе-

рек знает. Если б Жужелке ну хотя бы половину его знаний, можно было бы не беспокоиться.

Он оглядел двор. Пацаны гоняли футбольный мяч.

До чего же давно он не был здесь. Целую вечность! С того самого дня, как перестал ходить в школу. С осени, значит. Он даже вдруг разволновался. Почему-то вспомнилось, как прошлый год, весной, в День победы, сбежал с уроков и слонялся по улицам. Вечером под звуки доносившейся с окраин салютной пальбы он думал об отце. Его жизнь оборвалась за два дня до падения Берлина, когда вот так же дул весенний ветерок, пахло распускающейся черемухой, и умирать было дико и грустно.

И Лешке захотелось чего-то необычного, яркого, и потянуло уехать куда-нибудь далеко-далеко.

Едва дотерпев до конца занятий в школе, он бросился в гавань. Прицепился к черному от загара, жилистому, седому дядьке — капитану шаланды «Эрика», упросил взять его в рейс. Они шли к Островам, синели морские дали, пекло солнце, и на его долю выпадало без конца чистить картошку, варить уху и кашу. Потом этот шторм...

На шаланде все было просто, без громких слов, работа и товарищество.

Когда шаланда возвращалась в гавань, появлялись женщины, и ребяташки, цепляясь за коричневые ноги матерей, ковыляли к берегу. Команда расходилась на сутки по домам, а Лешка оставался на шаланде, убирал ее.

Кончилась навигация, и он вернулся в школу, опоздав на полтора месяца к началу занятий.

Он сидел на задней парте и чувствовал на себе нетерпеливый взгляд Жужелки. Неужели это было в самом деле? И потом эта записка, он помнит ее наизусть: «Как я рада, что ты вернулся. Я все лето ждала тебя».

Лешка пригладил волосы, пропуская их между пальцев. Лучше не вспоминать.

Но он вспоминал, как написал в ответ: «Ты подстриглась. Это здорово».

А на перемене его вызвали к завучу. Ему нечем было оправдаться. Опоздал на полтора месяца. Но он не желал, чтобы на него кричали. Он брякнул, что подвернулось: мол, поступает работать и вообще уходит из школы. Это приняли без сожаления. И он расстался со школой легко. Ему казалось: только бы вырваться из школы — и начнется яркая, интересная жизнь. А очутился на кроватной фабрике — такая же обыденщина и скука...

Мяч стукнулся о загородку, на которой он сидел, и откатился неподалеку. Лешка вскочил и раньше, чем успели подбежать мальчишки, ударил по мячу. Он носился по двору, зажав зубами погасшую сигарету.

2

— Ты дома зубрить останешься?

Она уже сняла школьную форму, переделалась. Начесала волосы на лоб и повязалась платочком, обмотав им свое несчастное лицо. Одни глаза остались. Откуда только они взялись такие? Одуреть можно.

— Тебе же сегодня должны дать окончательный ответ насчет «грязнухи». — Она уже второй раз повторяет то же самое. — Ты же сказал: сегодня должны дать ответ.

Она прямо-таки цепляется, точно это одна-единственная ее забота.

— Ну должны. Ну и что с того?

— Так ведь надо идти за ответом.

— Успеется.

— Нет, нет! Это очень важно. Надо идти сейчас.

Даже приятно, как она это говорит. Сняла бы еще свой платочек — и порядок: прежняя Жужелка.

— Я тоже пойду с тобой на завод. Подожду у ворот, пока ты сходишь в отдел кадров.

Секунду он соображал. Со всех точек зрения отсюда лучше уйти. Останешься во дворе, дождешься, что при Жужелке явятся из милиции.

— Ну, допустим. Пойти можно, но только, если ты не будешь там терять зря время. Ты можешь там посидеть и учить химию. Согласна?

Она согласилась.

— Тогда подожди, я сейчас.

Он сорвал с веревки рубашки, трусы — они почти уже высохли. Носки были сырые. Сойдут и так. Он нырнул в дом. О глажке теперь не могло быть и речи. В висках стучало, точно метроном отбивал время. До встречи с Баныкиным осталось четыре часа сорок минут. Он осторожно снял с гвоздя рамку с фотографией отца и положил ее между рубашками. Увернул все свое имущество в старые газеты. Получился пухлый пакет. Отыскал в кухонном столе бечевку, перевязал пакет — он немного утрамбовался. Подхватил его под мышку, снял с вешалки свой пиджак. Закрыл на ключ дверь и обернулся. Старуха Кечеджи стояла наготове с большим кулком.

— Вот тут, Леша, сырники, свежие. Утром нажарила. Ешь на здоровье.

Он не посмел отказаться, хотя и без того руки у него были заняты. Он был тронут до чертиков. Сразу вспомнилось, как в детстве она приносила ему рыбный суп в миске.

Грустно глядя на его сверток, на пиджак, перекинутый через руку, старуха покачала головой.

Они уж было направились со двора.

— А ты почему без учебника? — спросил Левка.

— Я по тетрадке учить буду.

Тоненькая тетрадка была при ней.

— Нет, это не дело. А где твой учебник?

Она не отвечала.

— Куда ж он делся? Ты что, совсем обалдела?

— Я его потеряла.

— Вот это да!

Сказал и осекся. Быстро опустил на булыжник сверток, пиджак и кулек с сырниками. Открыл снова дверь. Вошел в комнату, увидел странный яркий прямоугольник на стене, где висела фотография отца. Стал рыться в книгах на этажерке. Он очень волновался. «Задачи по алгебре», «История» — все новенькие, незахвачанные, с самой осени стоят. У него от нетерпения дрожали руки. Только бы найти. Наконец, вот она, «Химия»! Уцелела!

Опять запер дверь. Отдал Жужелке новенький учебник. Поднял пиджак, сверток и кулек. Помахал рукой на прощанье старухе Кечеджи. Ну, теперь пошли.

Жужелка немного отставала, и он замедлил шаг.

— Вот что я придумал. Мы потом знаешь, куда пойдём? К морю. — Он прямо-таки одаривал ее. — Ты будешь на пляже сидеть, заниматься. Согласна?

Она не отвечала. Издали он увидел часы у почты и сверил по ним свои. Осталось четыре часа двадцать минут. Это же целая вечность!

— Ты ж сама говорила: хорошо бы к морю ездить. Ты что, забыла?

Он где-то парил и был поверх всего, что произошло там вчера с этим злосчастливым учебником. Он жил тем, что происходило сейчас, и только сейчас. Каждая секунда была наполнена до краев. Он чувствовал себя беспричинно счастливым. Это даже подло, что он так счастлив, когда ей плохо. Но она ему была во сто крат ближе вот такая, совершенно беспомощная.

— Ты только сдай, будем каждый день на море ездить. Я лодку одолжу, у меня там знакомый имеется, у него лодка. Знаешь, как здорово. В штиль можно до самых Островов на лодке дойти.

Он сам не знал, что говорит. Все спуталось, и он не мог остановиться.

Когда пришли к заводу, Жужелка, сев на скамейку у высокой каменной ограды, поправила юбку на коленях и послушно, как маленькая, раскрыла учебник, сказав ему:

— Ты иди. Я тут буду ждать.

Он не мог видеть ее такой поникшей.

— Клена! Ты самая замечательная девушка на свете.

Она подняла голову и посмотрела ему в глаза.

Все, у кого в запасе не четыре, а гораздо больше часов, да знают ли они, что это такое — короткие секунды? Это же целая жизнь!

— Хочешь, я стойку выжму?

Она улынулась. Первый раз за весь день. До чего же ей идет, когда она улыбается!

— Хочешь?

— Тебе идти надо. Что ты придумываешь?

— Нет, ты скажи, хочешь?

Она засмеялась и заправила в юбку выбившуюся кофточку.

— Иди же. А то еще на твое место кого-нибудь возьмут.

Он положил возле нее на скамейке пиджак, сверток и кулек. У двери бюро пропусков оглянулся. Жужелка сидела, уткнувшись в учебник.

Он взлетел на второй этаж, сунулся в окошко за пропуском — он страшно торопился.

— Обеденный перерыв, — сказали ему.

Он скатился обрадованно вниз, распахнул дверь. Сколько минут он бессмысленно потерял!

— Обеденный перерыв сейчас, — сообщил он Жужелке.

— Да? Ну, ладно. Обождем. — Краешком глаз она взглянула на него, не отрываясь от учебника.

Ветер поднимал пыль, кружил, прибывал к каменной ограде завода окурки, шелуху семечек, мелкую гарь отходов.

Лешка откинулся на спинку скамьи. Возле молоденьких посадок еще слабой акации сидели на узлах или прямо с краю тротуара, упираясь ногами в булыжник мостовой, расторговавшиеся на базаре женщины. Они ждали попутную машину и терпеливо сидели рядом в своих теплых цветных кофтах, окруженные покупками. Блестела на солнце цинковая детская ванночка.

А дальше, за ними, где булыжник круто скатывался вниз, поблескивала вода Кальмиуса и взлетал над рекой мост.

Неподалеку продавали мороженое. Лешка сорвался с места, прошелся взад-вперед возле мороженщика и вернулся ни с чем. Сколько раз мечтал закупить Жужелке вволю всех сортов мороженого, но на эти деньги не стал.

— А когда ж мы теперь к морю пойдем? — спросила вдруг Жужелка.

— После. Или, если хочешь, — сейчас. Можно прямо сейчас пойти.

— Лучше сначала дождемся ответа. Тогда пойдем.

Ветер затеребил ее юбку, и Жужелка обеими руками ухватилась за

подол, натягивая юбку на колени. Она задумчиво уставилась вдаль на поднимающийся вверх город.

Лешка протянул ей сырник. Она взяла и стала есть. Сырники оказались как нельзя кстати, оторваться от них было невозможно. Они с аппетитом уплетали их, пока не опорожнили весь кулек. Мировая бабка, эта старуха Кечеджи.

Самосвал, груженный железным ломом, требовательно сигнализировал у заводских ворот. Лешка не спускал глаз с него, пока он не скрылся за воротами. Может, это с кроватной фабрики привезли.

— До чего же тянется этот обеденный перерыв,— сказала Жужелка.

— Теперь уже недолго осталось.

Он смотрел сбоку на ее круглый подбородок, подхваченный снизу платочком, на крепкие губы. перевел дух, сказал сурово:

— Больше ты не будешь спать во дворе.— В голове мелькнуло: может, во дворе ей спать все же лучше, потому что у матери ведь ночует шофер, но он повторил: — Это не дело — одной. Позови Полинку, пусть и она с тобой.

Но она только отмахнулась:

— Опять ты распоряжаешься.

Она вдруг заметила Лешкин пиджак и сверток.

— Зачем ты это взял?

— А почему бы нет? Дождь, например, посыплет.

— Нет, зачем ты это взял? Нет, нет! Ты что-то скрываешь. А вчера сказал, что ничего не будет. Ты что, соврал? Соврал? Ты скажи.

Он развалился на скамейке, вытянув ноги.

— Вот еще. Что за истерика? Что мне может угрожать? Что я, чирик какой-нибудь, что ли. Поплаваю на «грязнухе», мне стаж отстучит. Для того и иду. А ты думала, для чего? Может, в техникум подамся вечерний. В какой-нибудь дохленький, где полегче.— Он чувствовал: она напряженно слушает. А его так и несло: на вот, получай. Ведь ей такие нравятся.— Что важно? Чтоб работа не пыльная. Лишь бы зашибать лично.

Он сел, выпрямившись. Курил короткими затяжками и все говорил, говорил. Жужелка смотрела на него во все глаза. Он держал сигарету, как Лабоданов, двумя пальцами, большим и указательным.

— Ты все врешь! Врешь! — вне себя закричала она.

3

Назад он не вернулся и не знал, долго ли Жужелка прождала его.

Он не мог вернуться к ней. Во-первых, отказ в отделе кадров. Признаться? Она станет ужасаться, жалеть его. Продолжать кривляться? Тоже противно. Во-вторых, он сказал ей, что она теперь без него ни на шаг, а у самого осталось каких-нибудь два с половиной часа.

В общем он вышел с заводской территории через другие ворота.

Двое парней в ковбойках приколачивали к забору огромное объявление. Лешка задержался, прочел. Завод производит набор в ремесленное училище лиц в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет. Что ж, он еще может поступить. Трест «Домноремонт» сообщал: нужны слесари, электрики, нужны сварщики, газовщики. Нужны... А что нужно тебе? Вот в чем вопрос.

Кадровичка, та просто безо всяких ужимок преподнесла ему:

— Мы тут посоветовались и решили воздержаться.

Ясно, что ни с кем она не советовалась, просто не по вкусу он ей пришелся.

— Для тебя же лучше. Надо на Восток ехать. Вот тебе мой искренний совет. Таких, как ты, город портит.

Он ничего не ответил.

— Да ты садись. Поговорим по душам.

Но душевного разговора не получилось. Он не сел. Подумал: в его-то положении самое дельное смыться на Восток. Сказал ей:

— Как вы рассуждаете? Вы там были? Это только в книгах: сел в поезд на Восток — значит, уже герой...

Она перебила:

— Ты думай, что говоришь.

Он повернулся и пошел. Его просто душила бессильная злость. Пошлятина и несправедливость. Подохнуть можно. Что он, тепленького местечка добивается, что ли? Он мог бы податься куда-нибудь, где получше. Но он уцепился за эту «грязнуху», потому что плавал уже на шаланде, и там ему нравилось и было интересно. После кроватной фабрики он боялся напороться опять на обыденщину и скуку. В сущности, последняя надежда у него была на «грязнуху».

«Чего тут переживать,— сказал он себе.— Разве это судно? В обещанный перерыв к берегу причаливает». Но тем обиднее показался ему отказ.

Он был так взбудоражен, что происшествия этой ночи просто выпали у него из головы. А когда немного успокоился и вспомнил обо всем, пошел с завода к южным воротам. Жужелка ждала его у северных.

Теперь совсем близко тихо плескалось море. Он забрел на пляж, куда они собирались отправиться вместе с Жужелкой. Всего неделю назад она сидела вот тут. Он старался представить себе все, как оно было тогда. Но не мог. На пляже стоял гомон — привели детский сад в трусах и панамочках. Фотограф с закатанными выше колен брюками хлюпал по воде, нацеливаясь аппаратом на этот выводок. И Лешка никак не мог сосредоточиться, наблюдая, как ребятишки под водительством худой женщины в халате, взявшись за руки, всей шеренгой пошли в море.

Неподалеку завтракало шумное семейство. Взрослые и дети жевали вяленую рыбу и запивали фруктовой водой из бутылок. Ребята постарше гоняли по пляжу мяч, поднимая пыль. Перед глазами маячила дощечка, прибитая к вкопанному в песок столбику, «Пляж горкомхоза № 5». Простынный раз он ее не заметил.

Забуть бы обо всем, о чертовых обрезках, о Баныкине, о Лабоданове, взять бы Жужелку за руку и уехать куда-нибудь далеко-далеко. Он нашупал деньги. Девяносто три рубля тридцать копеек. Шесть семьдесят потрачено им вчера на еду и сигареты.

Деньги иногда бывают нужны позарез. Но эти деньги, что в правом кармане у него, здорово ему опротивели.

Иногда он нехотя думал о Лабоданове. Вернее, не думал, а видел перед собой его лицо, чужое, плоское, каким оно было в их последнюю встречу.

Он сел на песок и очутился рядом со старичком, суховатеньким, жилистым, с мелкой седой бородкой и крестиком на сиреневой ляжке, сползшей на его голое плечо. Старичок был в бархатной ермолке и трусах. Он лежал на подстеленной простыне, подложив под голову набитый чем-то портфель, лущил ногтями подсолнух и беспрерывно жевал.

Лешке захотелось уйти отсюда. Он встал, посмотрел последний раз на море и пошел. Грустно защемило в груди, и точно подхватило, понесло его куда-то. Он думал о Жужелке. Она еще вспомнит о нем. Еще как вспомнит и заплачет.

Лешка задержался на секунду у витрины книжного магазина.

С плаката на него смотрел парень в скафандре. Он смотрел ему прямо в глаза, точно хороший знакомый.

Навстречу из глубины улицы доносилась похоронная музыка. Впереди шел старый человек, нес красное знамя с черной лентой по древку. Женщины несли венки и красную крышку гроба. Старушка — обвязанную марлей посудину с кутьей. За ними сипел, ползя по булыжнику медленным человеческим шагом, неопрятный грузовик. На дне кузова, головой к опущенному заднему борту, лежал в гробу покойник. За грузовиком шел оркестр, опоясанный помятыми медными трубами.

Уж умирать, так по крайней мере послужив человечеству. Полететь, например, первым в космос. Но такое выпадет одному кому-то. Полное несоответствие. С одной стороны — космос, с другой — ты, маленький, копошишься, ищешь свое место на земле.

— Гражданин! Не ходите по проезжей части шоссе. Это вас касается, не улыбайтесь.— Лешка не сразу сообразил, что это к нему обращаются в рупор из синей милицейской «победы».

— Граждане! Напоминаем. В городе проводится месячник безопасности движения. Вы неправильно переходите улицу. Вернитесь ниже, там переход.

Он вернулся и перешел, где следует, хотя на улице, кроме удалявшейся похоронной процессии, никакого движения заметно не было.

Он очутился на Торговой. Квартала за три отсюда его, быть может, уже ждут. Но у Лешки еще оставалось с полчаса до назначенного ему времени.

В сущности, эта улица давно переименована. На табличках значится: «Улица имени 8 марта». Но новое название не привилось к ней, и ее называли, как раньше, с незапамятных времен, Торговой. Невдалеке, на взгорье, за старыми лабазами, превращенными давно в «Химчистку», в «Приемный пункт прачечной № 1», расстилался мощными цехами, дышал, чадил и скрежетал металлургический завод. По улице и день и ночь катили к заводу грузовики. Отчаянно погромыхивая, не сбавляя скорости, они круто сворачивали к мосту, одним рывком минуя угловой пузатый выщербленный домишко, на приступочка которого так же, как сто лет назад, прилепилась неприметная старая бабка с ведром подсолнуха. Запустив в ведро граненый стакан, она ссыпала на рубль подсолнух в карманы возвращающихся со смены девчат.

Лешка всего несколько шагов сделал по этой до оскомины знакомой улице, как вдруг что-то происходящее здесь поразило его. В кузове загорюничавшей мостовую машины удивительные люди суетились возле удивительных аппаратов. Лешка припустился бегом. Но он опоздал. Только что здесь происходила киносъемка, а теперь все было кончено, и артисты стояли группками на гротуаре, тихо переговариваясь. Немного в стороне ото всех высокий человек с подкрашенными синими глазами задумчиво курил, опустив руку в карман черной суконной куртки сталевара. Лешка ошеломленно уставился на него.

Появившийся в это время человек в берете, с перекинутым через плечо на ремне аппаратом властно скомандовал:

— Массовка, в автобус!

И, повернувшись к Лешке своей крутой ладной спиной, сам направился к голубому автобусу быстрыми короткими шагами. За ним потянулись артисты. И вот вслед за машиной с операторами снялся с места автобус, и через минуту все исчезло, как не было. Но в душе у Лешки пело и трепетало чем-то неизведанным, волнующим. «Массовка, в автобус!»

Неожиданно он лицом к лицу столкнулся с Игнатом Трофимовичем. Откуда только он взялся? Прямо как в кино.

— Салют! — сказал Лешка.

— Далеко собрался? Ты все ходишь.

— Хожу. Что мне делается?

— Погоди. Я же тебя у нас на заводе видел. Ты что, устраиваешься? А то я ведь поговорить, где надо, могу. К нам не каждого возьмут.

— С какой такой стати станете вы обо мне беспокоиться?

— Ну как же. Я твоего отца знал.

— Не стоит трудиться. Я уже устроился.

— Это молодцом. Куда же, в какой цех?

— Я в космос отправляюсь.

Игнат Трофимович насупился.

— Не смешно.

В самом деле, смешного мало. Лешка топтался, не уходил.

Игнат Трофимович нетерпеливо посматривал поверх крыш на раскинувшийся на взгорье завод. Пришел посмотреть, как его домна после аварии выдаст чугуна.

Давным-давно, когда задули взорванную немцами домну — Лешка тогда еще был маленьким, — мать по вечерам приводила его сюда: с Торговой всего лучше видно, как идет расплавленный чугун.

Игнат Трофимович, не глядя на него, сказал ворчливо:

— Знаешь, что я тебе скажу? В мои времена молодежь была моложе теперешней. Когда мы его строили. — Он кивнул в сторону завода.

Представить себе трудно, что завод стоит здесь не вечно. И вообще, когда это было, то, о чем говорит Игнат Трофимович? Невероятно давно. В доисторические времена.

— Работали мы, ни с чем не считались. Хоть с питанием было тяжело, никто не обижался, как сейчас иногда обижаемся, когда все есть. Чувства у нас были, можно сказать, высокие.

Игнат Трофимович свой жизненный путь считает единственным святым путем. А разве Лешка что-нибудь имеет против, разве он возражает?

— Ты скажи, какой к тебе еще подход надо иметь, чтоб ты начал наконец честную жизнь?

— Это можно, это нам ничего не составляет. — И вдруг смутился оттого, что глупо кривляется перед человеком, которого уважает.

— Я пошел, — сказал Лешка.

— Как хочешь, — с сожалением сказал Игнат Трофимович. — А то поглядел бы, как чугун пойдет. Теперь недолго осталось.

— Времени нету.

Он спускался вниз по Торговой, и ему было жаль, что не простился с Игнатом Трофимовичем. Увидятся ли теперь?

На каждом углу сидели бабки с мешками подсолнуха. Поворот на мост к заводу. Все сейчас тут по-другому, чем было ночью. Вот взорванное немцами здание. Он увидел Баныкина раньше, чем тот окликнул его. Баныкин прохаживался по тротуару в соломенной шляпе, надетой слегка набекрень.

4

Жужелка вернулась под вечер домой, так и не дождавшись Лешки. Было ясно, что и здесь, во дворе, он не появлялся. Может быть, бежал куда-то, спасаясь от милиции. Иногда ей казалось, что все это бред какой-то. Но зачем же тогда пиджак и сверток? Каких только глупостей он не наговорил, а сам уже точно знал, что не вернется.

Жужелка держала перед собой раскрытый учебник, но сосредоточиться не могла. Она смотрела на фаянсового кота, стоявшего на комод, и ей хотелось реветь. Ведь в брюхе у этого чучела немало рублей, а Лешка где-то ходит голодный. Она вышла и села с учебником на крыльцо напротив ворот, чтобы увидеть его, если он все-таки появится.

Полинка несла ведро с водой, придерживая от ветра подол платья. Она опустила ведро на землю около Жужелки.

— Что ж ты не зашла вчера? Я ждала.

— Да так,— безучастно сказала Жужелка.— Не смогла.

Полинка подняла ведро и пошла, громко напевая.

В эту минуту в воротах показалась девушка, та самая, что была вчера в парке со Славкой. Жужелка вскочила, и девушка, заметив ее, приподняла приветственно руку.

— Здравствуй.

— Здравствуй,— тихо сказала Жужелка.

— Как удачно я тебя нашла. А я думаю: сюда мне или в следующий дом?

— Так ведь там тир.

— Угу. Смотрю: тир. Я и вернулась. Значит, сюда. И смотрю: ты.

— Да, я!

— Ты здесь живешь?

— Ну да.

— Виктор просил тебе сказать, что он тебя ждет.

Жужелка не шелохнулась. Как это он может думать, что она пойдет к нему?

Девушка взяла у нее из рук раскрытый учебник.

— А после экзаменов что ты будешь делать?

— Сдавать буду в институт. В медицинский,— механически ответила Жужелка.

— Да? А я не стала.— Девушка вернула ей учебник.— Чтоб не расстраиваться. Лучше не надо.

Жужелка смутилась и посмотрела на нее.

— Ты не надеешься?

— Зачем? Какая от меня польза науке? Я ж не Циолковский и не Павлов.

Жужелка промолчала. Она не могла утверждать, что от нее будет польза науке.

— Ты почему идешь в медицинский?

— Я давно решила. И мама настаивает.

— Вот, вот. Мама! Они ведь пожилы,— сказала девушка низким голосом.— А мы? Нам тоже жить хочется. Для тебя что дороже всего?— вдруг спросила она.

— А для тебя?

— Для меня? Сидеть и смотреть, как деревья растут или там как люди проходят по улице.

— Ну уж! — возразила Жужелка.

Девушка показала ей вдруг немолодой и неразвитой, и было странно, что за минуту до того ей представлялось, будто девушка знает о жизни что-то такое, чего она не знает.

Девушка спросила:

— А для тебя?

Дороже всего? Любовь. Разве это выговоришь? И потом, что такое любовь? Может, она не способна испытать ее? Может, она просто синий чулок, скучная недотрога?

— Самое главное? — Она неловко засмеялась.— Ну, сдать завтра химию. И в институт, конечно, поступить.

— Тебя, наверное, не примут. Берут в первую очередь тех, кто работал уже. Потом — мужчин. А девчонок-десятиклассниц...

Она все знает, и голос у нее какой-то бесстрастный, расслабленный. Но при всем том она вовсе не желала уколоть Жужелку, сделать ей неприятное. Жужелка это почувствовала. Она несколько не обиделась. Посмотрела открыто в лицо девушки.

— Это он тебя специально послал?

— Виктор? Ну да. Я же тебе сказала: просил, чтобы ты сейчас пришла.

— Прямо сейчас?

Борьба в душе была совсем короткой.

— Это он, наверно, должен что-то сообщить мне о Лешке, — сказала она строго, хотя девушка была нелюбопытна, она ни о чем не спрашивала. — Я просто не знаю, где он может быть. У него ведь большие неприятности. Вернее даже, несчастье. Только я не могу тебе ничего сказать. Ты не обижайся, пожалуйста. — Девушка слушала, расширив глаза. — Лешка абсолютно честный человек. Понимаешь? Абсолютно! Это просто несчастье, что так случилось...

Девушка смотрела на нее, расстроенная. Она подперла ладонью щеку и качала головой, став сразу похожей на самых обычных женщин вроде матери Жужелки.

— Ох, что ж теперь делать?

Что за девушка! Так бы и расцеловала ее! Как она приняла все к сердцу!

— Надо что-то делать, — сказала Жужелка, чувствуя прилив энергии. — Ты меня обожди, ладно? Я только переоденусь.

Она решительно вошла в комнату. Сняла с комода и опустила на пол фаянсового кота. Искать молоток было некогда. Присев на корточки, она ударила кота утюгом.

Жуткий грохот, звон раскатившейся мелочи. Жужелка поспешно собрала рубли, пятерки, вывалившиеся из разбитого кота. Черепки снесла на кухню в помойное ведро. Быстро переоделась, завернула, не считая, деньги в газету и ушла.

— Я сейчас, — сказала она поджидавшей ее девушке. — Одну минутку.

Она добежала до двери старухи Кечеджи и, не стучась, толкнула ее.

Старуха охотилась за мухой, залетевшей в комнату, шлепала полотенцем по оконному стеклу, приговаривая:

— Что ты против меня? Сдавайся сразу!

Услышав шаги за спиной, она быстро обернулась, всплеснула руками.

— Ай-яй! Куда так вырядилась, деточка!

На Жужелку было белое платье в оборках, то самое, которое надевала, когда шла первый раз с Лешкой в гости к Лабоданову.

— Да ты сядь же.

— Спасибо, бабушка, я не могу. Совершенно некогда. Честное слово. Я вас очень прошу: если придет Леша — может, он заглянет домой, — отдайте ему этот пакетик. — Она мучительно покраснела. — Тут деньги. Я вас очень прошу. Может, ему понадобятся.

Старуха Кечеджи как-то сразу стихла, озабоченная.

— Куда же ты сама идешь?

— Я скоро приду. Я в гости иду к одному товарищу. Я вас очень прошу, может, он придет.

Надо было быстрее уходить, пока мама не застучала ее в этом белом платье, сшитом для выпускного вечера.

На углу, неподалеку от дома, где жил Лабоданов, Жужелка и девушка простились.

— Ну, я пошла. Мне в порт, на работу.— Она ведь работает кассиром.— А насчет завтра — ни пуха ни пера тебе.

Она пошла, плавно скользя, точно раздвигая воздух. Жужелка старательно оправила платье. Вот здесь, кажется,— в эту самую подворотню они с Лешкой свернули тогда.

Она вошла во двор. На втором этаже, там, где наружная лестница образует площадку, стоял Лабоданов. Ждал.

Жужелка взялась за перила. С каждой ступенькой отчаянней колотилось сердце.

— Ты ничего не знаешь о Лешке? Что с ним? — запыхавшись, спросила она, не поднимая головы: после того, что произошло вчера в парке, у нее не хватало духу взглянуть ему в лицо.

Молчание. Он вдруг порывисто приблизился к ней.

— Ты молодец! Молодец, что пришла.

Он сжал ее руки у плеч. Жужелка оцепенела. Глянула через перила: маленькая яблонька под ними, и человек, колотивший полено,— все опрокинулось, летит куда-то к черту.

Лабоданов толкнул дверь, они прошли через кухню в знакомую Жужелке комнату.

— Провинциальная идиллия! — громко сказал Лабоданов.

Сквозь туман, застилавший от волнения глаза, Жужелка увидела на стене в большой общей раме два портрета, должно быть, родителей Лабоданова в молодости. Лабоданов потянул ее за руку, они очутились в закутке, отделенном от основной комнаты дощатой перегородкой. В прошлый раз она и не заметила, что тут вообще что-то есть. Жужелка сразу, точно глаза протерла, огляделась: кроме кушетки, старый, потрепанный кухонный стол, самодельная некрашенная полка, на ней немного книг. Зеркало на стене.

— Тут я помещаюсь,— громко сказал Лабоданов.— То, что я хотел бы иметь, я не имею, а то, что имею, не устраивает меня. Предпочитаю так: как голый человек на голой земле.

Это было так необычно, неожиданно. Но его громкий голос, произносящий посторонние слова, не имеющие отношения к тому, что пережила она только сейчас, в первые минуты их встречи, развеивал волнение. Успокаиваясь, она сказала себе: «Он — необыкновенный» — и вспомнила: Лешка тоже так говорил.

— ...Родители знать ничего не хотят. Им хоть деньги отвали — не поможет. Они ведь не чувствуют убогости своего жилья. Шифоньер — предел их мечтаний. Никаких запросов у них. Неандертальцы, честное слово.

Она вдруг почувствовала: он старается быть убедительным, ему не безразлично, какое впечатление он и даже квартира, где он живет, производят на нее. Смутившись, она поспешно кивнула, показывая, что все поняла, во всем с ним согласна.

— Ты садись.

Сам он сел на стол, сдвинув лежавшие на нем гантели. Жужелка расправила платье, стараясь не слишком помять его, села на кушетку, упиравшуюся в бок стола, и еще раз огляделась.

Лабоданов нагнулся к ней, и его голое плечо — он был без рубашки, в красной майке — коснулось Жужелки.

— Ну, что будем делать?

Он был осторожен с ней и не так уверен в себе, как раньше, и это тронуло Жужелку. Может быть, она что-то не так поняла там, в парке.

— Я хотела узнать о Лешке. Куда он мог деться?

— Для этого, значит, ты явилась?

— Ну да.

Лабоданов взглянул на ручные часы.

— Сейчас уже все. Он уже давно в милиции.

Он закурил. Жужелка напряженно украдкой следила за ним, ждала: он немного покурит и добавит что-то еще о Лешке, и все будет не так безнадежно и окончательно.

— Ему мозги сильно вправлять надо.

— Это конечно.

— Хватит ли у него духу. Тут надо твердо держаться...

— Ну, духу у него хватит.

— Главное, чтоб он никого не впутывал. А то ему несдобровать, хотя б сам он отвертелся, цел остался. Может, тебе придется ему это разъяснить. Ты ведь на него влияние имеешь? Главное, чтоб ни на кого не валил, не впутывал.

— Этого он никогда не сделает! — надменно сказала Жужелка. — Что бы ему ни грозило!

— Тогда — порядок. Если с умом будет вести себя — ничего с ним не случится. Тут надо на своем стоять во что бы то ни стало, тогда никак не подкопаются...

Жужелке вдруг стало ясно, что с Лешкой непременно «случится», он не отвертится, не сможет или не станет этого делать. Она молча вздохнула. Лабоданов докурил и пересел к ней на кушетку. Мелькнули совсем близко его пронзительно голубые глаза, он обнял Жужелку за плечи и с силой притянул к себе.

— Клеопатра! — зашептал он, касаясь губами ее уха.

В смятении Жужелка ждала, что будет. Ей казалось, после того как он поцеловал ее в парке, они навсегда теперь связаны.

Было тихо. Только — тюх-тюх — доносился со двора топор.

Лабоданов взял ее руку, поднес к губам, подышал в ладошку. Жужелка выпрямилась, замерла — сейчас он заговорит о любви...

— Была такая древняя императрица, твоя тезка. Такие ночи отхватывала — египетские...

— Это у Пушкина о ней написано?

— Неважно у кого. Важно, что понимали люди, в чем смысл жизни...

Он замолчал, теребя ее пальцы. Сидеть в молчании и ждать было невыносимо.

— Какая я Клеопатра. Не знаю, откуда только мама взяла. Ведь я родилась тут при немцах, и мама вообще не надеялась, что я выживу... Она говорит: после всего, что она вынесла со мной, меня простым именем не назовешь.

Лабоданов поднялся и потянул ее за руки. Он стоял близко к ней, касаясь ее, не выпуская ее рук; его лицо, совсем незнакомое, сумрачное, со сжатыми губами, пододвинулось к ней.

— Чего ты убежала вчера? Кто ж так делает?

Она выдернула руки, отошла.

— Это правда, что ты по перилам бегаешь?

— А ты откуда знаешь?

— Мне говорили.

Лабоданов улыбнулся, с вызовом кивнул ей.

— Пошли?

Пройдя кухню, они очутились опять на площадке второго этажа, обнесенной перилами. Лабоданов тут же вскочил на перила.

— Ой, ой, не надо! — взмолилась Жужелка.

Было нестерпимо страшно.

Лабоданов был похож на циркового артиста — такой же обнаженный и сильный, и эта туго облегающая красная майка. Ей было не по себе от звероватого азарта, с каким он бегал по перилам.

Он спрыгнул прямо перед Жужелкой, разгоряченный, громко дыша, втолкнул ее в полутемную кухню и молча стал целовать. Потом, крепко прижав к себе, приподнял и перенес в большую комнату.

— Ты ведь гречанка, — шептал он.

— Да, по отцу.

— Все равно. Страстная натура.

Жужелка с трудом высвободилась.

Там, в парке, вчера — обрыв, кусты, мрак. А здесь сейчас ей не было страшно, и она ведь не хотела быть синим чулком. Но она едва сдерживалась, чтоб не разреветься.

Заглядывая ей в лицо, Лабоданов провел рукой по ее волосам.

— Прикидываешь, сколько дней знакомы. Угадал? Думаешь, как это так все быстро? Точно? Только выбрось это. Хлам это, понимаешь? Ты где живешь, в каком веке? Это у наших предков времени было сколько угодно. А у нас — нет!

Ей надо было понять, что здесь сейчас происходит. Было что-то дикое в том, что они говорят сейчас совсем не о любви. Она подавленно и разочарованно молчала.

— Ты чего ж молчишь? Скажи что-нибудь.

— Я не подсчитывала дни, — сказала она, волнуясь. — Я об этом не думала.

Лабоданов присвистнул, пытливо и насмешливо уставился на нее.

— А о чем же тогда? Может, о колечке до гробовой доски и как его — дворец венчания? Об этом?

Жужелка вспыхнула и залилась краской.

— При чем тут это. Я ведь о чувстве...

— Колоссально! Все эти красивые слова — вот! — Он отрубил ребром ладони на горле. — Не выношу! Все хотят получать удовольствие. И не надо врать, прикрашивать...

Жужелка не все поняла, ей нужно было обдумать то, что он говорил, но его тон сказал ей больше, чем сами слова.

— Опять молчишь? Скажи что-нибудь.

Она молча покачала головой и отвернулась. «Ты самая замечательная девушка на свете», — вдруг вспомнилось ей.

Лабоданов настойчиво стиснул ее плечи, приговаривая, как тогда, в парке:

— Ты мне нравишься. Нравишься! Понимаешь?

Она изо всех сил оттолкнула его, вспыхнув от негодования.

— Не смей меня трогать!

И словно этой ее резкости, этого сопротивления только и не хватало Лабоданову, и случилось наконец то, чего он ждал. Он схватил ее за руку, рванул. Затрещало разорванное платье. Белое платье для школьного выпускного вечера. Что происходит? Ее охватило отвращение. Она вцепилась зубами в скользкую по ее шее, по груди руку Лабоданова.

Он с силой толкнул Жужелку.

— Гречка проклятая!

Она больно ударилась о комод. Прикрывая рукой разорванное на плече платье, пошла к двери, окаменев — без единого чувства в душе. Лабоданов, быстро опередив ее, повернул ключ в замке и загородил собой дверь.

— Не уйдешь!

Секунду она беспомощно постояла. Отбежала к окну, вглубь комнаты. — Не подходи! — безголосо, шепотом выговорила она.

Справа от нее — комод с таким же фаянсовым котом, какой она час назад разбила. Слева на стене — «провинциальная идиллия». За спиной — открытое окно.

— Поди сюда! Поговорим, — позвал Лабоданов.

Она следила за каждым его движением. Не трогаясь с места, нащупала рукой у себя за спиной подоконник.

В этот момент в дверь постучали. Лабоданов не шевельнулся. Жужелка хотела крикнуть, но, как во сне, не было голоса. Стук повторился. Кто-то стучал настойчиво, изо всех сил.

6

Банькин, ни слова не говоря, куда-то повел его. Они шли — впереди Банькин, за ним Лешка. Еще сколько-то шагов — и милиция. В голове копошились вялые, тупые мысли. Например, о шляпе Банькина. Какая это уродливая вещь. Просто сил никаких нет. Зарабатывает прилично, а одеться, как человек, не может. К тому же еще, конечно, боится прослыть стилиягой и напяливает на себя черт знает что.

Банькин внезапно остановился и, обернувшись, подждал его. Когда Лешка поравнялся с ним, сказал:

— Я поговорить с тобой должен. Интимно. Куда только податься, не соображу. — И увидел перед собой обсыпанное веснушками мальчишеское лицо.

— Ты не отставай! — Банькин размашисто повел рукой.

Что еще придумал? Поговорить по душам, это он любит.

Остановились возле взорванного немцами здания. Остов его уцелел — старинной кладки, бурый от времени, закопченный кирпич. Разорванные проемы дверей и окон. На единственном нерухнувшем балконе буйно пророс зеленый куст.

Обогнули руины. Банькин пропустил Лешку вперед. Куда это он его конвоирует? Вошли во двор. Маленькие девчонки, взявшись за руки, ходили по кругу, приседали и что-то хором выкрикивали. Увидя незнакомых людей, они с визгом бросились врассыпную.

— Давай сюда! — сказал Банькин.

Они постояли в проеме — может быть, тут как раз и был вход, — поглядели внутрь этого полого здания. Болтались проржавелые рельсы. Внизу, где вывернут взрывом фундамент, пробивалась трава. Спрыгнули. И сразу оглушил птичий гомон, как в лесу.

— Я это место давно знаю, — сказал Банькин, и его голос прозвучал тут гулко, странно и словно издадека. — Сюда только девчонок водить. Никто не помешает. — Он сел на утрамбованный дождем и ветром щебень.

Лешка стоял, насупившись. Чего Банькин куражится? Что ему надо? Банькин протянул ему папиросы, он не взял.

— Ты садись, в ногах правды нет.

Лешка сел, положил рядом пиджак и сверток, нащупал в кармане пачку и вытащил сигарету, благо еще оставалось три штуки. Он испытывал нехорошее возбуждение от неотвязной мысли о том, что его судьба находится теперь в руках Банькина. Некоторое время они молча курили. Над ними порхали птицы, птицы облепили рельсы и балки и хором гомонили. А еще выше стены упирались в квадрат неба, усеянный, если старательно вглядеться, слабыми звездами.

— Подумать только, — сказал Банькин, — может, скоро отправимся с визитом дружбы на Марс. У тебя дух не захватывает?

Лешка не сразу ответил:

— Захватывает. Только, говорят, там кислорода процентов тридцать всего по сравнению с нашей атмосферой. Для нашего человека тяжело там.

— Перекачаем!

Банькин обернулся — лицо в светлой щетине, из-под шляпы напористо торчат колечки волос, — не глядя в глаза, спросил:

— Кто тебя опутал? Неужели девчонка?

— Какая девчонка? Ты что, сбесился?

— Я серьезно тебя спрашиваю. Мне знать важно. Ты знаешь, о ком я говорю. Ты в эту грязь из-за нее влез?

Лешка побелел и сжал кулаки. Сказал тихо:

— Сволочь ты!

Банькин не обиделся. Он даже повеселел.

— Значит, нет? Ну, слава богу. А то я не мог прийти в себя, честно говоря, как мне это сказали. У меня прямо из головы не выходит. Неужели, думаю, такая обманчивая внешность?

На потемневшем небе заиграли розовые блики, то и дело вспыхивали зарницы — это шел чугун.

Лешка остыл, возмущение улеглось, его даже не интересовало, кто это оговорил Жужелку. Было что-то удивительное в том, что, сидя тут на развалинах, в полом, изувеченном кирпичном кожухе, видишь над головой, как перебегают оранжевые всполохи, — небо отражает пламя расплавленного чугуна. И Игнат Трофимович сейчас смотрит, упивается.

Странное чувство охватило Лешку, точно он уже навсегда выломился из обычной жизни и отсюда, с этих развалин, дорога ему куда-то еще, но только не обратно.

— Ты веришь в любовь с первого взгляда?

Лешка вздрогнул.

— А что? — Во рту пересохло, он громко, демонстративно откашлялся.

— С того дня из головы она не выходит. Но держу себя в руках. В чужое, брат, счастье не вкатаешься. Ты счастливчик. Тебе можно позавидовать черт знает как. Эх, такую молоденькую прижать покрепче, — мечтательно сказал Банькин. — И чтоб такая прелесть в рот тебе смотрела и слушала...

— Послушай! — хрипло сказал Лешка, стметая весь этот бред. — Это самая замечательная девушка!

— Я тебя понимаю! Я сам так думал. Я даже стихи начал сочинять. Вот послушай...

Лешка даже рукой отмахнулся:

— Да не надо!

Чего он вяжется со своей откровенностью?

— У тебя космические масштабы... А в такой малой материи... — Он старался говорить как можно насмешливее. — Ты не слишком разбираешься...

Банькин, помолчав, спросил:

— Ты сколько классов окончил?

— Девять.

— А я пока шесть. Ты хочешь сказать, культуры не хватает? Да? Ты говори прямо.

— Я не о том. Я тебя спросить хотел. Я на заводе у вас читал в многотиражке: «В этом городе в семье рабочей человеком стал, как говорят...» И так далее. Фамилия автора не указана. Может, это ты сочинил?

— А что? — самолюбиво вскинулся Банькин.

— Ничего особенного. Общие слова.

Банькин помолчал, хмурясь, обеими руками вертел на колене снятую с головы шляпу. Заговорил с негодованием:

— Некоторые молодцы, послушать их, обходятся вообще тремя словами. Колоссально! Железно! Коронно! — и все тут, на все случаи жизни. И еще бравируют этим. Тарабарщина какая-то. Они в тупик уткнутся с такими понятиями. У них мышление атрофируется вконец. А я еще членораздельную речь не теряю.

Его заело, он прямо-таки не мог остановиться.

— А что культуры мне не хватает — это точно, тут ничего не возразишь.

— Да я об этом и не думал, чего ты прицепился.

— Не пришлось по-человечески учиться, как другим...

Лешка и не рад был, что полез с этим стихотворением. Теперь Банькин не отвяжется.

— А между прочим, Горький тоже не кончал десятилетки.

— Горький не кончал, а нам с тобой надо. Дураки вы! — сказал Банькин. — Те, что вроде тебя от учебы отбиваются. Ты думаешь, учеба — это не работа. Еще какая работа, самая тяжелая. Вот ты, например. Тебе мозгами работать надо. Ты в самом соку для этого по своему возрасту.

Лешка ничего не ответил. Ни к месту сейчас об этом. Глупо даже. И чего Банькин наваливается. Такой человек надоест может до зубового скрежета.

Лешка смотрел на шляпу, до одурения мелькавшую перед глазами, слушал, чувствуя прямолинейность Банькина, эту грубую беспощадную силу, направленную теперь против него, и ждал, когда же кончится вся эта мурá, этот нелепый разговор, и начнется суд и расправа.

Небо успокоилось — кончился пуск чугуна.

Банькин перестал вертеть шляпу и в упор посмотрел на Лешку.

— Я ведь тебя отпускаю. Иди куда хочешь.

Лешка провел ладонями по голове, пропуская волосы сквозь пальцы.

— Смотрите, доверие какое! — И запнулся под хмурым взглядом Банькина.

— Только я размотаю эту ниточку, — строго сказал Банькин. — Я так не оставлю. Тебя толкнули, как пешку, а ты и пошел. Верно я говорю? Устойчивости в тебе никакой нет. Вот что. А надо всегда под ногами палубу чувствовать.

— Слышали все это. Обрыдло! На нервы действует.

— Тебе дело говорят. А ты как балда какая-то. Надо в жизни цель иметь. В этом все. Без этого под ногами болтыхаться будет. При любой качке не удержишься.

Каждый считает своим долгом ткнуть, что у тебя нет цели в жизни. А кстати сказать, что это, на лбу у него написано, что ли? Вот Славке никто об этом не говорит. Учится в техникуме — значит, порядок. Цепляются к узким брюкам, к его прическе, а по поводу цели жизни считается, что тут у него все благополучно.

— Ты прошлый год на шаланде совсем другой был.

Он мог бы сказать: не для того я тебя прошлым летом из волн вытаскивал, чтобы ты в грязи обляпался. Но об этом Банькин молчал.

— Ты ж такой был законный хлопец. Как же ты дошел до такого? Ты скажи.

Все, что Лешка разучивал вчера под диктовку Лабоданова, повылело из головы. Да он и не стал бы сейчас отбиваться, врать, выпутываться.

— Что же молчишь? Я-то, откровенно говоря, загреметь за тебя могу.

Лешка притих настороженно. Может, Банькин ждет, чтоб он возмо-

лился, запросил пощады? Благодетельствовать захотелось, кичиться. Глухо, упрямо сказал:

— А ты делай как надо.

— Дура! — сказал Баныкин. — Ты меня на пушку не бери. Не могу так вот взять и отдать тебя в руки правосудия. Хоть и обязан. Если бы я тебя не знал. А то ведь знаю. Ведь тебя на поруки взять некому. Понимаешь? Полная растерянность у твоих родителей. Я ведь был у них.

В проеме стены было видно: маленькие девочки опять сошлись в кружок.

— Имей в виду, я тебя не выпущу из поля зрения. Ни на шаг. Будешь у нас работать, может быть, даже в нашей бригаде. Я уже прозондировал.

Лешка сказал что-то о кадровичке.

— Так то тебе отказали, а то нам — комитету комсомола — пусть попробуют отказать. Вот это, собственно, все. — Он закурил. — А ты чего молчишь?

Что он мог сказать? Он сидел, распластав на коленях руки, вперившись в проем стены.

— Я у них назад отниму все железо, все до капли...

— Завтра обо всем спокойно поговорим. Все обсудим. — Баныкин протянул ему пачку папирос, сбоку смотрел на него, пока Лешка раскуривал. — До чего же ты зеленый, неокрепший. А кое-кто этим воспользоваться захотел. Это ж не люди, им бы только было из чего зажигалки и разную муру делать на продажу. Наживаться. — Он осекся: — Ну их к черту! — Посмотрел опять на Лешку и вдруг спохватился: — Слушай, если я что не так сказал насчет девушки, ты извини. Ты тонко чувствуешь. Может, тебе неприятны мои слова.

Лешка молчал.

Сквозь сумятицу чувств, обрывки своих и баныкинских слов что-то всколыхнулось из глубины души. Он сидел бы и сидел вот так с Баныкиным.

Баныкин встал и нагнулся за шляпой. Помогая друг другу, они вскарабкались на проем и очутились во дворе. Девчонки на этот раз не обратили на них внимания. Со двора к руинам лепился домишко, использующий уцелевший пролет стены.

Лешка с каким-то наслаждением смотрел на этот домишко, на тоненькое, вымахавшее вверх дерево, положившее на его крышу свои ветви.

7

Он шел, перекинув через плечо пиджак, размахивая свертком. Он возвращался из далекого и странного путешествия.

За его спиной компания рабочих перебрасывалась колкостями на его счет. Но Лешка не очень-то прислушивался.

— Эй, как тебя! — настойчивый окрик. — Трех рублей у тебя нет, что ли? Так на вот, возьми!

— Есть у меня три рубля! — догадливо на ходу оборачивается Лешка. — Некогда мне в парикмахерскую сходить.

— Тебе ножом отрубить твои волосы надо, — зло говорит крепкий, загорелый, немолодой рабочий. — Ты с кого пример берешь? Может, уже и бородку запускаешь?

— Да нет, — покладисто, смущенно обороняется Лешка. — Не собираюсь.

Дверь тира была распахнута. Мишени лежали кучкой на полу за прилавком. Дядя Вася в своей синей полосатой рубаше, выпущенной на брю-

ки, в неизменной старенькой кепке белил стену, испещренную метками от пуль.

— Дядя Вася, можно тебя на минутку?

— Чего тебе?

Лешка подлез под прилавок. Он попросил дать ему в долг семь рублей. Очень нужно.

— Я б так не стал беспокоить. Я отдам. Честное слово. В порт пойду грузить. Я отработаю, можешь не сомневаться!

Дядя Вася поокунал кисть в таз с белилами, бросил ее и, гремя протезом, прошагал к кассе.

— Не надо бы баловать. Ну уж, получай кредит. Только тебе даю, понял? Но смотри у меня! — погрозил он пальцем.

— Порядок!

Лешка выскочил из тира. Удивительно симпатичные люди живут на их улице. Теперь он пойдет и сунет в морду этому ряженому с Вала все сто рублей полностью. И пусть отдают обрезки. Он их хоть на тачке, хоть на спине все перетаскает назад.

На углу Лешка свернул на Кривую улицу. Сюда выходят окна Жужелки. Он приближался к ним.

Окна были закрыты. Он постучал в темное стекло. Никто не отозвался. Подождал и опять постучал.

Неужели она ждет его у заводских ворот, а он, как последний подонок, сбежал. Он представил себе, как она сидит там на скамейке, с раскрытым учебником на коленях, зубрить уже не может — темно. Милая Жужелка, я тебе все объясню, как это получилось. Я сейчас, мигом.

На всякий случай он нырнул в подворотню. Подлетела Пальма, потерлась о его штанину. Следом, торопливо шлепая разношенными туфлями, появилась старуха Кечеджи, всплескивая руками, точно он явился с того света.

— Батюшки! А я тебя караулю,— заговорщически сообщила она и, беспрестанно оборачиваясь, не наблюдает ли кто за ними, полезла в карман фартука.— На вот.

— Письмо?

— Это Жужелка просила тебе передать.— Старуха очень волновалась и старалась заслонить Лешку, чтобы его не увидели люди во дворе, и говорила, помогая себе руками:— Поезжай пока. В другом месте где-нибудь устройся. Работай усердно. А тут все забудется. Это деньги тебе. И от себя пятнадцать рублей я положила.

— Да не надо мне денег.

— Ну вот еще что выдумал. Когда заработаешь — вышлешь. А нет — тоже не огорчайся. Ты об этом и не думай. Ты только работай хорошо, чтоб заслужить...

— Да по правде, бабуся, не надо мне. Честное слово. А где же она?

— Кто? Жужелка? Не знаю, не знаю. Куда-то пошла.— Старуха разочарованно поджала губы — ее миссия оказалась ненужной. — Что же ты отказываешься?

— А она что-нибудь сказала?

— Жужелка? Сказала: «Я в гости иду, к одному товарищу». Нарядная такая. Платье белое с оборками. Очень идет к ней. Пальма, не ходи за ворота. Иди гуляй на горку.

— Белое? — осторожно переспросил Лешка.

— Что? Ах, платье. Белое, белое и с оборками — вот так.

Он молча отдал ей свой пиджак и сверток.

— Смотри, на кого ты похож. Дрожишь весь. Ты ляжь сейчас, полежи, согреешься, и организм опять будет в норме. Куда же ты?

Он вышел на проспект, и тут решительность оставила его. Как он явится? Что скажет? «Ты чего явился? — усмехнется Лабоданов. — Третий лишний».

Что Жужелка пошла именно к нему, он не сомневался. В своем выпускном платье. В этом дурацком белом платье.

Он мчался по «топталовке». Терраса с разноцветными фонарями, толчея у дурацких спичечных автоматов. Две девицы в одинаковых лиловых кофтах, смеясь, растопырили руки, точно собираясь задержать его. Мрачные дуры.

С освещенных витрин глазели самодельные плакаты. «Посвящается месячнику безопасности движения».

Кто с водкою дружен,
В машине не нужен!

Все еще месячник? Сколько он тянется, год, два?

«Сегодня шестнадцатый день месячника безопасности движения в городе» — помигало на Лешку цветными буквами.

«Топталовка» кончилась. Он повернул назад. В голову лезло самое что ни на есть тошнотворное. Например — мучное лицо «сторожа». Достать бы ему этого ряженого и в рожу его бить, бить, без пощады.

Внятный голос из рупора на кинотеатре «Победа» говорил об угрозе войны.

Лешка прислушался. Чего вообще переживать, волноваться, — сказал он себе. Какая разница, кто, где в данный момент находится, зубрит ли Жужелка химию или, напялив белое платье, отправляется в гости. Ну какая? Ведь может сию минуту или в какой-то другой момент, когда совсем этого не предполагаешь, все полетит вверх тормашками.

Все же он был страшно обозлен на Жужелку. Ей экзамен завтра сдавать, что она себе думает? Он вспомнил про этот учебник, что она потеряла вчера в парке, гуляя с Лабодановым, и у него заполыхало в груди.

Он остановился и вытащил из кармана свою последнюю сигарету. Повозился, пока раскурил — ветер задувал спичку.

Над ним в небе уже покачивалась луна. Чтобы взять себя в руки, Лешка старался думать о страшном. Самое страшное, что только можно себе представить, — это оторваться, уйти безвозвратно от Земли и болтаться вечно среди звезд, потеряв земное притяжение. Черная ночь. Жуть.

Он докурил, бросил окурки.

Все же страшнее всего было то, что Жужелка сейчас у Лабоданова.

Он стучал в дверь. Сначала тихо, нерешительно, потом стал дубасить в дверь кулаками, рванул ее так, что она затрещала, и услышал — в заочной скважине повернули ключ.

Здесь, в кухне, где стоял под дверью Лешка, было довольно темно, и когда Лабоданов выглянул, Лешка не сразу понял, кто это.

— Откуда ты взялся?

Лешка тяжело дышал и не мог ничего ответить. Лабоданов закрыл за собой дверь и прислонился к ней спиной.

— Какого черта явился?

Очутившись вот так, лицом к лицу с Лабодановым, Лешка смешался, не знал, что сказать.

— Ты что, совсем без головы? Тебя звали сюда? За тобой, может, следят.

— Трусишь? — задыхаясь от поднявшейся в нем злобы, сказал Лешка. — И ты и Славка! Вы оба...

— Не трушу, а не хочу связываться с такой швалью. Понятно?

— Сволочь!— сказал Лешка и шагнул вплотную к Лабоданову. — Сволочь,— повторил он.— Молчи лучше.

Лабоданов пригнул голову, снизу взглянул в лицо ему. Недоумение сменялось бешенством.

— Что ты строишь из себя девицу? Тебе заплатили. Не мне. За красивые глазки, что ли...

Лешка сунул руку в карман, захватил в горсть деньги — размененные сто рублей,— швырнул их в Лабоданова. Тот отстранился, а Лешка выгребал все до последней бумажки и швырял, швырял ему в лицо. И вдруг услышал шаги за дверью. Секунду стоял как вкопанный. Рванулся. Лабоданов оттолкнул его, сказал хладнокровно:

— Ну, она, она там — Клеопатра. Я ж не виноват, что ты шенок. С тобой откровенно невозможно. Подбери лучше деньги.

— Пусть она выйдет. Пусть сейчас же выйдет!

— Не ори! На что она тебе?

— Пусть выйдет!

— Давай отсюда. Ты нам помешал. Порядок у нас с ней. Полный люкс.

— Врешь!— сказал, задохнувшись, Лешка. Перед глазами все стало бело. Он замахнулся.

Дверь распахнулась, и Лешка увидел Жужелку. Он увидел ее белое платье и то, как она придерживала его на плече. Он попытался, не взглянув ей в лицо. Она была ему совершенно чужая в этом белом платье. Он бросился опрометью вниз по лестнице.

Стукнула дверь по соседству, раздались шаги во дворе, голоса. Зарычал за воротами мотоцикл. Эти звуки донеслись до него, точно из какого-то другого мира, где и он жил когда-то.

Он долго тащился по затихшей улице, спотыкаясь о булыжник. Дома отгороженно глазели белыми ставнями.

Вышел на проспект. Здесь по-прежнему гуляли люди, и было светло от фонарей и витрин. Он зачем-то остановился у освещенного комсомольского стенда. Прочитал:

Руль лихорадит, дорога двоится,
Люди, машины... все трын-трава —
Водитель стремглав к преступлению мчится...
И кто только выдал такому права?

Это, наверное, тоже Баныкин сочинил. И как только не надоест человеку.

Он пошел дальше. Теперь он шел быстро, точно его подгоняло что-то в спину. Ему хотелось уйти, скрыться ото всех, никого не видеть.

Проспект кончился, Лешка свернул на Торговую улицу. Прошел еще немного и сел на приступочки. Днем тут сидит бабка с мешком подсолнуха. Лет сто уже сидит. А сейчас сидит она.

Пустынно на Торговой. Мимо, громыхая, прокатил грузовик на завод. Лешка представил себе, как тащился этим же путем вниз по улице на ишаке. И вдруг почувствовал всю унижительность своей роли. Подумал— его ведь еще ждет Матюша. За весь день он ни разу не вспомнил об этом. Будет разговор, от которого заранее тошно и ничем не отгородишься. Он готов был взвыть, как пес, от тоски и обиды. Разве этого он хотел? Разве он не способен на что-нибудь дельное, такое, чтобы дух захватило?

Он мог бы уехать на целину, как эти студенты вчера. За это его станут хвалить Матюша. Противно. Не хочется жить по указке этого уны-

лого человека. Но все же дело не в этом. Ему надо найти свое собственное назначение в жизни, уедет ли он на Восток или поступит на завод. Что ж он сам за человек? Что ему надо? Ведь для чего-то он явился на свет.

Он будет сидеть тут, хоть до утра и никуда не уйдет, пока не поймет это.

Он опешил, увидев вдруг Жужелку. Она топталась одна на пустом тротуаре напротив. Все это время, значит, она тащилась за ним по пятам в этом проклятом платье.

У него страшно заколотилось в груди. Ерунда какая-то. Он даже не мог взять себя в руки и не смотреть на нее.

Жужелка медленно дошла до конца своего тротуара и повернула опять назад. Она ждала, когда он ее окликнет. Подойти она не решалась. И не надо. Он и не хотел, чтоб она подходила. Он хотел сидеть тут один, долго, может быть, до утра.



ВАС. ГРОССМАН

★

ДОРОГА

Рассказ

Война коснулась всех жителей Апеннинского полуострова. Мул по имени Джу, служивший в обозе артиллерийского полка, многое отметил в день 22 июня 1941 года: и непрерывное радио, и толпы женщин с детьми возле казармы, и флаги, и запах вина от тех, от кого раньше не пахло вином, и дрожащие руки ездового Николло, когда он выводил Джу из стойла и надевал на него шлею. Но мул не знал, что фюрер уговорил дуче вступить в войну против Советского Союза.

Ездовый не любил Джу; он впрягал его в правую упряжку и подхлестывал правой рукой по животу, а не по толстошкурому заду. Рука у Николло была тяжелая — коричневая, с искривленными ногтями, рука крестьянина.

К напарнику своему — большому, старательному и угрюмому животному — Джу был равнодушен. Шерсть на груди и на боках напарника была вытерта шлеей и постромками, и серые плешины поблескивали жирным графитовым блеском.

Глаза напарника были подернуты дымом, морда с желтыми стертými зубами сохраняла печальное выражение и при подъеме в гору по размяченному от зноя асфальту и при дневке в тени деревьев. Вот он стоит на перевале, перед ним расстилаются сады и виноградники, перевитые серой лентой преодоленного асфальта, поблескивает вдали море, в воздухе запахах морского йода, горной прохлады и одновременно горячей пыли... Ноздри напарника не шевелятся, с немного оттопыренной нижней губы свисают длинные прозрачные слюни.

Джу как-то пробовал толкнуть старика, но тот спокойно, без злобы, лягнул молодого мула и отвернулся; когда Джу переставал натягивать постромки, старик не скалился, не прижимал ушей, а тянул вовсю, сопел и быстро-быстро кивал головой.

Они перестали замечать друг друга, хотя изо дня в день тянули телегу, груженную снарядами, а ночью в конюшне Джу слышал тяжелое дыхание старика.

Ездовый, его кнут, сапог, хриплый голос не вызывали в Джу рабского преклонения. Иногда казалось — ездовый часть телеги, иногда казалось — ездовый основа, а телега при нем. Кнут? Что ж, и мухи в кровь разъедали кончики ушей, но мухи были лишь мухами. Так и кнут. Так и ездовый.

Когда Джу начал ходить в упряжке, он тайно злобствовал на бессмысленность длинного асфальта — его нельзя было жевать, пить, а по обе стороны от асфальта росла лиственная и травяная пища, вода стояла в озерах и лужах.

Главным врагом казался асфальт, но прошло немного времени — и Джу помирился с дорогой, ему стало мерещиться, что она освободит его от телеги и ездового...

Дорога поднималась в гору, дорога вилась среди апельсиновых деревьев, а телега монотонно и неотступно погромыхивала за спиной, кожаная шлея давила на грудные кости. Нелепый труд, навязанный извне, вызывал желание лягать телегу, рвать зубами постромки, и от дороги Джу теперь ничего не ждал и не хотел по ней ступить. В его большой пустынной голове все время возникали образы запаха и вкуса пищи, туманные видения волновали его: запах стойла, сочная сладость листвы, тепло солнца после холодной ночи, прохлады после дневного зноя...

Утром он протискивал голову в шлею, налаженную ездовым, и грудь его привычно ощущала прохладу мертвой глянцевої кожи. Он теперь делал это так же, как старик напарник, не откидывая голову, не скалясь,— шлея, телега, дорога стали частью его жизни.

Все стало привычным, а значит — законным, связалось, превратилось в естественность жизни: труд, асфальт, водопой, запах колесной мази, грохот длиннохоботных вонючих пушек, пахнущие табаком и кожей пальцы ездового, вечернее ведро кукурузных зерен, охалка колючего сена...

Случалось, однообразию нарушалось. Он испытал ужас, когда его, опутанного веревками, кран перенес с берега на пароход; его затошнило, деревянная земля уходила из-под ног, не хотелось есть. Потом был зной, превосходящий итальянский, ему на голову надели шапочку, была упорная крутизна абиссинских красных каменистых дорог, пальмы, до чьей листвы нельзя дотянуться губами. Его очень удивила однажды обезьяна на дереве и очень испугала большая змея на дороге. Дома были съедобны, он ел иногда тростниковые стены и травяные крыши. Пушки стреляли часто, и часто горел огонь. Когда обоз останавливался на опушке леса, мул по ночам слышал недобрые звуки, шорохи, некоторые звуки вызывали ужас, и Джу дрожал, всхрапывал.

Потом его снова тошнило и дощатая земля уходила из-под копыт, а кругом была голубоватая равнина, над ней стояла соленая дымка, и совершенно непонятно, хотя Джу мало двигался, возникла конюшня, где рядом в стойле ночами тяжело дышал напарник.

А вскоре, после дня, отмеченного музыкой и дрожащими руками ездового, вместо конюшни стало скрежещущее стойло, стук, стук, толчки, а затем теснота скрежещущего стойла сменилась простором равнины, не имевшей конца.

Над равниной висела серая не итальянская и не африканская пыль, а по дороге двигались в сторону восхода грузовики, тракторы, пушки с длинными и короткими хоботами, шли колонны пеших ездовых.

Жизнь стала особо трудной, вся превратилась в движение; телега была всегда нагружена, тяжелое дыхание напарника слышалось, несмотря на шум, стоявший на пыльной дороге.

Начался падеж животных, побежденных огромностью дороги. Тела мулов лежали со вздувшимися животами, с растопыренными отшагавшими ногами, люди были к ним безмерно равнодушны, а мулы, казалось, тоже не замечали своих мертвых, мотали головами, тянули да тянули, но это только казалось — мулы видели своих мертвецов.

На этой равнинной земле необычайно вкусной оказалась пища. Впервые Джу ел такую сочную траву, такое душистое, нежное сено. И вода в этой равнинной стране была вкусной и сладкой, а сочные молодые ветки деревьев почти не горчили.

Теплый ветер в равнине не жег, как африканские ветры, а солнце грело шкуру мягко, не походило на беспощадное солнце Африки.

И даже серая мелкая пыль, день и ночь висевшая в воздухе, казалась шелковистой, нежной по сравнению с колючей красной каменной пылью.

Но сам простор этой равнины был непоколебимо жестоким, он не имел конца. Мулы двигались рысцой, мотая ушками, а равнина была сильнее их. Мулы шли скорым шагом при свете солнца и при свете луны, а равнина все длилась. Мулы бежали, стучали копытами по асфальту, пылили по проселку, а равнина длилась и длилась. Она не имела исхода ни при солнце, ни при луне и звездах. Из нее не рождались горы, море.

Джу не заметил, как настало время холодных дождей, оно пришло постепенно. Жизнь из однообразной усталости превратилась в режущее страдание, в изнеможение: земля сделалась липучей, разговаривала, чавкала, и от этого дорога удлинилась и каждый шаг по ней стал как много шагов, а телега сделалась невыносимо тяжелой — казалось, Джу с напарником тащили за собой не одну телегу, а много. И кнутов стало много, и все они были языкатые, злые, одновременно холодные и жгучие, хлесткие и въедливые.

Тащить телегу по асфальту было слаще травы и сена, но целыми днями ноги не знали асфальта.

Мулы познали холод, дрожь намокшей под морозящим дождем шкуры. Мулы кашляли, болели воспалением легких. Все чаще ездовые оттаскивали на обочины дороги тех, для которых кончилась жизнь, не стало движения.

Равнина расширилась — ее огромность ощущалась теперь не глазами, а всеми четырьмя копытами... Глубже и глубже уходили копыта в размягшую землю, вязкие комья упорно тянули за ноги, и все шире, могучей раздвигалась отяжелевшая от дождя равнина.

В большом, просторном мозге мула, в котором рождались туманные образы запахов, формы, цвета, зарождался образ совсем иного понятия, созданного мыслью философов и математиков, — образ бесконечности: туманной русской равнины под холодным, осенним дождем.

И вот на смену темному, мутному, тяжелому пришел новый образ — белый, сыпучий, обжигающий ноздри, пекущий губы.

Зима пожрала осень, но это не принесло облегчения. Пришла сверхтяжесть, жестокий и жадный хищник пожрал менее сильного хищника...

Вдоль дороги рядом с телами мулов лежали мертвые люди — мороз их лишил жизни.

Беспрерывный сверхтруд, холод, стертая шлеей до мяса шкура на груди, кровавые болячки на холке, боль в ногах, сбитые, крошащиеся копыта, обмороженные уши, ломота в глазах, рези в животе от мерзлой пищи и ледяной воды вымотали мускульные и духовные силы Джу.

На него шло огромное наступление. Мир равнодушно наваливался на него. Даже злоба ездового прекратилась — он съежился, не дрался кнутом, не бил сапогом по чувствительной косточке на передней ноге...

Война и зима подминали мула, и Джу ответил на равнодушное наступление, готовое уничтожить его, своим огромным равнодушием.

Он стал тенью от самого себя, и эта живая пепельная тень уже не ощущала ни собственного тепла, ни удовольствия от пищи и покоя.

Ему было безразлично, двигаться ли по обледенелой дороге, перебирая механическими ногами, или стоять понуря голову. Он жевал сено равнодушно, без радости, и так же равнодушно переносил он голод и жажду, секущий зимний ветер. Глазные яблоки ломило от белизны снега, но он не хотел сумерек, морозное солнце и безлунная тьма стали ему одинаковы.

Он шагал рядом со стариком напарником, теперь уж полностью похожий на него, их безразличие друг к другу и к самим себе было огромно.

Это равнодушие к себе было его последним восстанием.

Быть или не быть стало безразлично для Джу, мул словно бы решил гамлетовский вопрос.

Когда началось русское наступление, морозы не были особенно сильными.

Джу не овладело безумие во время сокрушающей артиллерийской подготовки. Он не рвал постромок, не шараялся, когда в зимнем облачном небе запылали молнии, и земля стала колебаться, и воздух, разодранный воем стали, заполнился огнем, дымом, комьями снега и глины.

Он стоял, опустив голову, а мимо него бежали и падали, вновь вскакивали и бежали, ползли люди, ползли тракторы, неслись тупорылые грузовики.

Напарник странно закричал голосом, похожим на человеческий, упал, заелозил ногами, потом затих, и снег вокруг него покраснел.

Кнут лежал на снегу, и ездовый Николло лежал на снегу. Джу больше не слышал скрипа его сапог, не улавливал запаха табаку, вина, сырмятной кожи.

Пришли сумерки. Стало тихо. Мул стоял, опустив голову, свесив плетью хвост. В его пустынной голове продолжала гудеть давно уж умолкшая артиллерийская стрельба. Редко-редко переступал он с ноги на ногу и вновь делался неподвижен.

Вокруг лежали тела людей и животных, разбитые, опрокинутые грузовики, кое-где лениво струился дымок.

А дальше, без начала, без края, была туманная, сумрачная, снежная равнина.

Равнина поглотила всю прошлую жизнь — и зной, и крутизну красных дорог, и шум ручьев. Джу мало уж чем отличался от окружавшей его неподвижности, он сливался с ней, соединялся с туманной равниной...

И когда тишину нарушили танки — Джу услышал их, — железный звук, заполняя воздух, входил в мертвые уши людей и животных, вошел и в уши понурого живого мула.

И когда неподвижность равнины нарушилась, и гусеничные, пушечные машины развернутым строем, скрежеща, шли снежной целиной с севера на юг, Джу увидел их — они отражались в ветровых стеклах и в зеркальцах в кабинах брошенных машин, они отразились в глазах мула, стоявшего у опрокинутой телеги. Но он не шарахнулся в сторону, хотя гусеничное железо прошло совсем близко, дохнуло горьким теплом и масляным перегаром.

Потом из белой равнины выделились белые людские фигуры, они двигались бесшумно и быстро, не как люди, а как хищные охотники, исчезли, растворились, поглощенные неподвижностью снежной целины.

А потом зашумел катившийся с севера поток людей, машин, орудий, заскрипели обозы.

И вот к Джу подошел человек с кнутом. Он рассматривал Джу, и мул почувствовал запах табаку и сырмятной кожи.

Человек, так же как это делал Николло, ткнул Джу в зубы, в бок.

Он дернул за узду и сипло заговорил, и мул невольно посмотрел на лежащего на снегу ездового Николло, но тот молчал.

Человек снова потянул за узду, мул продолжал стоять.

Человек закричал, замахнулся, и грозное понукание его отличалось от понукания итальянца не грозностью, а звуками, сочетавшимися в угрозе.

А потом человек ударил мула сапогом по косточке на передней ноге, ноге стало больно — по этой косточке бил сапогом Николло, и она была особенно чувствительна.

Джу пошел следом за ездовым. Они подошли к запряженным телегам. Их обступили ездовые, шумели, размахивали руками, смеялись, хлопали Джу по спине и по бокам. Ему дали сена, и он поел. В телеги были впряжены парами лошади с короткими ушами, со злыми глазами. Мулов не стало.

Ездовый подвел Джу к телеге, в которую была впряжена одна лошадь, без напарника.

Лошадь была темная, маленькая, рослый мул оказался выше ее. Она поглядела на него, прижала уши, потом наставила их, потом замотала головой, отвернулась, потом приподняла заднюю ногу, собираясь лягнуть.

Она была худая, и, когда вдыхала воздух, ребра волной проходили под ее шкурой, и на шкуре ее, как на шкуре Джу, виднелись кровавые ссадины.

Джу стоял понурив голову, по-прежнему беззлобно безразличный к тому, быть ему или не быть.

Он привычно, так же как делал это сотни раз до того, просунул голову в шлею, она не была кожаной, но совершенно так же, как и кожаная, коснулась натруженной груди, запах от нее шел странный, непривычный, лошадиный.

Лошадь стояла с ним в паре, и ему было безразлично тепло, дошедшее до него от ее впалого бока.

Она прижала уши почти вплотную к голове, и морда у нее сделалась злая, хищная, не как у травоядного. Она выкатила глаз, приподняла верхнюю губу и обнажила зубы, готовясь укусить, а Джу в своем равнодушии подставлял ей незащищенную скулу и шею. А когда она стала пятиться, натягивая упряжь, чтобы, повернувшись к мулу задом, изловчиться и огреть его копытом, он не забеспокоился, а стоял понурившись. Но ездовый ударил лошадь кнутом, а потом тем же кнутом — братом кнута, лежавшего на снегу, — ударил мула: ездового, видимо, раздражало понурое животное, а рука у него была, как у Николло, — тяжелая, рука крестьянина.

И Джу вдруг покосил глазом на лошадь, а лошадь посмотрела на Джу.

Вскоре обоз тронулся. И снова поскрипывала телега, и снова перед глазами была дорога, а за спиной тяжесть, ездовый и кнут.

Джу трусил рысцей, а снежная равнина не имела ни начала, ни конца. Но странно — в своем привычном движении в мире безразличия он чувствовал, что лошадь, бегущая рядом, не безразлична к нему.

Вот она метнула хвостом в сторону Джу, ее шелковисто-скользкий хвост — он совсем не походил на хвост напарника — ласково скользнул по шкуре мула.

Лошадь снова метнула хвостом, а ведь в снежной равнине не было ни мух, ни moskitov, ни оводов.

И Джу покосился глазом на лошадь, а она чуть-чуть лукаво покосила глазом в его сторону.

В сплошняке мирового равнодушия зазмеилась извилина-трещина.

В движении тело согревалось, и Джу ощущал запах лошадиного пота, а дыхание лошади, пахнущее влагой, сладостью сена, все сильнее касалось его.

Сам не зная отчего, он натянул постромки, и кости его грудной клетки ощутили тяжесть и давление, а шлея лошади ослабела, и ей стало легче тянуть упряжку.

Так бежали они долгое время, и вдруг лошадь заржала. Она заржала тихонько, и ни ездовый, ни равнина не слышали ее ржания.

Она заржала так тихо, чтобы только бежавший с ней рядом мул услышал ее.

И они долго-долго, пока обоз не остановился на привал, бежали рядом, раздували ноздри, и запах мула и запах лошади, тянувших одну телегу, смешался в один запах.

А когда обоз остановился и ездовый распряг их и они вместе поели и попили воды из одного ведерка, лошадь подошла к мулу и положила голову на его шею, и ее шевелящиеся мягкие губы коснулись его уха, и он доверчиво посмотрел в глаза колхозной лошаденки, и его дыхание смешалось с ее теплым, добрым дыханием.

В этом тепле ожило то, что давно умерло: и любимое сосунком сладкое материнское молоко, и первая в жизни травинка, и красный камень абиссинских горных дорог, и зной на виноградниках, и лунные ночи в апельсиновых рощах, и страшный сверхтруд, казалось до конца убивший его своей равнодушной свертхтяжестью, но все же, оказывается, до конца не убивший его.

Жизнь мула Джу и вологодская лошадиная судьба, внятно им обоим, передавались теплом дыхания, усталостью глаз, и какая-то чудная прелесть была в этих стоящих рядом доверчивых и ласковых существах среди военной равнины под серым зимним небом.

— А осел, мул-то, вроде обрусел,— рассмеялся один ездовый.

— Нет, глянь, они плачут оба,— сказал другой.

И правда, они плакали.



РИММА КАЗАКОВА

★

В ПОРУ ЧЕРЕМУХИ

Мальчишки, смотрите, вчерашние девочки,
подросточки — бантики, белые маечки —
идут повзрослевшие, похудевшие...
Ого, вы как будто взволнованы, мальчики!
Ведь были — галчата, дурнушки. Веснушчатые.
Косички — метелки... А нынче-то, нынче-то!
Как многоступенчато косы закручены!
И — снегом в горах — ослепительно личико.
Рождается женщина. И без старания —
одним поворотом, движением, поступью —
мужскому, всеильному мстит за страдания,
которые выстрадать выпадет после ей.
О, будут еще ее губы искусаны
и будут еще ее руки заломлены
за этот короткий полет безыскусственный,
за то, что сейчас золотится соломинкой.
За все ей платить, тяжело и возвышенно,
за все, чем сейчас так нетронута светится,
в тот час, когда шлепнется спелую вишенкой
дитя в материнский подол человечества.
Так будь же женщиной, и в пору черемухи,
когда ничего еще толком не начато, —
мальчишка, смирись, поступай в подчиненные,
· побегай, побегай у девочки в мальчиках!



ЯАН КРОСС

★

ИЗ ПЕРВОЙ КНИГИ СТИХОВ

С эстонского

На каком языке?

Во всех уголках земли
увидишь сквозь пламя
и битумный дым
потные лица дорожных рабочих.

На каком языке
смотрят рабочие вдаль?

Под деревьями всех городов и сел
в минуты длиною с вечность,
обнимаясь, молчат влюбленные.

На каком языке молчат?

Во всех уголках земли
матерям улыбаются дети.

На каком языке улыбаются?

Да, существуют они —
дорога,
любовь,
грядущее.

* * *

— Жук! — закричал малыш.—
Иди погляди, какой он красивый.

А я был занят — я думал о важном
и ответил: — Гляди один —
ведь жук не станет красивей,
если мы на него посмотрим вдвоем.

И тут же понял, что это неправда.

* * *

Коль не являет живопись секрета,
то в живописце надобности нет.
Коль впору мальчикам штаны поэта,
то для чего, ответьте мне, поэт?

Но, впрочем, только бы и оставалось,
что и штаны и кисти сдать в музей,
не будь поэтом — ну, хотя бы малость! —
и живописцем — каждый из людей.

* * *

Что знает он о чувстве,
о ветре и о шторме,
что знает об искусстве,
о мысли и о форме
тот, кто из опаски
с места ввек не сдвинется,
тот, кто ищет краски
лишь в своей чернильнице?

Перевел Л. Тоом.

* * *

Тот дурак,
Кто с нами не согласен,
Тот умен,
Кто с нами разделяет мнение...

Дай господи, чтоб не было наоборот!

Преимственность

Стою,
Пахнет пыльной ромашкой, травую,
Гляжу — не могу наглядеться.
Там где-то, за изгородью живою,
Дом, памятный с самого детства.

Там гряды, кусты и заросшие тропки,
Я помню их в давние вёсны!
Не выросли — нет! — стали малы и робки
Мой дикий шиповник и сосны.

А тот бугорок?
В память птицы убитой

Я звал его Птичьей горою...
Вон он, за сараем, тот холм знаменитый
Я нынче фуражкой прикрою.

Как в книжке старинной,
Все это живо.
Листай ее нетерпеливо!
И все это близко и недостижимо,
Как камень в глубинах залива.

Еще на сосне оперенье густое,
Еще зелены мои ветви.
Но после меня поколение шестое
Играет ребят шестилетних.

Вон этот колодец... Когда-то на срубе
Русалка здесь тихо качалась.
И в полдень
 созвездья искать в его глуби
Ребятам всегда запрещалось.

Там в бочке рассохшейся (в новой ракете)
В полет собрались герои.
И «к старту!» командуют новые дети
Над старой
 над Птичьей горою.

Перевел Д. Самойлов.



И. ЭРЕНБУРГ

★

ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ*

27

Во Франции официально еще существовал Народный фронт, но теперь это была облупившаяся вывеска. Новое правительство возглавил Даладье, министерство иностранных дел он доверил Боннэ, который громко говорил, что жаждет мира, и, понижая голос, добавлял, что необходимо договориться с Берлином и Римом.

Трагедия Франции началась давно, еще в 1936 году, когда Леон Блюм, испугавшись правых, отказался продать испанскому правительству вооружение. Это шло вразрез и с существовавшими договорами, и с интересами Франции, и с политическими убеждениями Блюма. Социалистический премьер любил Стендаля: в романах ему нравились характеры с сильными страстями; у него самого характера не было. Он воскликнул: «Моя душа разрывается» — и заговорил о «вмешательстве». Разорвалась не его душа, а Франция.

В июне 1938 года многие французские политики понимали, что Муссолини не удовлетворится взятием Аддис-Абебы и Малаги, что для Гитлера Австрия только з а к у с к а, а Испания — рабочая репетиция. Но страна была разъединена. Противники Народного фронта, обозленные забастовками, поглядывали на фашистов, как на опытных хирургов. А рядовые французы, многие из тех, что голосовали за Народный фронт, радовались, что они не в Вене и не в Барселоне, никто не бомбит, не заставляет по команде подымать вверх руки, они могут на террасах больших кафе и маленьких рабочих баров пить зеленые, золотые или малиновые аперитивы. Франция уже репетировала предстоящее отречение.

Я накупил в вокзальном киоске газет и книгу неизвестного мне автора Леона де Понсэна с соблазнительным заглавием «Секретная история испанской революции». Фашистская газета «Гренгуар» объявила конкурс: читатель, который угадает дату, когда генерал Франко возьмет Барселону, получит пятьдесят тысяч франков. Из книги де Понсэна я узнал, что коммунисты, социалисты и франкмасоны устроили заговор с целью отдать Испанию в руки евреев; Коминтерн для этого направил в Барселону Бела Куна, Вронского, Антонова-Овсенко, Эренбурга, Кольцова, Миравильеса, Горева, Туполева, Примакова и других «преступников еврейского происхождения». Я подумал, что сумасшедшие есть повсюду, и задремал.

В пограничный испанский город Порт-Бу я приехал рано утром и попал сразу под бомбежку. Испания меня встретила кровью: на мостовой лежал убитый ребенок.

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 4, 5 с. г.

Я уехал из Испании в дни боев за Теруэль, когда все верили в победу. Вернувшись полгода спустя, я увидел другую картину. Конечно, я знал и в Москве, что фашисты одержали крупные победы, но одно дело читать о беде в газетах, другое — ее увидеть. Страшно, расставшись с любимым человеком, который работает, сердится, мечтает, ревнует, найти его подточенным жестокой, может быть смертельной, болезнью. Когда я уезжал, положение республиканцев было трудным, но даже нейтральные обозреватели гадали об исходе войны. Теперь я мучительно старался убедить себя, что еще не все предрешено и что чудо может спасти республику.

Возле Эбро пятидесятилетний испанец, живший долго в Париже (его звали Анхель Сапика), который пошел добровольцем в 1938 году, когда уж не оставалось места для иллюзий, говорил мне: «Смерть — это феномен, случай. Родиться, умереть — это не от нас зависит. Главное — прожить достойно, не презирая себя». Может быть, говоря это, он думал о другом — о том, что человеку хочется достойно умереть, сделать все, чтобы смерть не выглядела «случаем»?..

Я приехал в Барселону. Савич по-прежнему писал телеграммы, говорил, что его измотала работа — не может даже выбраться на фронт. Савич был одним из моих старых и близких друзей: мы познакомились в 1922 году и годами встречались каждый день. Это книжник и тишайший человек. Он спокойно относился к бомбежкам, а я помнил, как его пугал любой полицейский. Он спросил меня про свою жену, про Мирову, про некоторых советников. Я ответил, что Аля здорова, старается быть спокойной, а с Мировой плохо, да и со многими другими: «Трудно понять, почему забирают людей, ни в чем не повинных...» Савич удивленно на меня посмотрел: «Ты что — троцкистом стал?» Я рассмеялся и понял, что не нужно было отвечать на вопрос, хоть это ближайший друг.

Савич жил на горе. Я спустился в город. На площади Каталония по-прежнему старушка брала десять сантимов у прохожего, который садился на стул в сквере, выдавала билетик. Десять сантимов стали микроскопической суммой; да и мало было в сквере людей — кругом чернели развалины домов. Но жизнь продолжалась... На той же площади старики сыпали крошки хлеба голубям. Все это могло показаться удивительным: паек был полтораста граммов хлеба, порой сто — где уж тут кормить голубей. Да и голуби могли бы улететь — редко выпадала ночь без бомбежки. Но я не удивлялся: уже задолго до этого я понял, что можно разворотить, изувечить, истоптать жизнь, и все-таки влюбленные будут целоваться, обмениваться клятвами, а старушки прибираться — комнату, тюремную камеру, больничную койку, кажется, даже свой собственный гроб.

На Рамбле по-прежнему продавали цветы. В театре шла премьера «Укрощение строптивой». Возле богатых особняков развели огородики: картошка, салат. В ресторане подавали вареные бобы без масла, но скальки были чистые. А мыла не было.

Чистильщики ботинок хорошо зарабатывали — вакса была, и, верные своим привычкам, барселонцы радовались, глядя на сверкающую обувь.

Вышел очередной номер журнала «Филателист Барселоны». Я подсчитал в газете: работают двенадцать театров и пятьдесят четыре кинотеатра. В том же номере сообщалось, что вчера была сотая, следовательно юбилейная, бомбежка Барселоны.

Квартал рыбаков, веселая Барселонета, был снесен бомбами. Газеты каждый день помещали объявления в черных рамках: такой-то погиб при бомбежке. Как-то бомба упала на кладбище и разворотила могилы, другой раз на родильный дом — было много жертв, на собор XIII века, на рынок. «Известия» попросили меня прислать фотографии; я ходил и

снимал развалины, солдат, которые вытаскивали из-под груды камней покалеченные тела. Привыкнуть можно ко всему, и я думал, какую диафрагму лучше поставить... Вероятно, я напоминал старушку, собиравшую деньги за стулья.

Республиканская Испания уже была разрезана на две части: фашистам удалось прорваться к побережью. Немцы прислали крупных специалистов: Испанию они рассматривали как превосходные маневры перед предстоящим завоеванием Европы. А в боях за выход к левантскому побережью, помимо войск Франко, участвовали четыре итальянские дивизии.

Я поехал на фронт, который в газетах по привычке называли Арагонским, хотя фашисты успели захватить все города и деревни Арагона — Барбастро, Фрагу, Сариньену, Пину, Каспе, — там, где я спорил, дружил, ссорился с неугомонными анархистами... Я добрался до пригорода Лериды. Город был в руках у фашистов, но республиканцам удалось удержаться в квартале, расположенном на другом берегу речки Сегре. Бог ты мой, сколько раз я приезжал в Лериду с Арагонского фронта! Тогда этот город казался глубоким тылом. Я шел в гостиницу «Палас», принимал ванну, гулял по городу, улицы были с аркадами, и вечером старинные фонари казались театральными. В кафе подавали вермут. За соседними столиками люди спорили, кто прав — ФАИ или ПСУК? А девушки, прогуливаясь мимо кафе, смеялись, их сопровождали восторженные взгляды как анархистов, так и социалистов. Теперь на том месте, где было кафе, — мешки с песком; дробь пулемета. Передо мною были узкие горбатые улицы, полуразрушенные дома набережной.

Почему-то я вспомнил старого кривого парикмахера: я у него стригся и брился, возвращаясь с фронта. Он балагурил, высмеивал генералов, анархистов, министров и гордо объявлял каждому: «Я умеренный анархист и непримиримый антифашист». Успел ли он уйти из города или погиб?..

Житель Лериды, переплывший речку, рассказывал, что в городе осталось четыреста человек (было сорок тысяч): «Все ушли. Помнишь большой дом на площади Паэрия, рядом с «Паласом»? На нем написано красной краской: «Мы не хотим жить с убийцами». Это не солдаты написали, а кто-то из жильцов, когда уходили...»

Трудно объяснить, как удалось остановить фашистов на правом берегу узкой неглубокой реки. Осенью 1936 года их задержали на окраине Мадрида. Военные тогда объясняли, что город легко оборонять. Но здесь фашисты заняли город и вдруг натолкнулись на яростное сопротивление. Это бывало в Испании не раз и, видимо, связано не с особенностями рельефа, а с особенностями характера: люди сдавали почти без боя сто, двести километров, и вдруг подымались ярость, гнев, воля — враг не мог продвинуться на сто метров.

Я сидел с бойцами, когда осколок снаряда убил красивого смуглого бойца; его звали Куррито, он был андалузцем из Сьерра-Морены. Другой боец, портной, барселонец, который прежде все время шутил, долго стоял над убитым товарищем, шевелил губами, видно было, что он сдерживает слезы; наконец он сказал: «А я ему рубашку обещал зашить...»

Осколок обломал ветку персикового дерева. Мы молча ели душистые плоды — в Лериде они поспевают рано. Барселонский портной сказал: «Куррито любил персики...»

В батальоне было довольно много добровольцев, записавшихся недавно, — пожилых людей, подростков. Политики говорили, что война подходит к концу; а они пришли воевать... Вряд ли они рассчитывали на победу, но не хотели или не могли стоять в стороне. Я знал Испанию, и все же всякий день она меня удивляла.

Когда я возвращался в Барселону, бомбили дорогу. Мы пролежали полчаса в траве. Потом я увидел искромсанное поле пшеницы. Отчего-то это было нестерпимо больно, хотя я видел вещи пострашнее. Может быть, оттого, что, когда я был ребенком и ронял кусок хлеба, няня Вера Платоновна сердито говорила: «Поцелуй», и я целовал ломоть.

В Барселоне я разговаривал с пленным немецким летчиком Куртом Кетнером, сыном бранденбургского архитектора. Он приехал в Испанию рано, в октябре 1936 года; он сразу сказал мне, что он лейтенант рейхсвера, летал на «хейнкеле-111». Когда я спросил его, почему он бомбил испанские городки, он громко засмеялся: «Опять эти истории с «мухерес и ниньос»? (Он говорил по-немецки, но слова «женщины и дети» сказал по-испански.) Вздор! Недавно я видел после бомбежки облако дыма. Это, наверно, дымилась мухерес и ниньос».

Его нельзя было назвать невежественным; он прочитал немало книг, говорил о «философии истории», но мне он казался дикарем, смелым и злобным. Такие встречи помогли мне познакомиться с духовным миром, несложным, но своеобразным, офицеров и солдат, которых два года спустя я увидел марширующими по улицам Парижа и в 1941 у нас, в Белоруссии.

Трагический фарс «невмешательства» продолжался. Я видел, как в Сербере задержали несколько сот лопат, купленных для крестьян Каталонии. Я поехал в Андай — хотел посмотреть, что происходит на границе между Францией и фашистской Испанией.

В Андай у меня были друзья, я об этом упоминал в рассказе об обмене летчиков. Эти друзья свели меня с ответственным служащим таможи, который ненавидел фашизм. Он мне показал документы о грузах, направлявшихся в фашистскую Испанию. Конечно, Италия и Германия самолеты, танки, артиллерию, боеприпасы отправляли морем в порты Португалии, в Бильбао, в Кадис; но для более невинных вещей они пользовались транзитом через Францию; так направлялись грузовики, мотоциклы, каучук, моторы, химические продукты для военной промышленности. Никакого контроля на границе между Францией и фашистской Испанией не было, несмотря на все заверения французского правительства.

«Известия» напечатали мою статью, и французская полиция возмутилась; оказалось, что я нарушаю принципы невмешательства. (Я все-таки был наивным: хотел кого-то пристыдить, раскрыть кому-то глаза — думал, что дело идет к Вердену, а дело шло к Мюнхену.)

Я должен рассказать об одной довольно глупой истории. Мне захотелось хотя бы на несколько часов очутиться в фашистской Испании, поглядеть, что там делается. Нечего было мечтать о фальшивых документах: в Ируне имелся советник-гестаовец. В Андай мне рассказали, что контрабандисты часто проносят в испанские пограничные деревушки различные товары. Я напал на одного из них; он был французским баском. Он сказал мне: «Ладно. Но имей в виду, что я политикой не занимаюсь. Я знаю, что фашисты — сволочь, но мне нужно кормить семью. Я тебя не выдам, но, если, не дай бог, нарвемся на пограничников, я прямо скажу, что ты чужой, пристал в дороге».

Мы перешли речку, потом начали подыматься. Я, признаться, волновался и раза два или три пережил страх; я даже не помню, что мой проводник — я звал его Жаком — тасил на себе. Наконец мы оказались в обывковенной испанской деревушке Вэра, зашли в темный дом, где пахло оливковым маслом и чесноком. Жак привел туда Антонио. Антонио провел меня в другой дом. Сразу после того, как мы вернулись в Андай, я записал несложный разговор: «Хозяйка была старой и глухой. Антонио сказал мне: «Рекете убили ее сына. Вместе с Агирре. Там, где

ты шел с Жаком,— возле Каса Роха. Он лежал и ругался. Она не знала. А когда она пришла, он был мертвый. Они ее оставили здесь, потому что она очень старая». Старуха глядела то на Антонио, то на меня. Антонио крикнул ей в ухо: «Они тебя здесь оставили, потому что ты очень старая». Она радостно закивала головой: «Да, да, очень старая»; потом она сжала острыми пальцами черный платок: «Он не был старым, он еще был молодым» — и громко заплакала. Антонио поднес палец ко рту: гвардеец! Я поглядел в щель ставен. Никого... Антонио рассказывал: «Здесь все его боятся... Я был в Элисандо на ярмарке. Там тоже никто не раскроет рта. Боятся... Мне один прямо сказал: «Я только с женой говорю. И то боязно...» Я сам из Вильмедианы, маленькая деревушка, сто шестьдесят душ, но у нас голосовали за социалистов; рекете расстреляли двадцать девять человек».

Антонио привел еще четверых, сказал: «Можете с ним разговаривать — это француз из наших...» Крестьяне осторожно рассказывали о реквизициях, о штрафах. Здесь за мною пришел Жак и сказал, что пора идти.

Вернулись мы под утро; зашли в бар на вокзале; пили коньяк.

В общем я ничего не увидел и мог бы написать о старухе без того, чтобы зря рисковать. Это было затеей двадцатилетнего юноши; я это понимал и скорее стыдился, нежели гордился. Ко всему я побаивался, что меня отзовут: скажут, корреспонденту «Известий» не полагается идти на такие авантюры. Но все обошлось, и я вернулся в Барселону.

Наивным был не только я; многие политические деятели еще верили в изменение позиции Англии и Франции. Нужно вспомнить события лета 1938 года, и тогда многое станет понятным. Гитлер что ни день угрожал Чехословакии. Фюрер судетских немцев Гейнлейн отправился в Лондон, но вернулся недовольный. Хотя Чемберлен был готов к уступкам, ему приходилось считаться с оппозицией и лейбористов и многих влиятельных консерваторов. Во Франции картина была такой пестрой, что нелегко было разобраться: почти в каждой партии имелись сторонники отпора и сторонники капитуляции. Правый журналист Кериллис, еще недавно проклинавший испанских республиканцев, писал теперь, что Гитлер покушается на Францию. Левая газета «Эвр», недавно выступавшая против Франко, стала рупором кругов, которые называли себя «сторонниками мира» и стояли за любые уступки Гитлеру. Все нервничали. Владельцы гостиниц на побережье или в Альпах жаловались: люди забывают, что на дворе летние каникулы!

Альварес дель Вайо всегда был (да и остался) оптимистом. Помню, в то лето он доказывал мне, что война между Германией и Францией с ее союзниками неминуема. «Французы найдут в Испании не только врагов, готовых их атаковать с тыла, но и союзников». Он считал, что конец лета многое изменит в мире, повторял: «Наше дело — продержаться...»

Много писали, да и теперь пишут о «чуде Мадрида», об осени 1936 года, когда испанский народ с помощью интербригад и советской техники остановил фашистскую армию. О последнем периоде пишут куда меньше: разгром никогда не казался увлекательной темой. А я признаюсь: сопротивление во вторую половину 1938 года мне кажется еще большим чудом, чем оборона Мадрида в первую осень войны.

Пятнадцатого апреля 1938 года, когда войска Франко вышли к побережью и разрезали республиканскую Испанию на две части, исход войны был предрешен. Конечно, были и ошибки, и растерянность, и многое другое, но я пишу не историю войны, а книгу воспоминаний. Я думаю о том, что Каталония истерждалась еще десять месяцев, Мадрид и того больше, и не могу побороть в себе волнения. Народы похожи на отдельных людей: их лучше понимаешь в дни глубокого несчастья.

В июне меня принял президент республики Асанья. Некоторые его называют «дезертиром», потому что он уехал во Францию в феврале 1939 года вместе с правительством. Конечно, президент республики должен был бы отправиться в Мадрид; но судьи не только слишком строги, они как бы не хотят понять, что Асанья был президентом воюющей Испании поневоле. Когда республика приняла вызов Франко и вступила в бой, переменяли правительство. Его много раз меняли. А президента нельзя было переменить, он был символом преемственности, вывеской для буржуазных демократий Запада, флагом.

Мануэль Асанья стал политиком скорее по недоразумению; он писал романы, эссе, вместе со всей передовой интеллигенцией ненавидел монархию, диктатуру Примо де Риверы. Он был прежде всего дилетантом — и в литературе и в политике; чувствовал он себя хорошо не в резиденции президента, не на посту премьера, даже не в парламенте, а в литературном клубе «Атенеум», где затевал диалоги эрудитов, где происходили ночные нескончаемые беседы, которые испанцы называют «тертульями». Он мог бы блистательно поспорить с Эдуардом Эррио о барокко, о госпоже Рекамье, о всечеловечности Кальдерона.

Он был человеком лично смелым. Я был в Мадриде, когда 14 апреля 1936 года народ праздновал годовщину провозглашения республики. Асанья тогда занимал пост премьер-министра. Один фашист в него выстрелил. Началась паника. Асанья спокойно улыбался.

Все дальнейшее было для него непосильным испытанием: он был либеральным интеллигентом, и когда Кабальеро принес ему на подпись список нового правительства, куда входили четыре анархиста, он заупрямился, пытался спорить, доказывал, что люди, отрицающие государство, не могут стать министрами. Он спорил, а с ним не спорили — он оставался флагом.

Он принял меня как корреспондента советской газеты и сделал заявление; в нем были такие строки: «Вооруженное нападение на республику, которое было организовано и которое поддерживается тремя европейскими государствами, принуждает нас вести войну за независимость не только в политическом значении данного слова, но и в том, что является самым высоким, самым основным, более длительным, нежели структура, режим государства: борьба идет за свободу развития испанского духа. Речь идет не о том, будет ли в Европе одной республикой больше или меньше, не о том, сможет ли та или иная политическая партия отстаивать свою программу. Речь идет о том, сможет ли великий народ, прославленный в стольких областях, принять самостоятельное участие в создании современной культуры или он будет удушен. В этом мировое значение испанской трагедии, в этом причина и сила самообороны Испании».

Передав мне заявление, Асанья вдруг печально улыбнулся: «Теперь мы можем поговорить как два писателя...» Я думал, что он начнет беседу о литературе, но он сказал: «Я поставил в моем заявлении слово «трагедия»; может быть, для главы государства это неуместно, но другого слова я не нашел. Негрин, кажется, верит, что Испанию спасет мировая война. Наверно, война начнется. Но они ее не начнут, пока не задашат Испанию... Вы знаете нашу литературу. Мы всегда стремились к общечеловеческим идеалам. Испанец создал «Дон-Кихота», его все оценили, и для всех он стал посмешищем. Нас жалеют и, жалея, посмеиваются... Испанию надолго посадят за решетку...»

Я встретился с барселонскими анархистами. Они ругали правительство, коммунистов, говорили, что Прието — прожженный политикан, что все происходящее каждый день подтверждает правоту анархистов, и вместе с тем с гордостью повторяли, что в советских газетах восторжен-

но писали о командире Сиприано Мера, а он — анархист. Они клялись, что СНТ — ФАИ будут сражаться до конца, жалели, что правительство мало делает для организации партизанской войны: «Каждый испанец создан для герильи...» Один из них проводил меня до гостиницы. По дороге началась тревога, завывали сирены, и мы застряли в подворотне какого-то склада. Анархист говорил: «Хорошо, сознательным я стал в 1928 году, мне тогда было двадцать три года. Я был на фронте, ранен в грудь. Сегодня я попросил, чтобы меня послали на Эбро. Во-первых, я — анархист, это обязывает...» Он замолк, я спросил: «А во-вторых?» Он ответил не сразу, и голос у него был смущенный: «Во-вторых?.. Но что ты хочешь? Испанцем я был еще до того, как стал анархистом. Может быть, ты думаешь, что я не испанец? Я из Севильи — как твой Хосе, только он был булочником, а я парикмахером. Я больше испанец, чем подлец Франко! Ну, а как по-твоему, может настоящий анархист жить без Испании? По-моему, нет».

Испанским коммунистам было нелегко; все время они должны были что-то кому-то объяснять: анархистам — что такое дисциплина, без которой нельзя разбить фашистов, республиканцам — что такое революция, социалистам — что такое единство, а советским товарищам — что такое Испания.

Я встречался с Хосе Диасом, Долорес Ибаррури, Урибе, другими руководителями партии. Они помогали мне разобраться в положении. Но сейчас я хочу припомнить один разговор, не имеющий отношения к событиям.

Никогда я не любил боя быков, и мы не раз спорили с Хемингуэем. Мне казались отвратительными и распоротые животы старых лошадей, и стрелы, втыкаемые в одуревшего быка, и кровь на песке, а самое главное — обман: бык не знает правил игры — бежит прямо на врага, а торeadор вовремя чуть отклоняется в сторону; все искусство состоит в том, чтобы вовремя отбежать, не слишком рано, иначе публики освищет, да и не слишком поздно — зверь может прободать живот не клячи, а любимца Испании. У Хосе Диаса выпал свободный час. Как настоящий андалузец, он любил бой быков и сказал мне: «Ты думаешь, что мы всегда с тореро? Вот уж нет, часто мы на стороне быка. Ничего ты в этом не понимаешь...»

Не знаю, почему я сейчас вспомнил этот разговор; наверно, поэт отеснил автора длинной и тягучей книги. Вернусь к событиям 1938 года. В конце июля началось наступление на Эбро — последняя попытка республиканцев восстановить положение. Ночью солдаты в лодках переправились на правый берег, который был хорошо укреплен. Эбро — широкая река с быстрым течением. Наступающим удалось создать плацдарм, навести мосты, захватить городок Мора-де-Эбро, ряд деревень, создать угрозу для левого фланга фашистов. Началось длинное и кровопролитное сражение.

Я дважды был на правом берегу Эбро, видел различные бои. Фашистская авиация бомбила мосты почти непрерывно, и непрерывно понтонеры их снова наводили; у них была песенка: «Живут в пещере, черны, как негры, и злы, как звери, понтонеры Эбро». Они действительно жили в скалах, расщелинах бомбами. Когда я снимал мост, чтобы послать фотографию в «Известия», один понтонер сказал мне: «Только без выдержки, а то упадет бомба, и пропала твоя фотография...»

Здесь война выглядела иначе, чем у Гвадалахары или даже у Теруэля. На стороне Франко сражались одиннадцать дивизий. На трехкилометровом секторе фашисты сосредоточили сто семьдесят орудий. Долго бои шли за различные высоты Сьерра-Панолос, и я увидел, как может измениться абрис горы от длительного артиллерийского обстрела.

Я познакомился с командиром Мигелем Тагуэнья. Ему было двадцать пять лет, его называли комсомольцем. Он успел до войны кончить университет, занимался оптикой, готовил диссертацию, а вместо этого пришлось взять ружье. Он стал командиром корпуса. У него было еще по-детски припухлое лицо, но кадровые военные говорили о нем с уважением. Он сказал: «Дойдем до Гандесы...» И вопреки всему я начинал верить в возможность победы. На фронте было как-то спокойнее, чем в Барселоне. Я не думал о том, что делается в Европе, не думал даже о судьбе Валенсии — мои мысли были заняты высотой 544, как будто от того, в чьих руках окажется эта лысая, развороченная огнем макушка невысокой горы, зависит исход всей войны.

Армией командовал Хуан Модесто. Мы вспомнили начало войны; тогда Модесто набрал батальон имени Тельмана, и я с ним познакомился в тот самый день, когда они взяли в плен первого фашиста; Модесто радовался, как ребенок: «Ты понимаешь — взяли пленного! Конечно, лучше бы двух — можно было бы сказать «взяты трофеи и пленные...» Он и на Эбро мне сказал, что вспоминает тот далекий день, как самый счастливый. Он рассказал мне свою жизнь: он андалузец, работал на лесопилке, любил футбол, политикой не интересовался. Как-то доктор дал ему крохотную газету «Голос пролетария». Модесто прочитал и задумался. Вскоре он стал коммунистом. На Эбро его палатка была набита книгами: учился военной науке. Веселый человек, он всех заражал весельем. Мне рассказывали, что в марте, когда люди пали духом, он пел песни, шутил, рассказывал андалузские анекдоты, и все невольно улыбались. Мы заговорили о перспективах. Модесто не унывал: «Посмотри, какая у нас теперь армия!» Потом он вздохнул: «Вот авиации мало... Да ты не объясняй, я все понимаю... Но очень мало...»

(Недавно я встретил Модесто в Риме после долгой разлуки. Я обрадовался, как будто ступил на землю Испании. Он все тот же и таким же голосом, как на Эбро, сказал: «Посмотри, какая теперь в Испании молодежь!...»)

Я не терял надежды, хотя понимал, что надеяться не на что. Сердце часто в размолвке с рассудком: это супружеская пара, которая не может ни мирно сосуществовать, ни развестись. Что меня приподымало? Да все то же — мелкие приметы. Не было табака, и одинокий солдат на посту сказал мне: «У меня две сигареты, отдай одну первому товарищу, которого встретишь...» В Барселоне на площади Каталунья я как-то дал двум девочкам плитку шоколада, которую привез из Франции. Девочки позвали подруг и аккуратно разломали плитку на десять крохотных кусочков. В прифронтной каталонской деревне Пуидж Верд я зашел в крестьянский дом и сразу увидел городских детей. Старик хозяин сказал мне: «В Испании теперь мало земли. Видишь, они из Фраги. Была у них земля, и отобрали...»

Это не сентиментальные истории, а быт Испании накануне развязки.

Летом, особенно осенью я часто уезжал во Францию: разворачивались события, от которых зависела судьба Европы на долгие годы. Я предложил Савичу писать для «Известий», когда меня нет в Барселоне; он согласился, и газета обзавелась новым корреспондентом с красивым испанским именем Хосе Гарсия. Каждый раз, уезжая, я с тревогой оглядывался на испанского пограничника, стал суеверным. А вместе с тем я не только писал, но и чувствовал: есть еще надежда! Наперекор всему...

В четвертой части этой книги почти все главы связаны с политическими событиями, происходившими в Европе в 1934—1938 годы. Это естественно: события были значительными, и я не чувствовал себя зри-

телем. Я не могу оторвать свою биографию от приступов озноба, в которые эпоха бросала сотни миллионов людей. Рассказать про свою жизнь иначе было бы неправдой.

Когда мне было двадцать лет, я думал о Кате, о картинах Мемлинга, о стихах Блока. Дни пахли туберозами, которые я покупал вместо того, чтобы пообедать. Я даже не знал, кто стоит во главе французского правительства, хотя жил в Париже, не интересовался тем, что происходило в Агадире, хотя агадирский кризис грозил мировой войной, не раздумывал над аграрной реформой Столыпина, хотя продолжал считать себя революционером.

Четверть века спустя я не только писал в газетах, я чувствовал свою зависимость от того, что в этих газетах сообщалось. Обоняние диктует памяти навязчивые детали, и многие дни того времени связаны в моих воспоминаниях не с ароматом цветов, а с запахом печатной краски.

Я говорю об этом без сожаления: жить по-другому я не мог. Двадцатилетнему юноше казалось, что он свободно выбирает такую жизнь, какая ему по душе. К концу тридцатых годов я давно распрощался со многими иллюзиями, знал, что если и дана человеку возможность выбрать дорогу, то петли этой дороги зависят не от него.

Назвался груздем — полезай в кузов. Да, конечно. Но ведь и грузди в кузове не похожи один на другой. Я писал в предшествующих главах о борьбе Испании, о малодушии Блюма или Даладье, о крестьянах Каталонии, о немецких летчиках. Теперь мне хочется рассказать немного о себе.

Я говорил, что часто ездил во Францию, где назревали большие события; газета об этом просила, да и мне самому хотелось знать — будет война или нет.

Люба сняла домик в Баньюльсе, возле испанской границы. Там я отдыхал от бомбежек; приезжали Савич, друзья из Барселоны. В Баньюльсе приехала из Парижа моя давняя приятельница — розовая смешливая Дуся. Приехал Мальро — он кончал съемки фильма об испанской войне.

В Париже было тревожно, и после испанской эпопеи нелегко было мириться с малодушием, скарденностью, привязанностью к тысячам бытовых услад. Мало кто приходил на Монпарнас из моих старых друзей. Художники говорили уже не о фактуре холстов, а о судетских немцах и Чемберлене. Ирина писала редко, письма были пустыми, впрочем других я и не ждал. Новый посол Я. З. Суриц был человеком сердечным, но подружился я с ним по-настоящему много позднее — в послевоенные годы. Человеку, занимающему ответственный пост, трудно разговаривать: он должен уговаривать или отговаривать.

Самым большим событием моей жизни было то, что в 1938 году неожиданно, после перерыва в пятнадцать лет, я начал писать стихи. Почему это произошло? Прежде всего от горя и одиночества. В часы радости человек бывает общителен, он делит свою радость, будь то с толпой на улице, будь то среди четырех стен, с дорогим для него существом. А в минуты самого высокого, полного счастья человек молчит, как будто боясь словом поторопить время, разрушить внутреннюю гармонию. Горе же требует слов, у него есть язык, только очень редко ему перепадают чужие уши. Кто знает, как мы были одиноки в те годы! Речей было много, пушки уже кое-где палили, радио не умолкало, а человеческий голос как будто оборвался. Мы не могли признаться во многом даже близким; только порой особенно крепко сжимали руки друзей — мы ведь все были участниками великого заговора молчания.

Я глубоко привязан к своей основной работе — к прозе; знаю ее радости и трудности. Это — путь в гору, с петлями, с обвалами, с одышкой,

порой и с инфарктами. Это — слова, обращенные к людям, о людях; комната прозаика всегда переполнена невидимыми для посетителя героями, милыми или несносными, друзьями или недругами, прошенными и непрошеными, навязанными жизнью. Прозаик ищет для своей работы уединения, ему нужны рабочий стол, тишина, но, по правде говоря, он живет и пишет на шумном, беспокойном перекрестке.

Поэт может сочинять стихи на улице, в автобусе, на скучном заседании, но в эти минуты он одинок. Никогда не вздумалось бы никакому прозаику, даже в давние времена, когда люди обожали мифологию, беседовать с «музой». А поэты, включая и тех, которым никто не говорил в школе, что муза Эрато олицетворяет лирику и сжимает в руке лиру, вдруг да вспомнят про музу. Лирика напоминает дневник, и часто люди начинают рифмовать от одиночества. Тютчев писал: «Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя? Поймет ли он, чем ты живешь? Мысль изреченная есть ложь». В стихах Тютчева затаенная мысль не была ложью. Есть у поэзии великая сила: рождаясь от одиночества, она разрушает преграды, существующие между людьми. Поэт беседует с воображаемой «музой», ей исповедует, часто не думая о судьбе зазвучавших в голове строк; а его признания становятся живой водой для множества людей. Стихи Тютчева были изданы его друзьями, и Иван Аксаков потом писал: «Тютчев при этом издании был, очевидно, сам в стороне; за него распоряжались, судили и рядили другие. Мы убеждены, что он даже и не заглянул в эту книжечку». А Л. Н. Толстой до смерти бормотал тютчевские строки, которые я привел.

До чего одинок, несчастен был Лермонтов! Свои лучшие стихи Верлен написал в тюрьме. Дневник Блока потрясает тоской одиночества. Можно было бы заполнить десятки страниц таким перечнем. Я отнюдь не хочу прославлять одиночество, но скажу, как Бергамин: одиночество — это не отъединение, не программа, не опостылевшая всем «башня из слоновой кости». Какая уж тут кость — беда! А беды на свете много...

Я снова взялся за стихи еще по одной причине. Повесть «Что человеку надо» я написал летом 1937 года — между Брунете и Теруэлем; за роман «Падение Парижа» сел осенью 1940 года. В течение трех лет я писал статьи, очерки, короткие сообщения о военных операциях или о политических событиях. Я писал и повторял написанное в телефонную трубку или выстукивал русские слова латинским шрифтом на телеграфных бланках. Я невольно переставал думать о слове; моя язык беднел, становился стандартным, почти условным.

Хочу признаться в моей страсти. Думаю, никто меня не заподозрит в национализме; я много жил за границей, научился ценить гений других народов. Я не полиглот, но несколько языков понимаю, и вот я с ранней юности по сей день влюблен в русский язык. Мне кажется, что он как будто создан для поэзии. Каждый человек любит язык, на котором он говорит с младенчества, но я не только люблю русский язык, я перед ним преклоняюсь. Он обладает свободой, не существующей в других известных мне языках; от перестановки слов в фразе меняется смысл. Есть языки с музыкальным ударением на различных слогах, я осмелюсь сказать, что русский язык обладает лирическим ударением на том или ином слове. Эта свобода, отсутствие обязательного уточнения, рождающегося в западноевропейских языках от жесткости синтаксиса, отсутствие артиклей — все это предоставляет писателю безграничные возможности: перед ним не истощенные почвы былых веков, а постоянная целина.

Поэзия стала для меня трудным разреженным воздухом, очищением. Ощущая важность отдельного слова, я чувствовал и связь с прошлым и реальность будущего, осязал детали жизни, это помогало бороться с отчаянием.

Я сочинял стихи в машине или в поезде, в часы отдыха или на шумливом собрании, на улице, во фронтовых землянках. Записывал я их позднее; стихотворения были короткими, и я их знал на память.

Пятнадцатилетняя Анна Франк, прячась от фашистов, вела дневник и обращалась в нем к воображаемой подруге Китти (так она назвала подаренную ей тетрадку). Не знаю, кому я исповедовался; может быть, все той же «музе» — неприкаянной, покрытой грязью фронтовых дорог, оглохшей от бомбежек, не обнаруженной на писательских собраниях и воистину «беспачпортной».

Я писал стихи о различных событиях, которые до того описывал в газете и о которых упоминал в этой книге; писал, конечно, по-другому. Возле Мората-де-Тахунья бригада Лукача произвела разведку боем; это была трудная операция, стоившая многих жертв. Стихотворение «Разведка боем» я кончал словами: «А час спустя заря позолотила чужой горы чернильные края. Дай оглянуться,—там мои могилы, разведка боем, молодость моя!» В отчете о попытке наступления в Каса-дель-Кампо я писал о канарейке, и редакция на меня рассердилась в общем справедливо. В стихах я вернулся к птичке: «Что здесь делают шкаф и скамейка, эти кресла в чехлах и комод? Даже клетка, а в ней канарейка и, проклятая, громко поет... Но не скрою — волнение пичуги до меня на минуту дошло, и тогда я припомнил в испуге бредовое мое ремесло. Это спазма, что схватит за горло, не отпустит она до утра — сколько чувств доконала, затерла слов и звуков пустая игра!» Я писал о похоронах советского летчика в испанской деревне: «Под оливами могилу вырыв, положили на могиле камень. На какой земле товарищ вырос, под какими плакал облаками? И бойцы сутулились тоскливо, отвернувшись, слатывали слезы. Может быть, ему милей оливы простодушная печаль безрезы?»

Писал я и о том, о чем не мог, не хотел никому рассказать. Приведу одно стихотворение 1938 года не потому, конечно, что придаю большое значение моим стихам, а потому, что в стихах легче выразить многое, нежели в прозе: «Додумать не дай, оборви, молю, этот голос, чтоб память распалась, чтоб та тоска раскололась, чтоб люди шутили, чтоб больше шуток и шума, чтоб, вспомнив, вскочить, себя оборвать, не додумать, чтоб жить без просыпу, как пьяный, залпом и на пол, чтоб тикали ночью часы, чтоб кран этот капал, чтоб капля за каплей, чтоб цифры, рифмы, чтоб что-то, какая-то видимость точной, срочной работы, чтоб биться с врагом, чтоб штыком — под бомбы, под пули, чтоб выстоять смерть, чтоб глаза в глаза заглянули. Не дай доглядеть, окажи, молю, эту милость, не видеть, не вспомнить, что с нами в жизни случилось».

Писал я об эпохе, о бурном горном потоке, который потом становится широкой плавной рекой; пытался утешить себя: «Закончится и наше время среди лазоревых земель, где садовод лелеет семя и мать качает колыбель, где день один глубок и долог, где сердце тишиной полно и где с руки усталый голубь клюет пшеничное зерно».

Может быть, это слабые стихи, не знаю; мне они до сих пор дороги как признания, и я не мог не уделить им места в книге о моей жизни. Мне кажется, что эта глава поможет читателю лучше понять автора. Французская пословица уверяет, будто дверь должна быть либо открыта, либо закрыта. Нет, занавеска исповедальни может быть одновременно и опущена и приподнята.

Известия из Парижа и Лондона волновали всех; даже испанские газеты уделяли полосы Чехословакии. На фронте Эбро бои затихли. Все ждали, чем кончится трагедия, которая разыгрывалась не на театре воен-

ных действий, а в закрытых для посторонних глаз министерских кабинетах.

Я приехал в Париж 23 сентября. День был душный, казалось, разразится гроза. Я пошел в чехословацкое посольство к советнику Шафранку, с которым иногда встречался. Он был мрачен, сказал мне: «Лично я ни на что больше не надеюсь...» Это был высокий, плотный, обычно невозмутимый человек; в тот день он не мог совладать с собой, его голос срывался, он повторял: «Сегодня очень жарко, правда?», налил воду в стакан, и руки его дрожали. Под окнами стояли толпы: приходили делегации рабочих, профессора, писатели; все возмущались намечающимся предательством, выражали сочувствие Чехословакии.

Я пропустил телефонный звонок редакции: ходил по улицам рабочих кварталов. Повсюду слышались те же слова: «Чемберлен», «капитуляция», «Даладье», «фашизм». Люди были возбуждены. Один рабочий говорил: «Сволочи, неужели они не понимают, что, если отдать немцам чехов, они через месяц пойдут на нас? Вот уж кто предатели!..»

В богатых районах я увидел картину, памятную мне по 1914 году: прислуга грузила на машины элегантные чемоданы. Здесь было тихо, только какая-то дама кричала, видимо тугому на ухо, пожилому спутнику: «Ты опять не понимаешь?.. Этот сброд из Народного фронта хочет, чтобы Париж уничтожили, как Мадрид!..»

Я пошел в редакцию газеты «Ордр» к Эмилю Бюре, тучному, умному, несколько циничному в своих отзывах. Это был блистательный журналист, представитель старой Франции; он придерживался правых убеждений, считал, что Народный фронт — опасная затея, но, будучи патриотом, обличал капитулянтов. «Вы знаете, чего они боятся? Победы. Ведь воевать против немцев придется вместе с вами. Один депутат вчера мне сказал: «Военные сошли с ума — настаивают на сопротивлении, они не понимают, что это открыли коммунистов». Я ему ответил: «Речь идет не о составе кабинета, а о судьбе Франции». Что вы хотите — мы выродились. Нужен Клемансо, а у нас Даладье, это Тартарен только без фантазии. Я помню, как два года назад он подымал кулак и обнимал Тореза. Вы увидите — завтра он подымет руку и обнимет Гитлера...»

Я прочитал в «Эвр» статью Жионо, он писал, что «живой трус лучше мертвого храбреца».

Мне хотелось скорее вернуться в Барселону. А выйдя из дому на следующее утро, я увидел людей, которые читали расклеенное объявление о частичной мобилизации. Даладье заявил, что Франция выполнит свои обязательства и будет защищать Чехословакию.

(Блюм, когда Франко поднял мятеж, тоже сказал, что Франция поможет испанской республике. Талейран говорил, что никогда не нужно следовать первому чувству — оно бывает благородным и, следовательно, глупым. Я не хочу, конечно, сравнивать Талейрана, циничного и крупного политика, с людьми вроде Даладье, случайно оказавшимися у государственного руля, растерянными и недальновидными провинциалами.)

Мобилизованные шли на вокзалы; некоторые подымали кулаки, пели «Интернационал». На углах улиц прохожие останавливались, начинались споры. Один кричал: «Какое нам дело до чехов! Пускай большевики защищают Бенеша!..» Другой назвал его «фашистом». Полицейские вяло повторяли: «Расходитесь, пожалуйста, расходитесь!» У них был растерянный вид: они не знали, кого бить.

В Париже бастовали строительные рабочие. 25 сентября они прекратили забастовку, объявив, что не хотят помешать обороне Франции. Развозили песок — против зажигалок. Дороги на юг были заполнены машинами: буржуазия отбывала. Повсюду я слышал одно слово: «война»... Реквизировали автобусы. Женщины шли на краткосрочные сани-

тарные курсы. Некоторые магазины закрылись. Вечером Париж погрузился во тьму, и на минуту мне показалось, что иду по улицам Барселоны.

Тридцатого сентября объявили о мюнхенском соглашении. Зажглись фонари, и средние французы потеряли голову: им казалось, что они одержали победу. На Больших бульварах в туманный вечер толпа ликовала; противно было смотреть. Люди поздравляли друг друга с победой. Муниципалитет постановил назвать одну из парижских улиц «Улицей 30 сентября».

Вечером мы с Путерманом ужинали в кафе «Куполь» на Монпарнасе. Я упоминал, что мой друг Путерман редактировал левый еженедельник «Лю»; он был уроженцем Бессарабии, боготворил Пушкина, собирал редкие книги, а сердце у него было совсем не книжное — горячее, страстное. Мы сидели, подавленные происшедшим. А за соседними столиками французы пили шампанское, пировали. Один из соседей вдруг заметил, что мы возмущены тостами, гоготом, карнавальным весельем, и спросил: «Мы вас, кажется, беспокоим?» Путерман ответил: «Да, сударь. Я — чехословак». Они притихли, а несколько минут спустя снова стали восторженно галдеть.

Я видел, как Даладье проехал по Елисейским полям. В его машину швыряли розы. Даладье улыбался. В парламенте социалисты, накануне осудившие мюнхенское соглашение, проголосовали за правительство. Блюм писал: «Мое сердце разрывается между стыдом и чувством облегчения...» На бульваре Капюсин я увидел над кинотеатром четыре флага, среди них немецкий со свастикой. Газеты объявили подписку на подарок «миротворцу Чемберлену». В эльзасском городе Кольмар четыре улицы были переименованы, одна получила название «Улица Адольфа Гитлера».

Я. З. Суриц сказал мне, что Даладье — тряпка, Боннэ представлял сторонников капитуляции, Мандель резко возражал, но в последнюю минуту взял назад отставку.

Я заканчивал очередную корреспонденцию словами: «На Елисейских полях капитулянты приветствовали г. Даладье. Как бы им не пришлось вскоре увидеть дивизии Гитлера, шагающие к Триумфальной арке». Редакция эту фразу выпустила; мне объяснили, что нужно повременить, — может быть, настанет похмелье; просили часто, подробно сообщать о событиях.

Одиннадцатого октября «Известия» обзавелись новым специальным корреспондентом — Полем Жосленом. Псевдоним я выбрал случайно, не думая, конечно, о герое Ламартина. Эренбург продолжал посылать длинные статьи, а Поль Жослен ежедневно передавал две-три заметки.

В октябре я поехал в Эльзас. Эльзасские фашисты, ободренные Мюнхеном, начали поговаривать о присоединении к райху. Едва я приехал в Страсбург, как за мною пришел чиновник префектуры. Префект сразу меня спросил, не собираюсь ли я защищать отделение Эльзаса от Франции, как это сделал корреспондент «Дейли экспресс». Я рассмеялся, объяснил, что позиция Советского Союза никак не похожа на позицию лорда Бивербрука. Он обрадовался и сказал мне, что один крупный полицейский поможет мне собрать информацию о деятельности «автономистов» (так называла себя прогитлеровская партия).

Полицейский оказался находкой: во-первых, он не любил немцев, во-вторых, автономисты обидели его лично — назвали в своей газете «рогопосцем». Он показал мне интересные документы, найденные при обыске, список членов тайной организации, даже нарукавные повязки, чтобы в час действия заговорщики могли бы узнать друг друга. Он сказал мне, что все это известно правительству, но министр Шотан решил замолчать дело, боится обидеть Гитлера. Я повидал различных политических деятелей в Страсбурге, в рабочем Мюлузе.

Мои статьи не прошли бесследно; их цитировали газеты, выступавшие против капитулянтов; ими заинтересовалось и правительство. Как я потом узнал, Шотан предложил выслать меня из Франции, Мандель возражал, и меня не выслали.

Я нашел среди бумаг телефонограмму иностранному отделу «Известий»: «Прошу меня вызвать по телефону 25 октября в 12 часов по московскому времени для сверки. Пришлю отдельно телеграфом короткие интервью с различными политическими деятелями Эльзаса. 25 вечером уеду в Марсель».

В Марселе состоялся съезд радикальной партии, к ней принадлежали Даладьё и большинство министров. Я помнил радикальную партию в прошлом, когда она представляла мелкую буржуазию, крестьянство южных областей, свободомыслящую интеллигенцию и когда она твердила о чистоте якобинских традиций. В Марселе о якобинцах не вспоминали, зато много и с жаром говорили о «коммунистической опасности», хотя официально еще существовал Народный фронт. Ораторы во всем обвиняли рабочих, называли их «лодырями», прославляли миролюбца Даладьё. Правда, были и другие радикалы — Пьер Кот, Боссутру, им не нравилась политика Даладьё, но я понимал, что таких скоро исключат из партии, если они сами из нее не уйдут.

Я говорил с Эдуардом Эррио. Он был подавлен, не решался порвать с Даладьё, в своей речи он сказал, что Советский Союз готов был выполнить свои обязательства, что Франция потеряла союзников, что угроза войны возросла, а мне жаловался: «Французы потеряли голову. Мы забываем, что мы — великая держава. Не знаю, чем это кончится...»

Во время съезда произошел большой пожар; загорелась и гостиница, в которой жили делегаты. Оказалось, что у пожарных мало лестниц. Эррио, всплыв, кричал: «Может быть, мне выписать пожарников из Лиона?...» Зрелище было почти нарочитым, каким-то предварительным показом надвигающейся катастрофы.

Вскоре в Нанте состоялся другой съезд — Всеобщей конфедерации труда; туда тоже поехали неразлучные друзья — Эренбург и Поль Жослен. Коммунисты призывали к борьбе; но и в Нанте нашлись сторонники капитуляции; один из них сказал: «Спасение Франции в том, чтобы перейти на положение второстепенной державы».

Все путалось. Стоял густой туман и над городами и в сознании. Газета «Эвр» уверяла, что она всегда отстаивала мир, начиная с того времени, когда печатала «Огонь» Барбюса, она и не изменила своей позиции — нужно пойти на новые уступки Гитлеру и Муссолини, чтобы избежать войны. Были и такие «левые», которые, протестуя против выпуска ПОУМ в Испании, требовали запрещения коммунистической партии во Франции. Писатель Селин предлагал объединиться с Гитлером в священной войне «против евреев и калмыков» («калмыками» он называл русских).

Меня пригласили в Сюрте (французская охранка). Один из крупных чиновников вежливо спросил меня, не заметил ли я, что за мною следят. Я ответил, что, кажется, шпики иногда ходят за мной, но я привык, не обращаю внимания. Чиновник сказал, что за мной следят крайне правые террористы, вытащил полсотни фотографий и попросил опознать людей, которые меня преследуют. Я улыбнулся: узнать никого не могу, а за себя не боюсь. «Напрасно. Мы знаем, что организация, которая убила братьев Россели, решила вас ликвидировать». Я поблагодарил за участие и ушел. Я так и не узнал, было это правдой или разыгранной комедией. Мне почему-то кажется, что никто в меня стрелять не собирався, а Сюрте понадеялась, что я испугаюсь и уеду из Франции. Моя газетная работа, встречи с политическими деятелями, памфлеты, да и обильная информа-

ция, которую посылал Поль Жослен, не могли нравиться тогдашним правителям Франции.

Все шло как по писаному. Правительство опубликовало чрезвычайные декреты, направленные против рабочих. На 30 ноября была назначена всеобщая забастовка. Правительство решило заменить забастовщиков солдатами. Водителей автобусов, которые не хотели работать, отвозили прямо в тюрьму. Забастовка провалилась. Даладьё мог выпить еще за одну победу — над рабочими. Слова «Народный фронт» отовсюду исчезли.

В Германии происходили грандиозные еврейские погромы. Несчастные люди пытались перейти границу, спастись во Франции. Пограничники их ловили и по приказу Парижа выдавали немцам.

В начале декабря вернулись из Испании французы интербригадовцы; их встречали рабочие; встреча была трогательной и бесконечно печальной: пока интербригадовцы сражались у Гвадалахары, на Хараме, фашизм с черного хода прокрался в их дом.

Гражданская война во Франции началась в 1934 году; это была скрытая война, без пушек, но с атаками и контратаками, с жертвами, со взаимной ненавистью. Мюнхен не был ни случайностью, ни просчетом: буржуазия шла на любые жертвы, лишь бы справиться с рабочими. А рабочие, озлобленные изменой, угрюмо молчали.

Я хорошо запомнил осень 1938 года. Жизнь внешне казалась прежней: люди работали, пили аперитивы, играли в карты, танцевали; но за всем этим была горечь, тревога, смятение. Я не мог смотреть вчуже — знал Францию, любил ее и видел, что она идет к гибели, как лунатик, с раскрытыми невидящими глазами, с сентиментальными песенками, с хризантемами, с паштетами, со сплетнями... Статью, написанную в конце ноября, я назвал «Грусть Франции» и в ней писал: «Я говорю не о нужде, даже не о горе — о той огромной грусти, которая опустилась на эту землю, — Мюнхен надломил Францию».

А Поль Жослен аккуратно сообщал, как Жюль Ромен, позавтракав с Риббентропом, уверовал в будущее франко-немецкого союза или как владельцы военных заводов субсидируют пацифистскую пропаганду профсоюза школьных работников.

Пятого декабря я писал в Москву: «Хочу несколько освободиться от Жослена, который вытесняет Эренбурга из жизни, устал, нет свободной минуты. Надеюсь, редакция это поймет...»

Начиналась зима; улицы пахли жареными каштанами; продрогшие влюбленные крепче прижимались друг к другу.

Несколько дней спустя мне удалось выбраться в Барселону. Не успев оглянуться, я уже кричал в телефонную трубку: «Наступление противника началось на всем фронте от Тремпа до Эбро!..» Здесь люди еще боролись.

Вскоре после приезда в Барселону, кажется, это было под Новый год, я пошел к поэту Антонио Мачадо — привез ему из Франции кофе, сигареты. Он жил на окраине города в маленьком холодном доме со старой матерью; я там довольно часто бывал летом. Мачадо плохо выглядел, горбился; он редко брился, и это еще больше его старило; ему было шестьдесят три года, а он с трудом ходил; только глаза были яркими, живыми. У меня сохранилась запись об этой последней встрече: «Мачадо читал отрывки из элегии Хорхе Манрике: «Наша жизнь — это реки, а смерть — это море, берет оно столько рек, туда уходят навеки наша радость и горе, все, чем жил человек». Потом он сказал о смерти: «Все дело в том «как». Надо хорошо смеяться, хорошо писать стихи,

хорошо жить и хорошо умереть». Он вдруг по-детски улыбнулся и добавил: «Если актер вошел в роль, то ему легко и уйти со сцены...»

Антонио Мачадо умер патетически, хотя он был самым скромным изо всех поэтов, которых я встретил в жизни. Когда фашисты подошли к Барселоне, он взял с собою мать, и они вместе зашагали по страшным дорогам пограничной полосы. В изгнании Мачадо прожил всего три недели; скончался он в местечке Кольюрс; оттуда видны горы Испании. Мать пережила его на два дня. Мачадо не мог больше жить. Теперь он признан всеми как самый большой поэт Испании нашего века. Его память чествуют академики франкистской Испании; ему посвящают стихи молодые испанские поэты. Он уже вне споров, да и вне событий; а рассказываю я о нем здесь, потому что для меня его образ неотделим от тех трагических дней, когда Испания покидала Испанию.

Познакомился я с ним в Мадриде в апреле 1936 года. Помню, с каким восхищением слушали его стихи Рафаэль Альберти, Неруда, десяток молодых писателей. Я сказал, что он был удивительно скромным, но этого мало. Чехов застеснялся, когда Бунин назвал его поэтом, протестовал, доказывал, что он грубо пишет о грубой жизни. По-человечески Мачадо чем-то напоминал Антона Павловича, как-то он мне сказал: «Может быть, я и не поэт. Кеведо был поэтом, Ронсар, Верлен, Рубен Дарно. Я люблю поэзию, это правда...» Это не было кокетством, попой; в шестьдесят лет он конфузился, слыша восторженные признания. И добрым он был, как Чехов, снисходительным к чужим слабостям, старался оправдать желчных, обиженных судьбою критиков или несчастных графоманов. Во всем он видел крупицу добра или красоты. Его поэзия прежде всего человечна.

Он читал мне строфы Хорхе Манрике. Трудно найти испанского поэта, который не писал бы о смерти. Летом 1938 года в Барселоне мы разговаривали о положении на фронте, о поведении Франции, и Мачадо сказал: «Неправильно за границей думают, что испанцы — фаталисты, что они встречают смерть с резиньяцией. Нет, они умеют бороться против смерти».

Я видел, как последние годы он боролся против смерти. Его не смущали ни бомбежки, ни жизнь на привалах. Он не хотел уехать из Мадрида; его вывезли в Валенсию, как картины музея Прадо. Он писал в Мадриде, в Валенсии, в Барселоне, писал изумительные сонеты и чуть ли не каждый день писал статьи для фронтовой печати.

Однако к мыслям о смерти он возвращался неустанно, в этом, как во многом другом, он оставался испанцем. Он писал сонеты, элегии, белые стихи и стихи с рифмами, любил гномическую поэзию, которая перешла к испанцам от арабов и евреев, — короткие философские четверостишия; по большей части он их не рифмовал; согласно традиции романсеро последние слова второй и четвертой строк имеют одну и ту же ударяемую гласную; это звучит еще тоньше, неуловимей, чем наши далекие ассонансы.

«Ты говоришь — ничего не пропадает. Но если ты разобьешь стакан, никто из него не напьется, больше никто никогда». «Ты говоришь, что все остается. Может быть, ты и прав. Но только мы все теряем, и все теряет нас». «Все проходит, и все остается. А наше дело идти по дороге шаг за шагом, дойти до моря, пройти».

Я часто вспоминаю и другие его четверостишия. «Разглядывая мой череп, новый Гамлет скажет: «Красивая окаменелость маски карнавала». «Человеку в море четыре вещи совсем не нужны — весла, руль и якорь и страх по морю плыть». «Два боя ведет человек, и каждый непокорен — с богом воюет во сне, проснувшись, воюет с морем». «Наши часы — минуты, когда мы жаждем узнать, и столетья, когда мы узнали

то, что можно узнать». «Хорошо, что мы знаем, — стакан для того, чтобы пить из стакана, плохо, что мы не знаем, для чего существует жажда».

Рубен Дарио писал о Мачадо: «Он пасет тысячу львов и тысячу козлят». В поэзии Мачадо необычное сочетание степной долины и сладости лета, мудрости и простоты. Это — видения нищих сел возле Сории, камней Кастилии, человеческой беды, мужества, надежды, и всегда у него дорога «шаг за шагом», дорога в гору или под гору, трудная дорога Испании, человека.

Жизнь он прошел «шаг за шагом» с людьми и в одиночестве; никогда не был на сцене (хотя и написал со своим братом несколько пьес) — прожил на галерке жизни. Он был преподавателем сначала французского языка, потом испанской литературы. Жил в провинциальных городах в Сории, в Баэсе, в Сеговии, в испанских Царевкокшайсках. Весной 1937 года, когда я вернулся из поездки на Южный фронт, я решил проведать Мачадо — он жил тогда неподалеку от Валенсии. Он расспрашивал меня о фашистах, которые сидели в Вирхен-де-ля-Кабеса, потом спросил, как мне понравилась Ламанча. Я записал некоторые его фразы: «Французский пейзаж легок, господь-бог писал его в годы зрелости, может быть даже в старости, все обдуманно, во всем чувство меры; немножко больше, немножко меньше — и все разлетится. А Испанию бог писал молодым, не обдумывал мазков, не знал даже, сколько камней нагромоздит один на другой. Я люблю «Степь» Чехова. Мне почему-то кажется, что русские могут понять испанский пейзаж... Ламанча — все знают это слово — «Дон-Кихот». Но почему многие не понимают, что Альдонса — это Дульцинея? Каждый испанец видит в здоровой, крепкой домовитой девке мечту, и каждый испанец твердо знает, что любая Дульцинея умеет вести хозяйство, сплетничать и ставить метки на рубашках. Тургенев, когда он писал о Гамлете и Дон-Кихоте, не понял, что Альдонса и Дульцинея слиты. Может быть, потому, что все его героини или чистые, небесные создания, или хищницы. Разрыва у нас нет, но единство дается труднее любого противопоставления. Это и есть Ламанча, да и вся Испания...»

Я привел в дословном переводе поэтические сентенции Дон-Кихота — Санчо Пансы. Я не решаюсь перевести те сладкие и насмешливые строки, которые слагал Антонио Мачадо для Альдонсы-Дульцинеи: они настолько связаны с музыкой, что одно иначе звучащее слово — и пропадет очарование. Это роднит Мачадо с Блоком «Ночных часов». Да и был он для Испании тем, чем Блок был для России.

«Шаг за шагом»... Его поведение в годы войны было предопределено всей его жизнью, здесь не было ни чуда, ни внезапного прозрения, ни перелома, только верность — себе, Испании, веку. Многие люди, даже изучавшие иностранные языки, не понимают языка искусства. В «Литературной энциклопедии» один критик писал: «Мачадо — типичный представитель той части мелкобуржуазной интеллигенции, которая перед лицом наступающего капитализма стремится уйти в мир самоанализа и в мелкобуржуазном гуманизме пытается найти разрешение противоречий современности». Это было написано в 1934 году. А в 1954 году другой критик писал в Большой Советской Энциклопедии: «Сборник стихов «Поля Кастилии» (1912) проникнут любовью к родной земле и горестным раздумьем о судьбах испанского народа... В сборнике «Новые песни» (1924) поэт выступает против реакционного буржуазного искусства». Изменился ли Мачадо? Нет, оба критика пишут об его книгах, вышедших в 1912 и в 1924 годах. Может быть, изменились критические навыки? Ничуть. Просто годы войны помогли людям, понимающим газетные сообщения и не понимающим поэзии, установить, какой ярлычок подходит для Мачадо.

Печально, что нужны обязательно бомбежки или концлагеря, чтобы поэты получали право на жительство...

Я многое в жизни растерял, а книги Мачадо с его надписями сберег, вывез их из Испании, потом из оккупированного немцами Парижа. Я иногда смотрю на почерк, на фотографию (я его снял в Барселоне), и человек сливается со строками стихов: «Ты на моем пути — вода или жажда? Скажи мне, нелюдимая подруга...»

Он воевал вместе с народом. Помню, как на Эбро командир дивизии Тагуэнья читал бойцам приветствие Мачадо, и голос его дрожал от волнения: «Испания Сида, Испания 1808 года узнала в вас своих детей...» Когда мы расставались, он сказал: «Может быть, мы так и не научились воевать. Да и техники у нас мало... Но не нужно судить слишком строго испанцев. Вот и конец — не сегодня-завтра они захватят Барселону. Для стратегов, политиков, историков все будет ясно: войну мы проиграли. А по-человечески не знаю... Может быть, выиграли...» Он проводил меня до калитки; я оглянулся и увидел его печального, сутулого, старого, как Испания, мудрого человека, нежного поэта, и глаза его увидел — очень глубокие, не отвечающие, но спрашивающие, бог весть кого, увидел в последний раз... Завыла сирена. Началась очередная бомбежка.

31

Двадцать восьмого января — 5 февраля 1939 года, последняя неделя в Каталонии, развязка... Как об этом рассказать? Мы ведь столько пережили с тех пор, столько пережили... Но в моей памяти живы те дни — рана не закрылась.

Двадцать восьмого января я приехал в Херону. Это был прежде небольшой старинный городок с живописными улочками, с аркадами, садами, древними камнями крепостных стен; и город кричал — не один человек, не сотня — весь город. В Хероне было прежде тридцать тысяч жителей. Теперь в ней находилось четыреста тысяч. Люди сидели, лежали, спали на площадях, на улицах, с мешками, корзинами, и почти непрерывно фашистские самолеты бомбили, расстреливали людей. Не было больше ни республиканских истребителей, ни зенитной артиллерии. В тот день мне казалось, что ничего больше нет, кроме крика, крови и лопат на кладбище, — рыли братские могилы.

Тридцатого января командир дивизии, рослый костлявый испанец, говорил: «У нас нет лопат. Мы должны окопаться, но у нас нет лопат...» Дороги были забиты лавиной беженцев; шли городские жители; кто-то ташил кресло; бородатый почтенный человек, похожий на профессора, волочил перевязанные толстой веревкой огромные фолианты; крестьяне гнали овец, коз; девочки шли с куклами. Уходил народ. Теперь уж никто не писал на стенах о том, что люди не хотят жить с фашистами, — не до слов было, да и не знаю, думали ли уходившие о жизни, они шли вперед без лозунгов, без надежды, может быть, без мыслей.

Некоторые части продолжали сражаться, задерживая противника. Маленький городок Фигерас, расположенный в двадцати километрах от французской границы, на короткий срок стал столицей испанской республики. В старой кузнице я увидел знакомого журналиста: там помещались редакция и типография барселонской газеты. Готовили номер. Человек с забинтованной головой в полутьме диктовал: «...успешно отражают атаки численно превосходящего противника...»

Я искал Савича и не мог его найти. Когда я был на главной площади, заваленной людьми, началась очередная бомбежка. Потом итальянские самолеты с бреющего полета расстреливали беженцев. Начальник штаба сказал мне: «Я должен дать сводку, а нет даже пишущей машинки». Ходили зловещие слухи: в пограничном Порт-Бу высадились

итальянцы и отрезали Фигерас от Франции, французы не пропускают через границу даже женщин. В кафе перевязывали раненых.

«Кажется, вот где русские», — сказал мне один командир, показывая на здание школы. Но я увидел Негрина, Альвареса дель Вайо, других министров. Они сидели вокруг длинного стола на табуретках; лежали карты, папки с бумагами. Негрин сказал мне: «Мы должны выиграть время, чтобы обеспечить эвакуацию во Францию населения. Потом мы сможем перелететь в Мадрид...» Один из министров доказывал, что самое главное — вывести армию и технику: через Марсель можно будет переправить людей и вооружение в Валенсию, а там вместе с частями Центрального фронта перейти в наступление. Не все иллюзии были еще потеряны...

Мне сказали, что советские товарищи остановились в деревушке в восьми километрах от города. Пришлось потратить три часа, чтобы добраться до этой деревни. Ночи были холодными, и, чтобы согреться, беженцы разводили костры — жгли барахло, которое зачем-то волочили по дорогам. А бомбежки не стихали.

Я вошел в крестьянский дом и обомлел от счастья — пылал огромный камин; перед ним сидели Савич и Котов. Савич объяснил, что на грузовике зачем-то вывезли посольскую библиотеку, приходится жечь — не оставлять же фашистам русские книги. Человека, которого звали в Испании Котовым, я остерегался — он не был ни дипломатом, ни военным. Он бросал книги в огонь с явным удовольствием, приговаривал: «Кто тут? Каверин? Пожалуйста! Ольга Форш? Не знаю. А впрочем, там теплее...» Поразил меня Савич — он обожает книги, а тут заразился и с азартом швырял томики. Котов сказал: «Гмм... «День второй»... Придется уступить автору право на кремацию». Я кинул книжку в камин.

Пришли сотрудники посольства, рассказали мне, что при эвакуации Барселоны забыли снять со здания герб и флаг; спохватились, кто-то сказал Савичу: «Может быть, вы снимете?..» Савич вернулся в Барселону, где шла стрельба на улицах, вместе со своим шофером, бравым Пепе, влез на крышу, снял герб и флаг. (Все-таки Савич странный человек: преспокойно вернулся в Барселону, когда в город входили фашисты, писал отчеты для ТАССа под бомбежками, сидел с Котовым, жег книги, шутил, а неделю спустя в Париже умирал от страха: у него не было разрешения полиции, ночью он прятался у Дуси, и даже веселенькая Дуся не смогла заставить его улыбнуться. Он показал мне телеграмму из пограничного французского городка: «Машина и я в вашем распоряжении Пепе» — и горько усмехнулся. Впрочем, может быть, ничего тут нет удивительного — все люди таковы.)

Нам сказали, что 1 февраля в Фигерасе состоится заседание кортесов. Мы с Савичем в темноте долго разыскивали, где вход в подвалы старинного замка. Итальянцы без устали бомбили город. У входа стоял часовой в белых перчатках. Старичок неизвестно где достал потертый половик, постлал им лестницу, которая вела в подвал: «Неудобно, все-таки это кортесы...» Отвели скамьи для дипкорпуса, для журналистов. По просьбе распорядителя я сел на дипломатическую скамью, чтобы она не пустовала; потом подошел кто-то из нашего посольства. Негрин был небритый, с глазами, воспаленными от бессонных ночей. Он говорил, что Англия и Франция предали республику, подвергли Каталонию блокаде. Французы не хотели принять тяжелораненых. Была в его речи такая фраза: «Франция пожалеет о том, что сделала...» Приняли обращение к народу: борьба продолжается; голосовали поименно, депутаты подымались один за другим и торжественно отвечали «да». У одного из них была наспех перевязана рука, кровь проступала сквозь марлю.

Я поехал ночью во французский город Перпиньян, чтобы передать о заседании кортесов в «Известия», и наутро вернулся.

Беженцы не могли идти по дорогам, они разлились, как река весной, заполнили скалистые уступы. Возле Пуигсерды лежал глубокий снег, дети в нем тонули. Близ перевала Арес я видел старух, которые ползли по обледеневшим скалам. Крестьяне резали овец, здесь же жарили, кормили солдат. Одна женщина родила в поле; мы кричали — звали врача. Пришел старик, специалист по болезням горла и носа, принял младенца и потом, отогреваясь у костра, вдруг сказал: «Мальчику повезло — он успел родиться на испанской земле...» Этот врач никак не походил на героя, роняющего исторические фразы, он был в зеленой женской кофте и протягивал к огню распухшие пальцы ревматика.

В пастушеском шалаше я увидел Альвареса дель Вайо; кто-то принес ему в миске теплый рыжеватый кофе. Глаза у него были такие печальные, что я отвернулся, а он, не теряя присутствия духа, говорил о грузовике с хлебом для солдат, о заградительном огне, об эвакуации раненых. (Это человек большой веры; раз в два-три года я его встречаю то в Париже, то в Москве, то в Женеве и всякий раз вспоминаю февральский день, министра иностранных дел в шалаше, с трагическими глазами и спокойным, ровным голосом.)

Где-то возле границы три дня спустя я стоял с Савичем на камне. Проходили нескончаемые толпы беженцев. Кричали ослики. Плакали дети. Прошел отряд бойцов, и солдат почему-то трубил в трубу. Бомбили. Один крестьянин взял горсть земли и завязал ее в большой красный платок.

Потом я написал стихи; в них были различные детали, о которых я упоминаю в этой главе, но был еще тот второй план, то волнение, что можно выразить только в стихах: «В сырую ночь ветра точили скалы. Испания, доспехи волоча, на север шла. И до утра кричала труба помещанного трубача. Бойцы из боя выводили пушки. Крестьяне гнали одуревший скот. А детвора несла свои игрушки, и был у куклы перекошен рот. Рожали в поле, пеленали мукой и дальше шли, чтоб стоя умереть. Костры еще горели — пред разлукой, трубы еще не замирала медь. Что может быть печальней и чудесней — рука еще сжимала горсть земли. В ту ночь от слов освобождались песни, и шли деревни, будто корабли».

На пограничных пунктах французы выставили не только жандармов, но и воинские части — сначала сенегальцев, потом французские батальоны. Испанские солдаты складывали оружие, их обыскивали; обыскивали и многих беженцев. В Пертюсе я видел, как по ошибке женщин отделили от их детей, они кричали, не хотели идти, а их гнали.

У меня была «куп филь» — карточка журналиста, выданная парижской префектурой. В Париже она не производила особого впечатления, но здесь оказалась чудотворной: меня свободно пропускали в Испанию и назад. Нужно было спасти от интернирования в лагерях многих товарищей — журналиста, уборщиц посольства, шофера, начинающего поэта, интербригадцев. В течение нескольких дней я занимался только этим, даже не всегда успевал написать телеграмму в газету; предпочитал позвонить в Париж, где якобы находился Поль Жослен.

Я нашел чудесных людей. Учитель из пограничного городка Пратсдель-Молло почти круглые сутки дежурил на горном перевале: кормил беженцев горячим супом, давал хлеб. Сотни людей приносили ему продукты. Механик из Арль-сюр-Теш, владелец маленького гаража, на старой, разбитой машине все время ездил к перевалу Арес, подбирал измученных, замерзших беженцев, отвозил их в городок. На перевале Арес жандармы были сговорчивыми, и механик помог мне переправить

через границу многих товарищей; мне обидно, что я не запомнил его имени.

Шестого февраля я в последний раз шел по испанской земле. Это было у горной деревни Компродон. Вокруг еще шли бои.

Французское правительство отдавало бесчеловечные приказы. А на местах люди действовали по-разному. Каждый день я видел и солидарность, доброту, участие и откровенную низость. В городке Булю я разыскивал крестьянку с детьми — у меня были для нее письмо от мужа и деньги. Мэр, тучный, с тупым, равнодушным лицом, ответил мне: «Их здесь чересчур много...» А полицейский кричал: «Это не ваше дело! Уезжайте поскорее!..» Я ему напомнил о человеческих чувствах, он ответил, что чувства его не касаются. В городках Сен-Лоран-де-Сердан, Пратс-дель-Молло, Арль-сюр-Теш жители кормили беженцев, прятали их от полиции. Некоторые эшелоны направили в Лион, и мэр этого города Эдуард Эррио сам дежурил на вокзале, помогал накормить испанцев, разместить их в казармах, в школах. А во многих французских газетах каждый день писали, что надо оградить Францию от испанских «анархистов, коммунистов, убийц и насильников».

В Перпиньяне я еще летом подружился с хозяином старой, невзрачной гостиницы; там я останавливался, туда теперь привозил товарищей; все комнаты были заняты, приходилось спать в столовой, в конторе, где придется, но хозяин не объявлял полиции о приезжих, и никого там не забирали. А в городе шла охота. Испанки, никогда в жизни не носившие шляп, покупали маленькие модные шляпки, пудрились, румянились, чтобы не видно было горя и чтобы их приняли за француженок. В Баньюльсе рыбаки избили репортера правой газеты, который издевался над побежденными. Да, разными были французы, я не хочу их скопом обвинять или оправдывать.

Испанцев французские власти разместили в концлагерях Аржелес и Сен-Сиприен. Давали одну буханку хлеба на шесть человек, протухшую воду, издевались. А Риббентропа в Париже чествовали... Впрочем, говоря о тех временах, лучше не думать ни о справедливости, ни о Риббентропе — кто только его не обнимал!..

Мне передали записочку от поэта Эррере Петера, которого посадили в лагерь. Он писал, что за проволочкой сидят многие из моих друзей. Я поехал в Париж. Арагон, Жан-Ришар Блок, Кассу, другие участники нашей Ассоциации вступились за интернированных писателей; через две-три недели удалось их освободить.

Негрин и другие министры улетели в Мадрид. Территория, еще занятая республиканскими войсками, теперь была в кольце. Англия и Франция признали генерала Франко законным правителем Испании. Республику блокировали — в Марселе задерживали суда, которые должны были доставить в Валенсию хлеб или картошку. Шестого марта в Мадриде командующий армией Центрального фронта полковник Касадо, с благословения свадебного генерала Миаха, произвел переворот, поставил на место Негрина кучку людей, решивших капитулировать. Однако развязкой испанской трагедии были не судороги обреченного Мадрида, а те зимние дни, когда армия Эбро в полном порядке, с оружием перешла французскую границу, надеясь, что ее перебросят в Валенсию. (Спасенное бойцами оружие французы передали генералу Франко.)

Гитлер, приободренный успехами, занял Прагу. Марина Цветаева в последний раз встретилась со своим другом — рабочим столом, писала: «О слезы на глазах! Плач гнева и любви! О Чехия в слезах; Испания в крови! О черная гора, затмившая весь свет; пора — пора — пора творцу вернуть билет».

Мне трудно расстаться в этой книге с Испанией. Помню, как на перевале Арес испанский боец-автоматчик прощался с женой и двухлетним сыном, он попросил меня отвести их в надежное место, сказал: «Я не уйду — не верю, что французы нас отправят в Валенсию, они уже снюхались с Франко. А здесь еще можно уложить десяток-другой фашистов...» Я оглянулся; он лежал с автоматом, глядел не на нас — на юг, откуда могли показаться фашисты.

Возле дороги из Порт-Бу в Сербер лежала груда винтовок, ручных пулеметов, шлемов, револьверов, даже ножей. Я увидел вдруг копьё и старинный шлем: видимо, вывозили экспонаты из небольшого каталонского музея, и сенегалец решил, что это оружие. Да, копьё и шлем Дон-Кихота были оружием, с ними Испания тысячу дней, тысячу ночей защищалась от двух фашистских держав — Италии и Германии.

Семь месяцев спустя началась вторая мировая война, и эта глава могла бы стать прологом пятой части моей книги; но я предпочитаю сделать ее эпилогом предшествующей эпохи, когда чуть ли не в каждом городе шла борьба между свободой и рабством, между человечностью и зверством, между самодовольством и самопожертвованием. В последующие годы было много героизма, и в итоге фашизм разбили; но в новой эпохе уже не было места для копьё и старомодного шлема, с которыми Рыцарь Печального Образа пытался отстоять человеческое достоинство.

32

Весной 1939 года Савич уехал в Москву. Мы поехали в Гавр, чтобы его проводить. На том же теплоходе уезжали в Советский Союз многие испанцы. Мы стояли на набережной; дул сильный ветер; снова перед глазами встала потерянная Испания. Я попросил Савича написать мне из Москвы; но долго не знал, что с ним — люди тогда не любили писать за границу.

Каждый день я передавал в газету информацию за подписью Поля Жослена — пеструю и в то же время монотонную хронику событий: фашистский террор в Испании, агония Чехословакии, захват итальянцами Албании, лисьи ходы Боннэ или Лавалья, трусливое бляение Блюма, бездарная провинциальная политика Даладьё.

В середине апреля мои корреспонденции перестали печатать. Я вначале подумал, что, может быть, стал плохо писать, пытался объяснить с редакцией. Наконец мне сообщили через посольство, что до поры до времени «Известия» не смогут печатать ни Эренбурга, ни Поля Жослена; я остаюсь, однако, постоянным корреспондентом и буду получать, как прежде, зарплату.

Я ничего не понял, пошел к Сурицу. Яков Захарович на меня накричал: «От вас ничего не требуют, а вы волнуетесь!..» Он задумался. «Сегодня передали, что Максима Максимовича сняли. Назначен Молотов... Но это — между прочим, к вам это не имеет никакого отношения... Что вы огорчаетесь? Отдыхайте. Пишите роман. Теперь много интересных выставок...» (Суриц обожал живопись.)

Все же мое вынужденное безделье было связано с тем, что в газетах называют международной обстановкой. Поль Жослен по-прежнему обличал фашистов, а приближалась пора сложных дипломатических переговоров. Положение было неясным, и газета решила приберечь меня про запас. «Вы еще понадобится», — говорил мне Суриц. К сожалению, он оказался прав: 22 июня 1941 года мне позвонили из редакции: «Напишите и для нас, вы ведь старый «известинец»...»

Англия и Франция заявляли, что хотят остановить агрессоров, договориться с Советским Союзом, но после Мюнхена трудно было поверить в добрые намерения Даладьё и Чемберлена. С омерзением я вспоминаю

то время. Люди сидели у приемников и даже те, что не знали немецкого языка, слушали выступления Гитлера — старались догадаться по интонациям, что им сулит завтрашний день. Франция напоминала гладкого, упитанного кролика, завороженного взглядом удава.

В мае в Париже была международная антифашистская конференция. Я пошел, увидел много старых знакомых — Ланжевена, Кашена, Жан-Ришара Блока, Мальро, Арагона, Сесара Фалькона; познакомился с Фирлингером. Все были мрачно настроены, и речи казались повторением давно слышанного — подъема больше не было.

Однажды Фернандо Херасси привел ко мне молодого застенчивого писателя, с которым дружил. Звали его Жан-Полем Сартром. Он косил, и поэтому казалось, что он хитрит, но говорил он о своем отчаянии просто душно. Он подарил мне книгу «Стена»; рассказы были тоже об отчаянии. Много лет спустя я снова встретился с Сартром, узнал его и понял, что мои первые впечатления были верными: в нем редкое сочетание рассудочности, острого, даже едкого ума с детской наивностью, доверчивостью и чувствительностью.

Мне трудно связно говорить о том годе: воспоминания, как облака в горах, опускаются, дают, душат. В мае умер Иозеф Рот. Повесился Толлер. Приехал из Праги Якобсон, рассказывал, что Незвал, когда они расставались, плакал, как ребенок. Многие немецкие писатели уехали в Америку. У Пикассо сидели ободренные испанцы; Пабло впервые сказал мне: «Малыш, мне трудно работать — мы тонем в дерьме...» Внешне как будто ничего не изменилось. Начались летние каникулы; газеты сообщали, что в Довилле — «весь Париж», описывали приемы, купальные костюмы. Но все это казалось подделкой под прежнее.

Пока я был в Испании, меня увлекала, да и отвлекала от многих мыслей борьба. Теперь я остался один на один со своими раздумьями. Я часто думал, что в Москве легче: там все тебя понимают. В Париже меня угнетало одиночество.

О судьбе Кольцова я узнал еще в Барселоне — накануне развязки. В Париже ко мне приходила сначала Лиза, потом Мария Остен (Гросхенер). Обе ехали в Москву. Лиза плакала, говорила, что Михаил Ефимович, еще будучи в Испании, хворал: «Может быть, мне удастся передать ему лекарство...»

Дошли известия о судьбе Мейерхольда, Бабеля. Я терял самых близких друзей.

Приходя в посольство, я видел новые лица. Все те, кого я прежде знал — советник Гиршфельд, военный атташе Венцов, военно-воздушный атташе Васильченко, Семенов, да и многие другие, — исчезли. Никто не осмеливался даже вспоминать эти фамилии.

Как-то Суриц сказал мне: «Приходил Раскольников. Его вызвали в Москву, а он испугался, потерял голову. Спрашивал, что делать. Я сказал, что он должен сейчас же вернуться домой. Он произвел на меня тяжелое впечатление...» Два дня спустя Ф. Ф. Раскольников (он был тогда полпредом в Болгарии) пришел ко мне и тоже спрашивал, как ему быть. Я с ним встречался в Москве в двадцатые годы, когда он редактировал «Красную новь», он был веселым и непримиримым. Написал предисловие к одной из моих книг, ругал меня за колебания, половинчатость. Я помнил, какую роль он сыграл в дни Октября. А теперь он сидел у меня на улице Котантен, рослый, крепкий и похожий на обезумевшего ребенка; рассказал, что его вызвали в Москву, он поехал с молодой женой и грудным ребенком; в дороге жена плакала, и вдруг из Праги он поехал не в Москву, а в Париж. Он повторял: «Я не за себя боюсь — за жену. А она говорит: «Без тебя не останусь...» Я знал некоторых невозвращенцев: Беседовского, Дмитриевского, это были

перебежчики, люди морально нечистоплотные. Раскольников на них не походил; чувствовалось, что он душевно болен. Он не послушался советов Сурица, остался во Франции, а полгода спустя заболел острым нервным расстройством и умер.

Шли переговоры о военном соглашении между Советским Союзом, Англией и Францией. Западные державы тянули дело. Лейбористы в парламенте обличали Чемберлена. В наших газетах о переговорах почти не писали. Повсюду продолжались приготовления к войне.

Я не сел за роман, как мне советовал Яков Захарович: для того чтобы писать прозу, нужно не только увидеть нечто реальное, но и осмыслить его. А я тогда не мог разобраться в происходящем. Цель мне была ясна давно; но дороги стали такими запутанными, что порой трудно было понять, куда какая ведет. А в лирических стихах можно передать свои чувства, и я предпочел стихи. В 1940 году в Москве вышла маленькая книжка «Верность», в нее вошло много стихотворений, написанных мною летом 1939 года, среди них и то, по которому названа книга: «Верность — вместе под пули ходили, вместе верных друзей хоронили. Грусть и мужество — не расскажу. Верность хлебу и верность ножу, верность смерти и верность обидам. Бреда сердца не вспомню, не выдам. В сердце целься! Пройдут по тебе. Верность сердцу и верность судьбе».

У меня больше не было той «видимости точной и срочной работы», которая освобождает человека от чересчур трудных раздумий. Где-то на полустанке жизни, между двумя войнами, не зная, что нам предстоит, я задумался над своей судьбой: «По тихим плитам крепостного плаца разводят незнакомых часовых. Сказать о возрасте? Уж сны не снятся, а книжка — с адресами неживых. Стоят, не шелохнутся часовые. Друзья рдеют, и молчит беда. Из слов остались самые простые: забота, воздух, дерево, вода». Меня тянуло к деревьям, к реке, к чему-то постоянному, и, сидя в сквере парижского пригорода, я не мог удержаться от признаний: «Я знаю, век, не изменить тебе, твоей суровой и большой судьбе, но на одну минуту мне позволь увидеть не тебя, а лакфиоль, увидеть не в бреду, а наяву больную, золотушную траву...»

Сказывалась усталость: Москва, Испания — словом, все, о чем я писал. В августе я уехал на две недели в Жюльена, это деревня виноделов в округе Божоле. С утра я уходил, шагал по длинным дорогам, взбирался на холмы. Вокруг были виноградники и то здесь, то там одинокое старое дерево — вяз, клен или ясень. У деревьев я искал ответа на тысячи вопросов, которые меня преследовали. Критики порой называют такое поведение «бегством от жизни». Но ведь и Грамши в тюрьме жадно следил за бледными всходами фасоли; ведь и Залку незадолго до смерти утешало и терзало пение полевой птицы. Право же, человек не машина, и жизнь проходит не по железнодорожному расписанию.

В Жюльена я жил в маленькой гостинице. Хозяин был анархистом, образцово готовил пегуха в вине, жарил бифштексы на сухой лозе, с утра напивался, бросал куски мяса моему псу Бузу, говорил: «Все так печально, что даже смешно...» Он рассказал обо мне своим клиентам, крестьянам-виноделам. Ко мне пришли двое — пожилой и молодой. Оказалось, что в Жюльена шесть виноделов-коммунистов. Меня водили по подвалам, угощали вином и, конечно, расспрашивали о Советском Союзе. Пожилой спросил: «Скажи, а ведь под Москвой вино лучше нашего?..» (Жюльена славилась винами.) Я нерешительно стал объяснять, что под Москвой нет виноградников, а вино у нас делают в Крыму, на Кавказе. Это его потрясло: он верил в Москву и любил свое дело. Подумав, он сказал: «Ну, ничего, еще одна-две пятилетки — и под Москвой будут делать вино получше, чем наше...» Он послал ящик вина Сталину. (В 1946 году я заехал в Жюльена. Молодой винодел меня узнал.

Он был теперь мэром. «А старик жив?» — спросил я. Он повел меня к пепелищу: «Старик всем говорил: «Ничего, через год-два сюда придет Красная Армия». Немцы его расстреляли, а дом сожгли... А я был в маки и, видишь, — выжил...»)

Меня приободряли не только деревья, но и люди — вот такие виноделы. Если прибегнуть к ярлыкам критиков, то можно сказать, что мои стихи не были лишены оптимизма: «...Я знаю все — годов проломы, бреши, крутых дорог бесчисленные петли. Нет, человека нелегко утешить! И все же я скажу про дождь, про ветви. Мы победим. За нас вся свежесть мира, все жилы, все побегии, все подростки, все это небо синее — на вырост, как мальчика веселая матроска...»

В поезде я прочитал в газете, что какой-то француз сорока двух лет открыл на кухне газовый кран и оставил записку: «Газеты будут выходить, а люди жить теперь не могут».

Вскоре после того, как я вернулся в Париж, я услышал по радио, что в Москве подписано соглашение между Советским Союзом и Германией. Конечно, я не знал подробностей переговоров между представителями западных держав и Молотовым, но я понимал, что англичане и французы играли в покер, вели притом нечестную игру. Умом я понимал, что случилось неизбежное. А сердцем не мог принять... Суриц показал мне последний номер «Правды». Я увидел фотографию: Сталин, Молотов, фон Риббентроп и какой-то Гаус; все удовлетворенно улыбаются. (Риббентропа я увидел шесть лет спустя в Нюрнберге; там он не улыбался, предвидел, что его повесят.)

Да, я все понимал, но от этого не было легче. Когда-то старый бородатый Шарль Рапппорт, хорошо знавший Ленина, Плеханова, Жореса, Гада, Либкнехта, говорил: «Капитализм это заслужил, а мы этого не заслужили...»

В тот день я заболел болезнью, непонятной для медиков: в течение восьми месяцев я не мог есть, потерял около двадцати килограммов. Костюм на мне висел, и я напоминал пугало. Женщина-врач, работавшая в посольстве, сердилась: «Вы не вправе распоряжаться собой», — хотела, чтобы я пошел на рентген. Я не шел: знал, что со мною это произошло внезапно: прочитал газеты, сел обедать и вдруг почувствовал, что не могу проглотить кусочек хлеба. (Болезнь прошла так же внезапно, как началась, — от шока: узнав, что немцы вторглись в Бельгию, я начал есть. Врач глубокомысленно сказал: «Спазматические явления...»)

А события разворачивались быстро. Советско-германский договор был опубликован 24 августа. 1 сентября Молотов заявил, что этот договор служит интересам всеобщего мира. Однако два дня спустя Гитлер начал вторую мировую войну.

Мы видели не раз, как кровопролитные бои начинались без каких-либо деклараций. В 1939 году объявление Францией войны не сопровождалось военными действиями. Все ждали бомбежек, наступления или отступления, но на фронте ничего не происходило. Французы удивлялись: «дроль де герр» — «странная война».

Я хорошо помню первые недели этой «странной войны» — я тогда еще мог ходить по улицам. Проститутки поджидали клиентов, вооруженные противогазами. Оконные стекла оклеивали тонкими полосками бумаги, и некоторые домохозяйки шеголяли затейливыми узорами. Мне пришлось пойти в участок на регистрацию иностранцев. Владелец винного погреба бушевал: «Никогда я не отдам моего склада! Люди могут укрываться в метро, там хватит места для всех. А у меня запасы старого бургундского, это вам не дурацкая политика, это капитал!» Одна

дама требовала, чтобы арестовали ее соседа: «Все знают, что он был в Испании, он воевал против генерала Франко. Я вам говорю, что это не француз, а настоящий предатель, коммунист, шпион!..» Чуть ли не каждую ночь устраивали пробные тревоги. Женщины показывались в элегантных капотах, нарумяненные, напудренные, а бедная консьержка поливала пол убежища водой: так почему-то приказал районный инструктор.

Комедия вскоре всем надоела, и жизнь вошла в колею. Люди хорошо зарабатывали и охотно тратили деньги: мысль, что война может перестать быть «странной», делала расточительными даже заведомых скупердяев. Газеты писали, что солдаты на фронте умирают от скуки. Им посылали различные игры, полицейские романы, крепкие напитки, шелковые платочки с надписями «Где-то во Франции». «Странная война» играла в военную тайну: «Где ваш друг?» — «Не знаю. Я так боюсь за него! Он где-то во Франции...»

Морис Шевалье пел песенку «Париж остается Парижем», и это стало присказкой, программой, заклинанием. Газетные комментаторы писали о военных перспективах, как о предстоящих дивидендах огромного треста; подсчитывали резервы нефти, железа, алюминия; старались доказать, что союзники богаче, солиднее Германии и Италии. «Мы победим, потому что мы сильнее» — это можно было увидеть на любой стене рядом с рекламами электроприборов и аперитивов. Радио каждый день сообщало, сколько тонн вражеских товаров потоплено союзниками. О гибели Польши никто не вспоминал, хотя война была объявлена из-за угроз Гитлера полякам.

Немецкий летчик упал на французскую территорию. Его похоронили с воинскими почестями. Газеты в умилении расписывали церемонию. Многие слушали радиопередачи из Штутгарта на французском языке. Штутгартский диктор уверял, что победит Германия, потому что она сильнее. «Странная война», — улыбаясь, повторяли французы. Они не думали ни о потопленных судах, ни о резервах меди, ни о победе: жили, как жилось.

Все же шла война, и, следовательно, требовался противник. Его нашли в лице французских коммунистов. Закрыли «Юманите» и «Се суар». Запретили не только коммунистическую партию, но и сотни обществ, союзов, лиг, подозреваемых в сочувствии коммунизму. Шли массовые аресты. Парламент разрешил прокуратуре предать суду депутатов-коммунистов; их обвиняли в том, что они не желают предать анафеме Советский Союз. Это было предлогом; в действительности буржуазия мстила рабочим за страх, пережитый в 1936 году.

Еще недавно слово «фашизм» повторяли повсюду. Как по мановению жезла, оно исчезло из всех речей, из всех газет. Можно было подумать, что исчез и фашизм. Однако все понимали, что фашисты готовятся к решительному наступлению.

Утром к нам приходила на два часа Клеманс — убирала квартиру. Ее брат был коммунистом; он ей сказал: «Я не знаю, что думают русские. «Юманите» закрыли. Ответственные товарищи арестованы. Но я вижу, что Лаваль, Фланден и вся фашистская сволочь по-прежнему нападают на коммунистов. Значит, коммунисты правы...» Клеманс добавляла: «Мой брат говорит, что, если бы он раздобыл «Юма», он все понял бы...»

Я аккуратно читал московские газеты, но не могу сказать, что все понимал. Я помнил, как Боннэ и Чемберлен мечтали, что Гитлер пойдет на Украину; германо-советский пакт был продиктован необходимостью. «Странная война» и преследования коммунистов показывают, что Даладьё не собирается воевать против Гитлера. Все же слова Молотова

о «близоруких антифашистах» меня резнули. В ту зиму мне пришлось впервые обзавестись очками, но признать себя «близоруким» я не мог: свежи были картины испанской войны; фашизм оставался для меня главным врагом. Меня потрясла телеграмма Сталина Риббентропу, где говорилось о дружбе, скрепленной пролитой кровью. Раз десять я перечитал эту телеграмму, и, хотя верил в государственный гений Сталина, все во мне кипело. Это ли не кощунство! Можно ли сопоставлять кровь красноармейцев с кровью гитлеровцев? Да и как забыть о реках крови, пролитых фашистами в Испании, в Чехословакии, в Польше, в самой Германии?

Я не выдержал и, когда Я. З. Суриц пришел меня проведать, заговорил о злополучной телеграмме. Он вначале отвечал формально, это — дипломатия, не нужно придавать значение поздравительным телеграммам. Но вдруг его прорвало, он вскочил: «Вся беда в том, что мы с вами люди старого поколения. Нас иначе воспитывали... Вот вы взволновались из-за телеграммы. Есть вещи похуже. Когда-нибудь мы сможем обо всем поговорить. А сейчас вам нужно подумать о себе, теперь не время болеть...» (Яков Захарович действительно десять лет спустя, уже незадолго до своей смерти, многое мне рассказал. Я напишу о нем в последней части этой книги.)

В марте 1940 года Суриц внезапно уехал. Перед этим он лежал больной: у него было воспаление легких. На очередном собрании сотрудников посольства приняли приветственную телеграмму Сталину, в которой, как тогда было принято, осуждали франко-английских империалистов, развязавших войну против Германии. Сурицу принесли текст на подпись. Молодой неопытный сотрудник отнес телеграмму не шифровальщику посольства, а в почтовое отделение. На следующий день телеграмма была напечатана в парижских газетах. Для политиков, считавших, что нужно воевать не с фашистской Германией, а с Советским Союзом, все это было нечаянной находкой. Французское правительство объявило Сурица «персона нон грата». Когда я пришел в посольство, мне сказали, что Яков Захарович уже уехал, — «вышла, так сказать, промашка...»

Я ослаб, быстро уставал, не мог работать. В ту зиму мало кто к нам приходил: некоторые из бывших друзей считали, что я предал Францию, другие боялись полиции — за мною следили. Могу сосчитать на пальцах людей, которые меня навещали или звали к себе: Андре Мальро, Жан-Ришар Блок, летчик Понс, сражавшийся в Испании, Гильсумы, Вожел, Рафаэль Альберти, Херасси, доктор Симон и мой приятель Путерман, живший в соседнем доме.

С Путерманом тогда трудно было разговаривать; все его выводило из себя — Даладье, германо-советский пакт, англичане, Финляндия, — у него обострилась гипертония. В один из последних вечеров он вдруг начал читать на память стихи Пушкина: «Оплачьте, милые, мой жребий в тишине; страшитесь возбудить слезами подозренье; в наш век, вы знаете, и слезы преступленье...» Он умер три дня спустя. Полиция произвела обыск, когда он лежал мертвый. Вытряхивали томики Пушкина... На похороны пришел Вожел. Я помнил его оживленным, снобом, представителем «всего Парижа». А он стоял на кладбище постаревший, печальный.

Зима была на редкость холодная. газеты сообщали, что снег выпал даже в Севилье. Шла советско-финская война, и газеты забыли, что есть на свете Германия. Многие политики требовали отправки экспедиционного корпуса в Финляндию. Марсель Деа, который еще недавно защищал Гитлера и пустил в ход хлесткую фразу о том, что не стоит «умирать за Данциг», теперь доказывал, что необходимо умереть за Хельсинки. В церкви Мадлен отслужили молебен за победу Маннергейма.

Дамы вязали фуфайки для финских солдат. Даладье хотел показать, что он может воевать если не на Рейне, то у Выборга. Стояла предвоенная суматоха, когда неожиданно пришло сообщение о мирных переговорах между Финляндией и Москвой. Министры понегодовали и вернулись к прежним заботам.

Решили, что солдат слишком много, а фронт короткий; нужно отпустить молодых крестьян домой: да здравствует земледелие!

Продовольствия было досгачно, но министры хотели показать себя дальновидными и ввели невинные ограничения — были дни без пирожных, дни без говядины, дни без колбасных изделий.

Трудно сказать, на что надеялись французские генералы. Они свято верили в две линии — в линию Мажино и в линию Зигфрида. Даже я, человек глубоко штатский, знал, что в Испании исход сражений решали авиация и крупные танковые соединения; но французские генералы не любили новшеств; генерал де Голль был для них футуристом.

Я ждал выездной визы. В правой газете «Кандид» появилась противная заметка, посвященная мне. «Же,сюю парту» спрашивала: «Почему Эренбург еще в Париже?..» Я сам поставил этот вопрос в префектуре, но там не отвечали, там допрашивали. Я лежал, томился, перечитывал Монтэня, Чехова, Библию.

В апреле Гитлер приступил к оккупации Норвегии и Дании. Новый премьер-министр решил послать немного солдат в Норвегию. В военных сводках появились названия далеких фиордов.

У меня сохранилась записная книжка с короткими записями за 1940 год. Приведу некоторые — они показывают и то, что происходило во Франции, и мое тогдашнее восприятие событий. «9 апреля. Война в Скандинавии. Осло. Арестованы семнадцать коммунистов». «11 апреля. Улица Рояль. Витрины магазинов, клипсы-танки и клипсы-самолеты». «16 апреля. Нарвик. Арестованы пятьдесят четыре коммуниста». «17 апреля. Арестован некто Пейроль, глухонемой, за антинациональную агитацию». «23 апреля. Фернандо рассказал, что Реглера в концлагере избивали». «28 апреля. Отпускник на улице Арморик, пьяный, кричал: «Это не война, а надувательство!» «29 апреля. Эльза Юрьевна рассказала, как арестовали Муссинака». «30 апреля. «Эвр» сообщает, что арестовали рабочего за то, что он читал биографию Ленина». «1 мая. «Канар аншене» пишет: «Это первое спокойное Первое мая после 1918 года».

«Странная война»... Умиряли люди — в Польше, в Финляндии, в Норвегии. Тонули суда, люди гибли среди рассерженного моря. Выли по ночам сирены. Но все это не походило ни на войну, ни на мир. Трагический фарс продолжался.

Франция репетировала капитуляцию. Миллионы людей в разных странах репетировали бомбежки, перебежки, пулеметный огонь, агонию. Но репетиции были тусклыми, вялыми; никто не знал своей роли, ораторы сбивались на чужой язык, стратеги сидели, как географы, над картами обоих полушарий, не решаясь произвести даже небольшую разведку. А может быть, так мне казалось, потому что я был обречен на полное бездействие болезнью, да и обстоятельствами? Не знаю. Когда человек счастлив, он может ничего не делать. А в беде необходима активность, какой бы иллюзорной она ни была.

Мы поздно засиделись у Жан-Ришара Блока. Он рассказал об аресте Муссинака, которого держат в тюрьме Сантэ. Режим как для уголовников, а Муссинак болен... Блок рассказал также, как везли арестованных

коммунистов; на одном вокзале эшелон задержался. Из закрытых наглухо вагонов вдруг раздалась «Марсельеза». Солдаты, отправлявшиеся на фронт, изумились: им сказали, что везут предателей, шпионов. Жена Блока, Маргарита, печально улыбнулась.

Потом мы шли по затемненному городу. Я оступился и выругался: черт бы их всех побрал — воевать не воюют, а ногу сломать очень легко!..

Когда мы вернулись домой, началась тревога; она длилась долго. Мы не сошли в убежище: надоело. Да и войны нет... А спать не дал кот — неизвестно откуда он пришел, отчаянно мяукал, требовал, чтобы его пустили в дом. Рано утром мы услышали ошеломляющие новости: немцы вошли в Голландию и Бельгию. Это было 10 мая. Пришел толстяк Понс, сказал: «Теперь начинается...» В «Пари суар» я увидел фотографии, напомнившие Испанию, — убитые дети.

В моей маленькой записной книжке значится: «11 мая, суббота. Марке». Помню, еще перед началом драматических событий Люс Гильсум нам сказала, что 11 мая нас ждет Марке; узнав, что я собираюсь подарить ему старую икону, он хочет отдарить своим холстом.

Рассказ о войне, о потопленных транспортах, о десантах парашютистов, о разгроме Франции я перебиваю главой, посвященной художнику Альберу Марке. Трудно передать, что происходило со всеми в тот день. Париж напоминал растревоженный улей; вчера еще беспечные люди вдруг поняли, что игра кончена, начинается расплата. Встреча с любым другим художником или писателем была бы естественной. Но при чем тут Марке с его легкими, прозрачными пейзажами? Он и на холсте ни разу в жизни не пытался повысить голос, писал предпочтительно воду и был, по старому русскому определению, тише воды. Он писал Сену — в Париже и в Нормандии, с баржами или без, писал море, заблудившееся среди скал Стокгольма, каналы Венеции и каналы Голландии, большой Нил и малую Марну и снова Сену — на рассвете, в полдень, вечером, с деревьями зелеными или голыми, в дождь, под снегом. На его холстах почти всегда — вода, очень много воды.

В XVI веке французский поэт Иоахим дю Белле увидел развалины древнего Рима. В последующие столетия их разокрали, разобрали, а тогда, по описаниям путешественников, они подавляли величием. Дю Белле писал про Рим: «...Он побеждал чужие города, себя не победил — судьба солдата. И лишь несется, как неслась когда-то, большого Тибра желтая вода. Что вечным мнилось, рухнуло, распалось. Струя поспешная одна осталась».

Окна мастерской Марке выходили на Сену: мост, набережная с закрытыми ящиками букинистов. С женой Марке, Марсель, мы, разумеется, начали говорить о событиях: куда пойдут немцы, будут ли бельгийцы сопротивляться, осуждали, строили догадки. Марке стоял у окна и глядел на Сену. Потом он повернулся к нам. Глаза у него были умные, чуть насмешливые и вместе с тем добрые. Он сказал: «Ничего не кончено...» О чем он думал? Об исходе сражения? О судьбе людей? В тот день я понял силу искусства. Все говорили о Рейно, о короле Леопольде, о Вейгане, о Кейтеле — я сейчас с трудом припомнил эти имена. Двадцать два года прошло, все, кажется, изменилось. А вода осталась — Сена, та, что пересекает Париж, и другая — на полотнах Марке.

Я говорил, что самым скромным поэтом, которого я встретил в жизни, был Антонио Мачадо. Я не видел художника скромнее, чем Альбер Марке. Слава ему претила. Когда его хотели сделать академиком, он чуть было не заболел, протестовал, умолял забыть о нем. Да и не пробовал он никого ниспровергать, не писал манифестов или деклараций. В молодости на несколько лет он примкнул к группе «диких», но не потому, что соблазнился их художественными канонами, — не хотел оби-

деть Матисса, своего друга. Он не любил спорить, прятался от журналистов. При первом знакомстве сказал с виноватой улыбкой: «Вы меня простите... Я умею разговаривать только кистями...»

Он не заботился о судьбе своих картин, был равнодушен к различным житейским благам. В молодости он знал нужду, редко ел досыта. Матисс мне рассказывал, как они вместе работали на выставке 1900 года; смеясь, пояснял: «В общем как маляры...» И Матисс мне еще говорил: «Большого бесребреника, чем Марке, я не знаю. У него рисунок твердый, порой острый, как у старых японцев... А сердце у него девушки из старинного романа, не только никого не обидит, а расстроится, что ушел и не дал себя как следует обидеть...»

В 1934 году Марке поехал с группой туристов в Советский Союз. (Он много путешествовал.) Когда он вернулся в Париж, его спрашивали, правда ли, что в Советском Союзе ад. Он отвечал, что мало разбирается в политике, никогда в жизни не голосовал: «А в России мне понравилось. Подумайте — большое государство, где деньги не решают судьбы человека! Разве это не замечательно?.. Потом там, кажется, нет Академии художеств, во всяком случае никто мне о ней не говорил...» (Академия художеств была восстановлена незадолго до того, как Марке приехал в Ленинград; но он увидел Неву, рабочих, школьников — академиков не успел заметить.)

Среди рабочих-коммунистов Парижа были участники кружков самодеятельности, любившие живопись Марке и преданные Советскому Союзу. Они собрали деньги и, когда Марке вернулся из России, пришли к нему: «Мы заплатим за дорогу, оплатим ваше содержание, поезжайте на несколько месяцев в Ленинград и напишите Неву...»

В 1946 году я снова увидел Марке. Он позвал нас 14 июля вечером — полюбоваться фейерверком над Сеной. Он постарел за годы войны, но был весел, угощал хорошим бордоским вином (уроженец Бордо, он знал толк в винах). Звезды ракет падали в черную реку. Марке сказал: «Вот вы говорите — воду... Нет, я люблю и другое... Например, деревья, звезды...» Он любил людей, но, будучи на редкость стыдливым, никогда об этом не говорил. Он вспомнил нашу встречу в начале разгрома Франции: «За годы войны я многое понял. Правы коммунисты... Ужасно, что многие ничего не поняли, хотят все повернуть назад...» Он помолчал и вдруг повторил те слова, которые я запомнил из нашей встречи в 1940 году: «Ничего еще не кончено...»

Он был маленького роста, сухой, очень простой в обращении, ни внешность, ни словарь не выдавали его сущности. Он говорил картинами. Его живописный язык сдержан, прост и убедителен. Отойдя от пестроты, разбросанности, свойственных многим импрессионистам, он никогда не искал в жизни геометрии: он обобщал по-человечески — без циркуля, без обязательной логики — так, как обобщает поэзия или любовь. Его холсты поражают скупостью изобразительных средств, трудны в своей простоте, искусны в сердечной безыскусности. Серое, синее, зеленое — и мир оживает. Он любил юг — Алжир, Марокко, Египет; но лучшие его пейзажи — северные; видимо, юг его самого поражал цветом, а в серой, стыдливой, сдержанной природе севера он находил цвета, которые поражают нас.

В 1940 году он попросил меня выбрать самому пейзаж, который мне особенно нравится. Я выбрал Сену, набережную, мост в серый денек. На стене клоч плаката «Левого блока» — 1924 год. В 1946 году Марке подарил мне другой пейзаж — Сена, пустая, почти голый холст.

Как я мог подумать, что больше его не увижу? Его жена написала про его последние дни. Марке оперировали в январе 1947 года. Операция

не помогла; он слабел с каждым днем, знал, что умирает, и все же продолжал работать. Он написал еще восемь холстов — Сена... Он умер в июне.

Я пишу про годы, когда мало кто вспоминал об искусстве; люди умирали, не успев оглянуться. Но ведь умирали они за то, чтобы другие увидели реку, деревья, звезды, чтобы на ослепшую и оглохшую землю вернулось искусство. «Ничего еще не кончено...»

Марке любил поэзию, любил Бодлера, Лафорга, думаю, и Аполлинера. Глядя на его холсты, я порой про себя повторяю: «Проходят дни, за годом год. Под мостом Мирабо Сена течет. Бьют часы. Уходят года. И то, что ушло, не придет никогда. Уходит любовь. Проходят года. А я остаюсь. Но течет вода...» Давно умер Аполлинер. Умер и Марке. «Течет вода...» Но вдруг мне чудится в подслушанной на улице фразе старые стихи о мосте Мирабо, в зрачке прохожего мерещится серая Сена под окном мастерской Альбера Марке. Кто знает, может быть, что-нибудь остается от каждого из нас? Может быть, это и есть искусство?

35

Двенадцатого мая — на следующий день после того, как я был у Марке, — рано утром за мною пришли полицейские и отвезли в префектуру. Сначала меня заперли в каталажке, где уже находилось человек тридцать: парижские рабочие, заподозренные в сочувствии к коммунистам, немецкие эмигранты, поляк, студент из Барселоны. Немецкий еврей мне сказал: «Знаете, за что меня арестовали? Мой брат сражался в Испании. Я не мог воевать — штурмовики мне переломали руку. Теперь они нашли у меня письмо от брата, он был в батальоне Тельмана. Шпик кричал: «Вы — коммунист, шпион!..» Да разве они с Гитлером воюют?..» Пожилая француженка громко всхлипывала: «Откуда я знаю, с кем встречался Альфред? Это не мое дело. Я даже мужа не спрашиваю, с кем он встречается... Я, кажется, не консьержка...»

Потом меня повели на верхний этаж, в комнату, где занимались высылкой иностранцев. Народу было много, и чиновники торопились: «Эренбург Илья? В трехдневный срок». Я попытался объяснить чиновнику, что давно жду выездной визы, но он меня оборвал: «Это не наше дело. Пройдите на второй этаж...»

Со мной приключилась неприятная история, которую я никак не мог распутать: весной 1939 года на мое имя перевели из Москвы гонорар испанским писателям — они собирались уезжать, кто в Мексику, кто в Чили. Писателей было девять или десять, и это составило крупную сумму. Когда я заявлял о моих доходах за истекший год, я, конечно, не проставил денег, переданных испанцам. В начале 1940 года полиция произвела налет на «Банк Северной Европы»; проверили переводы, конторские книги. Выяснилось, что я скрыл от налоговой инспекции гонорары испанским писателям и деньги на грузовик для Испании, приобретенный еще в 1936 году. С меня потребовали сумму, которой я никогда не держал в руках, заявили, что до ее выплаты меня не выпустят из Франции. На втором этаже префектуры, где выдавали выездные визы, я попытался объяснить, что меня высылают из Франции. Чиновник сердито ответил: «Это меня не касается. Пройдите на третий этаж... А пока вы не принесете справки о выплате налогов и штрафа, мы вам не поставим выездной визы». Я пошел снова к чиновнику, занимавшемуся высылками, простоял часа три в хвосте: «Меня не выпускают». — «Я вам сказал, что это не мое дело. А до 14 мая вы должны покинуть Францию».

Я уже говорил, что после болезни ослаб; мне казалось, что у меня ноги из ваты. Я едва добрался домой. Палили зенитки.

На следующий день немцы прорвали французскую оборону близ Седана и проникли во Францию. В Париже появились бельгийские беженцы с корзинами, узлами, перепуганные, заплаканные.

События разворачивались быстро. Капитулировала Голландия. Немцы заняли Брюссель. Исчезли автобусы — говорили, что их реквизируют: перебрасывают войска с линии Мажино на север. В Венсенском лесу рыли окопы. Богатые кварталы опустели, как в 1914 году. Полицейским, которые регулировали уличное движение, выдали винтовки. Я увидел бельгийские автомобили, продырявленные пулями.

Вдруг все облегченно вздохнули: распространился слух, что немцы повернули к побережью и собираются идти на Лондон. Рейно отправился в Нотр-Дам: отслужил молебен о победе союзников. Все ценности на бирже неожиданно поднялись, и маклеры восторженно вопили. Жизнь продолжалась; рестораны и кафе были переполнены. Газеты писали о новой моде: дамские шляпы, похожие на военные пилотки. Радио сообщало о боях в районе Нарвика — за Полярным кругом.

Двадцать первого мая меня снова вызвали в префектуру и спросили, почему я не покинул Францию. Снова я ходил безрезультатно с одного этажа на другой. Началась тревога. Полицейские загнали нас в убежище под Консьержери. Туда же примчались чиновники префектуры. Рядом со мною оказался тот, что меня высылал. Он все время монотонно повторял: «Дерьмо... дерьмо... дерьмо...» Не знаю, к кому это относилось: к противоздушной обороне, к немцам или ко мне.

Премьер-министр произнес в парламенте речь, сказал, что была измена, виновники понесут наказание, Франция вместе с Англией оставит врага.

Вдруг мы узнали, что правительство решило послать в Москву Пьера Кота, чтобы «улучшить отношения с Советским Союзом». Наш поверенный в делах Н. Н. Иванов этому радовался. Он шепотом говорил мне, что Гитлер обязательно нападет на Советский Союз, хорошо бы на всякий случай договориться с союзниками. А я не верил, что Рейно может, да и хочет обуздать профашистов. В самом правительстве шла борьба. Вице-премьер Петэн считал Рейно английским ставленником. Министр иностранных дел Бодуэн стоял за сближение с Муссолини. Министр внутренних дел Мандель, в прошлом друг и помощник Клемансо, хотел воевать с немцами всерьез, но у него были связаны руки; когда он попробовал арестовать пять журналистов, открыто выступавших за мир с Гитлером, поднялась газетная буря и задержанных освободили. Зато ежедневно продолжали арестовывать коммунистов.

Я лежал в полутемной комнате на улице Котантен. В ящиках, похожих на огромные гробы, были упакованы книги. В углах высились горы старых испанских газет, листовок Народного фронта, гитлеровских брошюр — материал для давних газетных корреспонденций.

Двадцать четвертого мая мне позвонил министр общественных работ де Монзи, с которым я прежде встречался. Де Монзи был одним из первых французов, посетивших Советский Союз. Он написал о своей поездке книгу и не раз отстаивал идею развития культурных и экономических связей с Советским Союзом. Однажды он председательствовал на вечере, где я должен был рассказать о советской литературе. Увидев меня, он пришел в ярость: «Кто вас просил постриться?» Оказалось, он собирался во вступительном слове процитировать слова Ленина об Илье Лохматом, я ему сорвал эффектный рассказ. Политически де Монзи был фигурой неясной, блокировался то с левыми, то с правыми, скорее капризничал, чем рассчитывал и подсчитывал. Он мне сказал по телефону: «Илья, нехорошо забывать старых друзей. Мне говорят, что вы собираетесь в Россию. Как же вы не зашли со мною проститься?» Наши отно-

шения не были настолько близкими, чтобы объяснить эти слова чувствами, и я понял — дело идет о политике. Де Монзи добавил, что хочет меня срочно видеть, — не могу ли я сейчас же зайти к нему в министерство на бульваре Сен-Жермен?

Де Монзи курил, как всегда, трубку, как всегда, попытался побалагурить, но быстро перешел к делу: «Петэн, Бодуэн, да и некоторые другие хотят капитулировать. Рейно против, я уж не говорю о Манделе. Картина невеселая — наши военные готовились к длительной позиционной войне. А линия Мажино была талисманом, и только. У нас мало танков, а главное — мало самолетов. Положение критическое...» Я спросил, почему правительство продолжает войну против коммунистов, почему восстанавливают против себя рабочих — на военных заводах шпикивов чуть ли не больше, чем рабочих. Де Монзи не стал отмалчиваться, сказал, что тридцать тысяч коммунистов арестованы и что министр юстиции социалист Серроль отказывается перевести их на режим политических заключенных. Он добавил: «Я знаю Семара. Это коммунист, но он француз, патриот. Его арестовали. Я говорил о нем с Серролем, и безуспешно. Я вам прямо скажу: я куда больше доверяю Семару, чем Серролю...»

Мы помолчали. Де Монзи отложил трубку, встал и, не глядя на меня, сказал: «Если русские нам продадут самолеты, мы сможем выстоять. Неужели Советский Союз выиграет от разгрома Франции? Гитлер пойдет на вас... Мы просим об одном: продайте нам самолеты. Мы решили послать в Москву Пьера Кота. Вы его знаете — это ваш друг. Не думайте, что все прошло легко, многие возражали... Но сейчас я говорю с вами не только от себя. Сообщите в Москву... Если нам не продадут самолеты, через месяц или два немцы займут всю Францию.»

(Я невольно вспомнил лето 1936 года, когда представители испанского правительства повторяли в Париже: «Если Франция нам не продаст самолетов, мы погибнем».)

Прямо от де Монзи я пошел в посольство к Н. Н. Иванову, рассказал ему о беседе. Он посадил меня за стол: «Ваш долг сообщить. Пусть Москва решает. Но вы должны сейчас же написать...»

Прежде чем перейти к дальнейшим событиям, я должен рассказать о Николае Николаевиче Иванове. Он работал экономистом, когда неожиданно его послали в Париж, назначили секретарем, потом советником посольства. Это хороший, честный человек; его неизменно выручала вера в людей. Попал он в Париж молодым, неопытным, а после отъезда Я. З. Сурица стал поверенным, то есть фактически послом. Он быстро начал говорить по-французски; много читал; просил меня рассказывать ему о писателях Франции, о театре; спрашивал, какие вина нужно заказывать с мясом, с рыбой, — словом, осваивал множество вещей, больших и малых.

Потом он последовал за французским правительством в Тур, Бордо, Клермон-Ферран. Я его встретил в начале июля в местечке Бурбуль возле Виши. В декабре 1940 года он вернулся в Москву, пришел ко мне, рассказывал о начале Соппротивления, о судьбе французских писателей. Вскоре после этого я узнал, что его арестовали. Когда в 1954 году Н. Н. Иванова реабилитировали, ему показали приговор Особого совещания: в сентябре 1941 года Н. Н. Иванов был приговорен к пяти годам «за антигерманские настроения». Трудно себе это представить: гитлеровцы рвались к Москве, газеты писали о «псах-рыцарях», а какой-то чиновник ГБ спокойно оформлял дело, затеянное еще во времена германо-советского пакта; поставил номер и положил в папку, чтобы все сохранилось для погоста...

Николаю Николаевичу неизменно помогала его вера в торжество

справедливости. Находясь в лагере, он узнал, что сотрудники ГБ расхитили его книги, картины, и, так как приговор не предусматривал конфискации имущества, подал жалобу прокурору; к изумлению лагерного начальства, он выиграл дело. При освобождении ему уплатили деньги за пропавшие вещи. Хотя он не имел права проживать в крупных городах, он первым делом направился в Москву, пошел на Лубянку и начал спрашивать, почему его ни за что продержали пять лет в заключении. Он напал на сердобольного человека, который сказал: «Уезжайте. Я должен вас задержать, но я буду считать, что вы у меня не были...» Иванов сохранил оптимизм и веру до настоящей поры; женился, работает, говорил мне, что он счастлив.

Возвращаюсь к майским дням в Париже. Через три дня после моей встречи с де Монзи рано утром позвонили. Пришли несколько полицейских; один показал мне ордер на арест, который исходил из кабинета вице-преьера маршала Петэна.

Обыск продолжался несколько часов. Раскрыли ящики с книгами, рылись в брошенном хламе, даже вспороли подушку. Среди полицейских был один русский, другие его звали Николая. Он, видимо, собирал книги, потому что, увидев «Тысячу и одну ночь» в издании «Академии», обрадовался: «У меня как раз нет этого тома...» Старшего полицейского больше всего заинтересовали валявшиеся на полу испанские газеты и книжки с гитлеровскими песнями; он сказал удовлетворенно: «Улики налицо...»

Николя и один из французов остались в квартире, чтобы сторожить Любу. А меня повели по улице Котантен к машине. Соседи глядели изумленно; кто-то спросил, неужели я шпион. Полицейский ответил: «Заговор немцев и коммунистов». Он шел позади меня с револьвером, приговаривал: «Чуть что, выстрелю — попытка бегства...» В префектуре, куда доставили отобранные у меня пуды улик, вскоре начался допрос.

— Вы сообщали по телефону, что все готово. Вы собирались выступить в пятницу, 31 мая...

— Я говорил нашему поверенному в делах, что у меня все готово к отъезду и что я жду его звонка. Он мне сказал, что надеется получить выездную визу в пятницу, 31 мая.

— Вы пробуете упираться. Нам известно, что вы стояли во главе группы коммунистов, которая решила впустить немцев в Париж. Найденные у вас документы подтверждают, что вы были в тесной связи с агентами Германии.

Мне стало смешно, я сказал: «Это настолько нелепо, что годится только для «Канар аншене» (так назывался левый юмористический журнал). Полицейский вынул револьвер: «Мы не собираемся больше церемониться с агентами Москвы и Берлина. Вы напрасно смеетесь — через четверть часа вы будете икать».

Разговор о том, что именно я буду делать через четверть часа, происходил уже вечером. Раздался телефонный звонок. Полицейский нехотя взял трубку, процедил «алло» и вдруг вскочил: «Я вас слушаю, господин министр...» Одновременно он ловким ударом выбросил меня из комнаты и закрыл дверь.

Вот что я узнал потом от Любы и Н. Н. Иванова. Двое полицейских, как я сказал, остались в моей квартире. Они не позволяли Любе подойти к телефону. Пришла Клеманс; ее тоже задержали. Она кричала: «Нужно арестовать бельгийского короля, а не мосье Эренбурга. Вы, может быть, не слышали радио? Бельгийский король снюхался с фашистами и капитулировал. А мосье Эренбург был в Испании, он ненавидит фашистов...» Потом она перешла к предметам более изменным: «Я должна выйти с собаками. Кто будет вытирать пол, если они напач-

кают,— вы или я?» Несколько часов спустя позвонили — вошел шофер нашего посольства. Оказалось, Николай Николаевич приехал за мной — хотел меня повезти в Булонский лес.

Николай Николаевич понял, что дело серьезное. По правилам; он должен был обратиться в министерство иностранных дел, но он знал, что там не встретит никакого сочувствия. Поразмыслив, он решил пренебречь дипломатическими правилами и поехал к министру внутренних дел Манделю, который, как я говорил, ненавидел немцев и стоял за сближение с Советским Союзом.

Мандель позвонил полицейскому следователю в ту самую минуту, когда допрос перешел с общих тем на игру с револьвером.

«Можете идти, вы свободны»,— злобно сказал мне полицейский. Я ответил, что пешком не пойду — на улице темно, транспорта нет, до улицы Котантен далеко, притом мне должны вернуть отобранные у меня книги, бумаги. Полицейский вышел из себя: «Вы еще хотите, чтобы мы вас катали?» Но он быстро совладал с собой: как-никак Мандель был его прямым начальником.

Через час обитатели улицы Котантен увидели, как «заговорщик» прикатил домой и как полицейские выгружали его книги. Они не удивились только потому, что в те дни никто ничему больше не удивлялся.

На следующее утро я пошел с собаками в булочную, когда позвонили, и Люба, открыв дверь, снова увидела полицейского в штатском, показавшего ей опознавательный значок. Люба вышла из себя: «Каждый день? Вы посмотрите, что вы вчера понаделали...» Квартира напоминала книжную лавку после погрома. Полицейский пытался что-то сказать, но Люба ему не давала. Наконец, воспользовавшись секундой передышки, он выпалил: «Но я пришел по поручению господина префекта принести извинения...» Манделя боялись. (Немцы знали, что его они не запугают и не подкупят, они его убили.)

Впоследствии я узнал, что мой арест был связан с просьбой, переданной мне де Монзи. Петэн боялся улучшений отношений с Советским Союзом. Мандель мог добиться моего освобождения, поскольку полиция подчинялась ему. Но изменить внешнюю политику Франции он не мог; и в тот самый день, когда шпик принес мне извинения господина префекта, правительство сообщило, что поездка Пьера Кота в Москву «откладывается».

Николай Николаевич Иванов спас мне жизнь: второй мой арест был произведен незадолго до развязки. О соблюдении законности тогда не приходилось мечтать, и не раз приключалось то, что в полицейских протоколах обозначается как «убийство при попытке к бегству».

Двадцать шестого мая я был у Эмиля Бюре. Он рассказал, что Париж могли легко взять еще 16 мая. Теперь немцы идут на Амьен: хотят окружить французскую армию. «У нас нет самолетов»,— повторял Бюре. Я встретил различных людей: Вожеля, Жан-Ришара Блока, Эльзу Юрьевну Триоле, бельгийского художника Мазереля; все были подавлены.

Американский посол Буллит молился в Нотр-Даме, опустился на колени, поднес статуе Жанны д'Арк розу от имени президента. Бюре говорил: «Нам нужны не молитвы, а самолеты». Католическая газета «Об» писала о «моторизованной Жанне д'Арк, которая спасет Францию».

Третьего июня немцы сильно бомбили Париж. Было много жертв, и я увидел картины, знакомые мне по Мадриду, Барселоне. Но не было даже гнева, только отчаяние. В толпе кто-то говорил: «Эту войну мы проиграли до первого выстрела...»

Начался исход парижан. Длинные вереницы машин, покрытых тюфя-

ками, тянулись к заставам Итали, Орлеан. По ночам палили зенитки. Сводки были туманными. Радио продолжало рассказывать о потопленных немецких транспортах. Все говорили, что немцы близко. Уехали Гильсумы, Фотинский, знакомые испанцы. Я не мог никуда уехать: в префектуре у меня отобрали все документы. Город пустел. Мы с Любой оставались одни в доме, из которого все уехали. На душе у меня было смутно. Уехал наконец Иванов, сказал, что в посольстве остаются некоторые сотрудники, он их попросил о нас позаботиться.

(Именно тогда в Москве пустили слух, будто я — «невозвращенец». Ирине пришлось пережить много тяжелого; Париж был отрезан, и повсюду ее спрашивали: «Правда ли, что ваш отец невозвращенец?»)

Девятого июня на многих магазинах, ресторанах, кафе появились надписи: «Временно закрыто». Президент республики принял Лаваля. Кто-то прибежал, рассказывал: «Купили машину, а горючего нет. Вот если бы достать лошадей!..» Немцы сообщали по радио, что взяли Руан и что судьба Парижа решится в ближайшие дни. Я попытался послушать Москву; диктор долго говорил, что «Франкфуртер цайтунг» весьма высоко оценивает сельскохозяйственную выставку в Москве. Пришла Клеманс, прощалась, плакала: «Какой позор!..» Возле вокзалов стояли громадные толпы. Уезжали на велосипедах. Газеты сообщали, что начинается процесс тридцати трех коммунистов.

Десятого июня фашистская Италия объявила войну Франции. Я ходил по саду нашего посольства и вдруг услышал радостные крики, песни: рядом помещалось итальянское посольство. Фашистские дипломаты решили не уезжать к себе — немцы близко; можно просидеть несколько дней в бесте. Они, не смущаясь, пели «джовинеццу».

Одиннадцатого июня распространился слух, будто Советский Союз объявил войну Германии. Все приободрились. Возле ворот нашего посольства собрались рабочие, кричали: «Да здравствует Советский Союз!» Несколько часов спустя последовало опровержение. Парижане уходили пешком. Старик с трудом толкал ручную тележку с подушками, девочкой и старой собачонкой, которая отчаянно выла. По бульвару Распай двигался нескончаемый поток беженцев. Напротив «Ротонды» находится памятник Бальзаку работы Родена; неистовый Бальзак как бы сходит с цоколя. Я долго стоял на этом перекрестке, здесь ведь прошла моя молодость, и вдруг мне показалось, что Бальзак тоже уходит со всеми.

Лавочник на углу улицы Котантен бросил лавочку, даже не закрыл двери, валялись бананы, жестянки с консервами. Люди уже не уезжали, не уходили, а убегали. 11 июня я долго искал какую-нибудь газету. Наконец вышел «Пари суар». На первой странице была фотография: старушка купает собаку в Сене, и большим шрифтом подпись: «Париж остается Парижем». Но Париж напоминал брошенный впопыхах дом. Еще толпились десятки тысяч людей вокруг Лионского вокзала, хотя и говорили, что поезда больше не уходят — немцы перерезали дорогу. А по радио передавали молебны и противоречивые призывы: то говорилось, что эвакуация населения обеспечена, то уговаривали парижан оставаться у себя и сохранять спокойствие.

Тринадцатого июня я шел по улице Ассас. Не было ни одного человека — не Париж — Помпея... Пошел черный дождь (жгли нефть). На углу улицы Ренн молодая женщина обнимала хромого солдата. По ее лицу катились черные слезы. Я понимал, что прощаюсь со многим...

Потом я написал об этом стихи: «Умереть и то казалось легче. Был здесь каждый камень мил и дорог. Вывозили пушки. Жгли запасы нефти. Падал черный дождь на черный город. Женщина сказала пехотинцу (слезы черные из глаз катились): «Погоди, любимый, мы простимся», —

и глаза его остановились. Я увидел этот взгляд унылый. Было в городе черно и пусто. Вместе с пехотинцем уходило темное, как человек, искусство».

Ночью раздался звонок. Я удивился: ведь власти уехали, а немцы еще не пришли. Оказалось, из посольства прислали машину: предлагают нам перебраться на улицу Греннель, там надежнее.

Нас поместили в маленькой комнате, где прежде ночевали дипкурьеры. Утром очень низко пролетели самолеты со свастикой. Мы вышли из посольства. Французский солдат кинулся ко мне, спросил, как пройти к Орлеанской заставе. На улицах никого не было. Воняли мусорные ящики. Выли брошенные собаки. Мы дошли до Авеню де Ман, и вдруг я увидел колонну немецких солдат. Они шли и на ходу что-то ели.

Я отвернулся, постоял молча у стенки. Нужно было пережить и это.

36

Время стирает много имен, забываются люди, выцветают годы, казавшиеся яркими, но некоторые картины остаются в памяти, как бы ни хотелось их забыть. Я вижу Париж в июне 1940 года; это был мертвый город, и его красота доводила меня до отчаяния; ни машины, ни суета магазинов, ни прохожие больше не заслоняли зданий — тело, с которого сбросили одежду, или, если угодно, скелет с суставами улиц. Стрившийся в разные века, объединенный не замыслом зодчего, не вкусами одной эпохи, а преемственностью, характером народа, Париж напоминал каменный лес, из которого ушли мохнатые и пернатые жители.

Редкие встречные были уродами, горбунами, безногими или безрукими инвалидами. В рабочих кварталах древние старухи на скамьях вязали; их острые пальцы переходили в длинные спицы.

Немцы дивились: не таким им представлялся «новый Вавилон». Они старательно ели в немногих открытых ресторанах и фотографировали друг друга на фоне собора Нотр-Дам или Эйфелевой башни.

Вскоре начали возвращаться беженцы: добравшись с великим трудом до Луары, они увидели на другом берегу немецкие войска. Париж ожил, но жизнь его была призрачной, неправдоподобной. Немцы покупали в мелких лавчонках сувениры, непристойные открытки, карманные словарики. В ресторанах появились надписи: «Здесь говорят по-немецки». Проститутки щебетали: «Майн зюссер...» Из щелей вылезли мелкие предатели. Начали выходить газеты. «Матэн» сообщала, что в Париже остался знаменитый префект Кьяпп с его друзьями и что немцы «оценили прелести французской кухни». Густав Эрве, в далеком прошлом анархист, а потом шовинист, возобновил издание «Виктуар» («Победа»). Продавцы газет выкрикивали: «Виктуар!» — и редкие прохожие вздрагивали. «Пари суар» подрядила писателя Пьера Ампа. Та же газета предлагала давать объявления на немецком языке «для оживления торговли». Объявлений было мало: «Ариец, ишу работы, согласен на все»; «Кончил два факультета, ишу место официанта или приказчика, в совершенстве говорю по-немецки»; «Составляю генеалогическое дерево, разыскиваю соответствующие документы». Я зашел в булочную на бульваре Сен-Жермен. Почтенная дама громко рассуждала: «Немцы научат наших рабочих работать, а не устраивать дурацкие забастовки». У магазинов появились хвосты. Новая газета «Ля Франс о травай» учила читателей: «В каждом из нас есть крупница еврейского духа, поэтому необходимо учинить внутренний душевный погром...» Часы переставили на час вперед; солнце еще не заходило, когда громкоговорители предупреждали: «Возвращайтесь домой!» Некоторые рестораны и кафе украсились объявлениями: «Арийская фирма. Вход евреям запрещен». В квартале,

где жили евреи, выходцы из Восточной Европы, — на улице Розьер металась в ужасе бородастые старики; немцы, забавляясь, их попугивали. Комендатура оберегала немецких солдат от возможного общения с «подозрительными элементами». При входе в кафе «Дом» на бульваре Монпарнас, куда приходили художники, красовалось предупреждение: «Посещение этого кафе немецким военнослужащим воспрещается». Зато на дверях публичного дома я увидел другое объявление: «Открыто для отечественной и иностранной клиентуры». В большом мюзик-холле шло обозрение «Иммер Парис» — это было переводом на немецкий язык старой притали «Париж остается Парижем».

Но Париж больше не был Парижем: происшедшее оказалось не одним из тех военных эпизодов, которые приключались в прошлом столетии, а катаклизмом.

После второй мировой войны смешно доказывать, что нельзя жить с фашистами на одной земле. А тогда мне приходилось ежечасно сдерживать себя. Я отводил душу в стихах: «Не для того писал Бальзак. Чужих солдат чугунный шаг. Ночь навалилась, горяча. Бензин и конская моча. Не для того — камням молось — упал на камни Делеклюз. Не для того тот город рос, не для того те годы гроз, цветов и звуков естество, не для того, не для того...» Я кончал стихотворение признанием: «Глаза закрой и промолчи — идут чужие трубачи, чужая медь, чужая спесь. Не для того я вырос здесь!»

Это было криком, но я не только кричал, я пытался понять значение происшедшего: «Часы не били. Стали звезды ближе. Пустынен, дик, уму непостижим, в забытом всеми, брошенном Париже уж цепенел необозримый Рим».

Когда я вернулся в Москву, ко мне пришла А. А. Ахматова, расспрашивала о Париже. Она была в этом городе давно — до первой мировой войны, не знала подробностей его падения. В представлении некоторых критиков Анна Ахматова — «поэтесса интимных чувств с крохотным мирком». Анна Андреевна прочитала мне стихотворение, написанное ею после того, как она узнала о падении Парижа. «Когда погребают эпоху, надгробный псалом не звучит. Крапиве, чертополоху украсить ее предстоит. И только могильщики лихо работают. Дело не ждет! И тихо, так, господи, тихо, что слышно, как время идет. А после она выплывает, как труп на весенней реке, — но матери сын не узнает, и внук отвернется в тоске. И клонятся головы ниже, как маятник, ходит луна. Так вот — над погибшим Парижем такая теперь тишина». В этих стихах поражает не только точность изображения того, чего Ахматова не видела, но и прозрение. Часто теперь я вижу ушедшую эпоху, «труп на весенней реке». Я ее знаю и не ошибусь; а для внуков она не то призрак, не то снесенный причал или перевернутая лодка.

Мы покупали в лавке колбасу или консервы, иногда обедали в ресторане, убедившись, что там нет немцев. Как-то раз я зашел в магазин, чтобы купить литр вина; хозяин мне сказал: «Возьмите старое бургундское, я его вам продам как разливное — лучше, чтобы вы его выпили, а не немцы». После нашего отъезда, наверно, обо мне говорили, как о пьянице — в комнате дипкурьеров осталось полсотни пустых бутылок с патетическими этикетками.

Один из сотрудников посольства сказал мне, что должен проехать в «свободную зону», в город Брив, и предложил его сопровождать — он плохо говорил по-французски. Путь был таким: Жиен-Невер, Мулен, Клермон-Ферран, Руан, Бурбуль, Брив, Лимож, Орлеан. Я многое повидал: и развалины Жиена, и разбитый бомбами Орлеан, и кондитерскую в Руая, где «весь Париж» поглощал пирожные, охал, ахал и благословлял маршала. На берегах Луары еще валялись расплющенные машины,

солдатские шлемы, игрушки. Военнопленные хоронили убитых беженцев. Люди ночевали в парижских автобусах «Бастилия—Мадлен».

Правительство в тот самый день прибыло из Бордо в Клермон-Ферран. Я должен был узнать, где находится наше посольство. Мне сказали, что министры остановились в здании коллежа. Я увидел сторожа, старичка, похожего на Вольтера; он закричал: «Нет, слава богу, они не здесь. Кажется, в префектуре...» По коридорам префектуры носились ошалевшие сановники, нельзя было ничего добиться. Я заглянул в одну из комнат. Вдруг кто-то на меня кинулся: «Что вы здесь делаете?» Оказалось, это кабинет Лавала.

Один из беженцев, ночевавший в поле, рассказал мне, что вместе с другими пытался убежать из Бордо в Испанию, но испанские пограничники их не пропустили. История не сродни классическому роману, она то пишет стихи на зауми, которых никто не может расшифровать, то переходит на древнейший жанр общедоступной притчи...

Я не раз пережил те чувства, которые вдохновляли Маяковского, когда он писал стихи о советском паспорте, — гордился, показывая мой паспорт злобным полицейским, гордился и когда меня арестовывали, высылали, отказывали в визах. Гордился тем, что я — советский, в 1936 году в Арагоне и десять лет спустя в расистских штатах Миссисипи, Алабаме. А вот в то (к счастью, недолгое) время, о котором я рассказываю, мне было очень трудно. Как-то возле нашего посольства остановились две женщины, судя по одежде — работницы, и салютовали гербу поднятыми кулаками: «Рот фронт». Полицейские их отогнали: подъехала машина со свастикой — гитлеровские офицеры решили нанести визит сотруднику посольства. Я все это видел в окно, и мне было не по себе. Думаю, читатели меня поймут.

Я перетащил в посольство мой приемник и каждый вечер слушал Лондон. 18 июня — через четыре дня после вступления немцев в Париж — впервые выступил де Голль, сказал, что война продолжается, призывал французов не подчиняться изменникам. Я слушал и радовался. Окно комнаты было открыто, и двое полицейских, дежурившие у ворот посольства, тоже слушали; один стоял, вытянувшись по-военному, — не знаю, что он потом делал, может быть рьяно служил немцам, но в ту минуту де Голль для него был начальником; второй скептически усмехался.

Тринадцатого июля в посольство пришла Анна Зегерс. За нею следили, ей грозила смерть. Она просила помочь ей пробраться в «свободную зону».

Вишняки застряли в Париже. Мы у них часто бывали. Мы старались шутить, вспоминали прошлое — Андрея Белого, Марину, Пастернака. После войны я узнал, что немцы убили Вишняков в Освенциме. Застряла и Дуся с больной матерью. Она больше не смеялась, говорила: «Так тихо, что страшно...» Я читал ей стихи Ронсара, о полдне и счастье. Лето было на редкость холодным. Часто шли дожди.

В кафе я разговаривал с немецкими офицерами — они искали собеседников, а меня принимали за француза. Некоторые говорили, что прежде всего нужно расколотить англичан, но большинство повторяло: «Скоро мы почистим Россию...» Откровенно, с вполне понятной злобой они говорили о коммунистах, о Советском Союзе. Один, помню, сказал: «Сначала мы выкачаем из России нефть, а потом кровь...»

На площади Оперы играл военный оркестр. Победители сидели в кафе де ля Пэ; загорали на солнце, пили коньяк, обсуждали дальнейшие походы. Париж для них был прекрасным домом отдыха с бесплатными пувтками.

Наконец настал день отъезда. Погрузили нас ночью. Вместе с нами ехали шофер посольства, повар, делопроизводитель; всего было, кажется, семь или восемь советских граждан в поезде, набитом немецкими офицерами и солдатами. Один литератор, которому когда-то показали исправительно-трудовой лагерь, на вопрос, как он себя там чувствовал, отвечал: «Как живая лисица, попавшая в магазин мехов». Так я чувствовал себя в том поезде.

Ехали мы долго — неделю. Я увидел развалины Дуэ, пустые города севера Франции, немецкие надписи. В Брюсселе пришлось задержаться. Мы переночевали в посольстве. Я поехал к Элленсу, мне сказали, что он успел выбраться. Брюссельцы угрюмо молчали.

Границу мы переехали ночью. Дважды была воздушная тревога. Поезд останавливался. Я мечтал: хоть бы англичане сбросили бомбу!.. Но полчаса спустя поезд шел дальше. На вокзале Мюнхен-Гладбах немки подавали победителям кофе и цветы. Потом был Берлин. Пришлось провести две ночи в гостинице. На ее двери значилось: «Евреям вход запрещен», но я ехал не как Эренбург, а как один из служащих посольства, моей фамилии в документах не было. А немцам нужны были советская нефть и многое другое, они не хотели пререкаться из-за мелочей.

У нас были припасены чай, сахар, галеты, сыр. Горничная, которая принесла кипяток, увидев сыр, спросила Любу, где мы достали такое лакомство. Люба ответила: «Привезли из Франции». Тогда немка воскликнула: «Счастливые французы!..» Это меня обрадовало: победители, только что захватившие Данию, Норвегию, Голландию, Бельгию, Францию, — и завидуют французам!

Я видел их еще в 1932 году в Берлине накануне первой победы, следил за всем, что они делали, помнил Испанию. Я их снова увидел в Париже. Я многому научился.

По своему характеру, да и по воспитанию я человек XIX века, я был склонен скорее к спорам, чем к оружию. Ненависть мне далась нелегко. Это чувство не красит человека, и гордиться им не приходится. Но мы жили в эпоху, когда обыкновенные молодые люди, порой с симпатичными лицами, с сентиментальными признаниями, с фотографиями любимых девушек, уверовав, что они — избранные, начали уничтожать избранных, и только настоящая, глубокая ненависть могла положить предел торжеству фашизма. Повторяю, это было нелегко. Часто я испытывал жалость, и, может быть, сильнее всего я ненавижу фашизм именно за то, что он научил меня ненавидеть не только абсурдную, бесчеловечную идею, но и ее носителей.

37

Я вернулся в Москву 29 июля 1940 года. Я был убежден, что вскоре немцы нападут на нас; перед моими глазами стояли ужасные картины исхода Барселоны и Парижа. А в Москве настроение было скорее спокойное. Газеты писали, что между Советским Союзом и Германией окрепли дружеские отношения.

Я написал В. М. Молотову, что хочу рассказать ему о положении во Франции, о том, что говорят немецкие офицеры и солдаты. Меня принял заместитель Молотова С. А. Лозовский. Его я знал еще по дореволюционному времени, встречал, когда он в Париже выступал на собраниях большевиков. Он слушал меня рассеянно, печально глядел в сторону. Я не выдержал: «Разве то, что я рассказываю, лишено всякого интереса?» Соломон Абрамович грустно улыбнулся: «Мне лично это интересно... Но вы ведь знаете, что у нас другая политика...» (Я все же оставал-

ся наивным — думал, что правдивая информация помогает определить политику: оказалось наоборот — требовалась информация, подтверждающая правильность выбранной политики.)

(С Лозовским я работал в годы войны, когда он был начальником Совинформбюро. Он остался в моей памяти человеком мягким, глубоко порядочным; он хорошо знал рабочий класс Запада; но никакой власти у него не было — по любому вопросу ему приходилось запрашивать Молотова или Щербакова. Как начальник Совинформбюро он должен был руководить различными комитетами, созданными в начале войны, среди них и Еврейским антифашистским комитетом. Лозовский был арестован вместе с руководством этого комитета в конце 1948 года, осужден и расстрелян в возрасте семидесяти четырех лет, потом посмертно реабилитирован.)

Я, естественно, искал людей, хорошо знавших и продолжавших ненавидеть фашистов; пришел ко мне П. Г. Богатырев, выбравшийся из Чехословакии, рассказывал о судьбе чешских друзей; у Е. Ф. Усиевич я познакомился с В. Л. Василевской, от нее узнал о судьбе поэта Броневского, приходили ко мне бывшие интербригадовцы — Белов, Петров, Балер, испанцы — Ла Каса, Альберто, Санчес Аркас. Перелистывая записную книжку, я вижу, кто приходил к нам в зиму 1940—1941 годов: Кончаловский, Фальк, Штеренберг, Суриц, Толстой, Игнатьев, Лидин, Эфрос, Олеша, Славин, Ахматова, Пастернак, Вишневский, Мартынов, Луговской. С ними мне было легко говорить.

Были и такие писатели, журналисты, которые говорили, что я рассуждаю не как советский гражданин — слишком долго жил во Франции, привязался к ней, рисуя гитлеровцев, «сгущая краски». Однажды я услышал даже такие слова (в то время диковинные): «Людям некоторой национальности не нравится наша внешняя политика. Это понятно. Но пускай они приберегут свои чувства для домашних...» Меня это поразило. Я еще не знал, что нам предстоит.

Помню разговор с академиком Л. С. Штерн. Мы говорили о зверствах гитлеровцев, об Испании, о Париже, о пакте. Лина Соломоновна сказала: «Один ответственный товарищ объяснил мне, что это — брак по расчету. Но я ему ответила, что от брака по расчету могут быть дети...» (Восемь лет спустя Л. С. Штерн на себе узнала правильность своего прогноза: ее арестовали вместе с другими деятелями Еврейского антифашистского комитета; к счастью, она не погибла.)

Однажды в театре я встретил Дугласа — так звали в Испании командира наших воздушных сил Я. В. Смушкевича. Он хромал, опирался на палку. Я сразу заметил на его груди две звезды Героя. Мы вспомнили Испанию. Я радовался: не все погибли!.. Савич говорит, что видел Хаджи, Николаса. О Григоровиче я читал в газете. А вот Дуглас командует военно-воздушными силами... Я думал, что опыт Испании поможет в надвигающейся войне. (Я. В. Смушкевича арестовали и расстреляли за две недели до того, как гитлеровцы напали на Советский Союз.)

Нужно было работать — писать, да и найти место, где меня осмелились бы напечатать. Я хотел описать все, что видел во Франции, показать, что быстрый разгром французской армии, капитуляция Петэна объясняются моральной слабостью, страхом крупной буржуазии перед своим народом, а вовсе не чудодейственной силой рейхсвера. Ведь дело теперь не в Петэне, а в том, что скоро нам придется столкнуться с немецкой армией... Я пошел в «Известия» — семь лет я работал для этой газеты. Меня принял заведующий иностранным отделом, спросил, нет ли у меня претензии к бухгалтерии, потом откровенно сказал, что печатать меня они не будут.

В Гослитиздате мне рассказали, что моя книга об Испании не смогла выйти: задержала типография, а тут подоспел пакт — и набор рассыпался. Мне дали на память верстку.

Не помню, где я познакомился с Л. Шейнисом, работавшим в газете «Труд». Он объяснил, что я не должен ничего писать о немцах, а ругать французских предателей могу. Редакция попытается протолкнуть мои очерки. Действительно, после длительных переговоров, правок, купюр, мои очерки были напечатаны в «Труде». Я несколько приободрился.

(Потом мне прислали брошюру, напечатанную в Женеве — мои статьи из «Труда»: коммунисты их нелегально распространяли во Франции.)

Меня позвали на собрание московских писателей; оно было драматичным — оказалось, что Сталин пригласил группу писателей, назвал Авдеенко «врагом» и напал на пьесы Леонова «Метель» и Катаева «Домик». Мы должны были проголосовать исключение Авдеенко из Союза. Различные литераторы, соревнуясь друг с другом, поносили Леонова и Катаева. Я сидел и дивился: надвигается война. Неужели Сталин так уверен в нашей мощи, что может отдавать свое время литературной критике? Все мне было непонятно; я терзался, и не было мудрого Бабеля, к которому я когда-то приходил за объяснениями...

Я писал стихи: о Париже, о войне, о верности, о смерти: «...Будет день, и прорастет она — из костей, как всходят семена, — от сетей, где севера треска, до Сахары праздного песка, всколосятся руки и штыки, зашагают мертвые полки, зашагают ноги без сапог, зашагают сапоги без ног, зашагают горя города. Выплывут утопшие суда, и на вахту станет без часов тень товарища и облаков...»

Вишневский редактировал журнал «Знамя». Он взял мои стихи, отобрал те, где не было ничего о будущем, и хотел напечатать в ближайшем номере. Вскоре он сказал, что стихи задерживают в НКИДе; лучше всего мне самому пойти туда, поговорить.

Заведующего отделом печати НКИДа Н. Г. Пальгунова я знал по Парижу, где он работал корреспондентом ТАССа. Николай Григорьевич меня дружески принял и сразу сказал, что стихи, где речь идет о падении Парижа, можно печатать. Смущали его лирические стихотворения. Он долго перечитывал: «...Кончен бой. Над горем и над славой в знойный полдень голубеет явор...» Спрашивал: «Скажите откровенно, кого вы подразумеваете под явором»? Я клялся, что явор — дерево, разновидность клена, что у Пушкина есть явор. Я видел, что Пальгунов мне не очень-то верит. Он сказал: «Вы понимаете, какая на мне ответственность?..» В итоге он согласился пропустить и лирику.

Я осмелел и послал в издательство рукопись сборника стихов «Верность».

По ночам я слушал передачи из Лондона на французском языке; помню позывные, похожие на короткий стук в дверь. Новости были невеселыми: немцы сильно бомбили Лондон. В одну из ночей я написал стихотворение, в котором признавался, что судьба Лондона мне близка: «Не туманами, что ткали Парки, и не парами в зеленом парке, не длиною, он длиннее сплина, не трезубцем моря властелина, город тот мне новым горем дорог, по ночам я вижу черный город, горе там сосчитано на тонны, в нежной сырости сирены стонут, падают дома, и день печален средь чужих уродливых развалин...» Я дал стихотворение Вишневскому. Он сказал: «Про Лондон никому не читайте» — и тотчас добавил: «Сталин лучше нас понимает...»

Ко мне пришел поэт, прочитал свои стихи, и сразу меня восхитил: это был сибиряк Леонид Мартынов. Он расспрашивал про войну, про Париж, говорил «н-да» и что-то добавлял о погоде: «Зима была суровая...» Его

стихи казались явлением природы — шумливым летним дождем или токованием птицы. Мы проговорили полночи о силлабическом стихосложении — Мартынов шевелил губами: искал новую музыку.

Шестнадцатого сентября я сел за роман «Падение Парижа». Пожалуй, из всего, что я написал, эта книга больше всего напоминает традиционный роман, хотя и в ней я не отказался от изобилия персонажей, быстрого монтажа. Писал я ее с увлечением. Теперь я перечитал роман; мне кажется, что мне удалось передать предвоенные годы Франции, то, что я где-то назвал загнанной внутрь гражданской войной. Одни персонажи мне кажутся живыми, объемными, другие — плакатными, поверхностными. В чем я сорвался? Да в том, в чем и до «Падения Парижа» и после него срывались многие мои сверстники: показывая людей, всецело поглощенных политической борьбой, будь то коммунисты Мишо и Дениз, будь то фашист Бретейль, я не нашел достаточного количества цветов, часто клал белые и черные мазки. Видимо, даже ненавидя плакатную литературу и высмеивая чересчур ретивых критиков, я все же поддался известному упрощению. Напротив, естественными выглядят другие герои повествования — актриса Жаннет, симпатичный, умный и делающий глупости капиталист Дессер, наивный инженер Пьер, продажный политикан Тесса, художник Андре, наконец один из предтеч многих героев послевоенной французской литературы, сентиментальный циник Люсьен.

(Двадцать первого июня 1941 года я кончал тридцать девятую главу последней части; оставалось написать семь коротких глав. Началась война; мне было не до романа. Во время эвакуации из Москвы исчезла рукопись третьей части. Вернуться к роману я не мог и решил, что он останется недоконченным. В декабре, однако, мне сообщили, что один из рабочих типографии, где печаталось «Знамя», подобрал разбросанные листы. В конце января, когда на фронте наступило затишье, я дописал последние главы, и роман был напечатан в 1942 году. Тотчас вышел английский перевод, и, судя по случайно сохранившейся газетной статье, в метро Лондона, во время воздушных атак, можно было часто увидеть читателей и читательниц с моим романом.)

В. В. Вишневский, когда мы встречались, неизменно говорил о надвигающейся войне. Теперь опубликованы отрывки из его дневника. В декабре 1940 года он писал: «Ненависть к прусской казарме, к фашизму, к «новому порядку» — у нас в крови... Мы пишем в условиях военных ограничений, видимых и невидимых. Хотелось бы говорить о враге, подымать ярость против того, что творится в распятой Европе. Надо пока молчать...» Вишневский взял у меня рукопись первой части «Падения Парижа», сказал, что попытается ее «протащить». Два месяца спустя, как раз в тот день, когда мне исполнилось пятьдесят лет, он пришел с хорошей вестью: первую часть разрешили, но придется пойти на купюры. Хотя речь шла о Париже 1935—1937 годов и немцев там не было, надо было убрать слово «фашизм». В тексте описывалась парижская демонстрация, и хотели, чтобы вместо возгласа: «Долой фашистов!», я поставил бы: «Долой реакционеров!»

Денег у меня не было, и я начал выступать с чтением отрывков из романа. Слушали меня хорошо, но и здесь пришлось столкнуться с трудностями.

Однажды я читал главы романа в Доме кино. В перерыве мне сказали, что пришел советник германского посольства, который хочет меня послушать. Я запротестовал: «Не буду при нем читать...» Меня уговаривали. Девушка, сотрудница ВОКСа, изумлялась: «Ну как можно так?.. Понятно, что его заинтересовала тема... Он вообще очень культурный человек, любит литературу... Потом, что скажут там?» И она показала

рукой на потолок. Я отвечал, что вечер закрытый и что, если в зал войдет фашист, я уйду. Германскому дипломату сказали, что вечер кончился, и я дочитал отрывки.

О моих чтениях пошли толки. Мой творческий вечер отменили. Я попытался попасть на прием к секретарю Союза писателей А. А. Фадееву, но это оказалось безнадежным. Я писал статьи, чтобы получить немного денег; писал для «30 дней», «Вокруг света», «Глобуса», «Ленинградской правды», «Московского комсомольца»; почти все мои статьи браковались, в любой строке редакторы видели намеки на фашистов, которых остряки называли «заклятыми друзьями».

Как я сказал, в ту зиму мне исполнилось пятьдесят лет. Нет худа без добра: мое шаткое положение избавило меня от лицемерных поздравлений и от адресов в дерматиновых папках. Пришли друзья. Лапин, смущенно улыбаясь, наливал в рюмки ликеры из Львова, которыми москвичи тогда увлекались. Пастернак прислал мне письмо: «...Нам было столько лет, когда мы встретились, сколько с тех пор прошло. Сбережем, что осталось из растроченных сил!..» Я часто в ту зиму хворал, но мне хотелось не беречь силы, а скорее их растратить: слишком тяжелой была передышка.

Известия становились все тревожнее. С начала марта Лондон говорил, что Гитлер готовится захватить Балканы. Наши газеты оставались невозмутимо спокойными. Я пошел на доклад о международном положении; лектор обстоятельно рассказывал о хищной природе английского империализма; я ждал, что он скажет о Германии; но он о ней вовсе не упомянул.

Как-то я зашел в кафе «Метрополь». За соседним столиком сидели немцы. Они пили и горланили. Я быстро ушел.

Иногда я ходил в театр, вздыхал, когда бедная Эмма Бовари металась среди шума карнавала — Алиса Коонен умела потрясать зрителей. Пошел на выставку С. Д. Лебедевой, мне понравились бегун, голова калмычки. На другой выставке я обрадовался краскам Осьмеркина.

Апрель был беспокойным. 6-го я услышал по радио о нападении немцев на Югославию и Грецию. 9-го немцы взяли Салоники, 13-го — Белград.

Четырнадцатого апреля я встретил Вишневского; он мрачно сказал: «О вашем романе разные суждения. Мы не сдаемся... Но насчет второй части ничего не могу сказать...» Вторая часть относилась к событиям 1937—1938 годов; немцы еще не появлялись. «Кто ругает? За что?» Всеволод Витальевич ничего не ответил.

Я знал, что в Москву должен приехать Жан-Ришар Блок: его предполагали вывезти из Франции с группой советских служащих. Я просил иностранную комиссию Союза писателей предупредить меня: хотел встретить. В комиссии, однако, решили, что человеку в моем положении лучше с иностранцами не встречаться. Я все же случайно узнал, что Блоки приезжают 18 апреля. Мы пришли с Любой на вокзал. Жан-Ришар и Маргарита плохо выглядели, постарели, но доверчиво улыбались друзьям, свободе, Москве. Полдня они мне рассказывали о жизни во Франции: среди писателей мало кто сотрудничает с немцами; «Нувель реву франсэз» — жалкая подделка; люди не верят газетам, в маленьких городах в часы, когда лондонское радио передает по-французски, улицы пустеют; Ланжевен держится замечательно; Арагон написал хорошие стихи...

Двадцатого апреля я узнал, что вторую часть «Падения Парижа» не пропустили. Я пришел в скверное настроение, но решил писать дальше.

Двадцать четвертого апреля я сидел и писал четырнадцатую главу третьей части, когда мне позвонили из секретариата Сталина, сказали, чтобы я набрал такой-то номер: «С вами будет разговаривать товарищ Сталин».

Ирина поспешно увела пуделей, которые не ко времени начали играть и лаять.

Сталин сказал, что прочел начало моего романа, нашел его интересным; хочет прислать мне рукопись — перевод книги Андре Симона, — это может мне пригодиться. Я поблагодарил и сказал, что книгу Симона уже читал в оригинале. (Эта книга потом вышла в русском переводе под названием «Они предали Францию», что касается автора — Симона Катца, то его казнили в Праге незадолго до смерти Сталина.)

Сталин спросил меня, собираюсь ли я показать немецких фашистов. Я ответил, что в последней части романа, над которой работаю, — война, вторжение гитлеровцев во Францию, первые недели оккупации. Я добавил, что боюсь, не запретят ли третьей части, ведь мне не позволяют даже по отношению к французам, даже в диалоге употреблять слово «фашисты». Сталин пошутил: «А вы пишете, мы с вами стараемся протолкнуть третью часть...»

Люба, Ирина ждали в нетерпении: «Что он сказал?..» Лицо у меня было мрачное: «Скоро война...» Я, конечно, добавил, что с романом все в порядке. Но я сразу понял, что дело не в литературе; Сталин знает, что о таком звонке будут говорить повсюду, — хотел предупредить.

(Видимо, в конце апреля Сталин был встревожен. Да и трудно было после захвата Югославии полагаться, что Гитлера остановит пакт. Однако прошло два месяца, и нападение все же застало нас врасплох. Вину взвалили на некоторых военных; среди них был танкист, которого я не раз встречал в Алкала и у Гвадалахары, генерал армии Д. Г. Павлов; его расстреляли.)

Я пошел в «Знамя», рассказал про телефонный звонок. Вишневский просиял, признался, что его сильно ругали в ЦК. При мне Вишневскому позвонил тот самый товарищ, который его ругал, сказал, что «произошло недоразумение».

Различные редакции звонили, просили отрывки из романа.

Я встретился с Фадеевым. Александр Александрович был человеком крупным и сложным; я узнал его в послевоенные годы и напишу о нем в последней части этой книги. А в 1941 году он был для меня начальством, и разговаривал он со мною не как писатель, а как секретарь Союза писателей, объяснил, что он не знал, как может измениться международная обстановка (привожу записанную тогда его фразу: «С моей стороны это было политической перестраховкой в хорошем смысле этого слова».)

Вскоре после этого разговора в Клубе писателей был вечер армянской поэзии. Председательствующий, увидя меня, сказал: «Просим Эренбурга в президиум».

Я познакомился с прекрасным поэтом Аветиком Исаакяном. Фадеев на вечере сказал о нем, что «солнечная Армения дала ему счастье» и что он «перестроил свою лиру». Исаакян расспрашивал меня о трагедии Франции (он долго прожил в этой стране, и говорили мы по-французски). Он спросил, читал ли я перевод его поэмы «Абул-Ал-Маари»; я сказал, что читал по-французски один отрывок. Он задумался: «Нужно уметь уходить — это самое важное. Вот вы рассказали о том, как уходил Париж. Но и этого мало... Я недавно много думал о Толстом — он тоже ушел...» Нас прервали. Я глядел на его лицо и не мог наглядеться: вот уж не «солнечное» — старое, не старостью человека, а веками истории, горя, камней, крови... Да и нельзя перестрсить лиру.

Для меня это было короткой вылазкой: рыба нырнула в воду.

В мае я ездил в Харьков, Киев, Ленинград. Встретился со многими старыми друзьями — с Лизой Полонской, Тыняновым, Кавериным, Ушаковым, О. Д. Форш. Познакомился в Харькове с молодым студентом, который писал стихи, — Борисом Слуцким. В киевской гостинице «Континенталь» танцевали. За нашим столиком сидел молодой поляк; он рассказывал о немцах в Варшаве. Софья Григорьевна Долматовская заплакала. В Ленинграде в «Европейской гостинице» пьяные немцы кричали «хох!» Я выступал в Выборгском доме культуры; меня закидали вопросами: правда ли, что немцы собираются нарушить договор, или это английская провокация.

Немцы заняли Грецию. Сталин стал председателем Совнаркома. Гесс приземлился в Англии: предлагал мир. Черчилль заявил, что самые трудные испытания впереди.

Вот записи тех дней. «21 мая. Звонили из ПУРА: «Напишите о немцах, но так, чтобы это выглядело, как план вашего романа, для «военнослужащих». Шейнис звонил: статью в «Труде» задерживают. Все говорят о войне. 23 мая. Бои на Крите. Инструктор райкома: «Незачем паниковать. Немцы соображают...» 2 июня. Англичане оставили Крит. 3 июня. В «30 днях» сняли мою статью. Лондон сообщает, что из Москвы выслали греческое посольство. 5 июня. Вечером была Анна Андреевна: «Не нужно ничему удивляться». 11 июня. Ж.-Р. Блок: «Заказали статьи, но не печатают». 7 июня. С Качаловым и Москвиным: «Что же стало с Францией? Мы ничего не знаем». 9 июня. Толстой сказал, что получил письмо от Бунина. «Немцы способны на все...» 10 июня. Суриц: «Самое опасное — это духовная демобилизация». 11 июня. Вечер в НКИДе. «Почему вы не обличаете в романе английский империализм?» 12 июня. Радио, выступление американского журналиста Дюранти: немцы сосредотачивают на востоке около сотни дивизий. 13 июня. Опровержение ТАССа. Вечером читал в Генеральном штабе. 14 июня. Лондонское радио настаивает: немцы сконцентрировали на советской границе огромные силы. Читал у пограничников. «Вот пели «Если завтра война», а что делали?.. Грохоту слишком много...» 17 июня. Кармен показывал фильм о Китае. Похоже всюду, только китайцы не убегали, а уплывали по реке. Читал политрукам, спрашивали, правда ли, что звонил Сталин. «Нужно сделать некоторые выводы...» 18 июня. У Пальгунова, долгие переговоры. Пакт Германии с Турцией. 19 июня. Лондон сообщает, что немцы усиливают подготовку в Финляндии. Выступал для летчиков гражданского флота. Один послал записку: «У нас часто встречается несложное, но оригинальное устройство ума». 20 июня. Жара. Из «Труда» звонили: «Слишком остро». 21 июня. Читал на заводе. Председатель сказал: «Мы не остров, мы гигантский материк мира». Записка: «Хочется материться, когда слышишь такое»...

Двадцать первого июня прошел сильный дождь. Люба собиралась в воскресенье поехать за город — снять дачу.

Двадцать второго июня рано утром нас разбудил звонок В. А. Мильман: немцы объявили войну, бомбили советские города. Мы сидели у приемника, ждали, что выступит Сталин. Вместо него выступил Молотов, волновался. Меня удивили слова о вероломном нападении. Вероломство предопределяет нарушение обязательств чести или хотя бы простой честности. Вряд ли можно причислить Гитлера к людям, имеющим какое-либо представление о порядочности. Что можно было ждать от фашистов?..

Мы долго сидели у приемника. Выступил Гитлер. Передали речь Черчилля. А Москва передавала веселые, залихватские песни, которые

меньше всего соответствовали настроению людей. Не приготовили ни речей, ни статей; играли песни...

Потом за мною приехали — повезли в «Труд», в «Красную звезду», на радио. Я написал первую военную статью. Позвонили из ПУРа, просили зайти в понедельник в восемь часов утра, спросили: «У вас есть воинское звание?», я ответил, что звания нет, но есть призвание: поеду, куда пошлют, буду делать, что прикажут.

Поздно вечером на Ордынке я увидел парочку. Молодая женщина плакала. Человек ей говорил: «Да ты не убивайся! . Слышишь, Леля, я тебе говорю: не убивайся!..»

Это был самый длинный день в году, и он длился очень долго — почти четыре года, день больших испытаний, большого мужества, большой беды, когда советский народ показал свою духовную силу.



ИЗ СТИХОВ ВЕНГЕРСКИХ ПОЭТОВ

Венгерский народ создал поэзию удивительного разнообразия и силы. А между тем мы все мало знаем ее. Только Шандор Петефи, великий народный поэт и великий революционер, действительно широко известен русскому читателю, любящему стихи. Другие венгерские классики и венгерские поэты двадцатого века известны лишь узкому кругу.

Я хочу познакомить читателей «Нового мира» со стихотворениями венгерских поэтов первой половины двадцатого века.

МИХАЙ БАБИЧ (1883—1941) — поэт даровитый, противоречивый, веривший, подобно многим своим современникам в разных странах, что формальное обновление стиха может обновить поэзию, и часто тративший свои большие силы впустую. Однако его «Цыганская песня», которую я здесь привожу, и проста, и народна, и глубоко человечна.

ДЬЮЛА ЮХАС (1883—1937) вырос в деревне на берегах Тиссы; точно, зримо изображал он природу родного степного края и убогую жизнь крестьянства. Подлинный лирик, он ненавидел реакцию, крепнувшую в Венгрии после поражения Венгерской Советской республики в 1919 году.

АТТИЛА ЙОЖЕФ (1905—1937), уже известный советским читателям, тоже замечательный лирик, в отличие от крестьянина Дьюлы Юхаса был горожанином, пролетарским поэтом, певцом организованного рабочего класса, борющегося за социализм. Оба они не дожили до дня освобождения Венгрии от фашизма. Но народная Венгрия гордится ими и чтит их имена.

Николай Чуковский.

АТТИЛА ЙОЖЕФ

★

Мать

Держа двумя руками кружку,
Она под вечер в воскресенье
Сидела, тихо улыбаясь,
В сгушающемся полумраке.

Из дома барского в кастрюльке
Она нам принесла свой ужин,
И думал я: наверно, барин
Съедает полную кастрюлю.

Недолго мать жила на свете —
Все прачки рано умирают,
От тяжести дрожат их ноги,
И голова болит от чада...

Для них белья корзины — горы,
 Пар над корытом скользким — туча,
 Чердак, где стиранное сохнет,—
 Замена поля, леса, речки...

Стоит, держа уют. И тело,
 Изогнутое капиталом,
 Становится все тоньше, тоньше...
 Ты это помни, пролетарий.

Не знал я, что давно когда-то
 Ей снился белый чистый фартук,
 В котором можно так учтиво
 Раскланиваться с почтальоном.

После похорон

И всюду тьма. Погасло пламя.
 Порывы ветра так резки.
 И никого нет больше с нами.
 И мы молчим, как старики.
 И не был новым и неожиданным
 И ветра сумрачного вой,
 И катафалк с покровом рваным,
 И веток шум над головой,
 И стук земли тяжелой, черной,
 И этот небосвод просторный.

(Я вспомнил лишь теперь, не скрою,
 Какой она была.) Тогда,
 Как после тяжелого труда,
 Осиротевшие мы трое
 Сидели, сбившись в уголок,
 Отдельно каждый одинок.

Та прелестная прежняя женщина...

Если бы я прежнюю мог увидеть снова!
 Сколько в ней прелестного, мило колдовского;
 Ту, что с нами весело по полям гуляла,
 Важно и задумчиво по грязи ступала.
 Трепетал, чуть взглядом невзначай окинет.
 Если бы я мог ее не любить отныне,
 А лишь видеть изредка, как она, читая,
 Загорает в садике, греясь и мечтая.
 Книжку отодвинула, а кругом зеленый
 Сад вздымает плотные плещущие кроны.
 Вот, неторопливая, со скамейки встала,
 Словно что-то вспомнила, что-то загадала,
 Оглянулась, двинула легкими ногами
 И пошла тропинкою, той, что за кустами,
 Уводя из садика, вдаль ведет, в сиянье.
 И кивали кронами липы на прощанье.
 Словно мать покойную, повидать хочу я
 Прежнюю, прелестную, светлую такую.

Ты перешла дорогу

Ты перешла дорогу по камням,
И голуби подсели к воробьям.

Ступила на панель, и отсвет лег
На легкие лодыжки милых ног.

Пошла вперед, плечами поведя,
Мальчишка обернулся, проходя.

Качаясь, шла при свете фонарей,
И голуби кивали все нежней,

И не было в их ласке ничего
Обидного для сердца моего.

Тебя любил я на руках качать
И так тебя боялся потерять!

Но нежное вниманье голубей
Сломало стебель ревности моей.

А ты так весело, так ладно шла,
Прохладный ветер за собой вела.

МИХАЙ БАБИЧ

★

Цыганская песня

Ветер веет, сук трещит,
В лес цыганочка бежит,—
Шаль на ней, как пламя ада,
В волосах ее помада.
Все семейство на спине —
Спит младенец в простыне.
У платочка два конца,
У сыночка нет отца.
Все семейство на спине.
Ты не плачь, сынок, во сне!
Мы идем с тобой лесами,
Злыми, добрыми краями.
Добрый край,
Светлый край,
Ветер, ветви овевай.

Ежевика шелестит,
А мальчишечка кричит.
Ежевика вся увяла,
А цыганочка устала.
Ветка, ветка, полотенце —
Вот и люлька для младенца.

Люльку держит: добрый сук,
 Даст нам ягод: добрый сук.
 Хорошо горят кусты,
 Ярко пламя, как цветы.
 Как цветы, сверкает пламя,
 Котелок укрыт углями.
 Уголек,
 Котелок,
 Небо— вот наш потолок.

Покачала полотенце,
 Побаякала младенца:
 «Засыпай, малютка мой,
 Спи, мой мальчик дорогой.
 Лес ли, поле,— засыпай.
 Добрый край, недобрый край —
 Все края тебе равны:
 Небо смотрит с вышины.
 Помни, с веткой ты сроднился,
 В ежевике ты родился.
 Лист от ветки оторвется,
 Сын уйдет и не вернется.
 Ни отцов,
 Ни дядьев,
 Ни земли, ни хуторов».

Сына милого пугает,
 Песни страшные слагает:
 «Мальчик мой, моя душа,
 Жизнь не вечно хороша.
 Беспощадною зимой
 Будет мерзнуть мальчик мой.
 Но пускай зима страшна —
 За зимой придет весна.
 Жар лучей поля сжигает,
 Богачей он разоряет,
 Но тебе грустить не надо,
 Ждет тебя ветвей прохлады.
 Пусть лучи
 Горячи,
 Пусть поплачут богачи».

«Лес ли, поле,— засыпай.
 Добрый край, недобрый край —
 Все края тебе равны:
 Небо смотрит с вышины.
 Если ты мужчину встретишь,
 Ты пройдешь и не заметишь,
 Если девушку найдешь —
 Целоваться поведешь.
 С веткой ты не зря сроднился,
 В ежевике ты родился.
 Лист от ветки оторвется.
 Сын уйдет и не вернется.
 Ни отцов,
 Ни дядьев,
 Ни земли, ни хуторов».

ДЬЮЛА ЮХАС

★

Пьяница

Гонимый роком, я сюда прибрел,
Где пролитым вином раскрашен стол.

Я горемыка, я прошел сквозь ад,
Здесь ждет меня забвенья сладкий яд.

Хоть жизнь темна, струя вина красна,
И радость в пурпуре заключена.

Во тьме души, измученный бетьяр,
Я раздуваю радость, как пожар.

Я знаю, что сожжет меня вино,
Но неизбежна гибель все равно.

Пока вино неистово кипит,
Во мне душа и тает и горит.

Живет в вине, на дне его глубин,
Смарагд надежд, желания рубин,

Живет в вине безумный шумный чад
Тех дней, когда собирали виноград,

Живет поныне поцелуя мед,
Мечты потухшей аромат живет.

И горечь жизни, скрытая в вине,
Желания нашептывает мне.

Опять любить, опять любить и жить,
Хотя мне гибель и не отвратить!

Нет, не склоню пред смертью я лица,
Неверной жизни верен до конца,

Неверной женщине и заодно
Всему, что сладко, пусто и грешно.

Кайзергруфт

Здесь цезари покоятся в гробнице,
Всё ждут трубы. Придется долго ждать.
Народ — он вечен, будет жить, трудиться,
А королям уж никогда не встать.

Старинный город нежно молодеет
И в новые вливает времена,
Прах королей под тяжким камнем тлеет,
Им вечная могила суждена.

Как мало места занимает слава,
Как мало места занимает власть,
Когда мертва! Слуга ее лукавый
К другим ногам уже готов припасть.

О, цезари, как холодно мне с вами,
Бегу от вас в грядущие года,
К веселью, к людям. Были мы рабами,
Рабами мы не будем никогда.

Перевел Николай Чуковский.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

Е. ДОРОШ

★

КНИГИ О НАШИХ ПРЕДКАХ

Мне посчастливилось достать книгу, которую я искал в течение долгого времени. Книга эта была издана в 1959 году и тотчас же разошлась. Она называется «Хозяйство и быт русских крестьян». Написали ее научные сотрудники Государственного исторического музея А. С. Бежкович, С. К. Жегалова, А. А. Лебедева и С. К. Просвиркина. Если же говорить о жанре книги, то ее следует отнести к так называемым пособиям — это определитель.

Можно предположить, что в каком-нибудь специальном журнале специалист отметил достоинства и, если они имеются, недостатки названного издания. Мне же хочется рассказать об этой книге как можно большему кругу читателей, поделиться мыслями, какие у меня возникли, когда я ее читал.

Книга состоит из коротеньких деловитых заметок, в которых с дотошностью, обязательной в такого рода литературе, описываются орудия крестьянского труда, предметы хозяйственного и домашнего обихода, средства передвижения, постройки. Многие заметки снабжены рисунками. Буквально все, с чем соприкасались крестьянин и крестьянка прежних времен в течение всей своей жизни, начиная от колыбели и кончая чуть ли не гробом, не только изба или сарай, но и крыльцо, двери, печь, не только соха или борона, но и любая их часть, пастушьи свирели, упряжь, колодки для плетения лаптей, клейма для скота, прялки, вальки, кузовки,— словом сказать, весь материальный мир русского земледельца подробно описан в этой книге.

Прежде всего приходит на мысль, что вот мне, скажем, не так уж давно минуло пятьдесят лет, и почти все, о чем речь в этой книге, на моей памяти еще было в деревне, а теперь, за редким исключением, ничего этого уже нет, и понадобился определитель, чтобы молодой человек нашего времени мог назвать ту или иную вещь, кажется совсем недавно еще обиходную, ничем не примечательную, сегодня же оказавшуюся музейным экспонатом.

Еще вчера, думается, не то что в деревенской избе, но чуть ли не в каждом провинциальном доме по всей России если и не все белье, то уж простыни, полотенца, скатерти обязательно, а в деревне и холсты гладили, точнее сказать катали, с помощью скалки и рубеля. И вот как-то незаметно подошло время, когда человеку лет двадцати от роду, чтобы понять, что это слово означает, надо заглянуть в словарь. Если же где-нибудь среди хлама попадетсся ему вдруг некий деревянный брусок с короткой ручкой на одном конце, имеющий с одной стороны поперечные, параллельно расположенные зубцы, то только с помощью определителя он узнает, что это и есть рубель.

Орудия эти и утварь исчезали из крестьянского быта постепенно. Это ведь только так кажется, что наступил однажды день, когда трактор с многокорпусным плугом повсеместно заменил соху и одноконный плужок. С такой же точно постепенностью на наших глазах меняется и внешний вид деревни. Почти исчезли соломенные крыши — к слову сказать, при массовой молотье комбайнами и молотилками не так-то просто достать немятую солому, старновку, которая шла на крыши «вприческу», «под щетку», на диво прочные, щеголеватые. Давно уже избы у нас кроют щепой, дранью, железом, а с недавних пор — шифером, руберойдом. Вместо крыльца и сеней пристраивают к избе застекленную террасу. Между рублеными пятистенками и трехконными домиками стали появляться и стандартные щитовые дома, и шлакобетонные, и кирпичные, похожие скорее на дачу, нежели на крестьянскую избу.

Все эти перемены совершаются в течение времени, в сущности, весьма короткого. Однако, читая эту книгу, я думал и о времени, чрезвычайно протяженном, исчисляемом веками, которые понадобились нашим предкам, чтобы вооружить себя всеми этими вещами, сделанными по большей части из дерева и глины, — не так уж много железа было в деревне даже на моей памяти, и я хорошо помню вовсе не глухую деревнюк верстах в пятистах от Москвы, где тридцать с небольшим лет назад почти все телеги были на деревянном ходу.

Так вот, в течение многих сотен лет, сообразуясь с особенностями почвы, по большей части тяжелой и бедной, принимая во внимание климат, по преимуществу суровый, полагаясь только на себя и на имеющийся под рукой материал, поколения русских крестьян создавали и улучшали орудия, необходимые для обработки земли, посева и уборки урожая, провеивания и сортировки зерна...

«Степень изогнутости рассохи, — прочитал я, — а следовательно, и наклон ее к земле могли быть различными и зависели от плотности и засоренности обрабатываемой почвы». И мне подумалось, во-первых, что кое-кому из современных конструкторов сельскохозяйственных машин надо бы не то что учитывать, а вот точно так же, всем существом своим, чувствовать эту самую «степень изогнутости», зависящую от особенностей почвы или какой-либо культуры, во-вторых же, я представил себе пристальность взгляда и неутомимый поиск мысли, вследствие которых «изогнутость» стала именной такой, какая требовалась.

Со страниц книги как бы глядит предок современного колхозника.

Талант его, сметливость и сноровистость видны и в какой-нибудь дорожной солонице, сплетенной из лыка или лозы, и в пряслах для сушки снопов, и в бороне-суковатке из еловых сучьев, употреблявшейся для рыхления почвы на неровных или каменистых местах, и в одре, особенной телеге, служившей для перевозки необмолоченного хлеба, соломы и сена, — словом сказать, в каждом из описанных в книге строений, предметов обстановки и утвари, транспортных средств, орудий и приспособлений, число которых много превышает тысячу.

В предисловии профессора Г. А. Новицкого, рекомендующего определитель работникам российских краеведческих музеев, говорится, что пособие это «может быть полезно специалистам, занимающимся историей крестьянского хозяйства». Автор предисловия справедливо считает, что книга «окажет также помощь всем, кто изучает жизнь русской деревни в прошлом (писателям, художникам, театральным постановщикам, кинороботникам и др.)». Хотелось бы к этому лишь добавить, что литератору определитель еще и тем интересен, что он одновременно представляет собою как бы толковый словарь крестьянского языка.

Я прочитал и некоторые другие книги, изданные научными сотрудниками Государственного исторического музея. Среди них, например,

весьма основательно составленные коллективные сборники — «Очерки по истории русской деревни X—XIII вв.». Они вышли двумя томами, в 1956 и в 1959 годах, и, чтобы дать здесь хотя бы общее представление о них, я просто приведу несколько строк из предисловия академика Б. А. Рыбакова, предвещающего второй том.

О первом томе Б. А. Рыбаков пишет, что он «посвящен общему обзору сельских поселений, подробной карте селищ и курганных групп X—XIII вв. и вопросам сельского хозяйства и промыслов» северо-восточной и северо-западной Руси. Что до второго тома, то он «охватывает группу вопросов, связанных с домашним производством и торговлей, раскрывая важные и малоизученные стороны экономической жизни русской средневековой деревни» тех же районов.

Все названные мною книги позволяют вообразить черты материального мира русского крестьянина начиная с десятого столетия и чуть ли не до наших дней. Мне хочется рассказать еще о нескольких книгах, в которых можно увидеть как бы черты духовного мира того же по преимуществу деревенского человека.

Я имею в виду вышедшие еще в 1957 году работы С. К. Жегаловой «Русская деревянная резьба XIX века», С. К. Просвиркиной «Русская деревянная посуда» и З. П. Поповой «Русская мебель конца XVIII века». В первой из этих книг, рассуждая о происхождении мотивов деревянной резьбы, украшавшей крестьянские избы, где были, кроме узоров, взятых из растительного мира, еще и всякого рода фантастические существа, автор приходит к выводу, что все эти птицы-сирины, сирены, да и львы, далекие от окружающей крестьянина природы, резчики брали с заставок древних рукописей. В районе Верхнего Поволжья, где зародился этот художественный промысел, грамотность среди крестьян была распространена шире, чем в других местах России, здесь было много старообрядцев, среди которых имели хождение древние рукописи, поэтому жители этих мест хорошо знали и древнебиблейские изображения и связанные с ними легенды. С. К. Жегалова приводит записанное одним исследователем объяснение старого крестьянина по поводу изображения сирены, или фараонки, как называли ее в крестьянском обиходе: «Крестьянин подробно рассказал легенду о переходе евреев через Черное море и о преследовании их фараоном, добавив, что когда фараон потонул, то и стал наполовину рыбой, наполовину человеком». Резчики изображали фантастические эти существа на свой лад, соотнося с тем, что видели в повседневной жизни. «Так, в человеческих лицах львов и сирен можно наблюдать черты окружавших резчика людей (львы изображаются нередко с кудрявыми бородами, как у старообрядцев Заволжья, у сирен — волосы с прямым пробором и широкие русские лица). Фантастические птицы — сирины или павы нередко под резцом мастера превращаются в обычных домашних кур».

Известное представление о духовном мире крестьянина прошлых времен, о поэтических воззрениях, распространенных в крестьянском быту, можно составить, познакомившись с книгой С. К. Просвиркиной «Русская деревянная посуда».

Приведу всего несколько строк, касающихся обыкновенной солоницы.

«В крестьянском быту, — пишет Просвиркина, — хлеб и соль всегда пользовались большим уважением и занимали особое, почетное место в праздничных торжествах и свадебных ритуалах, поэтому и деревянная солоница особенно заботливо украшалась резьбой или росписью». Рассматривая различные виды солониц, автор обращается к солоницам XVIII века, в резьбе которых еще заметны традиции прошлого, суть которых прежде всего в том, что когда-то резьба солониц не только служила элементом украшения, но и заключала в себе глубокое содер-

жание. «Известно, что в узоре выемчатой резьбы основным являлось изображение круга, производных от него розеток и сегментов, ромбов и что в этом было скрыто символическое изображение солнца как первоисточника божества в древней «естественной» религии земледельца». Встречаются солоницы, на которых вырезаны изящно сплетенные корзины с пышными цветами, в чем легко распознать влияние культуры дворянских усадеб конца XVIII столетия.

Если говорить о художественных вкусах крестьян, то они подвержены были влиянию и тех по преимуществу западных норм, какие стали утверждаться в среде поместного барства после екатерининского указа, освобождавшего дворян-помещиков от обязательной военной службы. Указ этот позволил служилым дворянам вернуться в свои имения и заняться хозяйством. Началось массовое строительство усадеб и городских дворянских домов. По-иному, во многом отлично от допетровских традиций, стал складываться помещичий быт.

В создании обстановки этих новых дворянских гнезд, в украшении их и в убранстве принимали участие мастера из дворовых крестьян, в том числе и столяры-мебельщики, наши отечественные Кола Брюньоны. Вот эти-то мастера — культурный их кругозор, понимание прекрасного и наторелость в ремесле — прежде всего и возникают в воображении, когда читаешь книгу З. П. Поповой, хотя автор исследует не только художественный стиль русской мебели конца XVIII века, но и другие, специальные вопросы, относящиеся к теме.

Об одном из таких крепостных мастеров можно составить себе некоторое представление, прочитав описание двух выполненных им ломберных столов.

«Столы украшают картины, мастерски выполненные техникой набора. На одной из них изображена улица Константинополя, на другой — колоннада в саду великого султана. Кроме того, на подстолье дан ряд выжженных бытовых картинок. Включение в общую композицию картин, выполненных набором и выжигом, характерно для русской мебели наборного дерева конца XVIII в.

Изображения, служившие мастеру оригиналом для картин, найти не удалось. Надписи на латинском и французском языках говорят, что гравюры перенесены на доски столов техникой набора.

Не найдены также аналогии для картинок, выжженных на подстольях. Некоторые элементы архитектуры зданий, изображенные здесь, говорят о близости их западноевропейским картинкам народного характера. Возможно, что оригиналами послужили рисунки и гравюры, привозимые из-за границы, в которые мастер-исполнитель внес русские народные черты. Так, в одной из картинок изображен на фоне здания с элементами готической архитектуры крестьянин в сапогах, шароварах и кафтане с медведем; на другой — крестьянин в такой же одежде играет на дудке, под аккомпанемент которой идет представление».

З. П. Попова приводит тексты надписей, выгравированных под картинами, в медальоне светлого дерева, в одном случае — на латинском, французском и русском языках, в другом — на латинском и французском. В стиле их, несколько зазывном, чудится голос ярмарочного раёшника, приглашающего к своему ящику с передвижными картинками: «Вид великолепной базилики, построенной императором Юстинианом в Константинополе... Колоннада в саду великого султана».

Современники высоко оценили талант мастера, о чем свидетельствует подпись, которую ему разрешили выгравировать на лицевой стороне доски: «Ево превосходительства действительнаго штатскаго советника

Александръ Васильевича Салтыкова служитель мастеръ Матвей Яковлевъ сынъ Веретенниковъ».

Усадебные парки с их ротондами, гротами и скульптурой, изящный наборный паркет дворцов, резьба на дверях, лепка и роспись потолков, мебель, люстры и канделябры, шкатулки, кареты — словом сказать, все, что украшало быт именитого дворянства, было исполнено руками художников по преимуществу из крестьян, из простонародья. Блистательное это искусство послепетровской поры просуществовало чуть ли не полтора столетия. Барокко, классицизм, ампир — все эти художественные стили, отвечавшие настроению умов и вкусам европейских народов тех времен, оставались, однако же, глубоко национальными, русскими.

И в допетровской Руси были талантливые мастера-художники.

«Число искусных мастеров, некогда весьма небольшое в Московии, в наше время сильно увеличилось и самые мастерства в высокой степени усовершенствовались». Эти слова принадлежат послу герцога Тосканского Якову Рейтенфельсу. Я взял их из книги научного сотрудника Государственного исторического музея Н. Р. Левинсона «Мастера художники Москвы XVII века», вышедшей в 1961 году.

Москва в этой книге — художественный центр огромного государства, со всех концов которого сходились сюда наиболее талантливые мастера. В Москву поступали предметы искусства, изготовленные в других местах страны и за границей. Здесь можно было найти резную кость из Холмогор или Тобольска, эмали из Киева, металлические изделия из Великого Устюга, Тулы, Устюжны, тверские, ярославские и вологодские полотна, нижегородские поделки из дерева. В Москве торговали произведениями художественных промыслов Китая и Голландии, Ирана и Франции, Индии, Италии, Кавказа, Бухары. Московские мастера, говорит Левинсон, обогатившись новыми впечатлениями от самых разнообразных товаров и в то же время крепко усвоив дедовские традиции производства, создали новые произведения, отличавшиеся характерными национальными признаками своей эпохи.

Художественный вкус наших предков был настолько развит, что даже надписи на сосудах, на колоколах и пушках, на вышивках и каменных надгробиях делались по специальным эскизам, исполнявшимся художниками-словописцами.

Остается сказать еще о книге Л. С. Ретковской «Вселенная в искусстве древней Руси», изданной в том же 1961 году. Она вызывает ассоциации неожиданные и удивительные. Исследовав некоторые иконы и фрески, Ретковская рассказывает, как представляли себе русские люди давних времен строение вселенной, как отвечала церковь на вопрос о мироустройстве, всегда занимавший человека. «В работе показано,— говорится в предисловии известного знатока древнерусского искусства Н. Н. Воронина,—как шаг за шагом на протяжении столетий церковь была вынуждена сдавать свои позиции в этом вопросе, каждый раз пытаясь защитить любыми средствами библейскую концепцию геоцентризма». Однако не только этим интересна книга Ретковской. Иконы и стенные росписи храмов были своеобразными книгами для неграмотных, поэтому картины мироздания, изображенные на них, являются как бы отпечатком тех мыслей, какие волновали воображение многих людей прошлого. И нельзя не присоединиться к следующим словам профессора Воронина: «Советским людям, которым посчастливилось быть современниками и участниками великих побед социалистической науки и видеть, как сияющей звездой чертила в ночном небе свой путь созданная человеком планета, нельзя забывать о том многовековом, извилистом и тяжком пути раскрытия мысли, который был пройден нашим народом». Остается только добавить, что не так уж много времени прошло с того дня, когда был

запущен первый наш спутник, а сегодня в ознаменование первого в мире полета советского человека в космос учрежден праздник День космонавтики.

Почти все книги, о которых идет речь, выпущены были издательством «Советская Россия», которому каждый, кому удалось их прочитать, несомненно, будет благодарен. Беда лишь в том, что издавались они в количестве тысячи, двух тысяч экземпляров и в первые же недели по выходе становились библиографической редкостью. А теперь издание подобных книг и вовсе прекращено. Между тем Исторический музей в Москве располагает огромным числом предметов древности и старины, в том числе особенно интересными памятниками крестьянского искусства, известны же они лишь узкому кругу специалистов.

Мне кажется, что не только люди, причастные к той или иной отрасли русской истории, заинтересованы в изданиях Исторического музея. Вероятно, они вызвали бы интерес и за границей, особенно в славянских странах. Надо бы лишь озаботиться полиграфической стороной дела, главным образом качеством иллюстраций, которые в такого рода книгах важны не меньше текста.



МУБЛИЩИСТИКА

Е. ТЕМЧИН

★

ЖИЗНЬ ТРЕБУЕТ

Моей поездке в цех-автомат Первого подшипникового предшествовал короткий разговор с главным инженером завода, на котором я тогда работал.

— Поезжайте и все хорошенько осмотрите. Вероятно, кое-что нам пригодится,— сказал он.— Разумеется, такие автоматы, как у них, нам пока создать не под силу, но вот к всевозможным транспортным устройствам, к бункерам, дозаторам стоит приглядеться повнимательнее. Они недорогие и не особенно сложные. Их бы мы вытянули. В общем поезжайте. Посоветуйтесь с Дербишером. Он там у них главный автоматизатор...

В те дни в инженерной среде было много разговоров о вступающем в строй первом цехе-автомате на ГПЗ-1. Много было споров. Одни утверждали, что строить такой цех, создавать заново оборудование — слишком дорогое удовольствие (затраты не окупятся), что вместо этого нужно бы всерьез заняться автоматизацией отдельных станков, на них «отрабатывать автоматiku» и тогда уж, обеспечив тылы, двигаться вперед. Другие доказывали, что путь, выбранный подшипниковцами, — единственно правильный. Только такой революционный путь позволит сделать бросок вперед. Третьи считали, что и цех нужно строить и об автоматизации действующих станков нельзя забывать. Словом, в точках зрения недостатка не было.

В нашем конструкторском бюро также шли отчаянные споры о путях автоматизации и механизации производства. Мы завидовали подшипниковцам. Еще бы! Мощные проектные организации, институты, заводы — все работало на этот уникальный цех-автомат. Совершеннейшие машины, станки, приборы, созданные в последнее время конструкторами-машиностроителями, приборостроителями, электриками, должны быть сконцентрированы в этом чудо-цехе. На нашем заводе о таком могли лишь мечтать.

Конструкторы провожали меня напутствиями:

— Посмотрите у них бункерные системы... Поинтересуйтесь вертикальными транспортерами... Не забудьте об инерционных подъемниках...

...И наконец вот он, цех-автомат. Он, кажется, до отказа набит техникой. Агрегаты тянутся один за другим длинными серыми рядами, приземистые, внушительные. А над ними текут ручейки колец, роликов, шариков. Ручейки берут начало из главных транспортеров — толстых стальных коробов, мягкими петлями опускаются вниз. В прорези ручейков-коробов видно, как одна за другой детали будущих подшипников двигаются к автоматам.

Удивительна эта концентрация механизмов и машин. Удивительно то, что делают они: обтачивают, шлифуют, полируют — выполняют десятки операций, необходимых для того, чтобы куски стального прутка превратились, как говорят техники, в «опору качения», а проще — в обычный подшипник. Но автоматы не только выполняют механическую обработку — они измеряют параметры колец и роликов, сортируют их: годные направляют на дальнейшую обработку, брак сбрасывают с лотков в сторону. Мало того, автоматы собирают из разрозненных колец и роликов подшипники, а затем смазывают их и аккуратно обвертывают, каждый отдельно, в вошеную бумагу...

Здесь были сотни вещей, интересовавших меня, начальника заводского конструкторского бюро. Листки блокнота быстро покрывались эскизами, схемами. Как знать: может быть, эти эскизы со временем обретут материю, превратятся в механизмы, автоматические устройства. А разве исключено, что они станут прототипами новых, более совершенных устройств, которые начнут работать и на моем заводе? Автоматизация и механизация — конечная цель любого производства, мечта любого конструктора, технолога, мастера...

Рядом со мной от агрегата к агрегату ходили люди с такими же блокнотами. Примостившись на какой-нибудь станине, они старательно чертили... Видимо, не только на нашем заводе интересовались цехом-автоматом. Люди эти тоже спрашивали Дербишера...

Мы отыскали его. Он принял нас у себя, в отделе автоматизации и механизации. Отдел родился недавно. Он тоже был первенцем на столичных заводах. Александр Владимирович Дербишер был его начальником.

Мы засыпали его вопросами. Спрашивали о рентабельности цеха-автомата и о принципах работы отдельных агрегатов, о подборе кадров и о бункерных загрузчиках. Нас интересовало все.

Дербишер поднимал руку, призывая к тишине, широко, радостно улыбался и, откидывая со лба легкую светлую прядку, отвечал на вопросы. Языком математика он доказывал целесообразность организации цеха-автомата и отдела автоматизации...

— Первый ГПЗ пойдет по пути создания отдельных цехов-автоматов,— говорил он.— В последующие годы мы объединим их транспортными системами, займемся автоматизацией управления...

Перед нами, посланцами с других предприятий, был человек, окрыленный идеей комплексной механизации и автоматизации, человек, поверивший в эту идею, преданный ей. Был 1956 год.

Второй раз мы увиделись с Дербишером в несколько иных обстоятельствах.

В Кремле закончилось Всесоюзное совещание работников промышленности, на котором выступал Н. С. Хрущев. На совещании была выдвинута весьма интересная идея: на базе передовых заводов создать образцово-показательные предприятия. Собрать там все лучшее, все последние достижения в области механизации и автоматизации, организации производства, отработать все это на образцово-показательных и уж потом распространить на остальные заводы. Вроде как отраслевые школы технического прогресса. В каждой отрасли промышленности должно быть по одному-двум образцово-показательным заводам.

Тогда-то, после кремлевского совещания, и встретились мы второй раз с Дербишером. Теперь он работал главным инженером завода. Его служебное перемещение имело глубокий смысл. Дело в том, что автоматизация стала главным направлением развития завода. Кому же, как не Дербишеру, крупнейшему специалисту в этой области, и вести завод по главному направлению?

С прежней увлеченностью рассказывал он мне, теперь уже корреспонденту газеты, о перспективах завода, о планах комплексной механизации и автоматизации производственных процессов. Планы заметно расширились и как бы повзрослели. На заводе будет действовать еще четыре цеха-автомата. Подготовительные работы идут. Инженеры и ученые ищут наиболее эффективные решения. Весь вопрос упирается лишь в сроки. А технически это дело вполне реальное. Есть уже серьезные наметки и даже детальные проекты.

— Теперь, я думаю, дела с автоматизацией пойдут быстрее. Необходимый толчок дан,— говорил главный инженер.— Весь вопрос пока упирается в средства. Нужны деньги, нужны проектировщики, нужна солидная экспериментальная база. Теперь вряд ли нас будут зажимать. Всем ведь стало ясно, что с автоматизацией нужно торопиться...

Эта встреча была в 1958 году.

И вот снова я в кабинете у главного инженера Первого подшипникового. И снова разговор о судьбах автоматизации, о заводских делах. Первый цех-автомат уже давно отлажен. Закачивается отладка второго такого цеха. По своей технической оснащен-

ности, или, как говорят инженеры, «по степени совершенства», он на голову выше первенца. Это понятно. У проектировщиков накопился опыт. На заводе получили широкое развитие службы автоматизации, различные отделы и подотделы, конструкторские и технологические бюро, службы реконструкции. Сотни высококвалифицированных специалистов готовят завод к новому броску вперед. Замыслы стали еще обширнее. Ведь вопрос стоит так: автоматизация и механизация не только технологических процессов, но и управления производством — кибернетика на службе у промышленного предприятия. Одним словом, планов много. Немало среди них и таких, которые прошли все многочисленные стадии утверждений и согласований. Их решено внедрять.

Но отчего у главного инженера неважное настроение? Почему так сдержанно и осторожно говорит он о будущем завода? И почему вопросы о том, когда вступит в строй тот или иной цех-автомат, заставляют его подолгу размышлять?

— Трудно сказать,— отвечает он в таких случаях.— Мы предполагали...— И, назвав срок, тут же добавляет: — Если ничто не помешает...

— Что именно может помешать? Ведь график составлен, утвержден всеми, от кого зависит его выполнение. Люди эти взвесили все возможности прежде, чем поставить свою фамилию на документе. Не так ли?

Дербишер молчит.

— Сейчас работы ведутся по графику? Выдерживается он?

— Нет. Мы уже запаздываем на год...— И поднялся, давая понять, что разговор окончен.

Как непохожа эта встреча с главным инженером на две предыдущие. Почему так неуверенно говорит он о будущем? Куда девался прежний его оптимизм?

Чем глубже вникаешь в заводские дела, чем больше беседуешь с людьми и знакомишься с цифрами, тем отчетливее видно: с автоматизацией неблагополучно.

Сразу же после памятного всем совещания в Кремле коллектив завода начал разрабатывать планы технического перевооружения. Он создал такие планы. На протяжении семилетки должны быть завершены работы по реконструкции и автоматизации основных цехов. Совнархоз, Госплан, Госкомитет по машиностроению и автоматизации — все согласилось с планами подшипниковцев. Утвердили сметы на строительство новых цехов, на приобретение новых автоматических линий. Словом, никого «за». Все «за».

И вот каково положение сегодня.

Планом предусмотрено закончить все первоочередные строительные-монтажные работы к 1964 году. К этому сроку на заводе должны быть возведены корпуса новых цехов, реконструированы старые. Для того чтобы план был выполнен строителями, требовалось ежегодно расходовать по три миллиона рублей.

Работники отдела автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения Госплана СССР против этого не возражали.

— Надо так надо. Стройте, реконструируйте. Мы понимаем, как это важно — автоматизация производства.

Так говорили в Госплане. Говорили до тех пор, пока не настал срок платить. Вот тут-то и начался обратный ход.

— Что? Три миллиона ежегодно? Нет, такой роскоши мы вам не можем позволить. Берите половину...

— Но ведь у нас план. У нас все рассчитано, все учтено. Сорзем автоматизацию,— сопротивлялись подшипниковцы.

— Ничего не поделаешь. Больше дать не можем,— отвечали им.

«Больше не можем»,— эту фразу слышал я много раз от работников Госплана товарищей Деятова, Плужникова, Добычина.

— Мы не можем дать больше,— говорят руководители отдела автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения.— Ведь у нас не один подшипниковый завод. Другие тоже требуют денег на строительство и реконструкцию. Но все запросы в полном объеме мы удовлетворить не можем: не хватает средств. Приходится дробить фонды между многими заводами.

Все это печально. «Дробить» — значит срывать сроки реконструкции не одного, а нескольких предприятий. Ведь если заводу отпускают средств меньше, чем было запланировано, то какие-то объекты не будут введены в срок. Значит, весь план будет сорван и предприятие не получит, как предполагалось, экономического эффекта от реконструкции.

Однако вернемся на Первый подшипниковый. Из-за недостатка средств здесь задерживается не только строительство корпусов, но и оснащение цехов автоматическими линиями.

Вот весьма характерный пример.

Сейчас на заводе начато сооружение крупнейшего в мире цеха-автомата для выпуска роликовых подшипников. По планам предполагается закончить строительство цеха в 1962 году, с тем чтобы в 1963 он уже работал. Иными словами, за два года нужно оснастить цех автоматическими линиями. Предприятия Московского городского совнархоза должны за это время изготовить пятьдесят семь линий. Но на 1962 год в план включено всего двенадцать линий, а на 1963 год — шесть. И получается, что вместо пятидесяти семи к концу 1963 года завод получит только восемнадцать автоматических линий. Таким образом, срыв плана автоматизации уже обеспечен, а это как цепная реакция повлечет за собой немало неприятных последствий. Ведь не оснастив линиями один цех, заводы-изготовители не смогут перейти к производству оборудования еще для двух других цехов — тех, которые намечено ввести в эксплуатацию в 1964 и 1965 годах. Так осуществление великолепной идеи — организовать на крупнейшем в стране подшипниковом заводе к концу семилетки образцово-показательное производство — оказалось под серьезной угрозой.

Есть ли возможность выправить создавшееся на ГПЗ-1 положение?

Прежде чем ответить на этот вопрос, следует поговорить вот о чем. У нас существует практика — все особо важные, имеющие государственное значение объекты включают в так называемые «именники». Объекты, записанные туда, обеспечиваются всем необходимым в первую очередь. С ГПЗ-1 получился казус. Завод в «именник» попал, а автоматические линии, которые должны работать в его цехах, в нужном количестве в этот список не были включены ни в 1960, ни в 1961 году.

Работники завода пытались доказать, что для организации автоматизированного производства нужны автоматические линии, а потому следует «именник» пересмотреть. Но получали всегда один ответ:

— В постановлении о реконструкции завода ваши линии поименно не перечислены? Нет. Значит, вам они не нужны!

Так говорят и заместитель начальника отдела автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения товарищ Девятов и другие сотрудники этого отдела. Вникнем, однако, поглубже в суть дела. Фактически два отдела Госплана решают судьбу автоматизации ГПЗ-1. Отдел машиностроения распределяет по отраслям автоматические линии, а отдел автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения распределяет эти линии среди своих заводов.

Перед нами «именники» 1961 и 1962 годов. Вот как распределены в них линии. На 1961 год ГПЗ-1 выделено шесть линий, ГПЗ-9 (другому подшипниковому заводу) — три линии. На 1962 год: ГПЗ-1 — двенадцать линий, ГПЗ-3 — две, ГПЗ-5 — четыре и так далее. Причем все эти заводы (кроме ГПЗ-1) комплексно автоматизировать в ближайшие годы не предполагается. В результате таких действий одного из отделов Госплана осуществляется «лоскутная» автоматизация. Заводы получают автоматические линии на отдельные операции, а не на технологические процессы в целом, и сама идея автоматизации теряет всякий смысл. Если на заводе токарные операции выполняются по автоматическому циклу, а последующие — шлифовальные, — как и прежде, вручную, то нет никакого смысла и в автоматизации. Именно так происходит сейчас на некоторых подшипниковых заводах. Вместо того чтобы действовать концентрированно, отдел автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения Госплана занимается распылением средств. Это не обеспечивает ни увеличения производительности труда, ни экономической эффективности.

* * *

После XXI съезда КПСС был создан Государственный комитет Совета Министров СССР по автоматизации и машиностроению. И сразу же его работники стали готовить исходные данные для организации в различных отраслях промышленности образцово-показательных предприятий. Институты Госкомитета повели эту работу в хорошем темпе. Четыре месяца спустя техническая документация уже была готова. Было определено не только количество заводов, подлежащих реконструкции, но и четко указано, какому заводу сколько средств нужно, кому какие линии дать в первую очередь, во вторую, намечены сроки ввода в эксплуатацию этих линий. Цифры брались не с потолка, а были плодом серьезной работы, углубленных инженерных расчетов. Казалось бы, сразу должно начаться дело. Но пошла стадия согласований. И ушло на нее ни много ни мало — около полутора лет. Причем в каждой инстанции, будь то Госплан или Госэкономсовет, ГНТК или ВСНХ, все считали своим долгом оставить какой-то след в этом документе. И оставляли. После каждого «согласования» в перечне работ недоставало то одного, то другого пункта.

— Утвердили бы хоть общий список заводов, подлежащих реконструкции,— сетовали работники Госкомитета по автоматизации и машиностроению.

Этот список наконец увидел свет. От обширного, технически обоснованного документа, который пошел на первое «согласование», остались рожки да ножки.

Теперь институты Госкомитета должны подготовить новый документ. Сзынова будут определены объемы работ по каждому попавшему в список заводу, будут определены размеры капиталовложений, номенклатура линий, очередность их изготовления и монтажа и г. п. Словом, все сначала.

Идет 1962 год. До конца семилетки осталось не так уж много. Будут ли реконструированы попавшие в список заводы? Ведь их только в машиностроительных отраслях двадцать! Трудная это задача.

Если неважное положение сложилось на ГПЗ-1, находящемся в привилегированном положении по сравнению с некоторыми другими заводами, то там дела обстоят еще хуже. На ГПЗ-1 один цех-автомат уже работает, в ближайшее время должен вступить в строй второй, началось строительство третьего... А на остальных девятнадцати ничего этого нет. Дело в том, что эти заводы («согласования») то затянулись на полтора года) только сейчас, наконец, попали в «именник». И естественно, институты, которые должны были бы подготовить проекты перевооружения, не приступали к работе. Как можно проектировать, если не определены объекты реконструкции?

Если поначалу дело комплексной механизации и автоматизации считалось ударным, то теперь совершенно отчетливо наметилась тенденция превратить его в обычное, рядовое. Эта тенденция заметна и в действиях планирующих органов, и в самом Госкомитете по автоматизации и машиностроению, и в некоторых совнархозах. Посудите сами, все будущие опытно-показательные предприятия сосредоточены в четырнадцати экономических районах. Но проектов реконструкции предприятий до сих пор нет. Более того: по восемнадцати заводам из двадцати проектные организации еще не приступили к делу, так как Госпланы республик и совнархозы не выделили средств на проектные работы. Председатель Государственного комитета Совета Министров СССР по автоматизации и машиностроению товарищ А. И. Костоусов направил письмо в Советы Министров республик с просьбой ускорить финансирование проектных работ. Но пока лишь один совнархоз из четырнадцати сообщил, что необходимые фонды отпущены. Тринадцать же совнархозов все еще чего-то ждут.

Время идет, сроки производства работ нарушены, они то и дело переносятся, и никто не несет за это ответственности. Большое дело автоматизации предприятий движется вперед со скрипом.

Вот характерный пример. Московский завод «Фрезер» решено сделать опытно-показательным. Завод заключил с проектными организациями договора, в которых указаны сроки окончания работ. Специальное конструкторско-техническое бюро инструментальной промышленности (СКТБИ) в прошлом году должно было сдать заводу проекты линий и отдельных автоматов для производства резьбонарезного инструмента. Но

и по сей день завод этих проектов не получил. Не выполнило своих обязательств и Московское специальное конструкторское бюро (СКБ-6). Еще в 1960 году оно должно было сдать проект автомата для обработки метчиков. Идет 1962 год, а проекта у «Фрезера» все еще нет. А как идет финансирование? Для того, чтобы внедрить в производство автоматические линии, заводу нужно на этот год полтора миллиона рублей. Отпущено же вдвое меньше. Подобных примеров можно привести немало.

Зачем же составлять планы автоматизации, если заведомо известно, что они не будут подкреплены ни технически, ни экономически? Разве можно планировать вообще, не подкрепляя каждую строчку плана конкретными, реальными делами?!

Автоматических цехов без автоматических линий в природе не бывает. Это общеизвестно. И если, к примеру, решено строить на ГПЗ-1 автоматизированный цех роликовых подшипников, которому необходимы пятьдесят семь линий, то всем здравомыслящим людям ясно, что восемнадцать линиями здесь не обойтись. Арифметика простая.

Возникает вопрос. Разве в центральном планирующем органе сидят люди, не сведущие в делах промышленности, не знакомые с математикой? Не специалисты?

Нет, там сведущие инженеры. Они все отлично понимают. Так в чем же дело?

Резонный ответ на этот вопрос дал А. Е. Прокопович — один из крупнейших наших станкостроителей, начальник управления Госкомитета по автоматизации и машиностроению.

— К сожалению, вся беда заключается в том, — сказал он, — что развитие мощностей для технического перевооружения наших заводов происходит неудовлетворительными темпами. Уж раз взялись за автоматизацию предприятий, стало быть, следует и соответствующую техническую базу подвести под это дело.

* * *

Положение у работников Госплана тоже незавидное. Понятно, не от хорошей жизни пытаются они временными мерами как-то выйти из положения. Всем понемножку, а досыта никому — так можно определить политику Госплана в создании образцово-показательных заводов. Но это не выход. Так где же он?

Думается, есть два пути. Первый — до минимума сократить список предприятий, которые намечено превратить в образцово-показательные. Это позволит действовать концентрированно, положит конец «лоскутной» автоматизации. В самом деле, какой смысл распылять средства между десятками предприятий и затягивать их реконструкцию? Ведь каждый год такой затяжки лишает наше народное хозяйство больших выгод. Тот же автоматический цех карданных подшипников ГПЗ-1, вступил он в строй год назад, уже принес бы немалый экономический эффект. За год можно было бы сэкономить четыре тысячи тонн подшипниковой стали. Производительность труда в этом цехе втрое больше, чем в неавтоматизированном. Подшипники, изготовленные на линиях, вдвое долговечнее. Вот чего лишилось наше народное хозяйство. Подобных примеров неиспользованных возможностей можно привести великое множество.

И второй путь — организовать производство автоматических линий на заводах крупнейших экономических районов. Московский городской совнархоз два года назад именно так и поступил. Три завода были реконструированы и соответственно оборудованы для выпуска средств автоматизации и механизации. Это был смелый эксперимент.

Не все соглашались тогда с работниками совнархоза в том, что подобный эксперимент целесообразен. Как в любом новом деле, скептиков хватало. Сейчас их нет. Бывшие скептики стали яркими приверженцами политики совнархоза. Но вот беда. Мощностей трех столичных заводов все же не хватает, чтобы насытить автоматическими линиями промышленность. Если бы москвичам помогли другие совнархозы: Горьковский, Саратовский, Харьковский! Право же, дела с автоматизацией получили бы широкий ход. Подумать об этом стоит. Только гнать нельзя. Каждый потерянный год дорого обходится нашему народному хозяйству.

Что же происходит сейчас? Заводы, подлежащие автоматизации, вынуждены сами изготавливать для себя линии и отдельные автоматы. К примеру, ГПЗ-1 должен изготовить девятую автоматических линий. Причем нужно учесть, что завод этот по профилю весьма далек от станкостроения. Подшипник и... современная автоматическая линия! В то время, как машиностроение остро нуждается в подшипниках, мощности крупнейшего специализированного предприятия отвлечены на выполнение работ, не свойственных этому заводу. Получается как бы замкнутый круг. Выпуск машин сдерживается подшипниковой промышленностью, а ГПЗ-1 и другие заводы заняты самооснащением. Любому инженеру понятно, насколько нецелесообразна эта затея.

Чем же объясняется такая странная, с точки зрения общегосударственных интересов, политика? Объясняется она очень просто. У Госплана есть цифра. За семилетку необходимо произвести определенное количество автоматических линий. Мощностей специализированных предприятий явно не хватает, а план выполнять надо. И вот тем же подшипниковцам говорят:

— Мы разместили заказы на столько-то автоматических линий, а вам нужно значительно больше. Хотите быть заводом-автоматом — остальные линии делайте сами. Считайте это для себя «волевым» заданием.

— Но это же экономически нецелесообразно! — возражает завод. — Вместо специализации — натуральное хозяйство?!

— Верно, — отвечают в Госплане. — Но лучше натуральное хозяйство, чем ничего.

Вместо того чтобы организовать специализированное производство средств автоматизации, Госплан идет по линии наименьшего сопротивления. Так проще и хлопот меньше. К сожалению, в некоторых наиболее мощных совнархозах следуют той же политике.

Автоматизация производства — важнейшее условие создания в стране материально-технической базы коммунизма. Дело это чрезвычайной важности, и решать его нужно не кустарными способами, а кардинально. Социалистическое планирование — это прежде всего экономически и технически обоснованные задания. «Волевые» принципы наносят большой вред, ибо вносят дезорганизацию в наше народное хозяйство.

* * *

Специалисты подсчитали, что для решения вопросов комплексной механизации и автоматизации должны на полную мощность работать тридцать четыре специализированных предприятия по изготовлению автоматических линий. Это только на первое время. Сейчас работают единицы. Притом даже они в довольно значительной степени загружены выполнением сторонних заказов.

Итак, строить или не строить? Если строить, то как? Эти тридцать четыре должны быть новостройками или их следует создавать на базе ныне действующих, по образу и подобию созданных Московским совнархозом? Строить заново — дело долгое и дорогостоящее. С этим согласны все. Проще реконструировать действующие предприятия. Но какими они должны быть?

А. Е. Прокопович выдвигает идею, заслуживающую серьезного внимания.

Он считает, что в будущем, когда встанет вопрос о ежегодном изготовлении автоматических линий не десятками, а тысячами — мощные специализированные заводы в том виде, в каком их собираются строить, не нужны. Для тридцати четырех таких предприятий потребуется несколько миллионов квадратных метров площади. Во сколько же обойдется их строительство! Нужно еще добавить, что сборочные цехи будут носить характер транзитного, пересыльного пункта. Там из узлов, поставленных по кооперации, должны собирать автоматические линии. Затем следует их разобрать, отправить на завод, где они должны работать, и там, в заводских условиях, снова собрать и отладить. При этом завод, собирающий автоматические линии, получает узлы из других городов, а затем отсылает те же узлы, но уже скомплектованные, в пункты, расположенные далеко от того города, где они были изготовлены. Так, московский завод «Станколония» получает узлы и агрегаты из Харькова, Киева,

Ленинграда и т. п. и в свою очередь посылает их заводам-потребителям в приволжские города. Целесообразно ли это? Нет. Отказаться от такой традиции — значит сэкономить только на транспортных перевозках десять—пятнадцать процентов от стоимости каждой линии.

И еще один фактор подтверждает целесообразность идеи А. Е. Прокоповича.

Монтаж линий на месте, где они должны работать,— это выигрыш во времени. Так в свое время было на ГПЗ-1. Завод получил отдельные узлы, и специальные наладочные группы монтировали их в будущем цехе-автомате. Никакой промежуточной сборки не было. Удалось выиграть целый год.

Итак, какими же должны быть предприятия, занимающиеся автоматизацией? Прежде всего это мощные конструкторские бюро и не менее мощные службы по наладке. Они должны быть мобильны — ездить по заводам, монтировать и налаживать линии на местах. Конструкторским бюро необходима и солидная экспериментальная база, где следовало бы собирать первый, головной образец автоматической линии, где можно «доводить» тот или иной узел.

Думается, такое решение наиболее правильно в сложившейся ситуации. Оно обеспечивает и выигрыш в сроках и экономическую целесообразность.

До сих пор речь шла об автоматизации и механизации главным образом основного производства. А как же обстоят дела с комплексной механизацией и автоматизацией? Ведь автоматические линии, о которых речь шла выше, предназначены для основных цехов. Но, кроме них, на любом заводе есть цехи вспомогательные: заготовительные, термические, кузнечные и т. п. Есть, наконец, огромные складские помещения. Как правило, там еще преобладает ручной труд. Потери здесь огромны. На заводах это отлично понимают и по мере сил занимаются механизацией. Но ведь лишь по мере сил! Это, так сказать, работа вне программы, а следовательно, и ведется она без должного размаха. Механизацией все занимаются постольку-поскольку, но кто же займется ею по-настоящему, всерьез? Ведь дело это огромнейшей важности. Резервы, тающиеся здесь, трудно даже подсчитать.

Некоторыми заводами и институтами накоплен немалый опыт механизации. Настала пора обобщить, систематизировать этот опыт, отобрать наилучшие инженерные решения и двинуть их в промышленность. Кто бы мог заняться такой работой? Пока никому. Для этого нужен специализированный институт механизации трудоемких процессов. Он просто необходим. Собрать в одних стенах несколько сотен человек, энтузиастов механизации,— не такая уж трудная задача. А пользу от такого института трудно переоценить.

* * *

Я не мог в этих заметках коснуться всех вопросов автоматизации и механизации: и сделал лишь попытку проанализировать существующее положение. Оно заставляет серьезно задуматься.

XXII съезд партии поставил перед нашей промышленностью большие задачи. Автоматизация и комплексная механизация — залог наших успехов в создании материально-технической базы коммунизма. Вот почему нельзя спускать на тормозах важнейшее дело создания образцово-показательных автоматизированных заводов. Каждый потерянный день не возвратишь!



В МИРЕ НАУКИ

КИРИЛЛ АНДРЕЕВ

★

МОЯ ВСЕЛЕННАЯ

1

Чистые и просторные дали того необыкновенного времени, в котором мы живем, всегда освещены немеркнущим светом из будущего, отблеск которого падает и на наши лица. Иногда это пленительные огни фейерверка, блеск праздничной иллюминации, приносящие к нам радость грядущих побед. Иной раз это тусклое пламя, бушующее в еще не построенных печах, огни городов, еще не нанесенных на карту. А в иные дни все вокруг заливают ртутно-фиолетовое, призрачное пламя испепеляющей плазмы — той плазмы, что будет ярче и горячее всех самых неистовых, взрывающихся звезд и все же станет верно служить нам, как послушное земное солнце.

Когда в снежную зимнюю ночьходишь в странно цилиндрическое, окруженное соснами здание синхрофазотрона в атомном городе Дубна, то кажется, что попал в какое-то иное измерение, на какой-то космический корабль, мчащийся сквозь чудовищную черноту межзвездного пространства. Все вокруг так необыкновенно, непохоже ни на что, кроме разве какой-нибудь постройки марсиан. Становится реально ощутимым беззвучно ревуший поток времени, мчащегося в будущее. И вдруг вспоминаешь: ведь это простая обыденность наших дней — и для тех, кто работает здесь, и для тех, кто утверждает соответствующую статью бюджетных ассигнований на нашу науку, и для тебя самого, и для всех тех, кто рядом с тобой живет, работает и борется, никогда не забывая о будущем.

Вероятно, нечто подобное переживает космонавт, когда, поднявшись на лифте на вершину гигантской ракеты, он, словно с крыши многоэтажного дома, в последний миг перед полетом оглядывает Землю. И какой бы простой ни была картина, открывающаяся его глазам, — нежная прелесть первой весенней травы, пышные зрелые поля, созревшие для жатвы, или бесконечные белые равнины, покрытые сверкающим снегом, — все равно он никогда не забудет этой минуты: ведь он на вершине своей жизни, накануне великого полета к звездам.

Вспоминая свои студенческие годы, я всегда пытаюсь восстановить ощущение того времени, когда мы, молодежь двадцатых годов, впервые ощутили дуновение ветра из будущего.

Нет, мы пришли не в законченное здание в строгом классическом стиле, с неизменным фронтоном и сухими колоннами, где бородатые профессора с высокой кафедры вещали бы нам истины. Здание науки было еще недостроено: где-то зияли провалы в стенах, казалось возведенных на века, строгую классику порой сменял ультрасовременный конструктивизм, а перед самым фасадом вдруг вставали смелые по формам строительные леса. Правда, программы наук не выходили за пределы девятнадцатого века. Как последнюю новинку мы изучали «сирену Каньяр де Латура», фонограф Эдисона, опыт Фуко и микрофон с угольным порош-

ком. Говорить же об опытах Герца, лучах Рентгена и открытии Беккереля считалось слишком экстравагантным, чем-то близким к обсуждению возможности жизни на Марсе...

Но век двигался своим неотвратимым путем. Неудержимым потоком хлынуло на нас новое: еще неизвестные у нас теории, необыкновенные открытия в физике, астрономии, химии, недавно вышедшие книги, последние номера журналов. Люди уезжали в заграничные командировки и возвращались, буквально распухнув от новостей. Воскресенье было самым тяжелым днем: нужно было успеть и в Театр революции, где на утренних концертах перед неопитами раскрывался мир новой музыки, побывать в Политехническом музее, на поэтических диспутах, где Маяковский читал стихи, спорил и разговаривал с аудиторией, которая, подобно французскому конвенту, была разделена на враждебные партии (мы, сидевшие на самом верху большой аудитории, были «монтаньярами»).... Академик П. П. Лазарев, казалось, захватил все общественные залы Москвы. Он читал лекции буквально обо всем: о Курской магнитной аномалии, о приложении физики в биологии, о новейших открытиях наук. В Москву из Ленинграда приезжали представители новой школы советской физики во главе с академиком Иоффе... Как жадно мы тогда впитывали все новое, ставшее впоследствии содержанием нашей жизни!

Студенческий обед в те годы был несложен: суп из соленого леща или в лучшем случае «суп из бараньих глаз», на второе — тот же «соленый лещ из супа» с перловой кашей, которая называлась «шрапнель». Хлеб в просторечии именовался «глиной», так как и по консистенции и по вкусу он мало отличался от природной глины, и его выдавал лишь черный цвет. Но нас это вполне устраивало, вернее — не интересовало. Нас волновало только одно: то, что входило в нашу жизнь с лекциями, новыми книгами, впервые услышанными мелодиями, невиданным оформлением улиц и площадей в праздники — все, с чем мы сталкивались в наших бесконечных блужданиях по городу. Это было ощущение необыкновенной величины и величия мира, его многообразия и сложности, непередаваемое чувство движения всего мира в будущее во всем его яростном великолепии.

Хотя шли уже двадцатые годы нашего века, мы лишь теперь узнавали об опыте Майкельсона, толкнувшем Эйнштейна к разработке его теории относительности. До тех пор мы не очень ясно различали слова «радий» и «радио», хотя те из нас, что имели классическое образование, совершенно правильно производили его от латинского слова «радиус» — луч. Но очень скоро мы опередили наших профессоров, неуверенно толковавших о когерерах и колебательных контурах, и стали мастерить самодельные приемники. И когда конец дрожащей пружинки касался крохотного кристалла, мы, слушая лепечущие в эфире невнятные голоса, еще раз ощущали, что живем совсем в ином мире и ином пространстве, чем наши отцы и деды.

Кто-то из нас достал дешевый спинтарископ. В маленькой латунной трубочке величиной с катушку для ниток помещался экран, покрытый сернистым цинком. На другом конце отверстия было закрыто увеличительным стеклом. В середине трубочки помещалась крохотная иголка, которая перед установкой была приведена в соприкосновение с флаконом, когда-то содержавшим радий. И когда в темноте мы смотрели в стекло, то видели, что экран светится. Но свечение это было беспокойным, скорее оно походило на блеск отдаленной туманности или вспышки потока падающих звезд. Это альфа-частицы, которые извергала почти несуществующая крупинка радия, вспыхивали, ударяясь об экран. Мы наяву видели даже не атомы, а их осколки! Снова — в который раз! — мы ощущали, что и материя, заполняющая пространство, иная, чем представляли ее себе наши отцы и учителя!

Наш жадный интерес к миру носил не только пассивный характер. Мы страстно хотели взять в руки лом и крушить им ветхие стены некогда величественного здания, вооружиться ватерпасом и отвесом, чтобы принять участие хотя бы в возведении лесов вокруг легкого, словно летящего, дворца будущего. Но, увы, в наших руках не было ничего. В наследство от старой России мы не получили ни-

чего: ведь в те годы почти не существовало во всей нашей стране лабораторий, оборудованных современными приборами. Только в начале двадцатых годов, несмотря на скудость средств голодающей страны, академик А. Ф. Иоффе был послан за границу с большой суммой денег для закупки аппаратуры, без которой в те годы не могла быстро встать на ноги наша молодая наука. Ведь даже мы, большей частью «классики» по образованию, твердо знали, что Дедал, прежде чем приступить к постройке Лабиринта на Крите, изобрел топор, пилу, бурав и ватерпас...

Доступнее всего была астрономия. Мы хорошо знали, что до Галилея вся эта наука была визуальной. В лучшем случае можно было похитить отцовский или материнский бинокль или смастерить самодельную трубу из картона и линз, добытых на толкучке. В те дни Москва была довольно темным городом: электричество горело не каждый день, трамваи не ходили, световых реклам тогда никто не знал. Поэтому, бродя по неосвещенным улицам, можно было увидеть почти любое созвездие. Но наша жажда видеть все мироздание сразу не могла удовлетвориться таким осмотром по частям. В поисках подходящего обсервационного пункта мы отыскали большой дом на Долгоруковской улице, с крыши которого можно было увидеть и сверкающую ленту Млечного Пути и слабое мерцание Туманности Андромеды — единственной галактики, кроме нашей, видимой простым глазом, и даже в особо темные ночи — зодиакальный свет; так по крайней мере казалось нам. Однако, пробираясь по темному чердаку, мы однажды едва не попали в засаду. Оказалось, что жильцы дома заподозрили нас в намерении украсть их белье. И нам пришлось позорно бежать: мы понимали, что вряд ли сможем убедить наших преследователей в том, что нас привлекли на чердак жажда знания, любовь к астрономии, а не развешанное там свежевстиранное белье.

Приятно думать, что все участники этой эскапады остались моими друзьями и до сего дня. Один из них ныне академик, другой — член-корреспондент Академии наук СССР, третий — главный редактор большого журнала.

А между тем в большом мире происходили необыкновенные события, которые в той или иной форме становились частью нашей биографии. Тот же Майкельсон, который загадал ученым загадку, которую мог разрешить только Эйнштейн, при помощи мощного интерферометра измерил диаметры самых больших и самых близких к нам звезд — тех, что греки когда-то называли «неподвижными». Из геометрических точек, чего-то вроде фикции, они превратились в такие же миры, как и наш, Солнечный, но только значительно более великолепные. Мисс Ливитт на Гарвардской обсерватории установила, что цефеиды, пульсирующие звезды, которые с точностью хорошего хронометра то вспыхивают, то угасают, обладают странной особенностью: их истинная яркость — светимость, как говорят астрономы, — оказалась тесно связанной с периодом пульсации. Из этого следовал удивительный вывод: достаточно с хронометром в руках определить период пульсации и точно измерить видимую яркость звезды — и мы можем определить расстояние до нее. Это задача, которую может решить школьник. А следовательно — тут голова начинала кружиться от необыкновенных выводов, — эти звезды, которые позже были прозваны «маяками Вселенной», помогут нам, как космическим лотом, промерять окружающий нас мир, и не только близлежащую Неизвестность, являющуюся лишь окрестностью Солнца, в которой в результате многолетнего, тяжкого труда астрономов были измерены параллаксы лишь нескольких звезд, а определять расстояния до других спиральных ветвей нашей Галактики, которую мы пишем с большой буквы, или именуем Млечным Путем, и даже до других галактик, подобных нашей, тех, что Гершель когда-то назвал «Островными вселенными» (быть может, это слово стало таким обыденным, что его следует писать с маленькой буквы?).

Приплюснув наши носы к стеклам витрин, мы жадно рассматривали бумажные обложки новых книг. У нас не было денег на их покупку, но все равно при помощи «студенческого телеграфа» мы узнавали обо всем новом, что происходило в мире. Английские летчики Алькок и Броун перелетели Атлантический океан без посадки. Английский жесткий дирижабль R-34 совершил полет в Америку и об-

ратно. Появились первые радиоприемники на электронных лампах. Сколько приборов, в названии которых имеется слог «трон», обогатили наш язык с тех пор!

Электричество захватывало одну область за другой. В Политехническом музее советский изобретатель Л. Термен демонстрировал возможность электрической музыки: звук и даже мелодия возникали прямо в пространстве, почти эвклидовом, при движении руки музыканта. Академик А. Ф. Иоффе мечтал получить электричество прямо из солнечных лучей. С вершины геликоидальной башни, построенной на Шаболовке инженером Шуховым, неслись над всем миром шаровые радиоволны. И это было для нас праздником грядущей победы!

Нет, окружающий нас мир не казался нам «странным». Мы не были в нем недоверчивыми пришельцами из мира Аристотеля или мира Ньютона, но мы рождались, мы жили в нем: он был нашим домом. Пространства Лобачевского, Римана — любые неевклидовы пространства — были для нас не менее наглядными, чем классическое пространство Эвклида, и мы вполне уютно чувствовали себя в четырехмерном пространственно-временном континууме Минковского...

Навсегда останется в памяти такая сцена. В большом светлом зале собрались все члены нашего коллектива: старые профессора, молодые преподаватели, студенты. По обычаю того времени собравшиеся расселись очень непринужденно и живописно — на стульях, столах, подоконниках, каких-то ящиках, прямо на полу. Была ранняя весна. Где-то совсем рядом деревья шумели младенческой листвой, свежий холодноватый воздух вливался в открытые окна, и был ясно виден путь каждого солнечного луча, отмеченный блеском мерцающих пылинок.

Поднявшийся на высокую резную кафедру, столь неуместную в этой обстановке, очень молодой профессор читал удивительную лекцию. Ему «выпала высокая честь», как несколько старомодно сказал он, ввести нас в мир Эйнштейна.

Он рассказывал о знаменитом опыте Майкельсона, об «эфирном ветре», которого, как показал опыт, не существует, как не существует и самого эфира. Едва дыша мы следили за его мыслью, старались представить себе, какие законы природы существуют в падающем лифте, как время изменяет скорость своего течения на массивных небесных телах, как сокращается длина предметов, мчащихся в пустоте со скоростью, близкой к скорости света...

Странный, непонятный, чуждый мир, к которому невозможно привыкнуть, ни в чем не похожий на окружающую нас Вселенную? Или тот самый мир, в котором мы живем, — самый лучший из миров, потому что мы не знаем никакого другого, — совсем непростой, но великолепный, как не просто бушующее великолепие самой жизни?..

Царила полная тишина. Лишь голос оратора наполнял огромное помещение. Он звучал негромко, модуляции его были самыми простыми, но иногда речь оратора слегка замедлялась: чувствовалось, что он подыскивает наиболее точные и в то же время емкие слова, чтобы наиболее полно, не расплескав, донести до нас многогранную и многоцветную прелесть нового, вечно молодого мира.

Во время одной из пауз я огляделся. Все слушали очень внимательно. Но мне показалось, что профессора и преподаватели, даже самые молодые, не понимают — или, может быть, не принимают? — того, что говорил оратор. Это было видно по выражению лиц, по складкам губ, по блеску глаз. Может быть, они думали, что принять этот мир — для них означает покинуть обжитые квартиры и уютные кабинеты, потерять дипломы, ученые степени и звания и начать жить заново, но уже с ощущением невозвратимых потерь?

А мы, студенты, понимали, или нам это только казалось. Во всяком случае мы твердо знали, что это наш мир, и ощущали его великолепие с такой силой и страстью, как переживаешь первую любовь. Нам казалось, что листья, сорванные весенним ветром, падают по геометрической фигуре декартова листа, что лучи солнца искривляются, проходя мимо тяготеющих масс, и параллельные линии сходятся не в бесконечности, но где-то совсем неподалеку от нас... Пространство Эйнштейна было похоже на блестящее и плещущее море, объемлющее нас со всех

сторон. И нам хотелось кричать: «Таласса, таласса!», — как кричали десять тысяч греков, отступавших по горным тропам, когда морская синева открылась их глазам... Впрочем, кто в наши дни читает Ксенофонта!

Нет, я не собираюсь писать ни мемуаров, ни истории науки тех лет. Просто я пытаюсь передать ощущение того времени. Здесь соединилось все: ветер революции, взрывоподобное развитие науки и наша собственная молодость. Это была эпоха наших великих открытий, подобная почти неповторимой эпохе пятнадцатого — шестнадцатого веков!

Беспредельные пространства, величественные явления природы, тайны материи, заключающие в себе для греков или римлян нечто ужасающее и отталкивающее, неудержимо влекут к себе человека Возрождения и возбуждают его воображение и энергию. Вспомним таких современников, оставшихся навеки современниками всех эпох человечества, как Коперник, Васко де Гама, Магеллан и Колумб. Какой смелостью — не личной, но смелостью мысли и воображения — должны были они обладать, чтобы воднять руку на авторитет древности, проникнуть умом в ужасные бездны космоса или ринуться в ореховых скорлупках в темные, смертельные пучины за пределами Геркулесовых столбов. И сравним с ними Юлия Цезаря, конечно не заслужившего упрека в робости, который, переходя с легионами через Альпы, задержал занавески своих носилок, чтобы вид гор и пропастей не отвлекал его от составления трактата о латинской грамматике. Или силу авторитета Аристотеля, учившего, что насекомые имеют восемь ног: много веков, полагаясь на его авторитет, никто не догадался пересчитать конечности у «шестиногих», как они сейчас называются... Или вспомним философию средневековых схоластов, учивших, что человеческая мысль есть «мученье материи».

С той поры нашей юности сорок лет ушло вместе с ветром. Как восстановить, как вернуть это неповторимое ощущение начала времени и мира, весомое не больше, чем запах, песня или сновидение?

Его можно искать в прошлом. Никакой научный подвиг невозможен без романтики поисков, овеванных высоким и чистым дыханием поэзии науки. Пусть ученые, отделенные от нас веками, были одиноки, пусть оружием их были гусиное перо и разящая сталь чистого и непобедимого, как огонь, разума. Но они боролись, они ошибались, они терпели поражения — и все же торжествовали окончательную победу.

Вспомним Иммануила Канта, создавшего гипотезу о происхождении Солнечной системы, которая в те годы была для него и для всех всей Вселенной. Проницающая сила и высота мысли великого философа были таковы, что отдельные идеи этой гипотезы живы и по сей день.

Вот он сидит в своем полутемном кабинете — очень строгий, тщательно одетый во все черное, в неизменном пудреном парике. Перед ним простой стол, на котором горит одинокая свеча, стоят тяжелая медная чернильница и песочница, лежит стопка аккуратно разрезанных листков пергамента. В руке у него остро очиненное гусиное перо — его единственное оружие.

Трехкрылый силлогизм его мысли облетает всю Вселенную. Как из первичного хаоса холодной и темной материи создать пылающее Солнце, огни звезд, тусклые, зеленоватые туманности, планеты во всем многообразии всепобеждающей жизни и бессмертного великолепия природы?

Мы до сих пор не ответили на поставленный им вопрос, который, по его мнению, был величайшей загадкой Вселенной: что представляет собой и как было создано (не в смысле гворческого акта, конечно) звездное небо над нами.

Много писалось о гипотезах, трактующих вопросы происхождения планет, звезд и Вселенной. Писалось и о теории Канта. Но кто рассказал о подвиге этого человека, создавшего в своем воображении целый мир?

Вильям Гершель свои величайшие открытия смог совершить лишь потому, что сам шлифовал зеркала для своих телескопов, которые в те годы были величайшими и лучшими в мире. В этом тяжком многолетнем труде ему помогала его сестра Каролина: чтобы работа брата не прерывалась, она кормила его, вкладывая кусоч-

ки пищи ему прямо в рот, читала ему вслух, пела ему веселые и меланхолические песни... Но разве сама работа по изготовлению телескопов не была его радостью? И разве не было странной поэзии восемнадцатого века в его словах, когда он на придворном балу, танцую с придворной дамой, сказал: «Миледи, вы знаете, что за сегодняшнюю ночь, пока вы спали, я открыл четыре новых вселенных?»

Юрбен Леверье считался одним из самых строгих (и добавлю в скобках — сухих) ученых девятнадцатого века. Пафос его работы заключался в цифрах: столбцы цифр, колонны цифр, страницы цифр, тома и десятки томов цифр. В этом были его жизнь, его радость и его подвиг. Недаром в одном из некрологов было сказано, что он «перестал вычислять и жить». Все знают, что он «на кончике пера», сидя в кабинете и вычисляя, открыл планету Нептун. Но мы забываем о его поражениях. Он не смог вычислить путь гигантского циклона, который двигался, сокрушая все на пути, из Италии, из Франции. Однако его ошибка стала победой науки: Леверье основал сеть метеорологических станций во Франции, и с этого времени ведет свою генеалогию — хотя вечная мишень для шуток — современная наука о погоде. Кроме Нептуна, Леверье открыл также несуществующую планету Вулкан, и это была одна из самых тяжелых страниц его жизни. Во всей совокупности его труда — и в победах и в поражениях — запечатлен подвиг его жизни. Но кто написал об этом?

Есть одна маловажная, а может быть, и самая важная подробность. Многочисленные ученики и сотрудники Парижской обсерватории, где Леверье был директором, как огня боялись этого человека, казалось полностью лишённого эмоций. Но Фламарион, один из его учеников, вспоминает, что в кабинете грозного директора, на камине, стояла маленькая статуэтка Урании, музы астрономии. И Леверье, которого никто не знал и не видел вне работы, имел привычку время от времени передвигать лампу на столе. Свет и тени пробегали по маленькой фигурке, и казалось, что выражение ее лица меняется: она то хмурится, то улыбается, а иногда, когда свет, отраженный от потолка, освещал ее лицо сверху и тень ложилась к ее ногам, можно было подумать, что она готова улететь к небу...

Но где найти романтику науки наших дней — той науки, что дала нашему времени крылья, чтобы подняться за пределы тяжкого тяготенья нашей Земли? Может быть, в литературе?

Увы! Эту поэзию нашей науки вряд ли найдешь в бородатых ученых, докторов, профессорах и академиках — героях иных романов и повестей, — называющих друг друга «батенька». И еще меньше ее в наших научно-популярных книгах, где люди мало чем отличаются от того пресловутого «путешественника» задачников нашего детства, который «выехал из города А в город Б».

Мы привыкли ассоциировать понятия поэзии и романтики с чем-то далеким, странным и необыкновенным. Это очень точно и лаконично выразил замечательный английский писатель Вильям Хадсон в названии своей книги «Давно и далеко». Это традиция Шатобриана и романтиков, которая была из литературы перенесена в реальную жизнь.

Еще в 1768 году французский мореплаватель Бугенвиль посетил остров Таити и описал быт полинезийцев как райскую жизнь людей, не знающих бед европейской цивилизации и не заботящихся об одежде и пище. Это было вполне в духе Руссо и французских просветителей восемнадцатого века. Отсюда родились и добродетельные герои Бернардена де Сен-Пьера (целомудрие его Виргинии было столь велико, что она погибла во время кораблекрушения только оттого, что не хотела, чтобы ее спасал голый мужчина). Эта традиция была столь живуча, что даже в конце девятнадцатого века Гоген бежал на Таити, чтобы вернуться к первоисточнику искусства. Сила традиции такова, что в словах иных представителей литературы и искусства: «Я ничего не понимаю в науке» — звучит какое-то горделивое чувство, а не стыд человека, стремящегося убежать от своего времени. В астрофизике существует такой термин: «скорость ускользания» (по-английски — «скорость бегства»). Это скорость, при которой молекула газа, например атмосферы,

покидает свою родную планету, так как тяготенье уже не в силах ее удержать... Как часто подобной величиной мы характеризуем достоинство произведения литературы или искусства!..

Пусть живопись, музыка, поэзия, да и вся литература (вернее, ее представители) порой не нуждаются в науке. Но наука нуждается в искусстве. Без поэзии, без романтики, без эмоций невозможен смелый научный поиск. Для того, чтобы найти золотое яблоко успеха из сада Гесперид, нужны бесконечные цепи ассоциаций. Чтобы уничтожить непобедимую энтропию, Максвеллу были нужны его «демоны». Не случайно Гамильтон назвал свой линейный оператор «набла» именем древнееврейского музыкального инструмента и символически обозначил его перевернутым треугольником. И есть бесспорная закономерность в том, что величайший математик нашего времени А. Н. Колмогоров ищет точное определение сущности жизни.

Наука в наши дни стала другой. Это видно по тем «научным приборам», которые помогают ученым делать открытия: синхрофазотрон с магнитом весом в тридцать шесть тысяч тонн; батискаф, способный выдержать давление в десять тысяч атмосфер; космический корабль, взлетающий в черное небо Вселенной. Но разве иссякла романтика открытий? Разве перестала поэзия науки привлекать сердца?

Когда-то, сорок лет назад, видеть и понимать поэзию науки меня научил мой учитель — профессор математики, позже академик Иван Иванович Привалов.

Это был очень скромный, не очень заметный человек. Он был хорошим, но не блестящим лектором. Объяснялось это, вероятно, тем, что он настолько был обитателем страны математики, что все ее положения и выводы казались ему бесспорными и ясными. Он считал совершенно ненужным объяснять такую азбучную истину, что наше пространство описывается тензором четвертого ранга. Когда что-то казалось нам неясным, он на все наши вопросы отвечал несколько странной фразой: «Математику нужно знать, а не понимать».

Он стремился быть пунктуальным — видимо, в этом была его гордость, — но по рассеянности не всегда укладывался в отведенные ему часы. Однако бывали дни, когда официальный материал был исчерпан и оставалось свободное время. Тогда он, стоя у черной доски, как у модели мира, сведенной на плоскость, крошил в руке мел и говорил тихим голосом:

— Возьмем латинскую букву «е», основание натуральных логарифмов...

Именно с этой буквы и с этой фразы начинался вдохновенный рассказ, за которым почти невозможно было следить. Здесь было все — и теория лабиринтов, и «праматери» Гёте, и «цепи маргариток» — «цепи Маркова», как говорим мы сейчас, — и «мисс Ана Литика», как ее величают американские студенты, и односторонние поверхности Мёбиуса, и Лемниската Яковлевна Бернулли, и задача о кенигсбергских мостах, и псевдосфера Бельтрами, где реальна лишь геометрия Лобачевского, и наконец несобственная точка Дезарга, где в конце концов существуют бесконечные параллельные линии...

Именно тогда я впервые понял, что Пегас древних греков был порождением эвклидова пространства — недаром он не мог подняться выше гордой вершины горы Геликон, где утолял жажду из источника Иппокрены, понял, что он не смог бы взлететь во Втором гильбертовом пространстве, каким, по-видимому, является наш мир, — ему, вероятно, не хватило бы двух крыльев. Но одновременно я понял, что нельзя разорвать гриедино связанные понятия: Науку, Искусство и Человека.

Наш блистающий бесконечными гранями день — это завтрашний день для тех, кто мечтал о нем, кто вызывал его в жизни, но остался на дороге: с пульей в сердце либо сложенный предательством и бедой, но никогда не побежденный — ведь человека нельзя победить. А для нас самих сегодняшний день — это огромная вершина, с которой видно очень далеко — и прошлое и будущее. Как увидеть окрестность нашего дня не в туманной дымке раннего утра, но в полном блеске полуденного солнца?

Бывает так, что натыкаешься в книге на какой-нибудь удивительный факт: новое открытие в науке, неизвестное тебе историческое событие, впервые увиденный путешественником пейзаж — и вот листаешь энциклопедию, перебираешь карточки на хорах Ленинской библиотеки, роешься в справочниках, идешь по библиографическим вехам от книги к книге. Постепенно накапливается огромная мозаика фактов, до конца не осознанных, лишь отдельных мазков еще не написанной картины. И вдруг вся эта ткань, собранная так кропотливо, словно вспыхивает нестерпимым огнем. Начинаешь видеть не вещь, не черепки древней цивилизации, но людей — ученого, путешественника, человека рассвета цивилизации. И испытываешь необыкновенную радость — радость открытия и творческого вдохновения!

Так электронный луч в иконоскопе, пробегая по отдельным элементам мозаики, нанесенной на слепое стекло, заставляет их на мгновение вспыхивать. И на зеленоватом экране телевизора появляются люди, расцветают их улыбки. Или, лучше, колбочки и палочки сетчатой оболочки наших глаз передают в мозг разрозненные сигналы из внешнего — но все равно нашего! — мира, и мы видим его чистые просторные дали во всем их живом и многоцветном великолепии.

Все, что собрано в течение жизни, бросает свой свет — особенный у каждого — на окружающий его мир. И вот наступает момент, когда уже не хватает воспоминаний и книг, но нужно самому войти в этот живой мир, потому что невозможно в наши дни быть лишь наблюдателем, но, как музыканту, слушающему ораторию, хочется присоединить свой голос к поющим.

Мне захотелось увидеть во всем его многообразии и сложности Большой Дом Человечества — нашу Вселенную. Мне захотелось пройти по институтам нашей страны, войти в лаборатории, встретиться со своими старыми друзьями — как человек прошлого приходит к своим потомкам, чтобы проверить сказанное кем-то пророчество: «Какими вы будете».

Но это будет не реляция об одержанных победах и не отчет о проделанной работе. Список сделанного нашей наукой для народа известен: недаром она ныне стала одной из производительных сил страны. Когда пытаешься понять, как складывался характер человека, рассказ о каких-то ошибках и поражениях стоит иной победы. Ведь памятники ставятся не только победителям, но и тем, кто выстоял или погиб, не сдавшись. И горечь утраты иногда стоит дороже праздничной иллюминации!

Хочется вспомнить памятник Неизвестному астронавту, который поставят в далеком будущем, описанный польским писателем-коммунистом Станиславом Лемом в фантастическом романе «Магелланово облако».

«На гигантском осколке метеорита, таком черном, будто на нем запекся мрак бездны, в которой он кружил нескончаемые века, лежал навзничь человек. Днем этот упавший колосс виден из самых отдаленных пунктов города. Обломок ракетного оперения пронзает его грудь. Сейчас, в отблесках зарева отдаленного города, гигант утратил свои очертания. Складки его каменного скафандра темнели, как расселины скалы. Человеческой была лишь голова — огромная, тяжело закинутая назад, касающаяся виском выпуклой поверхностью камня...»

Много столетий люди мечтали о Городе Солнца, о стране Утопии, где исполняются все желания и разбиваются все цепи, сковывающие поработенное человечество. Многие писали об этом книги взрывчатые, как порох или, лучше, как плутоний, начиная с Томмазо Кампанеллы и Томаса Мора и кончая Гербертом Уэллсом. Но утопия по-гречески означает «место, не существующее нигде». Это лишь тень от призрака, точка на неначерченной карте, страна, куда не ведут никакие пути. Они не знали или не понимали, что будущее коммунистическое общество не будет открыто, как смелый путешественник открывает неизвестный материк, но будет завоевано в суровой борьбе, полной тяжких поражений и жестоких утрат. И даже последний утопист уходящего мира Герберт Уэллс, несмотря на свою беспокойную веру в человечество и социализм, отнес коммунизм в далекое будущее на много веков вперед.

Почему мне захотелось назвать эти записки «Моя Вселенная»?

В наши дни будущее находится рядом с нами — оно в планах, проектах и чертежах. Наука создает сейчас, сегодня в институтах, лабораториях, на заводах то, что завтра взлетит над миром, бросит отблеск своего сияния на оба полушария и изменит облик нашего мира. И мне захотелось рассказать о своей Вселенной — самой лучшей из возможных, где люди трудятся радостно, трепетно и победно, рассказать о еще не решенных проблемах науки, решить которые выпало счастье нам всем, кто живет сейчас и будет жить при коммунизме.

И этот облик грядущего виден в каждом нашем большом деле, в каждом замысле, в каждом праздничном фейерверке, озаряющем наши лица, потому что будущее принадлежит нам!

2

Мы живем на довольно беспокойной и не очень-то благоустроенной планете. Она описывает круги, колеблясь и вращаясь, летит по неустойчивой орбите вокруг Солнца, которое в свою очередь совершает свой великий галактический путь, никогда не возвращаясь на старую орбиту. Если бы человечество родилось сразу во всеоружии современных знаний, как Афина Паллада из головы Зевса, вряд ли у него хватило мужества исследовать окружающий мир. Для того, чтобы изучить механизм мироздания, который древним казался таким устойчивым, нужно верить в то, что ты сам стоишь на вершине незыблемой горы. А на самом деле Земля, состоящая из нескольких оболочек, скользящих одна по другой, по-видимому, неправильно пульсирует, то сжимаясь, то расширяясь, ее скорость вращения то замедляется, то мгновенно становится более быстрой, запутывая тем самым счет времени. Ось планеты не сохраняет неизменного положения. Великое предвращение равноденствий — прецессия — заставляет многие звезды по очереди исполнять обязанности Полярной звезды. Другое движение — нутация — совершенно неправильно изменяет положение полюсов, словно подшипники, в которых вращается воображаемая ось Земли, сильно поизносились и ось мотается, как у велосипедного колеса с восьмеркой, — как не прийти в отчаяние, пытаешься найти свое место между звезд!

Но о звездах и туманностях мы все же знаем больше, чем о собственном доме — планете Земля. По-видимому, материка не имеют «корней», но плавают по твердому морю второй оболочки Земли. В областях, которые геологи именуют геосинклиналиями, земная кора крайне неустойчива: то она оседает, превращаясь в теплые мелководные моря, то вздымается кверху вершинами снежных гор. Твердые реки движутся в глубинах Земли. Там рождаются чудовищные очаги землетрясений, мощность которых в миллиарды раз превышает мощность всех электростанций мира! А вулканы? А гейзеры? А горячие моря, простирающиеся под покрытыми снегом, холодными и плоскими равнинами? А вечная мерзлота, похороненная под опаленными солнцем пустынями Монголии?

И в конце концов мы не знаем — или не можем назвать — истинную фигуру Земли. Земля имеет форму шара, учат нас в начальных классах школы. Потом мы узнаем, что она сплюснута у полюсов, «сфероид» — подобная шару. В университете мы узнаем, что она представляет собой «трехосный эллипсоид». И наконец если мы становимся учеными, то твердо усваиваем: «Земля имеет форму геоида — фигуры, подобной Земле». И мы, совершив круг, возвращаемся к первоначальному положению, но получившему наукообразную форму: «Земля имеет форму Земли».

Когда мы называем Землю нашим домом, то легко можем быть уличены в том, что являемся плохими домовладельцами: мы очень поверхностно знаем поверхность своей планеты и не очень глубоко изучили ее глубины. Школьные глобусы обычно делаются из папье-маше и оклеиваются глазированной раскрашенной бумагой. Так вот: бумажная оклейка глобуса — примерно тот слой Земли, который мы изучили за тридцать или пятьдесят тысяч лет существования разумного человечества!

Что мы знаем о мире во всем его объеме, для которого мы даже не придумали названия и именуем его Большой Вселенной, Метагалактикой, Мегамиром?

Мы все знаем созвездие Большой Медведицы. Это тот минимум астрономии, без которого никто не может обойтись, хотя мало кто знает, что край, освещаемый этими семью звездами, и край, где это созвездие никогда не восходит над горизонтом, получили от него свои названия. «Арктос» по-гречески означает «белый медведь». Отсюда Арктика, «край белых медведей», а также Антарктика, «противолежащая Арктике»... Архитектонику Вселенной можно рассмотреть в ее небольшой детали именно здесь, подобно тому как начать изучение Парфенона с ордера его колонн, а систему готического собора — с конструкции его стрельчатых арок, аркбутанов и контрафорсов.

Четыре блестящие звезды, образующие самый ковш Медведицы, расположены как будто в пустынном и мало заметном уголке неба. Четырехугольник, по углам которого расположены эти звезды, охватывает всего лишь тысячную часть небесного свода. Арабы дали этим звездам звучные названия: Дубхе, Мерак, Фегда и Мегрец. Однако астрономы давно уже не пользуются этими названиями: они предпочитают мало-вразумительные и совсем не романтические, но зато гораздо более точные обозначения по номерам звездных каталогов, где даны координаты расположения этих звезд на небе... Случайный наблюдатель не увидит здесь ничего, кроме этих четырех блестящих звезд. И лишь один из миллиона — а профессиональные астрономы, по-видимому, встречаются не чаще — может промерить в этой черной проруби глубины нашего безграничного мира.

Даже без каких-либо инструментов внимательный наблюдатель в очень ясную, преимущественно зимнюю ночь, когда в атмосфере нет теплых воздушных струй, может насчитать внутри четырехугольника Медведицы десять — двенадцать слабых звезд. Однако, если вооружиться телескопом, микроскопом и звездным каталогом, это небольшое окно открывает удивительный пейзаж неба, который никогда не изображал, да вряд ли и изобразит художник!

На небе появляются цвета радуги: звезды оказываются разноцветными. Одни из них горячие с простыми спектрами, похожими на солнечный, другие — холодные со сложными рисунками спектров. Поразительно разнообразными будут и движения звезд: быстрые, медленные, во все стороны, в том числе от нас и к нам.

Если мы возьмем хотя бы небольшой телескоп, то в ковше Большой Медведицы мы увидим уже больше сотни звезд. Если увеличение будет таково, что будут видны звезды в тысячу раз более слабые, чем видимые простым глазом, то их будет уже три тысячи. В большие телескопы, где можно увидеть звезды в миллион раз более слабые, мы увидим в четырехугольнике разноцветную россыпь из ста пятидесяти тысяч звезд.

Но в телескоп мы увидим, кроме звезд, и совсем иные миры. На краю ковша появится туманное пятнышко в виде диска, похожее на физиономию совы. Это туманность Сова, состоящая из космической пыли, перемешанной с горячим газом. В центре этого облака слабо сияет звездочка двенадцатой величины.

Здесь перемешаны одинокие, двойные и тройные звезды, гиганты и карлики, звезды всех цветов — то ровно горящие в пустоте, то меняющие свой блеск, то окруженные пылью и облаками газа.

Очень слабые, едва различимые пятнышки, разбросанные между звездами, однако совсем не звезды и не туманности, как Сова. Каждое из этих тусклых, едва мерцающих пятен — это целая Островная вселенная, подобная нашей Галактике, состоящая из многих миллиардов звезд. Свет от них идет больше миллиона лет, и их не видно даже в самый большой телескоп: только фотографическая пластинка, которая, не уставая, по крупинке собирает свет несколько часов подряд, может навеки запечатлеть их изображение.

И наконец недалеко от центра ковша в самый сильный телескоп мы можем увидеть удивительное: маленькое пятнышко распадается на отдельные, тускло мерцающие клочья: это целое облако галактик, супрамир, расположенный от нас на расстоянии примерно трехсот миллионов световых лет!

Хаос, в котором нет никакого видимого порядка, смешение звезд, туманностей и систем, бесконечное разнообразие возрастов, движений и расстояний!

Для нас, привыкших к строгой простоте и симметрии архитектурной классики или к лаконичной и выразительной целесообразности архитектуры наших дней, трудно сразу понять пеструю вязь и сложную символику Василия Блаженного и еще трудней понять готику, выражающую очень чуждое нам мировоззрение человека темных веков средневековья с его незыблемой верой в совершенно реальное существование двух миров — земного и потустороннего. Но искусство всегда направлено от человека к человеку, и мысль, страсть, скорбь и радость в конце концов заставят нас понять чувство творца готического собора, почувствовать величие и логику его творения с его сумрачными стрельчатыми сводами, системой арбутанов, переносящих давление на контрафорсы, и стенами, словно потерявшими материальность и превращенными в кружево. И если не умом, то сердцем мы неминуемо поймем, что богатейшее декоративное убранство собора — статуи, рельефы, витражи — иногда конкретно натуралистические, иногда почти нереальные — лишь части огромного общего замысла, аллегории человеческих мыслей и страстей.

Но как найти единство замысла в природе, которую никто не создал, единство в хаосе миров, восходящем в бессмысленной иерархии от элементарных частиц до Мегамира, мертвой Вселенной, лишенной целесообразности, слепой, грубой и беспощадной? Бесконечное разнообразие нашей Земли доступно нашим чувствам непосредственно. И ее великолепие совсем не лишено целесообразности. Это не целесообразность божественного акта творения, но условия существования на Земле жизни и нас самих. Беспощадную энтропию можно победить не парадоксами, а великой и неистребимой силой жизни. Ведь голубое небо над головой создано нами — можно считать доказанным, что кислород земной атмосферы выделился в результате деятельности живых организмов, и азот, по-видимому, тоже является продуктом жизнедеятельности. Окутанные дымкой мягкие очертания холмов, одетые лесом, зеленые вблизи, синие вдали уступы гор, чудесное разнотравье лугов, пышное цветение садов и полей, сырой сумрак и бесконечное разнообразие нежно шумящих лесов — все это создано бесконечной работой жизни, поднявшейся от колышущегося в теплом море студенистого вещества до человека. Не будь жизни, наша Земля была бы совсем иной, мертвой и страшной планетой, с черно-белыми скалистыми горами, с черно-синим океаном: нечеловеческий лунный мир со смертельно ледяными ночами и палящим безжалостным днем.

Но можно ли найти красоту в ужасающей бездне космоса, эмоции в испещренных черными точками бесцветных фотографиях неба, в лишенных как будто всякого смысла и системы то расплывающихся, то тонких полосках спектрограмм?

Великолепное здание мира, воздвигнутое Аристотелем, просуществовало две тысячи лет. Тень великого имени греческого философа словно двумя крылами осенила и античность и средневековье, так как его учение было одинаково приемлемо и для снизходятельного политеизма Римской империи и нетерпимой христианской догматики. Созданная гением величайшего философа древности, система мира была похожа на огромную гору, которую не могут сдвинуть или разрушить никакие силы природы. Она была первым великим синтезом в истории человеческой мысли, отбросившей религиозные мифы, гениальным созданием холодного, но всемогущего человеческого разума.

Это была удивительно гармоническая, словно замкнутая в себя система мира. Она охватывала решительно все: небесные явления, форму и устройство Земли, законы неорганической и органической природы, социальные вопросы и наконец метафизику, как назвал Аристотель последний том своего великого труда. — «то, что идет после физики».

Идея какой бы то ни было бесконечности была полностью отвергнута Аристотелем. Его Вселенная ограничена сферой неподвижных звезд и светил, в

центре которой была расположена шарообразная Земля. Четыре элемента мира — земля, вода, воздух и огонь — были расположены «на своих местах». Поэтому камень падал вниз, стремясь к центру Земли, вода растекалась по поверхности, а воздух и огонь поднимались кверху. Небесная сфера и светила были построены из необычайно тонкого вещества, «пятого элемента» — по-латыни «квинта эссенция». Внутри сферы помещалось все вещество и все пространство. Мерилом времени служило равномерное вращение небесной сферы вокруг центра Вселенной. Любая прямая линия при ее продолжении в конце концов упиралась в небесную сферу. А дальше? Дальше не было вещества, а следовательно, и пространства. Рассуждать об этом было так же бессмысленно, как спрашивать: что находится внутри геометрической точки, или пытаться восстановить к ней четвертый перпендикуляр.

Но даже самое величественное здание не может стоять вечно без ремонта и перестройки. Будучи чистой игрой ума, система Аристотеля очень скоро пришла в противоречие с опытом. Планеты упорно не хотели стоять на месте: они то обгоняли одна другую, то останавливались. Пришлось единую сферу заменить семью сферами, потом ввести дополнительные колеса — эпициклы, объясняющие возвратные движения светил... Не будем подробно останавливаться на системе Птолемея, которую нас всех заставляли изучать в детстве, но в конце концов все это нагромождение сфер, орбит, больших и малых эпициклов стало столь запутанным, что кастильский король Альфонс Десятый, живший в тринадцатом веке, заинтересовавшись астрономией, сказал, что если бы бог посоветовался с ним при сотворении мира, то он предложил бы ему какой-либо более простой план для устройства движения небесных светил, чем система эпициклов.

Обветшавшее здание рухнуло под натиском опыта и смелой человеческой мысли. И, однако, оно было первым великим синтезом, где были ясно и определенно поставлены вопросы о физическом смысле понятий материи, пространства и времени и о связи этих, казалось бы, чуждых друг другу понятий. В физике Аристотеля — завязка того, что сейчас развязывается на наших глазах, над чем работаем мы.

Вторым великим синтезом человеческих знаний, дожившим до наших дней, был синтез Ньютона. Весь период великих исследований Коперника, Кеплера, наблюдений и идей Галилея и Джордано Бруно был воплощен величайшим английским ученым в книге «Математические начала философии природы», вышедшей в 1686 году и ставшей живым источником науки, не иссякшим до сих пор. И не стерлись в памяти человечества слова издателя этой книги математика Котса:

«Едва ли можно передать словами, сколько света, сколько величия в этом превосходном сочинении нашего знаменитейшего автора. Его величайший и счастливейший гений разрешил такие труднейшие задачи и достиг таких пределов, что не было и надежды, что человеческий ум в состоянии до них возвыситься; все это по достоинству составляет предмет восхищения и преклонения всех тех, кто хотя немного поглубже вникает в эти исследования. Таким образом, дверь открыта, и нам предоставлен доступ к познанию прекраснейших тайн природы...»

Ньютон своей теорией строения Вселенной ввел в наше сознание понятие бесконечности, привычное до тех пор лишь одним математикам. Абсолютно чистое, лишённое каких бы то ни было признаков пространство простирается бесконечно во все стороны. В нем могут встречаться все новые и новые звезды, звездные скопления, целые галактики — Островные вселенные, как называл их Гершель, но оно может быть и совсем чистым, лишённым любых точек опоры и все же простирающимся на вечные времена, сколько бы мы ни летели по прямой линии с быстротой мысли.

В этом прекрасном и совершенном по своей чистоте и пустоте пространстве с бесконечных времен и без конца в будущем течет абсолютное время — с одинаковой скоростью от начала (которого не было) и до конца мира (которого никогда не будет).

Эта Вселенная, с которой мы познакомились еще в школе, — нечто странное и трудно постижимое. В нашем повседневном опыте мы имеем дело лишь с относительно небольшими движениями: человек ходит по вагону мчащегося поезда или по палубе корабля, плывущего по течению (или против течения) реки, движущиеся танки стреляют один по другому, — и все это происходит на вращающейся Земле, которая летит по своей орбите вокруг Солнца и в свою очередь стремится куда-то к созвездию Геркулеса в своем бесконечном пути.

Ньютон сам хорошо понимал это. «Возможно, — писал он, — что какое-нибудь тело в области неподвижных звезд, а может быть, и много далее, находится в абсолютном покое, но узнать по взаимному положению тел в наших областях, не сохраняя ли какое-нибудь из них постоянного положения относительно этого, весьма отдаленного тела, нельзя». Ньютону даже пришлось ввести в свою картину мира так называемый принцип относительности движений (как видим, этот термин совсем не принадлежит Эйнштейну, как мы привыкли думать). По этому принципу каждое движение может быть иным, в зависимости от движения наблюдателя, и каждое тело может иметь бесчисленное множество таких движений. Но абсолютное движение может быть только одним — беда только в том, что мы никогда не сможем узнать, каким именно!

В этом учении был какой-то привкус высокого аристократизма. Оно превращало подлинную науку в привилегию каких-то неземных, нематериальных существ. Однако именно это два столетия назад привлекло к нему людей науки, и именно это нравилось некоторым нашим учителям, которые больше всего любили порядок во всем и умели даже Гомера, Геродота и Ксенофонта делать скучными. Нам же, выросшим в реальном и все время меняющемся мире, понятия абсолютного пространства и абсолютного времени не давали покоя: поскольку они абсолютны, они были лишены всякого физического значения, а когда мы пытались сопоставить их с действительностью, они тотчас же лишались абсолютного значения. Бесполезные с эмпирической точки зрения, они преследовали нас, как тень, — в астрономии, в физике, в биологии, в технических науках. Они были как-им-то рудиментарным органом, который уже не нужен нашему организму, но от которого нельзя освободиться без опасности для жизни...

Но мы ни в чем не винили самого Ньютона. Мы всю жизнь бережно хранили его слова — они и сейчас нетленны, словно выгравированные на камне:

«Я не знаю, чем я кажусь миру; мне же самому кажется, что я был только мальчишкой, играющим на берегу моря и развлекающимся тем, что от времени до времени находил более гладкий камешек или более красивую раковину, чем обыкновенно, в то время как великий океан истины лежал передо мной совершенно неразгаданный...»

Тем не менее великий синтез Ньютона был необыкновенно плодотворен для науки. Родилась новая наука, названная небесной механикой. Пять имен великих математиков — Эйлер, Клеро, Даламбер, Лагранж, Лаплас — это пять звезд первой величины. Они полностью изгнали из науки — и тем самым из Вселенной — всякие силы, кроме всемирного тяготения, и не случайно на вопрос Наполеона, почему в книге Лапласа «Изложение системы мира» он нигде не встретил имени бога, великий астроном ответил: «Я не нуждался в этой гипотезе».

Мир, казалось, был устроен раз и навсегда. Звук уже давно был сведен к упругим волнам внутри передающей его среды, будь то воздух, вода или твердое тело. Теплота была не чем иным, как хаотическим движением молекул. Свет стали считать также механическим колебанием мирового эфира, наполняющего всю Вселенную. Исходя из этого так называемого механического мировоззрения Лаплас высказал поистине величественную мысль. Он считал, что если бы существовал такой разум, который мог бы охватить положение и движения всех тел Вселенной, то такой разум мог бы, оперируя лишь одними уравнениями механики, исследовать прошлое и предсказать будущее, узнать, «когда Англия сожжет свой последний кусок каменного угля и турецкий полумесяц будет изгнан из Европы...»

Однако не все было благополучно в этой великолепной постройке. Еще в восемнадцатом веке швейцарский астроном Шезо заметил, что если число звезд во Вселенной бесконечно, то почему мы видим черное небо с отдельными, разбросанными по нему созвездиями, а не равномерно сверкающий свод, равный по блеску Солнцу? Араго пытался объяснить это тем, что, кроме звезд, в пространстве существуют темные тела — угасшие звезды и планеты, которые загораживают идущий к нам свет. Но тогда небо должно было бы выглядеть еще более фантастично: при движении светил одно затмение сменялось бы другим, а звезды то вспыхивали бы, то меркли. Ольберс высказал мысль, что свет поглощается межзвездным газом и пылью. Но если эта темная материя поглощает энергию бесконечно долгое время, она сама начнет светиться... Нет, выхода из этого парадокса не было!

Карл Нейман и Зелигер обнаружили в бесконечности времени и пространства другой, так называемый «гравитационный парадокс». Если количество звезд бесконечно, то и тяготение в любой точке пространства должно быть бесконечно большим. А если число звезд ограничено, то почему эта крохотная горстка давно не растаяла в бесконечном пространстве, как рассеялось бы облако газа, молекулы которого разлетелись бы в пустоте?

Последним пытался спасти систему мира астроном Шарлье. Он построил сложнейшую иерархию из звезд, звездных систем и галактик. Видимые звезды образуют единую систему Млечного Пути, галактику первого ранга. Галактики, подобные нашей, скучиваются в сверхгалактику, систему второго ранга. Так, повышаясь от ранга к рангу, бесконечно вверх растет иерархия Вселенной. При таком сложном устройстве, напоминающем систему толомеевых эпициклов, и при дополнительных условиях — Земля должна находиться в центре Галактики, та в свою очередь в центре сверхгалактики и так далее — уравнения приобретают такую форму, что тяготение будет иметь не бесконечно большую, а неопределенную величину!

И вся эта постройка погружена, как в глубины океана, в мировой эфир. Он совершенно неподвижен — ведь он сам и есть то пространство, где можно отсчитывать расстояния абсолютные по величине и направлению. Он упруг для того, чтобы он мог колебаться, передавая свет, причем колебания эти поперечные, как у твердого тела. Он передает на расстояние силу тяготения и в то же время сам невесом. И сквозь него, нисколько не нарушая его абсолютной неподвижности, как тени, скользят звезды, планеты и даже почти бесплотные кометы?..

Поистине странный, бесконечно противоречивый мир!

Нет, наш мир устроен гораздо проще. И он гораздо нагляднее, чем это предвзято кажется иным робким сердцам!

В этом мире, как во Вселенной Аристотеля, только в ином ранге, неразрывно связаны материя, пространство и время. И это понятно: невозможно представить себе тела вне пространства или пространство, лишенное каких бы то ни было признаков? А время? Разве мыслимо измерение времени без мира или мир без событий?

Наше пространство — а быть может, существуют и иные, даже бесконечные пространства? — искривленное и, по-видимому, замкнутое. Но разве замкнутая поверхность земного шара не более наглядна, чем плоская Земля, простирающаяся во все стороны бесконечно или прикрытая хрустальным колпаком?

Оно безгранично так же, как не имеет видимых границ земная поверхность. Однако мы измеряем площадь материков и океанов и даже всего земного шара. По аналогии пространство Вселенной имеет конечный объем, и поэтому оно свободно от парадоксов бесконечности, подобных парадоксам Шезо и Зелигера.

Оно представляет собой нечто вроде гиперсферы — тела четырех измерений, которое так же отличается от шара, как шар от круга. Тела трех измерений нельзя низвести к двум. Однако каждому инженеру, каждому квалифицированному рабочему известно, что любую деталь, любую постройку можно изобразить на плоском листе бумаги в виде проекций или перспективных рисунков. Подобным

же образом в трехмерном пространстве можно дать объемные проекции тел четырех измерений. Придет время — и, вероятно, очень скоро, — когда мы лучше изучим нашу Вселенную, и тогда мы сможем построить ее модель, которую школьники будут изучать на уроках астрономии...

В этом неевклидовом пространстве время течет с неравномерной скоростью: на очень массивных телах или телах, движущихся с большими скоростями, течение времени замедляется. Отсюда совершенно реально вытекает возможность постройки «машины времени». Это ситуация, получившая огромное распространение во множестве научно-фантастических произведений (преимущественно плохих). Герой такого романа обычно отправляется в дальнее космическое путешествие на ракете, летящей со скоростью, близкой к скорости света. Вернувшись через несколько лет (по своим часам), он обнаруживает, что на Земле протекло несколько столетий. Его радостно приветствуют прапрапраправнуки и его невеста, которая все это время находилась в состоянии летаргического сна, или была заморожена, или законсервирована каким-либо иным способом!..

Замкнутость пространства, однако, не обозначает замкнутости времени. Оно простирается бесконечно, как ветви гиперболы, придавая пленительное своеобразие фигуре Вселенной. Однако здесь начинается математика таких высших рангов, какие не доступны не только простым смертным, но даже такому «любимцу богов», как Галуа, который, быть может, был величайшим математиком мира — но ведь он жил полтора столетия назад!

И наконец это четырехмерное многообразие «пространство — время» расширяется. Весь мир галактик словно разбегается во все стороны — и чем дальше расположены эти Островные вселенные, тем быстрее они улетают от нас. Но это лишь кажущееся движение. На самом деле изменяется лишь шкала расстояний. В подобном положении находился бы рой мух, рассевшихся на поверхности детского воздушного шарика, если бы мы стали его раздувать изнутри. Не трогаясь с места, они постепенно отодвигались бы друг от друга все дальше и дальше, и самые далекие (с точки зрения мухи, которая считает себя главной) скоро бы скрылись за «горизонтом». Подобный «горизонт мира» есть и у нашей Вселенной. Примерно на расстоянии в десять миллиардов световых лет лежит та граница, где «скорость» галактик достигает скорости света, и мы уже не можем видеть то, что лежит за «горизонтом», хотя его реальность не менее иллюзорна, чем тот горизонт, что мы видим с высокой башни или мачты корабля, и мы можем совершить путешествие вокруг Вселенной — пока, конечно, лишь в воображении, как объехать вокруг нашей старой Земли!..

Бесконечно ли будет продолжаться расширение нашей Вселенной? Скорее всего нет. Вероятно, это нечто вроде пульсации — расширение, сжатие — подобно биению сердца. Быть может, мы (мы — это все человечество) увидим когда-нибудь следующий удар пульса мира...

Попытаемся еще раз реально представить себе наш мир. Но будем помнить, что мы не имеем привилегии находиться в центре Вселенной, как учил Аристотель. Наша Земля — такая маленькая в этих масштабах — совсем разная: для обитателя равнин, для жителя гор, для пассажира мчащегося поезда, для водителя реактивного самолета и для космонавта, мчащегося над миром. Если бы существовали интеллигентные, философически настроенные существа величиной с нашу Галактику, то они, вероятно, гораздо лучше нас разобрались бы в иерархии Вселенной, идущей вверх, но, с другой стороны, им вряд ли был бы доступен мир инфузорий, вирусов и элементарных частиц, и они скорее всего объявили бы идеализмом изучение объектов меньших, чем звезды... К счастью, человеческий ум устроен так, что он может с одинаковой легкостью (очень сомнительная легкость!) изучать как супра, так и инфрамир — лишь бы хватало фактов!

В одной из «проекции» наша Вселенная представится наблюдателю чем-то вроде шара — столь же безграничного и в то же время конечного и замкнутого, как поверхность нашей Земли (или любой другой планеты). Но это не идеальная сфера (или гиперсфера четырех измерений) Аристотеля. Звезды, темные облака

космической пыли, гигантские клубы светящегося газа — все массивные тела мира — искривляют пространство, как бы «проминают» его, как проминали бы идеальную плоскость из туго натянутой резиновой пленки положенные на нее тяжелые свинцовые шарики. В другой «проекции» это будет нечто вроде двуполостного гиперboloида с двумя открытыми в бесконечность раструбами, лежащими на оси времени «прошлое» — «будущее»...

Но подобные разговоры об устройстве мира не нравятся, однако, иным философам-догматикам. Воспитанные в духе ненависти ко всему новому, они яростно, хотя и бесплодно, пытались ниспровергнуть Эйнштейна, они запрещали термины «принцип относительности» и «квантовая механика», они объявляли кибернетику «лженаукой». Они договорились до того, что стали утверждать, что «проблема бесконечности Вселенной, бесконечности пространства и времени, абсолютности тех или иных закономерностей и т. д. не может быть компетенцией ни одной из конкретных естественных наук, а является исключительно компетенцией философии...»

Но с каких пор наука перестала проверять свои теоретические положения опытом? А все вышеприведенные данные подтверждены точными наблюдениями и тончайшими экспериментами. Или философия перестала быть наукой? Или она относится к разряду «неестественных» или «сверхъестественных» наук? Или нужно ответить словами английского поэта Джона Элроя Флекера: «Проснись! Мир еще очень юн, несмотря на то, что много лет мы потратили на размышления. Самые жаркие битвы еще впереди, и самые лучшие песни еще будут спеты!..»

Ведь существуют реальные эксперименты, подтверждающие теорию относительности! Разве не искривляется луч света, проходящий вблизи Солнца, причем это искривление двойное — ньютоновское, потому что луч этот материален и обладает «весом», и эйнштейновское, связанное с тем, что массивные тела искажают структуру пространства?

Элементарная частица мю-мезон сравнительно недолговечна: она распадается в какие-то миллионные (или миллиардные) доли секунды. И вот совершенно точно установлено, что в зависимости от скорости этих частиц (а скорость эта определяет их собственное время) изменяется время их существования.

А «красное смещение», как называют астрономы смещение спектральных линий к красному концу, обозначающее разбегание галактик? Это экспериментальный факт, никем не опровергнутый. Простодушные «материалисты» пытались выдвинуть здесь идею о «старении квантов», которые приходят к нам из почти бесконечно удаленных частей Вселенной. Но ведь никто не наблюдал этого «старения». Неужели этих философов устраивает идея «усталой Вселенной»? Тогда вместе с ними и с Космой Индикоплевстом (индоплавателем) будем верить в то, что где-то существуют люди с собачьими головами и «униподы» — существа, закрывающиеся от солнечного жара ступней своей единственной ноги!

Разве не создана была Георгом Кантором почти сто лет назад теория множеств, где бесконечное получило наконец законный паспорт и перестало существовать по странному виду на жительство, где было написано: «Бесконечное это то, что не конечно». Кантор ввел в грамматику классификацию бесконечных множеств. Оказалось, что существуют «счетные» или «исчислимые» множества (остающиеся бесконечными), показал, что возможно определение «мощности» бесконечных множеств и трансфинитные числа.

Разве не существуют больше столетия неэвклидовы геометрии Лобачевского и Римана (и добавим в скобках — Вейлена, Скаутена, Вейля, Картана, Финслера, аффинная геометрия Блашке и проективная дифференциальная геометрия Фубини)?

В результате многолетней совместной работы трех крупнейших американских обсерваторий был подведен итог сложнейших и тончайших наблюдений более чем восьмисот галактик, удаленных от нас в среднем на расстояние около миллиарда световых лет, и был сделан вывод, что пространство имеет положительную кривизну, иными словами, что оно замкнуто.

Конечно, это лишь очень приближенное решение. Моделей Вселенной может быть очень много — до тех пор, пока опыт и наблюдения не дадут нам возможность однозначного решения этих вопросов. Московский астроном А. Л. Зельманов опубликовал в 1959 году в самом ученом журнале нашей страны («Доклады Академии наук СССР», т. 124) работу, где дал ряд частных решений для построения мира. Любопытно, что он показал возможность существования пространства конечного в одной системе отсчета и бесконечного в другой и разобрал такой парадоксальный случай, когда бесконечное пространство составляет в известном смысле часть конечного... Разве можно положить предел нашему воображению или объявить исчерпанной диалектику нашего мира?

Вселенная не обязана быть устроенной так, чтобы нам удобно было ее понять и представить. — даже лицам без специального образования современную науку понять нелегко, как, впрочем, нелегко понять живопись Врубеля и квартеты Бетховена. Но научиться можно; порукой этому — наш современный мир, завоеванный гением, трудом и вдохновением человечества. Оставим древним грекам мудрое изречение: «Человек есть мера всех вещей», а философам-догматикам предложим создать единый фронт с философом-идеалистом А. Эддингтоном (к сожалению, уже покойным). На этот случай у него припасена великолепная цитата: «Мы нашли странный отпечаток ноги на берегу Неизвестного. Мы создали одну за другой много глубоких теорий для того, чтобы объяснить его происхождение. В конце концов нам удалось реконструировать то существо, которому принадлежит этот след. И оказалось, что это мы сами...»

Но пока что такова картина мира, которую мы можем нарисовать. Нет спора, что свет и тени распределены на ней очень приблизительно, краски положены иногда слишком густо, иногда их просто не хватает, а иной раз просвечивает холст. Но эта картина — пусть руками наших далеких потомков — будет дорисована, потому что будущее непобедимо.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

Д. ГРАНИН

★

ОСТРОВ МОЛОДЫХ

СЕНТЯБРЬ. 1961. КУБА

Мы провели на Кубе почти месяц, половину времени затратив на поездки, изъездили остров от края до края, остальное время провели в Гаване, исходив ее всю — от старых душных улочек до шикарных кварталов особняков Мира-Маро.

Первые дни мы просто любовались и смотрели кругом во все глаза, потом стали разбираться, вдумываться в то, что произошло на Кубе. Но, когда мы уезжали, прощались с друзьями, мы признались им, что только теперь почувствовали, как мало знаем о Кубе и ее народе, насколько все сложнее, чем нам поначалу казалось.

Хуан Маринельо — видный общественный и политический деятель Кубы — спросил: как мы будем писать о нашей поездке? Маринельо не только крупный политический деятель — он хороший писатель, поэтому нам было легко и просто говорить о нашей работе. Деликатная форма его вопроса таила озабоченность — в путевых записках всегда есть соблазн поспешных обобщений, опасность в который раз пустить в ход экзотические штампы, ходовые приметы, прельститься тем, что прежде всего бросается в глаза приезжему, клюнуть на туристскую наживку, которой так много на Кубе. Мы уже хорошо понимали, сколь велико подобное искушение, и нам было смешно читать записи наших первых впечатлений.

Конечно, я не сумею рассказать во всей полноте, что такое Куба, кубинский народ и его революция. Я просто расскажу о том, что увидел на Кубе в сентябре 1961 года.

Моментальные фотографии, факты, то, что было, Куба, какой она была, была потому, что жизнь ее идет так стремительно, что сегодня она уже совсем иная.

И все же первые впечатления имели свою ценность. Мне стало это ясно позднее. В их наивности была та непосредственность восприятий, которая исчезала по мере того, как я вглядывался в детали. Это была общая картина, то, что предстает при первом взгляде, когда видишь все разом, та свежесть и зоркость видения, которая делала всегда интересным для меня рассказы людей, впервые посетивших мою страну: они часто замечают то, с чем мы свыклись, что примелькалось и уже не поражает воображения. Вот почему я все же отобрал какие-то страницы из первых записей на Кубе.

Мы побывали во всех больших городах и во многих маленьких захолустных городишках, где все жители собираются вечером на единственную площадь с двумя барами и одним кафе, мы останавливались в крохотных сельских гостиницах и в огромных курортных отелях, самых шикарных отелях, понастроенных по всей Кубе для богатых американцев, с пляжами и бассейнами, с кабаре, где можно увидеть «шоу» — американские ревю с такими «бугами» и «роками», какие снятся нашим стилистам. По вечерам мы спускались в бассейн и плавали в ярко-зеленой воде, просвеченной насквозь мощными прожекторами так, что сверху, с

балконов, тела казались прозрачными, а потом мы шли в бар и сидели на высоких табуретах, обитых красной кожей, и заказывали коктейли и всякие смеси со звучными названиями вроде махита, дайкери, и тут же стоял автомат-радиола, и можно было за пять сентавос заказать любую пластинку. Радиола играла на весь бар, и между пальм и цветников шурша подкатывали огромные сверкающие кадиллаки. Но вдруг радиола начинала играть «Интернационал», и тогда все в баре вставали и подпевали. Пели они немного иначе, чем мы, там было что-то от кубинских мелодий с их страстными и внезапными переходами, и бармен тоже пел, и девушки в бассейне тоже пели, и негры за столиками, но были такие, которые не пели и отворачивались, и мы разглядывали их физиономии, потому что без этого тоже нельзя было понять Кубу.

Мы были на курорте Варадеро, когда туда приехал Рауль Кастро.

Министр вооруженных сил республики казался совсем молодым, моложе своих двадцати семи лет.

Была жара. Он стоял под пальмой, и в его потном мальчишечьем лице, зеленой расстегнутой гимнастерке было что-то совсем наше, комсомольское. Тяжелый пистолет оттягивал его ремень. Рядом стояли адъютанты и сопровождающие: бородачи с автоматами за плечами, все в таких же зеленых куртках, только у Рауля на погонах была плохо различимая звездочка майора. А кругом шумел фешенебельный пляж с мраморными террасами, барами, цветными зонтиками, затейливо выгнутыми тентами. С появлением Рауля все мгновенно изменилось, обрело иной смысл.

В высоких солдатских ботинках они шли по золотистому песку, и чувствовалось, что они хозяева и что все кругом подчиняется законам революции, а не доллару. Среди всех этих курортников в изысканных костюмах, ярких халатах и купальниках зеленые куртки были самым главным, самым красивым, самым настоящим. К Раулю сбегались со всех сторон отдыхающие, среди них были парни в больших темных очках, были женщины в немислимых купальниках, браслеты и бусы блестели на их темной коже — и вдруг оказывалось, что Рауль знает их по имени, что они вместе воевали, оказывалось, что это каменщики из Матансаса, учитель из Санта-Клары. Они фотографировались с Раулем, заставляли его становиться и так и этак, и он послушно выполнял их просьбы. Они говорили ему «ты», хлопали по плечу, и его адъютанты не обращали на них никакого внимания, они посматривали туда, где стояли мужчины со стиснутыми губами и женщины, которые провожали это шумное шествие ненавидящими взглядами.

Потом мы ходили с Раулем Кастро по отелю, и он с открытым любопытством осматривал холл, гостинные, рассказывал, что впервые приехал на этот знаменитый курорт, никогда раньше, до революции, ни он, ни Фидель не могли здесь бывать — такие тут были высокие цены.

На Кубе, где зимой температура воды двадцать градусов, на Кубе до революции кубинцы почти не купались. Кубу называли островом без моря. Все пляжи принадлежали частным лицам или клубам, дорогим курортам, куда могли ездить лишь немногие.

— Рауль! Рауль! — восторженно кричали мальчишки.

И во мне шевельнулось что-то полузабытое, не памятью разума, а скорее сердца — те комсомольцы, которые уходили на гражданскую войну: юнгштурмовки, романтика первых лет революции, нэпманы... А потом я вспомнил тяжесть пистолета на своем ремне, войну, и наши зеленые пропотевшие гимнастерки, июльское солнце, и бомбежку под Батецкой...

Поначалу мы никак не могли совместить революцию со швейцарцами в красных livреях — они стояли у подъездов отелей и рестораноу и любезно распахивали дверцы автомобилей. С одним из них в кабаре «Тропикано» мы разговорились. Сын его учится в Москве, в университете, и отец хочет под Новый год поехать к нему погостить.

Механик Оринальдино учил меня раскуривать гаванскую сигару, а в памяти моей возникали давние карикатуры на капиталистов: в детстве капиталисты каза-

лись нам обязательно толстыми, в цилиндрах и с толстой гаванской сигарой в зубах.

По обочинам дорог стояли белыеobelisks с изображением мадонны и серые камни с высеченными именами и датами; даты смерти — это годы борьбы, по 1958 год. Куда бы мы ни ехали, всюду сопровождали нас этиobelisks — то были могилы павших за революцию, героев партизанской войны, освободителей Кубы. И нам уже не казалось, что кубинская революция совершалась с песнями и танцами под звуки гитары. Да, были песни, звенела гитара, и лилась кровь, двадцать тысяч патриотов отдали свою жизнь ради победы революции.

Хороший наш товарищ и чудесный поэт Пабло Фернандо спросил меня:

— Ты думаешь, наша революция политическая? Нет, она поэтическая! Когда Фидель со своими двенадцатью соратниками ушел в горы Сьерра-Маэстра и объявил войну режиму Батисты, целому государству со всем полицейским аппаратом, армией — что это было такое? Это была поэзия, а не политика! Только поэт мог решиться на такое!

Мы ожесточенно с ним спорили — о политике, о поэзии, о Маяковском, о Дзержинском, о религии, Голивуде, о смысле полетов в космос, — и все это тоже была Куба, ее взбудораженные, порою еще путающиеся поэты и художники. До поздней ночи мы бродили с ними, слушая их горячие споры о свободе творчества и о том, имеет ли право поэт в годы революции писать о цветах и закатах или должен писать агитки и наступать на горло собственной песне и работать, как Маяковский.

Зажигались рекламы кабаре и ночных клубов — на каждом шагу были кабаре, и бары, и шикарные отели, потому что американцы приезжали на Кубу развлечься и старались превратить ее в большое веселое кабаре.

А над морем гасли закаты, небо наливалось зеленью, проступали лимонные и пунцовые полосы, краски быстро сменялись, переходя все оттенки. Закаты на Кубе волшебны; притихнув, мы смотрели на это безмолвное полыхание красок, чувствуя, что тут можно говорить только стихами. Наступала ночь, и на рейде вспыхивали огни советских танкеров, и мы снова ходили по набережной Сень-фуэго, что в переводе значит «сто огней». Молодой поэт Лиссандро рассказывал нам про Хэмингуэя и про художников-абстракционистов, которые первыми приняли революцию.

Мы жили в одном из маленьких рыбацких городков. Там отель не имел никаких бассейнов и даже не было кондиционированного воздуха, и мы задыхались от жары и лежали на каменном полу — так было чуть прохладней.

Город был украшен портретами Гагарина, и через улицы были протянуты обрезки штампованной жести, они звенели и блестели на солнце, и весь город был в этом звенящем серебре, а дальше, на холмах, стоял большой тихий поселок из розовых, и голубых, и бледно-зеленых коттеджей с безлюдными террасами и чистым асфальтом широких пустынных улиц. Строители заканчивали новый поселок для рыбаков. Мы ходили по еще пустым домам, там уже стояли качалки и столы и блестели кольчатые шланги душ. Каждый из шестисот коттеджей в три-четыре комнаты рассчитан на одну семью и бесплатно будет предоставлен рыбакам, которые сейчас живут в старом поселке. Нет, наверное, по всем законам контрастов нам следовало сперва посетить их нынешние жилища, а потом поехать в этот поселок. Но тут никто не заботился об эффектах, и все получилось наоборот.

Даже в картинах итальянских неореалистов, которые точно изображают трудности, мы не видали такой бедности и убожества, как в старом рыбацком поселке, каких еще много на Кубе. Пахло гнилой рыбой. Зеленоватая жижа стекала по канавам между лачуг, сколоченных из консервных ящиков. Всюду хлюпала грязь. Люди ходили по шатким доскам, прыгали с камня на камень. Весь этот поселок из сотен лачуг утопал в непросяхающей грязи. Тут же среди развешанных сетей бегали голые ребятишки, в чанах варили сардины, на разостланной по грязи парусине сушились нежно-розовые креветки, отливающие перламутром.

А внутри домов — накиданное на доски тряпье, лохмотья; и женщины стряпают на доисторических очагах, сложенных из камней.

Здесь жили и умирали поколения кубинских рыбаков. И вот сейчас семья рыбаков готовилась к переезду в просторные каменные дома на солнечном холме. Революция круто изменила их жизнь, из этой лачуги они попадают в дом, где будет ванная, электрический свет, цветник у террасы, асфальт, просторная кухня с газом и горячей водой. Эта революция была для них, они готовы биться за нее насмерть. При словах «Фидель», «Хрущев» закопченные, измученные лица женщин вспыхивали такой любовью, от которой щемило сердце.

Где бы мы ни ехали, повсюду мы видели, как строятся новые поселки и кварталы новеньких многоэтажных домов для рабочих, как сносят трущобы. Иногда мы останавливались, заходили, знакомились с теми, кто уже переехал, поселился в этих новых квартирах, а иногда лишь проносились мимо россыпей свежеекрашенных коттеджей, и я замечал, как виденное наращивается в душах наших спутников. Среди нас — гостей конгресса писателей Кубы — были поэты, писатели, художники из Латинской Америки. Они приехали из Колумбии, Эквадора, Венесуэлы, Парагвая, Боливии, Бразилии. Они восхищались, они пылливо расспрашивали новоселов — крестьян, солдат, — записывали, фотографировали. Это не было туристским любопытством, они работали без усталости, страстно завидуя, стараясь понять, сопоставить со своей страной, как бы примеривая, потому что Куба — часть Латинской Америки, связанная с ней языком, всей своей историей, культурой. Для них Куба — будущее их родины. И только через них я постиг до конца смысл лозунга, начертанного на всех стенах, повторяемого на всех митингах: «Куба — свободная территория Америки!» И в особом символическом значении увиделся мне большой ключ, изображенный на государственном гербе Кубы.

По дороге к горам Эскамбрея у шалашей, сложенных из пальмовых листьев, сидели вооруженные милицианты, пылали костры, проносились на джипах лейтенанты, повсюду в зелени тростников блестели пулеметы — шли учения. Всякий раз, когда мы встречали отряды народной милиции, все в автобусе вскакивали, кричали, приветствуя, «Родина или смерть!», а наш шофер поднимал два пальца вверх.

— Как это замечательно — вооруженный народ! — сказал мне Хесус Лара, боливийский писатель. — Революция — прекрасное дело.

К нам обернулся Анелло, художник из Уругвая.

— Компаньерос, революция еще более прекрасна, когда в ней участвуешь.

Молодой колумбийский скульптор Альфредо Кастаньелло задумчиво сказал, ни к кому не обращаясь:

— Если Куба сделала это, то почему мы не можем?

Перед отъездом, когда мы бродили по улицам Гаваны, Анелло сказал мне:

— Приезжай к нам через год, вот увидишь — у нас тоже будет к тому времени революция.

Тогда еще не были закрыты казино. В душном зале без окон крутилась рулетка, бежал шарик, плечистые крупье в черных костюмах сгребали столбики фишек. У зеленых столов толпились женщины с напудренными плечами, мужчины в потных рубашках, какие-то бледные юнцы. А у входа сидела, покачиваясь на табуретке, девушка с автоматом на коленях, она останавливала входящих женщин, просила их открыть сумочки. Она заглядывала в сумочки, не обращая внимания на усмешки, непреклонно, зорко, потому что в таких душоисто-розовых зевах пронесли взрывчатку, и в универмагах, школах гремели бессмысленно жестокие взрывы, которыми контрреволюция пыталась запугать народ.

Толстый черный карандаш прыгал в руках Анелло. Вырвав страницу, он прижимался к рисунку снова, пока с треском не захлопнул блокнот. Его лицо, жесткое, сухое, похожее в профиль на лицо индейца, выражало какое-то веселое отчаянье. Никак не удавалось нарисовать эту девушку так, чтобы за ней вставал

этот многоэтажный американский отель — символ вчерашней Кубы — и чтобы были яркие огни Гаваны, и неподалеку детский сад, построенный совсем недавно, и надпись на стене: «Если американцы не могут перенести в девяносто милях от себя социализм, пусть переселятся». И этот пьянящий воздух Кубы как будто с еще слышным запахом пороха, с морем, королевскими пальмами...

— Хватит, — сказал я, — сколько можно, так ты никогда ничего не нарисуешь.

— Но если брать все отдельно, — сказал он, — это будет не Куба. Тебе легче, ты можешь написать обо всем сразу.

— Попробуй, — сказал я, — разберись в этой путанице. Тут такие несовместимости, столько противоречий. И как рассказать, чтобы все увидели эту девушку и твои картины, услышали шум площадей (помнишь митинг в Сантьяго?) и увидели глаза Фиделя, и услышали ночные выстрелы, и почувствовали вкус жареных бананов...

— И баккарди...

— Да, и баккарди...

Мы представляли, как нам будет трудно, каждому по-своему, и злились на свою беспомощность, и ничем не могли помочь друг другу. Но, честное слово, мы ни от чего не хотели отказываться, и мы обещали ни от чего не отказываться потому, что одно мы уже твердо усвоили — такой Революции нужно все, она не боится правды, такая Революция только выигрывает от правды.

АЛЬФА РЕВОЛЮЦИИ

Закрытие конгресса алфаветисадорес — ликвидаторов неграмотности — происходило в огромном театре Чаплина. На сцене расположились пионеры в красных беретах с гитарами. Мы приготовились слушать концерт, но вдруг по залу пронесся шум, все поднялись и закричали: «Фидель!» Он показался в глубине сцены, в своей обычной зеленой куртке, с пистолетом на боку, чернородый, огромный, смущенно и неловко поеживаясь.

Тут все происходило не так, как мы привыкли: заседание началось концертом, потом была торжественная часть. Мы слушали песни о борцах с неграмотностью на Кубе, шуточные куплеты и даже романсы: «Я научился читать твои письма, и я сам напишу тебе, моя любимая».

На сцену вышли девушки с зажженными фонарями. Горящий фонарь — символ ликвидаторов неграмотности. Фонари огромные и маленькие, похожие на нашу «летучую мышь», горят по всей Кубе в витринах магазинов, над входами в вечерние школы, над плакатами. Среди девушек были Мария-Тереза и Офелия. Накануне они сидели у нас в номере и рассказывали о себе, о своей работе. Нас познакомил с ними Арнольдо Ривот, а с ним мы познакомились так.

Мы вернулись в Гавану поздно вечером, падая с ног от усталости. Почти две недели мы путешествовали по Кубе, настрадались от жары, от неспадающего душного зноя Сантьяго, от тысячекilометровой тряски в автобусе. Мы открыли стеклянную дверь отеля «Гавана либре», как дверь родного дома.

В вестибюле было прохладно от мощных установок «эр кондишен».

Как мы мечтали об этой минуте! Слева на стене по-прежнему висела выставка картин Хеди Скул, плескались фонтаны, и даже яркий свет этого огромного вестибюля казался освежающе прохладным. Но что-то изменилось.

Из всех отелей Гаваны «Гавана либре» особый, для меня он останется в памяти как своеобразный общественный центр кубинской столицы. Здесь, в вестибюле, с утра до ночи шумит неубывающая толпа, здесь происходят встречи, споры, интервью, здесь вспыхивают лампы фоторепортеров, читают стихи, знакомятся, узнают последние новости. Сюда часто приезжает Фидель, иногда неожиданно-негаданно, но всегда впопад. Здесь происходят приемы, конференции, конгрессы. Здесь мы встретили Гильена и Аугуста Леона и наших советских журналистов. Если вам нужно кого-нибудь найти, о ком-нибудь узнать — отправляйтесь в «Гавана либре».

Но в тот вечер облик толпы изменился — от множества зеленых и голубых курток вестибюль походил на военный лагерь.

Юноши, старики, девушки, и у всех на погонах синий значок алфаветисадора. Нам объясняют, что открылся первый кубинский конгресс алфаветисадорес.

Они съехались сюда из всех провинций страны. К началу 1962 года на Кубе не должно остаться ни одного неграмотного!

У столов с надписями «Пинар-дель-Рио», «Камагуэй», «Матансас» — провинций Кубы — толпятся делегаты. Совсем мальчишки и совсем девчонки, береты, заткнутые под погон, блеск пистолетов, солдатские ботинки с высокими голенищами. вещевые мешки. Девушка в алом платке, красавица, как все кубинки, обнимается с негром в форме народной милиции. Запах духов мешается с запахами бензина и дорожной пыли.

Позабыв об усталости, бросив чемоданы в номер, мы погрузились в эту толпу, охваченные жадностью к богатству человеческих судеб, собранных здесь. Разбегались глаза — с кем поговорить? Может быть, обратиться в оргкомитет? Разузнать кто откуда, чтобы порекомендовали. А может, остановить наугад первого попавшегося, без всякого выбора. Мы так и сделали.

Это и был Арнольдо Ривот — парень из провинции Камагуэй. Завтра ему исполнится девятнадцать лет. Круглое мальчишеское лицо его кажется еще моложе, но по манере держаться — совершенно свободной и вдумчиво неторопливой — он вполне взрослый мужчина. Не так-то легко ему было понять, что именно мы хотим. Нет, не задачи алфаветисадорес, не общие проблемы этого народного движения, и не цифры достижений, не историю вопроса, не планы работ. Нам нужны какие-то интересные человеческие истории, что-то характерное, что-то такое... Мы щелкаем пальцами, пытаясь изобразить это неуловимое...

Все же профессия журналиста требует особых способностей; писатель — это одно, а журналист — другое. Я со стыдом чувствую свою беспомощность. Наверное, Арнольдо следует помочь какими-то точными вопросами, навести его, и настоящий журналист сделал бы это без труда, и, пока Арнольдо молчит, я успеваю в корне пересмотреть свое отношение к журналистике.

Но вот Арнольдо, кажется, понял. Он попросил извинения, отошел и через минуту вернулся вместе с высоким поджарым стариком.

— У нас были всякие трудности, — сказал Арнольдо, — например, не хватало очков. Достать очки в провинции не так-то просто. Многие старики не могут читать без очков. Как же обучать их? По-разному мудрили. Вот, пожалуйста, познакомьтесь — товарищ Морро Иаселло. Он, чтобы выучиться грамоте, соорудил себе зрительную трубку.

Мы знакомимся, просим показать нам эту трубку. Старик снисходительно улыбается. Трубки уже нет, ее взяли у него на выставку, но зато министр просвещения подарил ему очки. И он гордо достает из кармана кожаный футляр, а из футляра достает очки. и мы смотрим, как бережно он надевает их, садится за стол, берет карандаш и выводит буквы. Он расписывается. Арнольдо, волнуясь, следит за ним, и мы тоже почему-то волнуемся. Наконец последнее «о» замкнулось, старик снимает очки, кладет их в футляр и протягивает мне бумагу.

Я принимаю ее как подарок. Он говорит:

— Дайте мне ваш адрес, я еще малограмотный, но я скоро напишу вам письмо в Москву.

Больше он ничего не сказал, зато в эту фразу вложено было торжественное обещание самому себе, и нам, и Арнольдо, и многим людям, которых мы не знали.

Было удивительно, как точно Арнольдо ощутил, что нам надо. И все, что он дальше рассказывал, было так же конкретно, ярко, без единого лишнего слова. Он рассказал про одну из девушек-бригадисток. Так называют тех, кто отправляется в деревни обучать неграмотных. Девушка там, в деревне, заболела. У нее началась экзема. Решено было отправить ее в госпиталь. Когда за ней приехали, то крестьянка, которую она обучала, и вся семья стали упрашивать оставить ее, не

увозить, обещали ухаживать за ней, не считаясь с тем, что болезнь заразная, сделать все что угодно, лишь бы не расставаться с ней.

К бригадистам быстро привыкают. Крестьяне обращаются в комитеты, просят не отсылать этих юношей и девушек — иногда совсем детей, — которые днем работают с ними на полях, а вечером учат их, разделяя все тяготы крестьянской жизни. Разумеется, не всюду и не всегда царит такая идиллия. Бывает, что, узнав о приезде бригадиста, крестьяне прячутся, уходят, отказываются учиться.

— Почему?

— Они стыдятся, — сказала нам Мария-Тереза. — Им стыдно перед этими ребятами. Под старость садиться за букварь. Чтобы дети учили их.

Себя она считала взрослой. В семнадцать лет кубинка вполне сформировавшаяся женщина. Марию-Терезу привел Арнольдо. Мария-Тереза привела Офелию, Офелия — Родриго. Компания наша росла с каждой минутой, и, чтобы это собрание не кончилось митингом, мы забрались к нам в номер, закрылись, но все равно каким-то образом нас находили, и в дверь стучали все новые и новые бригадисты.

— Не только стыдятся, — сказал Родриго, — тут еще действует и контрреволюционная пропаганда. Крестьянам говорят, что тех ребят, которые выучатся грамоте, заберут в Советский Союз, заставят быть коммунистами. Одна женщина заявила нам, что она скорее разорвет себе живот и обратно сунет туда ребенка, чем позволит его обучать. Пришлось нам создать специальные группы убеждения.

Родриго — один из самых молодых на Кубе руководителей молодежных организаций. Он старается говорить округлыми фразами, но, когда Мария-Тереза начинает рассказывать, как она билась со взрослыми парнями над буквой «л», Родриго сбивается, хохочет вместе со всеми. А у Марии-Терезы все с улыбкой. Смех, не иссякая, переливается в ее черных блестящих глазах, даже когда она молчит, там что-то бурлит и плещется.

Но ведь у каждого из этих ребят семья, родители: как же так — уехать куда-то в деревню, прервать собственную учебу? А как это было у нас? Ну, у нас другое дело, а тут революция насчитывает каких-то два с половиной года.

Обмениваемся своими сомнениями. Никто из ребят не знает русского языка, и все же, наверное, кроме языка, существуют какие-то другие, еще не разгаданные средства общения между людьми, потому что Мария-Тереза, внимательно посмотрев на нас, кажется, впервые отвечает серьезно.

— Нам это тоже нужно. Мы узнаем жизнь, мы работаем вместе с крестьянами и учимся у них многому. А кроме того, мы отучаемся от эгоизма. Мы стали понимать, как это хорошо, когда можно что-то делать для людей вот так, без всякой награды... Меня мама не пускала, и отец тоже. Отец у меня инженер. Я все же уехала, и они теперь не жалеют. Родителей иногда тоже следует воспитывать.

Каждому хотелось рассказать о своих учениках, и мы засиделись далеко за полночь. Чего мы только не наслышались. Приходится обучать глухонемых. Есть хутора, куда бригадистам надо ежедневно ходить за десять—пятнадцать километров. Бригадисты проникают в самые глухие уголки страны, они, как дрожжи, заставляют бродить, поднимать народные толщи. В той же провинции Камагуэй обнаружили неграмотного тринадцатилетнего мальчишку, который сам смастерил оригинальный радиоприемник.

И вот эта тоненькая мулатка Офелия, и Мария-Тереза, и Арнольдо, все они, обучая, чувствуют, как мало знают сами, и еще сильнее хотят учиться. Многие мечтают поехать к нам, в Советский Союз. Арнольдо хочет стать электриком. Энергетика сейчас для Кубы — важнейшая проблема. Он хочет строить электростанции. Слушая их, я вспоминал свою молодость, когда после школы мы выбирали специальность и имена Графтио, Веденеева манили нас не меньше, чем подвиги Чкалова и Громова. Ленинский план ГОЭЛРО тогда только разворачивался во всю ширь, страна жила вестями о стройке Днепрогэса, Свири, Риона — первых своих мощных гидростанций, рисунки плотин и линий передач глядели со всех плакатов, и мы шли в электрики, как на фронт.

Сколько раз на Кубе мы чувствовали себя как бы вернувшимися в собственную юность и в юность нашей страны. А иногда даже не в юность, а куда-то в двадцатые годы, известные мне понаслышке, по книгам и кино. И эта зеленая форма похожа на комсомольские юнштурмовки, на которые я с завистью смотрел, бегая в коротких штанишках.

«Интернационал» впервые прозвучал здесь совсем недавно, и его с упоением распевают повсюду — на улице, на рынке, на чинных дипломатических приемах. В национальном музее девушка-охранница вместо приветствия, приплясывая, тихонько запела «Интернационал».

1959 год был для Кубы годом освобождения.

1960 — годом аграрной реформы.

1961 год — год образования.

Нынешний год станет годом индустриализации.

Размах работ по ликвидации неграмотности на Кубе колоссален. Повсюду открыты вечерние школы, тысячи студентов, школьников уехали в деревни обучать неграмотных. В отеле «Тринидад» каждый вечер мы видели, как собирались горничные и один из официантов учил их писать.

В полицейском участке в Гаване дежурный полицейский, зажав между коленями автомат, читал букварь и время от времени толкал какого-то задержанного голстяка в соломенной шляпе, заставляя подсказывать.

Все больше появляется домов, на которых вывешены полотнища: «В этом доме нет ни одного неграмотного».

В горах Сьерра-Маэстры, где почти не было школ, в краю почти поголовной безграмотности выстроен великолепный школьный город на несколько тысяч учащихся.

Там мы познакомились с молодым французом. Он приехал из Франции, он не был ни коммунистом, ни революционером, он был только учителем и знал, что здесь, на Кубе, хотят покончить с неграмотностью, установить подлинно всеобщее обучение. Потом я увидел его на конгрессе алфаветисадорес. Мы сидели рядом и смотрели, как пионеры приносили к столу президиума, складывали перед Фиделем Кастро кипы писем. Сорок восемь тысяч обученных грамоте кубинцев адресовали свои первые письма Фиделю.

На этом заседании первым выступал профессор из Монтевидео. Он рассказал, что неграмотность в странах Латинской Америки не уменьшается, наоборот, она, как рак, поражает все сильнее поколение за поколением. Он рассказывал об ухищрениях официальной статистики, пытающейся скрыть развал школьного обучения, о сознательных иезуитских действиях некоторых правительств, избегающих подступаться к этой болезненной и важной проблеме Латинской Америки.

— Они утверждают, что эта проблема в настоящее время неразрешима, забывая, что человек делает сейчас семнадцать оборотов вокруг Земли! — воскликнул он под одобрительные крики всего зала.

Империалисты обвиняют революцию на Кубе в чем угодно, извращают смысл любой реформы, не останавливаются перед самой низкой клеветой; но что могут они сказать против ликвидации неграмотности? Об этом всенародном движении величайшего гуманизма? Почти сорок процентов населения Кубы было безграмотно во времена Батисты. Карандаш, букварь, грифельная доска — вот оружие, какое получает народ, и этого оружия боятся колонизаторы, потому что его не отнимешь, не уничтожишь.

Мы знали, что Фидель Кастро — прекрасный оратор, но одно дело знать, другое слышать. Он говорил подряд четыре часа, и все это время переполненный зал был в плену его логики, его убежденности, его безграничной веры. Может быть, у него и были ораторские приемы, я не замечал их, захваченный ходом его мысли, рождающейся тут же, — вы это ясно чувствовали.

— Три года революции, — сказал он, — успешно соревнуются с шестидесятью годами злоупотреблений и гнета.

И все в зале вскочили и закрычали:

— Родина или смерти!

Огромный, могучий Фидель стоял на трибуне, но это уже не было трибуной, он шел во главе этих людей, он вел их.

Государство, рассказывал он, имело средства на пять тысяч учителей, а для школ нужно было десять тысяч. Тогда учителя решили пойти работать на полставки, чтобы обеспечить все школы преподавателями. Многие учителя отказались от летнего отпуска и поехали обучать неграмотных.

И снова зал поднялся и запел:

— Куба — да, неграмотных — нет!

Мы стояли плечом к плечу с молодым французским учителем и пели это каждый на своем языке.

— Кубинец не тот, кто родился здесь, — сказал Фидель, — а тот, кто любит эту страну.

Француз высоко поднял руки и зааплодировал. Он улыбнулся мне, чуть виновато показывая, что он понимает: слова эти еще не относятся к нему, но он все же принимает их. А Фидель уже с гневом говорил о тех специалистах, врачах, архитекторах, которые покидают Кубу.

— Они еще постучатся к нам, но мы будем тверды, мы никогда не пустим назад тех, кто в тяжелый час оставил родину и уехал чистить ботинки американским империалистам! Мы позволим вернуться на Кубу лишь их детям, которых эти предатели лишили родины... Нет, мы не будем кланяться, — страстно сказал Фидель. — Мы создадим своих специалистов, своих врачей, техников.

— Пусть убираются, предатели, — кричал зал. — Фидель, ты прав! Никого никогда не пустим назад!

Мы забыли про свои записи и наблюдения, мы уже не могли отделиться от этих парней и девушек, видеть их со стороны, мы пели и кричали вместе с ними, возмущенно потрясали кулаками в адрес убийц учителя Конрада Банитиса, презирали предателей — мы видели их физиономии в трусливой и озлобленной толпе у дверей авиационной компании; мы хотели помочь бригадистам, ехать в деревню, снова ощутить на плече тяжесть автомата. У нас были одни враги, одни друзья, одно дело. Мы вместе смеялись и радовались, когда Фидель наградил почетным значком одиннадцатилетнего мальчишку, который обучил нескольких человек, и дал ему второй значок — для отца, уголовника, заключенного в тюрьму, который, следуя примеру сына, обучал грамоте сидящих с ним в одной камере.

Да, было и такое, и это несколько не удивляло, не казалось нелепостью, революция подняла такие глубины народные, что возможным стало все. И кроме того, это же была наша собственная юность, мы словно заново переживали то, что забыли или не успели видеть.

МЫ ПОВЕДИЛИ

В огромном автобусе темно, и от этого он кажется еще громадней. Светится лишь приборная доска. Стрелка спидометра, как припаянная, застыла на цифре сто. Фары высвечивают узкое шоссе, далеко и четко прорубая звездную ночь с черными полями тростника, черными пальмами, черными холмами. Автобус мчится в туннель света, нагоняя красные огни идущей впереди машины, автобус обходит ее и снова гонится за следующим красным огнем, не снижая скорости, ныряет между встречными машинами, мгновенной вспышкой слепят прожекторы, нарастает рев моторов, и невольно сжимаешься, но автобус тоже сжимается, ящерицей проскальзывает сквозь железный грохот — и опять летит ночное шоссе и где-то впереди дрожит еще чей-то красный огонек. И сколько бы мы ни обгоняли машин, всегда оказывалось, что кто-то есть впереди, и снова красный огонек маячил перед нами.

Ночной город возникает сразу, он совсем не тот, что днем, — он существует только огнями, светом. Ночные города не имеют архитектуры, у них есть осве-

щенные окна, фонари, витрины, рекламы. Холодный белый свет бензоколонок, мгновенные цветные кадры: бар, уличное кафе, прямоугольники витрин. На перекрестках стоят белые штаны, белые рубашки, белые сомбреро. В черноте лиц попыхивают угольки сигар.

Куда-то спешат девушки, автобус перегораживает им дорогу, они взглядывают в широкие окна, замечают что-то необычное в наших лицах, одежде. Мы видим, как в глазах их начинается удивление, потом интерес, но мы уже проехали. И снова ночная дорога, отвалы красной земли, где-то рядом море, пятнистые крабы ползут через шоссе, и вдали багровыми трещинами гроза переламывает черное небо, и опять надвигается толпа огней следующего городка с его бульварами и неоновыми рекламными фирм, парикмахерскими, площадями, выложенными желтой плиткой. И обелисками в память погибших бойцов революции.

Рядом со мной Эренос тихоночко рассказывает о том, как дрался каждый из этих городков во время революции. Истории неповторимы и несхожи, как человеческие судьбы.

Узкие душные улицы. Сквозь затейливый узор старинных кованых решеток видны освещенные комнаты, у раскрытых дверей сидят на ступенях целыми семьями: старики, дети, женщины кормят младенцев, звенит инкрустированная перламутром гитара... Автобус замедляет ход, приближается к грузовику. В кузове стоят парни, они что-то поют и кричат, и вот, когда мы совсем рядом с ними, мы различаем в их дружном скандировании знакомые слова:

— Фидель — Хрущев — Фидель — Хрущев.

Сперва кажется, что они кричат это нам. Но откуда им знать, кто едет за ними в темном автобусе?

Мы выезжаем на площадь, и в пятнистом свете фонарей виден идущий впереди грузовик и мальчишки на нем в голубых форменных рубашках, они не обращают на нас никакого внимания.

— Родина или смерть! — Они кричат это для себя, от полноты чувств.

Мы тянемся за ними и по пустынному бульвару мимо каких-то складов, а они кричат:

— Мы победили! Мы победили!

И колотят в такт по железным бортам. Грузовик гремит, как там-там, в нем слышатся гонги.

— Мы победили! Мы победили!

«Мы победили!» Это и есть революция. Они переживают ее во всю силу своей юности. «Мы победили!» Они кричат это всему миру с вызовом, с восторгом.

Они не выкрикивают, они распевают эту фразу, она обретает мелодию.

Старенький грузовик дребезжит, похоже, что они возвращаются с каких-то работ, а может, с учения, — не знаю, мы обгоняем их на повороте, видим их усталые измазанные мальчишеские физиономии, машем руками, они не замечают нас, они поют, раскачиваясь в такт, исполненные такого ликующего торжества, как будто они сами совершили эту революцию и только что. А ведь вряд ли кто из них успел участвовать в боях: прошло почти три года с того дня, как войска партизан под предводительством Фиделя Кастро вошли в Гавану. Откуда же это свежее неутихающее ощущение счастья победы?

Мы победили! Помнят они или не помнят о партизанских отрядах в горах Сьерра-Маэстры, неважно. «Мы» — потому что это их революция, это для них революция. «Мы» — потому что строится огромный школьный городок в долине Сьерра-Маэстры: десятки корпусов с великолепными аудиториями, общежитиями, столовыми, типографией, спортплощадками и, кроме этого городка, где мы были, еще сотни школ в той самой Сьерра-Маэстре, которая до революции не имела ни одной школы!

Вспомнилось все, что мы видели до этой встречи, — блестящий асфальт новых дорог, синие флаги, вывешенные над предприятиями, где не осталось ни одного неграмотного, каркасы новых домов под плоскими тенистыми крышами, еще заляпанные известью, сто пятьдесят трехкомнатных домов. Государство дает

крестьянам блоки, арматуру, ванны, панели, краску, а строят они, сами крестьяне, — бывшие повстанцы и партизаны. Там, за горой, они строят еще двести домов и левее еще полтораэта, а здесь еще библиотеку и универсам.

Вспомнились вооруженные юноши и девушки, патрули в Гаване, руки, сжимающие автоматы, поля сахарного тростника и длинные птичники птицефермы. Митинг, где выступал Фидель, обломки сбитого американского самолета — и все это слилось в памяти в мелодию: «Мы победили».

Давно уже мы миновали город, и снова мчалось шоссе с высокими огнями встречных грузовиков, а мне казалось, что в автобусе еще слышался отголосок, беззвучный ритм, словно вплетенный в гул мотора или застрявший в стеклах ночного автобуса.

И вдруг я услышал, как напевает эту фразу Эренос, и шофер, и еще кто-то позади меня, и я почувствовал, что сам повторяю ее.

Когда вспоминаешь друга, то он появляется в памяти всегда в каком-то одном определенном виде, запечатленный, как на моментальном снимке, и если кто-нибудь спрашивает, как же выглядит кубинская революция, что нас больше всего поразило на Кубе или еще что-нибудь в этом роде, такое же общее и трудное, то прежде всего перед моими глазами возникает ночь, запыленный грузовик, грохот кулаков по железным бортам, и усталые и ликующие мальчишеские физиономии, и эгэт крик-песня.

Я никогда не видел Революцию. И на Кубу мы приехали слишком поздно. И все же — пусть эта ночная встреча была лишь ответ, лишь отзвук, — но я вдруг почувствовал и увидел ее...

В ОДНОМ ИЗ ОСОБНЯКОВ

Район Мира-Маро — аристократический район Гаваны. Сплошь особняки, маленькие дворцы бывших миллионеров, американских и местных. Владельцы изощрялись друг перед другом, не жалея денег. Архитектура ультрамодерн. Декоративные кактусы на фоне бронзы и цветного мрамора, зеркальные плоскости, стены из дикого камня, огромные закругленные окна, барельефы, современные и стилизованные под Восток, под Египет, еще под черт знает что.

Злишься, осознаешь, что буржуи, и все же красиво, никуда от этого не деться. Впрочем, деваться никуда и не нужно, поскольку владельцы уехали в США, а в особняках этих теперь живут парни и девушки, приехавшие в Гавану учиться в специальных школах, и школы эти — тоже в особняках.

Школы разные — готовят культурных работников для деревни: библиотекарей, артистов, режиссеров, журналистов, танцоров.

Мы попали в одну из таких школ, там учатся хоровые певцы, будущие организаторы хорового пения, дирижеры хоров самодеятельности.

Песня для Кубы — потребность, необходимость, на Кубе поют все, всегда, во всех случаях. Поют и танцуют и снова поют. И революцию делали с песнями, и революция делала песни.

Низкий зал переходил в сад. Шел урок. Ученицы в синих брюках, в сереньких безрукавках разучивали гаммы. Девушкам по пятнадцать — восемнадцать лет. Белые, негритянки, мулатки, они съехали сюда из народных кооперативов, из совхозов и рыбачьих поселков Кубы. Здесь они живут и учатся уже год, полностью обеспеченные государством. Они засыпали нас вопросами. Нас было трое, а их двадцать, и каждая хотела что-то узнать о Советском Союзе, о нашей жизни. Они спрашивали, что такое снег, придет ли на Кубу Титов, кого принимают в комсомол, в каком возрасте в Советском Союзе выходят замуж.

Мы попросили их спеть. Это оказалось не просто. Преподавательница Иселина с той строгостью и непримиримостью, какая свойственна двадцатилетним, сообщила, что здесь только вторые голоса, первые занимаются в другом доме, басы — мальчишки — в третьем доме, а без них петь нельзя. Но уже кто-то выскользнул из зала, и, пока мы доказывали Иселине нашу несприязательность и

пренебрежение к первым голосам, пришли сухонькая пожилая женщина — главный дирижер хора Куна Ривера и несколько первых голосов и даже один бас — Альберто Буполь, преподаватель мужского училища.

Ривера подняла палец. Все мгновенно выстроились. Потом мы должны были перед этим смешливым глазастым строем поклониться, что не будем иметь никаких претензий к неполному составу, плохой акустике и еще каким-то профессиональным штучкам, о которых мы и понятия не имели.

Пели они хорошо. Песни кубинских крестьян — гуахирос — сменялись партизанскими песнями, сложенными в горах Сьерра-Маэстры, маршами, от которых не сиделось на месте и ноги непроизвольно отбивали такт, двигались плечи, и все мы как будто шли одной колонной по солнечным дорогам Кубы. Спели они и наши советские песни, неуловимо расцветивая их на свой лад, и, конечно, «Подмосковные вечера». Завидная судьба у этой песни — за последние два года где только я ее не слышал! Ее исполнял ресторанный оркестр в финском городе Лахти, под нее танцевали в Берлине, ее пели студенты-туристы на Гарце, ее мурлыкал про себя рыбак в Сан-Карлосе, в Амстердаме на канале она неслась со старенького буксира.

Разумеется, нас тоже попросили что-нибудь спеть, но так как среди нас не было ни первых, ни вторых и вообще никаких голосов, мы принялись смотреть на часы, и благодарить, и прощаться. Все высыпали на улицу провожать нас, и тут девушки, взявшись за руки, без дирижера, без рояля, без всяких приготовлений вдруг запели, озорно поглядывая на нас и на своих преподавателей, что-то совсем вне программы, то, чему их не обучали.

Сеньора Ривера строго поджала губы, развела руками, но не выдержала, рассмеялась и тоже присоединилась к своим ученицам.

Североамериканцы говорят, что Фидель
коммунист,
Но куда больше их огорчает, что Никита
фиделист.

— Это они сами сочиняют, — не то оправдываясь, не то удивляясь, шепнула нам Иселина, но черные глаза ее блестели, и плечи непроизвольно подергивались в такт лихому мотиву.

Мы строим социалистическое общество.
Никита покупает у нас сахар
И посылает нам то, что нам надо...

Песни неслись по широкому бульвару над респектабельными особняками Мира-Маро, поднимались жалюзи, отовсюду выглядывали веселые молодые лица, открывались двери особняков, девушки и юноши, пританцовывая, выходили из подъездов, и скоро пели все соседние дворцы, над которыми трепыхали красные вымпелы школ кубинской молодежи. Не было уже ни преподавателей, ни учеников, ни первых, ни вторых голосов — пела улица:

Американцы отнимают у нас,
А русские нам дают.
Мы будем всегда с Никитой!

И, конечно, знаменитый припев, который, хохоча, распевает вся Куба:

Вперед, вперед,
мы — социалисты,
А кому не нравится.
пусть примет пурген!

Эти слова мы уже хорошо знали и пели вместе со всеми.

Легче и вернее всего можно узнать душу чужого народа по песне. Порой грубовато простенькие, порой едко насмешливые, сложенные этими белозубыми крестьянскими девочками куплеты лучше всяких речей и рассказов выражали

чувства и настроения, идущие от сердца народа. Так смеется бесстрашие. Когда народ так смеется, его уже не запугаешь ни блокадой, ни интервенцией, ни ракетами. Так может смеяться народ-победитель, народ, который почувствовал свою силу и узнал, что он не одинок.

МЫ ЕДЕМ ПО ГАВАНЕ

На столе в номере лежала реклама отеля с планом Гаваны, где были обозначены всякие достопримечательности города — дворцы, памятники, музеи, все, что полагается осматривать туристам. И вот как-то, случайно взглянув на эту рекламу, мы обнаружили, что две трети положенного мы не видели. И вообще, оказывается, мы не успели как следует рассмотреть Гавану. Мы бродили по каким-то совсем не историческим местам, нам что-то показывали мимоходом, по дороге, между деловыми встречами, но ни разу нам не пришлось не торопясь, обстоятельно посмотреть город так, как смотрят туристы. А между тем мы жили здесь уже долго и со дня на день могли уехать. Поэтому мы взбунтовались, прорубили в нашем расписании окно шириною в три часа, раздобыли машину и поехали со списком достопримечательностей в руках и с твердым намерением осмотреть все, что положено.

Три часа, конечно, немного, зато шофером у нас был Кандело.

Двадцать пять лет ездил он по улицам Гаваны. Он знал все. Что этот дом принадлежал жене Батисты и она содержала здесь игорный притон, а здесь жила миллионерша из Ирака, а здесь жил американский посол, и на террасе решалась судьба кубинского народа («Сейчас-то американцы сбежали, народ взял судьбу в свои руки»). А здесь жила хозяйка публичного дома, после революции она убежала, а в стене наши милиционеры нашли около миллиона песо. Революции эти деньги пригодятся. Революция строит школы и больницы.

Кандело неумоимо просвещает нас, объясняет задачи революции, политику правительства. Всех бронзовых генералов и президентов Кубы, расставленных на улицах Гаваны, он сортирует на тех, кто защищал бы революцию, и на тех, кто, наверное, стал бы ее врагом.

А вот площадка для собачьих бегов. А вот особняки Мира-Маро. Парк отдыха. Русские горы. Клуб миллионеров («Мы отобрали его под клуб профсоюзов»). Яхтклуб. На каналах покачиваются огромные высокие яхты. У причалов стоят катера для рыбной ловли с каютами, телевизорами и специальными стойками для лесок («Теперь это все принадлежит народу»).

Офицерский клуб («Конечно, до революции ни один негр военный не заходил сюда»). Кандело — негр. Перед этой поездкой мы вместе обедали в ресторане нашего отеля, и я спросил, что изменилось тут после революции. Кандело пожал плечами. Он понятия не имел. До революции он не был никогда в этом ресторане, даже в отеле не был, ни один негр не смел подойти к подъезду американского отеля («Революция дала неграм все права и чувство достоинства!»).

Мало того, что он по любому поводу изрекает эти истины, но надо слышать, как он это делает, с каким пафосом, — весь он поворачивается к нам, машина мчится сама по себе, а у нас не хватает духу прервать Кандело. Он громит мировой империализм, он с наслаждением повторяет фразы, слышанные на митингах, они звучат для него первозданной свежестью, это его собственные открытия, наверное так же произносили их у нас в двадцатые годы.

Мелькают причудливо подстриженные деревья бульвара — зеленые колокола, рюмки, конусы. Алеют полотнища на фронтонах роскошных вилл: «Школа революционного искусства», «Училище культработников». А вот католический собор, оборудованный новейшей установкой кондиционированного воздуха. Мы аккуратно ставим галочки в нашем перечне и едем дальше. Надо успеть объехать всё — остатки старой крепости и остатки старого замка — и побывать в старейшем соборе Кубы, где лежит прах Христофора Колумба.

Доехав до нового поселка одноэтажных коттеджей, круто разворачиваемся в направлении к Капитолию. Пока Кандело маневрирует своим широким огромным кадиллаком («Экспроприирован именем революции у бежавшего сахарозаводчика»), с веранды одного из домиков нас с интересом разглядывают две женщины и вдруг улыбаются, и по этой улыбке мы понимаем, что нас узнали. Не нас как таковых, а то, что мы советские. Как это происходит, я так и не понял. Рубашки на нас кубинские, темные очки, и ходим мы, несмотря на жару, в черных туфлях, как завязтые гаванцы, и все же нас безошибочно узнают. Иногда принимают за чехов, но во всяком случае оттуда, с востока, «из социализма».

Неизвестно почему у меня вырвалось:

— Давайте зайдем к ним.

У нас осталось не больше часа, и зайти — значило застрять и больше ничего не увидеть.

Но мой спутник Михайло Стельмах понял меня раньше, чем я сам.

— Конечно, пошли.

Мы вылезаем из машины и без всяких церемоний идем знакомиться. Мы не успеваем объяснить, что мы писатели, что нам хочется осмотреть их дом, узнать... Слова «советские» достаточно, больше никто ничего не слушает, взрыв восторга, нас хватают под руки, мы уже в гостиной, переполненной людьми. Тут только что смотрели телевизор, но уже забыт и телевизор. Нам жмут руки какие-то парни, старики, две седые женщины, детишки. Среди этого каскада знакомств, приветствий в дверях появляется женщина с резким, властным лицом, и сразу становится ясно, что это хозяйка дома. Она берет нас за руки и ведет по дому, из комнаты в комнату, следом движется вся процессия, каждый хочет нам объяснить, ответить даже прежде, чем мы успеем задать вопрос, но никто не может пробиться сквозь звонкий, сильный голос хозяйки; у нее нет абзацев, даже точек, и слушать ее — удовольствие чисто музыкальное.

Она работает на табачной фабрике, и мне вспоминается Кармен — те же черные, с синим отливом волосы, длинные и блестящие. Наша Маргарита Уласка старше, но немолодое смуглое лицо ее еще красиво, и полноты фигуры не замечаешь — так она легка в движениях, стремительна.

Завтра праздник богородицы. Стена задней комнаты завешана сверху донизу портьерой из свежей зелени. Посреди этой зеленой драпировки — раскрашенная глиняная божья мать. Ниже лодочка с фигурами матросов, гибнущих в бурю и молящих богородицу о спасении. Горят лампы, висят литографии Христа и еще каких-то святых, а на другой стене портрет Фиделя.

Слово «смущена» Маргарите Уласке не подходит, тут скорее другое: она боится, что мы неправильно поймем ее — она за революцию, этот дом она получила благодаря революции, она всегда была за Фиделя, ее мать — вот она — сидела в тюрьме за то, что прятала у себя повстанцев, но праздник богородицы — это совсем другое... тут ничего не поделаешь, богородица — заступница, покровительница Кубы... Есть, конечно, контрреволюционеры-священники, но мы против таких, мы — социалисты, и богородица несколько не мешает быть защитником революции. Да, завтра они будут справлять праздник, все приготовлено, специальный торт испечен, вы непременно должны его попробовать, иначе нас обидите.

Темпераментная жестикуляция ее заменяет перевод, не зная языка, все можно понять по выразительным движениям ее гибких рук, звенящих блестящими браслетами.

Торт, бело-желтый, величиной с подушку, изукрашенный цветными кремами, сиропами. Из холодильника достают пиво, баккарди и местную водку.

Мужа Маргариты нет, он на работе, он монтажник на радиозаводе. Теперь он стал мастером.

Дом, как и все дома этого поселка, рабочие получили бесплатно. Они платят в месяц тридцать пять песо. А зарабатывают они всей семьей пятьсот. Мужу ее увеличили плату, но он отказался в пользу революции и получает по-прежнему свои двести восемьдесят песо. Семья большая: бабушка, тетя, двое сыновей, дочь,

внуки. Дом этот получили недавно, раньше семья снимала одну комнату. Несмотря на декреты, хозяин дома драл с них втридорога. Тогда Маргарита пошла к Фиделю, привела его домой, показала, как они живут, пожаловалась на хозяйна — и Фидель навел порядок.

Она так и сказала: «Привела Фиделя домой показать комнату», — и никто не удивляется, так оно и должно быть, на то он и Фидель.

В дверях толпятся дети, бабушка, и все следят за тем, чтобы мы пили, ели, и безжалостно портят ради нас свой праздничный торт, и мы понимаем, что вырваться отсюда уже не удастся, да нам и не хочется, мы виновато поглядываем на Кандело, но он непроницаемо спокоен.

Заходит речь о процессе над контрреволюционерами, завтра должен быть оглашен приговор. Маргарита и ее сыновья непреклонно требуют:

— К стенке! Их надо расстрелять. Увидите, их приговорят к расстрелу!

Откуда им известно? Ведь революционное правительство там, где только можно, старается избежать смертных приговоров.

— Вот увидите, — говорит Маргарита. — Они пытали, истязали наших при Батисте. Народ хочет, чтобы их поставили к стенке, а Фидель всегда думает так, как хочет народ.

Непререкаемая уверенность в ее голосе, жестах, как будто она сама — судья.

— Мы слушаемся Фиделя, но и Фидель слушается нас!

Мы переходим на террасу, надо осмотреть цветник, кухню, выслушать каждого родича, потому что у каждого есть что сказать про себя, про Кубу, про Советский Союз. Мы никак не могли понять, почему в разгар рабочего дня все они сидят дома. Стельмах как можно деликатнее принялся выяснять это обстоятельство. Оказалось, что все крайне просто: готовились к празднику и на работу не пошли. А можно ли так? Да чего тут особенного! Маргарита расхохоталась. В понедельник скажет на фабрике, что болела. Она схватилась за живот, заохала, подмигивая нам смеющимися глазами, подведенными синим карандашом. Но, что-то заметив по нашим физиономиям, устала руки в бока и чуть возвысила голос:

— Мы сверхурочно работали, когда надо, не считаясь, до ночи, неделями подряд. Революции надо — пожалуйста. Ну, а если нам надо, так революция поймет.

Революция для нее была подругой, с которой существовали самые близкие отношения.

Кандело посмотрел на часы — конец! Он даже предусмотрел пять минут на прощание.

Ровно в пять мы должны были явиться на очередную встречу. Окно захлопнулось. Мы ехали назад по кратчайшей дороге, по улочкам, где не было никаких памятников. И Кандело ничего не пояснял — наверное, не встречалось ничего интересного. Только однажды ни с того ни с сего он сказал:

— У нас считается: для того, чтобы быть революционером, человек должен иметь три качества — быть добрым к людям, иметь честное сердце и любить Кубу.

Потом он спросил озабоченно:

— Ну что, хорошие люди? То-то! Конечно, у них ералаш в голове, но в душе у них полный порядок. Настоящие социалисты.

— Послушай, Кандело, — спросили мы, — а где ты живешь? Как у тебя с жильем?

— У меня? — сказал он без интереса. — Я в общежитии. А жена с ребятами снимает комнату за городом. Но ничего, когда-нибудь мы тоже получим квартиру. Республика строит для таких, как мы. Не все сразу. А что они верующие, не удивляйтесь. Когда понадобится, они будут воевать не хуже других.

Поздно ночью мы заехали в редакцию газеты «Ой». Там уже было известно, что суд приговорил контрреволюционеров к расстрелу. В отеле еще толпился народ, работало казино. Лифтер сказал мне по-русски:

— Хорошо, до свидания.

Каждый день он выучивал два новых слова.

В номере было душно, я включил «эр кондишен» и вышел на балкон. С высоты двадцатого этажа была видна вся приморская Гавана с цепью зеленых огней вдоль набережной, цветными вспыхами реклам, фарами поздних машин.

Светало. Из мглы выступали розово-желтые громады небоскребов и серый купол так и не осмотренного нами Капитолия. Откуда то из ночных клубов доносились усталая музыка. И вдруг чисто, звонко, на весь город запел петух, один, другой, третий. Это было неожиданно, удивительно, несовместимо, я не верил ушам своим, но они голосили весело и упрямо.

НА ЗАВОДЕ

После зарослей сахарного тростника, банановых плантаций, ананасовых плантаций, после ключего хенкена, после всего этого экзотического сельского хозяйства с непереводаемыми названиями, неизвестными нам культурами завод оказался родным домом — пахло железом, визжали сверла, вспыхивала сварка, и все было просто и понятно. Сварка она всюду сварка, и мотор хоть на Кубе — тот же мотор, и я шел по цехам уверенно и свободно и сам объяснял переводчице, что к чему.

Ох, какие тут стояли старенькие станки, с приводными ремнями, с трансмиссиями — такие у нас увидишь разве что в Политехническом музее на пожелтелых фотографиях.

Оскар Рамон слегка обиделся на мою улыбку.

— Вы бы знали, что здесь было! Дохлые мастерские. Что тут могли делать? Ремонтировать цистерны? А сейчас у нас завод. Пятьсот рабочих.

Сколько раз я убеждался, что нельзя судить о том, что есть, не зная того, что было. Однажды в Бийске на нас обиделись старожилы, когда мы брали их булыжные мостовые — оказывается, несколько лет назад на этих улицах стояла непротертая грязь, они гордились этим булыжником, им стоило немалых трудов замостить эти улицы. А как я сам обижаюсь, когда приезжие говорят, что есть в Ленинграде дома и облупленные и закопченные; видели бы они город после войны.

— Мы новые цеха построили, — горячо говорил Оскар. — Вы знаете, что мы делаем? Мы выполняем важнейший заказ революции! От нас зависит судьба страны!

Каждый кубинец — превосходный темпераментный оратор. Оскар, задетый за живое, произнес страстную речь со всем пылом своих двадцати лет, да еще подбадриваемый рабочими его бригады.

Он был великолепен — в сдвинутом набор берете, в зеленых штанах, заправленных в солдатские ботинки, пистолет на поясе, отличная спортивная фигура, обнаженные смуглые руки, майка, грязная заводской грязью металла, черные быстрые глаза, чуть воспаленные, как у всех сварщиков.

— Синее небо нашей Кубы почти не знало фабричного дыма. Янки жестоко и расчетливо не позволяли Кубе иметь свою промышленность.

И я вспомнил, что, сколько мы ни ехали, мы действительно встречали лишь редкие трубы сахарозаводов.

— Какой же у вас заказ? — спросил я.

— Пойдемте.

В недостроенном крыле большого цеха высились рыжие туши цистерн.

— Эти? — спросил я.

Оскар пренебрежительно махнул рукой.

— Оскар! — строго сказала наша переводчица Делли.

Тогда на ходу он пояснил:

— Цистерны мы, конечно, тоже изготавливаем.

Мы пересекли двор, заставленный железными конструкциями, фермами.

— Оскар! — сказала Делли.

— Да, да, вот еще это — для промышленных зданий.

В тесно заставленном цехе собирали какие-то странные огромные аппараты с дырчатыми полками, трубками, сетками.

— Инкубаторы! — торжественно провозгласил Оскар.

Он был доволен моим удивлением.

— Да, инкубаторы! Вы думаете, это оружие? — Он хлопнул себя по кобуре. — Нет. Вот оружие! Инкубаторы — это снаряды, это бомбы, это прорыв блокады! Напрасны надежды американских империалистов. Они хотели поставить революцию на колени. Не выйдет!

Постепенно картина прояснялась. Экономическая блокада, объявленная США, создала продовольственные трудности на Кубе. Раньше продукты питания ежедневно доставлялись на остров из США. Сейчас нужно было найти способы быстро и эффективно решить продовольственную проблему, обеспечить страну мясом. Тогда было решено создать мощные птицефермы, фабрики по производству мяса, яиц. Для этого нужны были инкубаторы, мощные агрегаты, рассчитанные на десятки тысяч яиц.

По словам Оскара, для них заказ правительства был как приказ о наступлении. Завод перешел на три смены. Все эти трубки, сетки, кожа расценивались как удар по контрреволюции. Может быть, тут и было какое-то преувеличение, но люди считали, что снабжение страны зависит от них — от того, как быстро удастся им создать эти никогда не изготовлявшиеся на Кубе сложные агрегаты. Разумеется, были всякие срывы и неудачи...

— Оскар! — сказала Делли.

Меня начала раздражать наша Делли. Мы знали ее давно, она сопровождала нас в наших экскурсиях, помогала устраивать интересные встречи, но при этом всегда старалась показать все только с самой лучшей стороны, только самое хорошее. И тут тоже, она незаметно одергивала Оскара, не понимая, что эти трудности и неудачи увеличивали ценность достигнутого, она лишила его рассказ той борьбы, без которой невозможен подвиг. Мы хотели узнать, как изменилась зарплата рабочих после революции, нам было уже известно, что раньше в мастерских ставки были высокие, но Делли сказала:

— Пойдемте посмотрим, какую они сделали себе столовую.

Она все время вмешивалась и поправляла.

Столовая была отличная. Оказывается, рабочие строили ее сами после работы. Стены были расписаны лозунгами и карикатурами на империалистов и священников.

Плакаты, надписи прямо на стенах можно увидеть в каждом учреждении, предприятии. Это своеобразные стенгазеты. Есть лаконичные, деловые, жестко категоричные:

НЕТ НИЧЕГО ВРЕДНЕЕ ОТДЫХА!

Есть философские:

БЫТЬ НЕГРАМОТНЫМ — ЗНАЧИТ БЫТЬ РАБОМ!

Есть с тем хитроватым смешком, который так свойствен кубинцам:

НЕ УБЕЖДАЙ МЕНЯ, ЧТО КУБИНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, ПОТОМУ ЧТО, ЕСЛИ ДОЛГО МЕНЯ УБЕЖДАТЬ В ЭТОМ, Я СТАНУ КОММУНИСТОМ.

В Сантьяго в лаборатории завода «Баккарди» висело такое смешливое объявление:

ТИШЕ, ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ ГЕНИИ!

НЕВОЗМОЖНОЕ? МЫ ЕГО РАЗРЕШАЕМ В ДВА СЧЕТА.

ЧУДЕСА? НА НИХ ПОТРЕБУЕТСЯ ЧУТЬ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ.

А ВОТ ЕСЛИ ВСТРЕЧАЮТСЯ «НЕКОТОРЫЕ СЛОЖНОСТИ»,

ТОГДА, УВЫ, ПРИХОДИТСЯ ЛАЗИТЬ ПО СПРАВОЧНИКАМ.

Мы сидели в столовой, пили кофе с ребятами из бригады Оскара Рамона — среди них были и негры и белые, самому старшему двадцать шесть — и обсуж-

дали возможности автоматической сварки. Мне это было очень приятно. Оскар уже не ораторствовал, мы спокойно говорили про всякие сварочные автоматы, которых не было на заводе.

Я чувствовал, что Делли недовольна, ей хотелось, чтобы ребята рассказывали о своих трудовых подвигах, но это были скромные, славные ребята, и они признавались, что понятия не имеют о настоящих автоматах, и неумоимо расспрашивали меня, можно ли автоматом варить цистерны.

Тогда Делли принялась сама рассказывать о том, как на заводе делали мебель для рабочих.

Я бы с удовольствием прервал ее, но заметил, что ребята слушают ее или во всяком случае делают вид, что слушают. Она говорила вещи, давно им известные, но они почему-то слушали ее.

Голос у нее был пронзительный, она размахивала руками и никак не могла привести в порядок свои растрепанные волосы. Она говорила без конца, я даже не понимал, откуда она знает столько всякой всячины про этот завод. Но в конце концов я приехал сюда, чтобы поговорить с ребятами, а не с ней, с ней я и так виделся каждый день. Поэтому я сказал:

— Делли, я бы хотел еще походить по цехам.

Я позвал Оскара и еще одного парня, и мы быстро пошли вперед, оторвавшись от остальных. Мы поговорили о литературе. Оскар читал «Волоколамское шоссе» А. Бека и «Бронепоезд» В. Иванова, а второй парень любил стихи Н. Гильена. И он на память прочел мне строфы, которые любил его отец и любит он сам. Там были такие строки:

Страшно, когда убивают,
Но еще страшнее, когда
убивают из-за куска хлеба.

Когда мы вернулись, Делли стояла у стены и плакала. На стене висела фотография молодого парня. Он весело смотрел на нас, на Делли, на притихших ребят.

— Это ее первый муж, он работал у нас, — тихо сказал мне Оскар. — Его убили контрреволюционеры.

Она плакала, не обращая внимания на нас...

А что, если бы я не увидел ее слез? Она так и осталась бы назойливой, болтливой? Теперь все перевернулось, получило иной, высокий смысл, стало понятно, почему она так интересовалась заводскими делами и хотела показывать только хорошее.

СТАТУЯ В КОЛУМБИИ

Это было в Сантьяго-де-Куба. Молодой колумбийский скульптор Альфредо Кастаньелло подарил городу свою картину. Он сделал это, избегая всяких церемоний, почти конфузливо, так, что никто не знал о приготовленном подарке, и только в самую последнюю минуту я случайно увидел эту картину, которую всю дорогу он таскал с собой, завернутую в тряпки. Картина была похожа на панно, там были десятки людей, сгруппированных в сложной композиции, был Ленин с чуть индийским разрезом глаз, и американский империалист, и Хосе Марти, и пеоны, и мулаты. Написано это было ярко, темпераментно, но, может быть, слишком непривычно.

— Интересно, — сказал я, — но не очень нравится.

Альфредо огорчился и весь день сторонился меня, но вечером позвал к себе и показал фотографии памятника, установленного в колумбийском городе Кали.

Огромная, грубо вырубленная фигура человека, устремленного вперед. Огромная не по размерам, а по мощи. Тело только поднимается в гневе и ярости, только начинают обозначаться его формы. Голова еще маленькая, ноги — вздыбленная часть земли, зато огромные ручки сжимают горло империалисту, вернее существу, которое выразительно символизирует американский империализм.

Скульптура была резкая, может излишне грубая. Но, черт возьми, невозможно устоять под напором ее страстности, любые изощрения, ассоциации, тонкости окажутся слабее этой вызывающей прямоты. И в то же время тут и следа не было от упрощенного унылого «реализма», как понимают его некоторые наши чересчур заботливые дядюшки и тетушки искусствоведения.

Покажи им такой проект, они бы испуганно заклеили его сверху до низу ярлыками — примитивизм, формализм, модернизм.

Альфредо Кастаньелло рассказал мне историю этого памятника. «Новой родине» — так называлась эта скульптура. Это был памятник не тому, что было, а тому, что будет. Жюри конкурса отметило проект, но правительство отказалось установить такой памятник. Тогда рабочие организации Колумбии объявили сбор денег по всей стране. Собрали пять с лишним тысяч песо. Разумеется, сумма недостаточная, но можно было начать работать, и Альфредо с товарищами принялись высекать фигуру из камня. Жители Кали кормили их, давали ночлег. Шахтеры по ночам приносили из заброшенных штолен рельсы для каркаса. Перед окончанием работ стало известно, что фашиствующая молодежь собирается взорвать памятник. Тогда рабочие организовали круглосуточную охрану. Приезжали из соседних городов патрулировать. На открытие собрались рабочие делегации чуть ли не всей Колумбии. Это был их памятник, построенный на их средства. Неважно, что он установлен не в столице, а в шахтерском поселке — он принадлежит всему рабочему классу страны. Альфредо пожимали руку, хлопали по плечу — это и был весь гонорар, полученный автором, да еще сам памятник, да еще потом несколько недель, проведенных на часах с шахтерами, потому что нельзя было снять охрану.

Вот, если угодно, что такое революционное искусство.

КРОКОДИЛИЙ СОВХОЗ

На Алтае я был в звероводческом совхозе. Особенно мне запомнился питомник черно-бурых лисиц. Они бегали взад и вперед в тесных, затянутых проволокой вольерах и, стояло подойти ближе, начинали шипеть — то ли пугали, то ли сами пугались.

Был я в оленеводческом совхозе, в мараловодческом. Но в крокодилем?! Мы засмеялись, когда услышали про крокодилий совхоз. Не потому, что не верили, но просто эти два слова — крокодилы и совхоз — никак не связывались между собой. Наверное, они впервые встретились друг с другом здесь, на Кубе.

Впрочем, если быть точным, то надо переводить не совхоз, а народное хозяйство.

Шоссе тянулось через болотистые равнины. Кое-где по обочинам валялись искореженные горелые машины — следы боев с диверсантами. Наемников окружили в этих болотах Сапата, загнали в трясины, здесь они сдавались в плен солдатам революционной армии Кубы.

Издали крокодилий питомник напоминал индийскую деревню — серебристо-серые толстые крыши, сложенные из пальмовых листьев, домики на столбах, горбатые деревянные мостики над каналами.

Крокодилов мы увидели не сразу. За проволочной решеткой поблескивала серо-зеленая болотная жижа, торчали гостники и стояла невысказанная влажная тропическая жара. Когда глаз привык, мы стали замечать какое-то шевеление в болотной траве и вдруг стали обнаруживать крокодилов; их были десятки, нет — сотни. Черно-зеленоватые, они сливались с землей, некоторые лежали неподвижно, как шишковатые бревна, некоторые подползали к решетке и медленно разевали рты. Они плавали в воде, высовывая выпученные крохотные глаза.

В одном из отделений лежали совсем маленькие крокодиличи-детеныши, величиной с полено. По мере того как они подрастают, их переводят в следующие загоны.

Всего в питомнике свыше двух с половиной тысяч крокодилов.

Выращивают их ради кожи — очень прочной, красивой, идущей на экспорт.

Под навесом сидел старик. На его соломенной шляпе был нарисован крокодил — значок смотрителя.

— Они считали, что болота им помогут, — рассказывал старик, — а болота нам помогают. За решеткой они не страшные. Да и вообще от них польза, а от тех одно разоренье.

Мы сначала не могли разобрать, когда он говорит о диверсантах, когда о крокодилах. А потом уловили — о крокодилах, или, как они называются по-испански, «кокодрилос», он говорил куда теплее, чем о диверсантах, но иногда он насмешливо объединял их.

Несколько больших только что вытасненных крокодилов лежало на крыльце дома. Крокодилы были крепко связаны веревками, и я подошел к ним поближе, чтобы сфотографировать, но в это время крокодилы захрапели, заворочали глазами. Старик резко оттолкнул меня в сторону, показывая на хвост. И мне объяснили, что даже связанный крокодил опасен — он может изувечить ударом своего хвоста.

ПИНГ-ПОНГ

Он был зверски добросовестным, этот капитан, он уже час рассказывал нам про то, как строили школьный городок. Конца-края не было видно его рассказам. Вначале я аккуратно записывал:

«Школьный городок только что построен, пока здесь 500 человек, рассчитан на 20 000 учащихся. Они еще прибывают. Раньше в горах Сьерра-Маэстры вообще не было никаких школ, после революции их создали уже свыше двухсот. Этот школьный комбинат самый большой. Каждый год тут будут выпускать 3000 специалистов сельского хозяйства и преподавателей. Срок обучения семь лет. Трудность в том, что приходят сюда безграмотные ребята самых разных возрастов — от девяти до девятнадцати лет. Как соединять их? Они не знают, что такое коллектив, не привыкли к общению. Строила этот городок повстанческая армия. Столовые, кухни, клубы, кино, общежития, своя типография, классы».

Тут он начал перечислять, сколько потрачено цемента, кирпича, и я потихоньку вышел из класса.

Местность кругом была красивая. Повсюду синие горы, а здесь зеленое плато, пальмы и среди пальм плоские двух-, трехэтажные здания со стеклянными стенами и белыми козырьками и цветными жалюзи. На площади ребята играли в мяч. Ребята были в синих куртках и серых штанах — такая тут форма. Мяч у них был ярко-белый и плохо надут, но, главное, меня удивило, как они играют: они просто подкидывали его или перебрасывались и бегали без толку. Никакой игры тут не было, и видно было, что они вообще не очень-то знают, что можно делать с этим мячом. Тогда Арнольдо, наш шофер, и я расставили их в круг и показали, как пасоваться. Это им очень понравилось. Мне хотелось поиграть с ними подольше, но я не мог на такой жаре. Было по меньшей мере градусов сорок. Я пошел искать тень и услышал, как на застекленной террасе играют в пинг-понг.

Там стоял отличный голубоватый стол для пинг-понга, такой стол, о котором можно мечтать, — идеально ровный и плотный. Посредине была натянута сетка, связанная из двух шарфов. Ребята играли дощечками. У них не было ракеток, они даже толком не знали, какими должны быть ракетки. Но кое-что им все же сказали или они сами додумались, потому что к дощечкам были прибиты ручки. Давая подачу, они просто кидали мяч рукой, а потом лупили его как попало, с лету. Иногда он стучался по два, по три раза, иногда об пол — это их не смущало. Единственное, что они признавали, — это если уж мяч закатится куда-нибудь в угол, тогда все. Чувствовалось, что они даже не видели никогда, как играют в пинг-понг. Они отчаянно хотели играть в эту игру и не знали как. Они понимали,

что у них ничего не получается, что тут что-то не то, и, когда я подошел, они смутились, положили мячик и свои дощечки...

У нас каждый парнишка если сам не играет в пинг-понг, то уж откуда-то знает, что это за игра, а тут никто, никто из них понятия о ней не имел. Я стал за стол и начал учить их, показал, как держать ракетку, как подавать, и, хотя я не говорю по-испански, все же они быстро поняли меня. А когда выяснилось, что я умею по-испански считать до десяти, ребята окончательно перестали стесняться. Надо было видеть, как быстро, с лету, схватывали они правила игры, как обрадовались, когда все вдруг приобрело смысл, организовалось. Конечно, через два-три дня и без меня кто-нибудь из преподавателей, наверно, научил бы их, но я был рад, что мне самому удалось увидеть, как прояснились их лица, как радовались они, когда получалась подача и впервые правильно удавалось отбить мяч.

Наблюдая за ними, я кое-что начал понимать и про мяч и про этот пинг-понг. Я представил себе хижин в горах, отделенные друг от друга ущельями и лесами, детство без товарищей, игры в одиночку. Они приехали сюда не только за грамотой. Они приехали сюда за детством. Взлетал мяч, стучал мяч, и мне казалось, я попал на открытие детства — с дружбой, любовью, ссорами, всем тем, без чего не может вырасти человек.

Потом меня позвали обедать. За обедом опять произносили всякие речи, а мне не терпелось сбегать к ребятам, потому что я знал, что после обеда мы уедем. И под каким-то предлогом я вышел из-за стола.

За этот час они уже здорово наловчились. И уже стояла очередь желающих, и они уже играли до десяти, чтобы скорее смениться. Увидев меня, они уступили мне место без очереди.

Тогда я решил показать им, как играть вчетвером, парную игру в пинг-понг. И полчаса, пока меня не позвали на автобус, мы играли парами. Дома меня не считают за игрока, здесь же я, конечно, чемпионил, показывал, как резать, крутить, но с каждой минутой мне становилось играть все труднее, потому что ребята быстро усваивали мои уроки. Они так увлеклись, что наспех попросились со мной, когда я пошел к автобусу, и продолжали играть. Но я нисколько не обиделся за это, и, пока я шел, я все время слышал позади звонкий ритмичный стук мяча: чик-чик, чик-чик.

— Со своим пинг-понгом ты пропустил массу полезных сведений, — сказали мне друзья. — Как же ты будешь писать об этой школе? Хочешь, спиши у нас цифры и всякие данные о том, что здесь будет в ближайшие месяцы, и про планы обучения...

Под их осуждающими взглядами я чувствовал себя несерьезным, легкомысленным человеком.

— В пинг-понг можешь играть дома, — говорили они. — Незачем было ехать на Кубу, чтобы играть в пинг-понг.

Я попробовал им что-то объяснить, но меня не стали слушать.

...И ПРО НАБЕРЕЖНЫЕ

С первых же дней мы влюбились в Малекон. Так называется набережная Гавань, протянувшаяся на много километров по берегу Мексиканского залива.

На Кубу надвигался циклон, несколько суток штормило, волны перехлестывали через парапет, обрушивались на мостовую, машины с трудом увертывались от пенных водопадов, сворачивали в ближние кварталы и там тоже шли с трудом, тяжело разбрызгивая воду, которая затапливала прибрежные улицы. Огромные белые валы бежали вдоль пустынной набережной, а с высоты двадцатого этажа отеля море, обозримое далеко-далеко, казалось лишь чуть сморщенным, и только вдоль берега белела кайма, и широкое приморское шоссе временами вспыхивало чистой снежностью пены.

А потом циклон обогнул Кубу, море успокоилось, и мы увидели Малекон совсем иным и познакомились с его нравами и обычаями.

Есть города, которые нельзя представить себе без набережных. Таков Ленинград, где Нева — это белые ночи, разводы мостов, народные праздники, морские парады и парад дворцов, речные трамваи, ледоход, «Аврора»... Таков Париж с навесами букинистов вдоль Сены и листьями каштанов, падающих в ее маслянистую воду, парочки, стоящие под мостом... У каждой набережной своя жизнь. В Севастополе мальчишки прыгают с ноздреватых камней в синюю бухту, а вечером нарядное шествие гуляющих движется по приморскому бульвару. Я вспоминаю огни карнавала на иллюминированной набережной Неаполя, высокий солнечный берег над Волгой в Горьком, белую ночь Архангельска с ее немислимо белесым светом над Двиной и бронзовую фигуру Петра на пустынном берегу... О набережных хорошо писать стихами, простыми и чистыми, как картины Марке.

И набережная Гаваны тоже была совершенно особенной. Во-первых, она — единственное более или менее прохладное место в этом каменном пекле. Конечно, прохлада относительная — градусов тридцать пять, — но все же с моря дует легкий бриз и есть чем дышать. Только стемнеет — на парапете появляются парочки, они сидят лицом к черной теплой пасти моря, где между звезд плывут огни лодок. Позднее сюда приходят спать гаванцы, сбежавшие из душных кварталов Старого города. Приезжают на машинах, приходят пешком и, скинув ботинки, расстегнув рубашки, блаженно растягиваются на широком сером камне парапета: спят взрослые, дети, спят целыми семьями. Может, это и есть во-вторых... Не место прогулок, не украшение, а что-то большее: как дом, общий и свой собственный, как частица души города.

Здесь царит непосредственность, милая, заразительная, быстро расплавляющая нашу северную сдержанность. На Кубе нельзя не быть самим собой. Сидят ребята, поют, увидев нас, немедленно спрашивают: вы кто, откуда, русские, чехи? И уже через минуту мы сидим с ними, и тоже поем, и знаем, кто из них где работает, и знаем, что все они читали роман А. Бека «Волоколамское шоссе» и что недавно здесь стояли пушки и пулеметы и набережная была передним краем.

Мимо пробегает негр с термосом кофе, на поясе у него болтается связка крохотных бумажных чашечек. Пока он наливает нам кофе, мы успеваем познакомиться, выслушать от него новый анекдот про Кеннеди и Фиделя. А по мостовой мчится неубывающий поток машин, проходит колонна новеньких советских грузовиков, медленно катятся свободные оранжевые такси и сколько хватает глаз тянется извилистый прибрежный пунктир фонарей.

Кое-где стоят застывшие фигуры рыболовов. Они появляются еще днем, как только спадает жара. Задумчивые, сосредоточенные лица их удивительно похожи на лица наших удильщиков, стоящих у гранитных спусков к Неве. И на пражан, примостившихся под Карловым мостом. Наверное, они всюду одинаковы, рыболовы больших городов. Стоят, не замечая прохожих и несущихся за спиной машин, не слыша праздных вопросов гуляющих, стоят как бы далеко отсюда, наедине с водой.

На Малеконе я увидел, как ловят рыбу с помощью воздушного змея. Никогда я не видел ничего подобного. Цветастый змей уходил все выше и дальше в глубину моря, волоча за собой леску. Один из рыбаков спускал бечеву змея, другой сматывал с деревянной катушки жилку. По выщербленной, изъеденной морской солью панели ползал огромный лангуст с разодранной пастью. Мальчишки, присев на корточки, дразнили его. А взрослые горячо обсуждали преимущества ловли змеем, и переживали, и советовали рыбакам. Мой спутник Фальяс, известный писатель из Коста-Рики, человек немногословный, немного замкнутый, не выдержал и тоже вмешался, и заспорил, и помогал тянуть бечеву. Останавливались проезжие машины, оттуда выходили болельщики — попереживать хотя бы наспех, и когда наконец начали выбирать леску, то кругом волновалась уже толпа, и показавшаяся из воды колючая в красных пятнах каурилья была встречена общими криками восторга.

Рыболовы похлопали нас по плечу, и мы ушли довольные, будто то была и наша добыча.

Это был совсем непритязательный бар, с цинковой стойкой и алюминиевыми столиками, по-русски он назывался бы «забегаловкой». Посреди бара парень играл на гитаре и пел, поддразнивая полногрудую красавицу мулатку, она с ходу отвечала ему куплетом на куплет, не уступая ему в ловкости импровизации. Такое сочинительство песенок, куплетов чрезвычайно популярно на Кубе, и в городе и в деревне. Импровизации можно услышать в самых разных кабачках, даже на концертах.

Я не уловил, в ответ на что этот парень спел про то, как к нему явился бригадист и начал его обучать грамоте. а потом выяснилось, что сам бригадист знает только две первые буквы азбуки. Кругом засмеялись, тогда поднялся высокий седоватый мужчина со значком бригадиста и неумело, но с запалом пропел о том, что неграмотный имеет большое преимущество перед грамотным — он всегда доволен собой.

Появлялись новые посетители и тоже с азартом вступали в этот веселый турнир. Удачных импровизаторов награждали аплодисментами, и здесь никто не стеснялся плохого голоса, и тот, кто фальшивил, смеялся вместе с публикой...

Отель «Ривера» до сих пор сохраняет свою респектабельность. Огромный вестибюль, оформленный в самом что ни на есть модернистском стиле, со всекими абстрактными скульптурами и металлическими, свисающими с потолка угольниками, рассчитан на почтительную тишину. Но сейчас все нарушилось. Ходили девушки с гремучими кружками, собирая пожертвования на памятник бойцам Плайя-Хирона, и беспокойный, возбуждающий воздух Кубы действовал на самых степенных приезжих.

Приехала большая группа профсоюзных деятелей Коста-Рики. И уже на второй день мы сидели в этом торжественном вестибюле, и они распевали под гитары косто-риканские песни, и никто не удивлялся, и администратор за своим бюро подпевал им, а потом в честь нас, советских людей, они спели какую-то песню, где упоминались сразу и Чапаев, и Буденный, и Хрущев, и Гагарин, и Чкалов.

«БАККАРДИ»

Над Сантьяго возвышается укрепленная на железной башне огромная белая бутылка — эмблема «Баккарди», всемирно известного рома, составившего славу местных заводов. Мы были на этом заводе, ходили по цехам, заглядывали в автоклавы, в огромные медные чаны, нюхали, удивлялись, поднимались в лифте над винохранилищем, где лежат тысячи бочек, пробовали выдержанное годами вино, слушали испытанные временем шутки, сами подшучивали — словом, делали все, что полагается гостям такого предприятия. Баккарди — предмет экспорта Кубы, источник доходов молодой республики. Все было тут интересно. И то, что зарплата рабочих не уменьшилась, и то, что они уже пользуются домами отдыха, и то, что квартплату снизили, и свежие плакаты, развешанные в цехах, написанные от руки.

В одном из цехов мы с Михайло Стельмахом задержались возле моечного агрегата. группа наша ушла куда-то, и мы стали спрашивать, куда нам идти. Не тут-то было. Узнав, что мы из России, работницы взяли нас в круг и повели показывать упаковочные машины, и сортировочные, и разливочные, нас водили из цеха в цех, что-то горячо объясняли, и, к нашему удивлению, мы все понимали.

И вот тут-то экскурсия вдруг перестала быть просто экскурсией, мы почувствовали, что эти работницы — негритянки, мулатки, белые — хозяева этого сложного огромного завода. Они жаловались на нехватку пробок, на трудности с тарой, на то, что мало запчастей для ремонта станков, это был тот самый нормальный производственный разговор, какой можно услышать на любой нашей фабрике. Как будто я попал к себе в Ленинград.

И все же это была Куба. Я не заметил, когда и как у Стельмаха в руках оказался значок — звездочка с Лениным.

Это было непростительной неосторожностью с его стороны, тем более что печальный опыт Стельмаха уже имел. В первые дни из-за лауреатской медали ему не давали прохода. Не было никакой возможности объяснить, что это не просто значок с изображением Ленина и что дарить его нельзя.

На второй или на третий день Стельмаху пришлось снять и запрятать медаль. Ничто так не ценится на Кубе, как значок с изображением Ленина.

Пришлось отдать все, что мы имели. Но тем больше осталось обиженных и огорченных, и нам было неловко. потому что, разумеется, мы творили несправедливость. Почему одним дать, а другим нет? Но надо было видеть лица счастливых с маленькой звездочкой на груди. Их окружали, разглядывали значок с ленинским профилем, значок не очень казистый, который у нас можно купить повсюду, а здесь он как высшая награда, как лучшее украшение человека.

Хавелка сел за пианино. Хавелка — молодой чешский композитор. Старенькое, разбитое пианино превратилось под его руками в целый оркестр. Ян Дрда, в прилипшей к телу рубашке, весь потный, даже очки его запотели, дирижировал, а мы пели. Песни наши мы слышали на гаванской набережной, эти песни поют парни и девушки на набережной Влтавы — где только их не поют. Затем начался танец. Не переставая петь, мы взялись за руки и понеслись в хороводе между столов счетной конторы, между шкафами и арифмометрами, к нам присоединялись работницы, те, кому мы дали значки, и те, кому не достались значки, негр грузчик, лаборанты в белых халатах, кладовщицы в синих комбинезонах, счетовод в длинной кубинской рубашке навывпуск, наши делегаты: бразилец, скульптор из Колумбии, мексиканский журналист. Хесус Лара — крупнейший латиноамериканский писатель, Анелло — художник из Уругвая, Кирилл Методиев — болгарин.

Не знаю, что это был за танец, — похоже на русский хоровод, но тут была и кубинская пачанга, и танцы гаучо, и испанская сарабанда, и чешский фурианг, и все вместе получалось весело и даже иногда слаженно. Может быть, со стороны это выглядело смешно, неуклюже, но со стороны никого не было, танцевали все. И кто бы мог подумать: чопорный Ибанес, профессор литературы и искусства из Монтевидео, одной рукой держа смуглую браковщицу в клеенчатом переднике, а другой руководителя заводских милициано с роскошным пистолетом, инкрустированным слоновой костью и серебром, оглясывал что-то невообразимое.

И пели все, каждый на своем языке.

По дороге назад, в автобусе, Альфредо Кастаньелло подсел ко мне. Он был почему-то притихший и грустный.

— Отчего у себя мы не можем вот так? — вдруг недоуменно спросил он.

ХОСЕ МАРТИ И ФАЛЬЯС

После путешествия чужая страна перестает быть чужой, и долго еще жадно, с особым интересом следишь за всеми событиями там, ищешь в газетах известия оттуда.

Так бывало после каждой поездки, не только за рубеж, а и по своей стране. Иногда эти привязанности сохраняются годами. До сих пор меня живо интересует всякое сообщение о том, что творится в Горном Алтае и в Таганроге.

Нечто подобное испытываешь и после встречи с людьми — на Кубе я подружился с Хесусом Лара, с Фальясом, и мне захотелось прочесть их книги. Вероятно, это чувство возникает у каждого. И так — не только когда встречаешься с живым писателем. Существует совершенно особое, ни с чем не сравнимое ощущение личного знакомства, которое возникает на родине писателя. Только в Веймаре я по-настоящему почувствовал Шиллера. В Самарканде я зримо представил себе исполинский гений Улугбека. И даже Пушкина я во многом открыл заново, попав

однажды осенью в Михайловское. Там было пустынно, озера стояли тихие, усыпанные листьями, и казалось, что Пушкин просто описывал то, что было вокруг, и делал это так, что никак иначе нельзя было сказать об этом холме и об этих озерах. Примерно то же повторилось на Кубе. Перед нами открылся Хосе Марти — великий поэт и великий человек Южной Америки.

Почти в любом самом маленьком городке Кубы есть памятник Хосе Марти. В Мансанильо я видел, как перед домиком всей семьей водружали бюст Хосе Марти на самодельный постамент. На стенах домов, на дорогах — повсюду надписи, плакаты с цитатами из Марти, строки его стихов. Трудно найти другой пример, где так переплетались бы поэзия и революция, лирика и политика и где они так овладели бы умом и сердцем целого народа.

Раз уж зашла речь о наших спутниках, я не могу не сказать о Фальясе.

Мне хочется написать и о Хесусе Лара, чудесном писателе, спокойном, неторопливом Хесусе Лара, нашем друге коммунисте, чьи книги доставили мне столько радости.

О Пабло Фернандо, замечательном поэте Кубы, нетерпеливом, горячем, сумбурном, неожиданном, «насквозь поэте». Стоит издали посмотреть на него несколько минут, и вам сразу ясно, что это поэт.

О молодом кубинском поэте Мануэле, об уругвайском художнике-коммунисте Анелло Фернандесе.

Сколько мы проехали вместе, сколько видели, переговаривали и пережили! В моем путевом блокноте листки заполнены рисунками Анелло и есть портрет Фиделя, сделанный Анелло на одном из митингов, и эскизы Анелло из тех, что были на его выставке несколько лет назад в Москве.

Стихи Пабло, и его рассказы о детстве, и его рассказы о революции.

И рассказы Хесуса Лара о наших советских книгах в странах Латинской Америки: я не подозревал, как они радуются каждой нашей удаче.

Я в долгу перед всеми ними, моими друзьями и товарищами.

Что ни год, то долг возрастает, и сколько ни работаешь, долги растут, растут, и, боюсь, не хватит никакой жизни, чтобы погасить их.

В долгу перед Туркменией и девушкой Варей Ващенко на промыслах Небит-Дага, перед этим так взволновавшим нас молодым городом среди песков Каракумов.

Да где там Каракумы, если уже три года никак не могу написать о чудесных людях, работающих в лаборатории фотосинтеза, что у меня под боком и чьи работы меня давно и так живо занимают.

Списку этому нет конца, и от этого порой бывает трудно, но, наверное, иначе жить нельзя, да и не стоит.

Из всех своих долгов сейчас выбираю Фальяса. Почему? Не знаю, может быть, потому, что, думая о жизни писателя-коммуниста, я всегда вспоминаю его удивительную судьбу.

Фальяс живет в Коста-Рике. Молодость его прошла на банановых плантациях «Юнайтед фрут». Он работал пеоном. Его роман «Мамита Юнай» — это о себе, о пережитом. Он рассказал нам, как писалась эта книга.

Компартия послала его в командировку контролером — наблюдать ход выборов в тот район, где он когда-то работал пеоном. Вернувшись, Фальяс начал писать отчет. Его попросили написать об этой поездке и в газету. Стал писать для газеты, но получалось что-то странное — не статья, не отчет, а какие-то описания, люди, разговоры, характеры. Газета партии была маленькая, бедная, бумаги не хватило, а очерки Фальяса шли из номера в номер, занимая много места. Он не мог остановиться, ему хотелось писать и писать, рассказать о той страшной, гневной правде, которую он знал и пережил.

Редакция решила прекратить печатание очерков, но читатели запротестовали, потребовали продолжения. Они хотели знать, что было дальше, и во всех подробностях. Тогда Фальяс решил написать книгу. ЦК партии дал ему отпуск на месяц, и он сел за работу. Он понятия не имел о том, как пишутся книги, а в особен-

ности романы. Взял напрокат старенькую пишущую машинку и начал учиться печатать на машинке, учась писать роман. Заперся в комнате от всех, даже от жены. Нельзя сказать, чтобы ей это нравилось, были всякие конфликты, но что делать: в его распоряжении был всего один месяц. Бумагу добывал приятель, работавший в типографии, подсовывал под дверь. Приходилось одолевать грамматику — ведь Фальяс, в сущности, тогда еще был малограмотным. Он много читал, и это помогло ему чувствовать грамматические ошибки: если слово получалось какое-то некрасивое, что-то мешало — он менял буквы, подбирал до тех пор, пока слово на вид не раздражало. Хуже было со знаками. Приходилось главным образом применять точки. Но совсем плохо было с диалогом. Он знал, что когда кто-то говорит, то перед строчкой ставят тире. Но если один человек в романе встречается другого и начинает рассказывать: «Знаешь, познакомился я вчера с доном Хуаном, и он мне сказал...» — и вот когда начинал говорить этот самый дон Хуан, то получалось, что говорят уже не двое, а трое, и Фальяс окончательно запутывался.

Пальцы болели от машинки. Глаза болели. Кое-кто считал, что разоблачать компанию «Юнайтед фрут», восстанавливать против нее пролетариев Коста-Рики — значит подрывать экономику страны, ибо плантации компании занимают одну треть территории Коста-Рики, она владеет железнодорожными, пароходными, воздушными линиями, ей принадлежат заводы, порты, банки, отели, рудники, она обеспечивает работой...

Фальяс не мог остановиться. Он никого не слушал, не принимал в расчет никакие соображения, он кончил роман. Был 1940 год, проходил конкурс на лучший латиноамериканский роман, и Фальяс решил послать туда свою рукопись. Нужно было перепечатать ее в четырех экземплярах. У Фальяса не хватало уже сил, помогли друзья, каждый, кто приходил, садился за машинку. Жюри отвергло книгу, заявив, что ее нельзя признать романом. Тем не менее удалось ее издать, но тогда агенты «Юнайтед фрут» полностью скупили тираж. Лишь несколько экземпляров случайно попало за границу, и уже после войны благодаря Пабло Неруде роман был снова издан, и с внезапным успехом. Роман сразу перевели на все европейские языки, его до сих пор издают и читают в Латинской Америке. Талант, правда и гнев сделали эту книгу неумирающей.

С тех пор прошло много лет, пеон Фальяс стал писателем с мировой известностью и одним из видных деятелей национально-освободительного движения Латинской Америки.

Было всякое — и голодовка в тюрьме («Знаете, что самое важное — выдержать примерно третий день: дико начинают болеть челюсти»), и суды, и смертный приговор. Из трибунала его повезли прямо в камеру смертников. Это были страшные часы. Он рассказал нам, как по дороге он думал о том, что завтра в это время он уже будет лежать в земле, и будет так же светить солнце, а эта девушка на поле будет так же цвести, и так же будут блестеть листья, как будто в мире ничего не изменилось. Ну, а что изменится, если умереть через десять лет? Важно, наверное, не когда умирать — хотя, конечно, жить хочется подольше, — но важнее этого, как умереть, во имя чего, так, чтобы и смерть твоя продолжила жизнь. Может быть, не каждый помнит, сколько лет было Хосе Марти, когда он погиб, сорок или сорок два, но все знают, что он был убит в бою за свободу Кубы. И тогда Фальяс сказал себе: «Я должен умереть так, чтобы никто не мог сказать, что у нас в партии коммунистов есть трусы, — это последнее, что я могу делать для своей жизни».

Его спасли чудом, об этом тоже можно много рассказывать; вся жизнь этого человека полна событий поразительных, но для самого Фальяса совершенно естественных, потому что она проходила и проходит в борьбе. Завидная писательская доля — ему ничего не надо придумывать, изучать, собирать материалы, он может просто писать о том, как он живет и работает.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. КОНДРАТОВИЧ

★

ЧЕЛОВЕК НА ВОЙНЕ

(Заметки критика)

«Они должны были бы помочь нам, восемнадцатилетним, войти в пору зрелости, в мир труда, долга, культуры и прогресса, стать посредниками между нами и нашим будущим. Иногда мы подтрунивали над ними, могли порой подстроить им какую-нибудь шутку, но в глубине души мы им верили. Признавая их авторитет, мы мысленно связывали с этим понятием знание жизни и дальновидность. Но как только мы увидели первого убитого¹, это убеждение развеялось в прах. Мы поняли, что их поколение не так честно, как наше; их превосходство заключалось лишь в том, что они умели красиво говорить и обладали известной ловкостью. Первый же артиллерийский обстрел раскрыл перед нами наше заблуждение, и под этим огнем рухнуло то мировоззрение, которое они нам прививали.

Они все еще писали статьи и произносили речи, а мы уже видели лазареты и умирающих; они все еще твердили, что нет ничего выше, чем служение государству, а мы уже знали, что страх смерти сильнее. От этого никто из нас не стал ни бунтовщиком, ни дезертиром, ни трусом (они ведь так легко бросались этими словами): мы любили родину не меньше, чем они, и ни разу не дрогнули, идя в атаку; но теперь мы кое-что поняли, мы словно вдруг прозрели. И мы увидели, что от их мира ничего не осталось. Мы неожиданно очутились в ужасающем одиночестве, и выход из этого одиночества нам предстояло найти самим».

Эти сильные слова, сказанные несколько десятилетий назад от имени целого поколения («мы»), до сих пор звучат и как гневное обвинение буржуазного строя, отнявшего у юности надежды, и как горчайшее самопризнание. Сам по себе гнев как всякое активное чувство таит в себе утверждение, но здесь это гнев усталых, слишком рано узнавших кровавую и грязную изнанку жизни, слишком рано постаревших, это гнев сдавшихся на милость осточертевшей жизни, и когда герой романа Ремарка «На Западном фронте без перемен» умирает в одном из боев, «на лице у него было такое спокойное выражение, словно он был даже доволен тем, что все кончилось именно так». Он был уже потерян для жизни.

В то время, когда это «потерянное поколение» гибло в бессмысленной толкучке взад-вперед наступающих и отступающих армий или возвращалось с фронта смертельно равнодушным к жизни («Пусть приходят месяцы и годы,—они уже ничего у меня не отнимут, они уже ничего не смогут у меня отнять. Я так одинок и так разучился ожидать чего-либо от жизни, что могу без боязни смотреть им навстречу»),— в это же самое время уходило на войну иное поколение—поколение Корчагиных. Оно уходило с верой в то, что совершает правильный, единственно необходимый шаг в своей жизни, и время показало, что их вера не оказалась иллюзией. В боях они лишь укреплялись в этой вере.

«Корчагин выписался»,— замечает в своем дневнике врач военного госпиталя Нина Владимировна.— «Повязка с глаза снята, осталась лишь на лбу. Глаз ослеп, но снаружи вид нормальный... Прощаясь, сказал:

¹ Здесь и дальше разрядка моя.— А. К.

— Лучше бы ослеп левый,— как же я стрелять геперь буду?

Он еще думает о фронте».

Больной, пострадавший от войны Корчагин не просто думает о фронте, его волнует, как он будет воевать. Для него война не отвлеченное понятие и не Молох, расплющивающий людские души, а тяжкая, кровавая, но трижды необходимая борьба за новые, самые гуманные идеалы в жизни. И не оттого ли то время — голодное и холодное, сыпнотифозное, отнявшее сотни тысяч совсем юных жизней — осталось эпохой высокой героики и подъема человеческого духа, поистине романтической эпохой не только для поколения Корчагиных, но и для всех последующих поколений.

Эта эпоха не знала «потерянных» душ, напротив, она «оживила» великое множество людей, зажгла их благородными идеями, поставила перед ними ясную и истинно человеческую цель жизни. Она вдохнула в людей душу.

Здесь нет особой нужды подробно говорить, почему и как это произошло, почему в одно и то же время молодые люди одного возраста (герои Ремарка и Корчагин — ровесники) оказались представителями разных поколений. Нет нужды, потому что пришлось бы повторять хорошо известные истины о справедливых и несправедливых войнах, о революции, о гражданской войне и интервенции и прочем. Мне хотелось лишь напомнить одно: нет войн вообще, как и человека на войне вообще. Война есть продолжение политики насильственными средствами. А политика, как известно, бывает разной, и это совсем не безразлично для тех, кто воюет. Больше того, именно политика, характер войны объясняет многое, если не все, в психологии, в умонастроении, в духовном облике человека на войне.

Без напоминания этих известных положений, видимо, не обойдешься. Иначе можно не понять то новое, что появилось в военной прозе последних лет, и, скажем, принять правдивое описание войны за ремаркизм. И напротив, можно легко обмануться и посчитать правдой то, что и в самом деле создано скорее под сильнейшими литературными влияниями, нежели памятью минувшей войны.

Русский народ любит воевать, сказано было однажды перед войной. Эти слова повторялись. Но нет народов, которые любили бы воевать. Даже в тех случаях, когда

народ ведет справедливую войну, любят, в сущности, не саму войну, а тот идеал, за который приходится сражаться с оружием в руках. Именно на основе борьбы за независимость, свободу, справедливость против насилия и гнета и в искусстве возникает поэзия военной доблести, пафос воинского подвига. И если наш народ умеет воевать, то скорее всего по той причине, что его слишком часто понуждали учиться этому горькому умению.

Любить и уметь — разные понятия. Глагол «любить» в применении к войне звучит кощунственно. Некоторые из произведений последних лет являются своеобразной реакцией на книги, в которых этот глагол как бы определял тональность книг — шапкозакидательских до войны и помпезных после войны. Такую реакцию можно понять. Но судить книги всегда, конечно, должно по их действительной цене, тем более что в последние годы появились произведения о войне с новым взглядом на события минувшей войны. Это роман К. Симонова «Живые и мертвые», повести и рассказы Г. Бакланова, Ю. Бондарева, В. Астафьева, В. Богомолова и других.

В критике были, правда, попытки представить эти книги как нечто уже совершенно новое в развитии нашей военной прозы. Думается, что это преувеличение. Новые произведения последних лет возвращают нас к той, невыдуманной, войне, которая нашла отражение в таких книгах, как «В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Спутники» В. Пановой, «Звезда» Э. Казакевича и другие. Возвращают, конечно, не в полном смысле этого слова, так как создают их писатели со своим взглядом на минувшие события, со своей мерой таланта и своими художественными пристрастиями. К тому же в связи с крптической культой личности мы имеем возможность более глубоко осмыслить историю, ход войны. Разумеется, основные оценки и определения тут остались прежними, иначе и быть не могло, поскольку это была действительно великая, действительно отечественная, действительно всенародная борьба с фашизмом, борьба героическая и в конечном своем итоге победоносная.

Но теперь уже не найдется людей, которые бы, скажем, усматривали в начальном периоде войны удивительно мудрый, чуть ли не кутузовский стратегический замысел. И в дальнейшем были беспримерные тяготы,

была война, самая тяжелейшая в истории нашей родины, унесшая столько жизней, сколько не унесли чуть ли не все предыдущие войны, вместе взятые.

С тем или иным успехом наша литература стремится восстановить эту правду о войне. Но читая иные статьи, как бы слышишь запретительный свисток: не смей! «С легкой руки некоторых истерических пацифистов далеко не нашего лагеря, правда, немногие советские даже очень даровитые писатели пошли по линии некоего «правдоискательства» в войне. Обычный для их книг сюжетик — это «пяточок», безымянная высотка, на которой бессмысленно гибнут хорошие, храбрые и честные люди. Бывали такие истории? Бывали. Правда это? Безусловно правда.

Но я своими глазами видел, как один пожилой, честный, чистый, нравственно сильный человек рыдал тяжелыми стариковскими безутешными слезами над таким сочинением и говорил:

— Я не хочу знать, что мой мальчик умер так! Это бесчеловечно — эти ваши повести! Я ненавижу такую литературу! Мой мальчик не мог умереть бессмысленно. Неужели вы не понимаете, что такая литература — это слишком жестоко».

Так писал в прошлом году писатель Юрий Герман. Как писатель он мог бы разъяснить старому, видимо, очень несчастному человеку, что литература гуманна именно своей правдой. Утешительная литература опасна и вредна потому, что она застилает глаза иллюзиями, внутренне обезоруживает людей. Это было так ясно в первый год войны и стоило таких действительно бессмысленных жертв, что неужели об этом можно забыть? А к тому же, в каких произведениях Юрий Герман увидел это торжество бессмыслицы и жестокости, нарочитого «правдоискательства» «с легкой руки некоторых истерических пацифистов далеко не нашего лагеря»? В «Пяди земли» Бакланова или в «Последних залпах» Бондарева?

Не хочется возбуждать споры вокруг этих произведений. Достаточно быть просто непредубежденным читателем, чтобы легко заметить, что тяжкие бои, описанные и в той и в другой повести, отнюдь не бессмысленны. Хороша себе бессмыслица — отстаивать отвоеванный у врага плацдарм на той стороне реки или сдерживать натиск

врага, пытающегося вырваться из тисков наших войск! Прямая военная целесообразность и необходимость этих боев объяснена в повестях совершенно отчетливо. Кстати, критики это отлично понимали, когда дело касалось повести Бондарева, и никак не могли сообразить, обращаясь к повести Бакланова. Но едва ли в действительности между этими произведениями существует принципиальная разница по крайней мере в этом отношении.

Другое дело, что оба эти писателя показывают войну и жизнь человека на войне неприкрашенно. Нет, это чтение едва ли утешит и обманет, скорее оно разбередит старые воспоминания, заставит задуматься. Но таково уж свойство настоящей литературы и отличие ее от приятной и покладистой беллетристики.

Беллетристическое мышление пугливо, оно боится реальных осложнений и противоречий, трудностей, которыми полна жизнь и уж тем более война. Бойтся потому, что они никак не ложатся в уютный и занимательный сюжет, сами по себе лишены приятности и могут взволновать безмятежную поверхность беллетристического произведения.

Войти в положение такого беллетриста нетрудно, но считаться с ним нельзя, особенно там, где идет речь о правдивом воспроизведении жизни в искусстве. Жизни нынешней, или недавно отошедшей, или совсем давней — это уже неважно. Герою литературы, по толстовскому выражению, может быть только правда.

Пю этой причине приверженный к беллетристике взгляд, видимо, с неудовольствием отвернется от повести молодого белорусского писателя Василя Быкова «Третья ракета» («Дружба народов», № 2, 1962). Пресловутый «пяточок» в ней сужен до размеров одной артиллерийской позиции, на которой происходят события поистине трагические: один за другим гибнут при отражении вражеской атаки номера орудийного расчета, в живых остается лишь один — Лозняк, от лица которого и ведется повествование.

В повести мало героев в отличие от иных военных (и не только военных) повестей и романов, в орбиту которых вовлекается множество действующих лиц. До сих пор некоторые почему-то считают, что чем больше персонажей, тем полнее жизненная картина. Молодой писатель рассудил ина-

че: он произвел жесткий отбор материала, оставив лишь самое необходимое. В его повести действуют всего семь человек. Присутствие шестерых из семи просто обязательно: это расчет пушки, попавшей под вал вражеской атаки. «Мы сорокопятники,— говорят они о себе.— Еще называют нас ПТО (противотанковое орудие), чаще «пушкари», а то и «прощай, товарищи». Последнее обижает и злит нас, и мы указываем тогда на нашего командира старшего сержанта Желтых, который с сорок первого воюет с этими пушками и ничего себе — жив, здоров».

Думается, что интонация этой короткой цитаты — естественная, почти «бытовая» и даже чуточку застенчивая — уже дает какое-то представление о герое-рассказчике Лозняке, бывшем студенте, мечтавшем стать учителем и ставшем рядовым артиллеристом. Еще есть в повести Кривенюк, изуродованный минным осколком, люто ненавидящий гитлеровцев, сирота с раннего детства, обошедший все детдома, уже успевший побывать в штрафной роте.

Есть Лукьянов, вырвавшийся из вражеского плена, «доходяга», замученный малярией, бывший студент архитектурного института, и есть наводчик якут Попов. «Все наши неудачи,— замечает рассказчик,— происходили по разным причинам, но все успехи — подбитые в последних боях два танка, сожженные автомобили, расстрелянные пулеметы — дело ловких рук и зорких глаз Попова». Есть «хитрец, ловкач и лежебока» Лешка Задорожный; как выяснится потом, эта первоначальная характеристика окажется слишком добродушной, слабоватой. И есть санинструктор Люся.

Повесть Василя Быкова относится к тем произведениям, которые в пересказе теряют все, не приобретая ничего.

Можно сказать, например, что сюжетные рамки повести ограничены рамками боевого эпизода, случившегося где-то в середине войны на одной из бесчисленных артиллерийских позиций,— и это будет отчасти верно, потому что мы только-только знакомимся с расчетом «сорокопятки», как начинается злая атака гитлеровцев, а кончается бой — и кончается повесть. Но сказать так — значит до неузнаваемости огрубить замысел повести, который, конечно же, не мог состоять в создании еще одного поучительного, воспитательного примера: слишком нехитрая это работа.

Можно заглянуть в повесть поглубже и увидеть в ней противопоставление «хитреца, ловкача и лежебоки» Лешки Задорожного всему остальному маленькому коллективу боевого расчета, составленному из разных людей с разными судьбами и характерами, но совсем не случайно принимающими общую смерть. И лишь Задорожному столь же закономерно определен иной конец: в него, ловкача, ставшего предателем, бьет в упор из ракетницы последней, третьей ракетой Лозняк, тот самый Лозняк, которому принадлежат и последние слова: «...я чувствую, что придется многое объяснить и за что-то ответить. Но я не боюсь. Что бы со мной ни случилось, я готов на все,— хуже и страшнее, чем сегодня, мне никогда уже не будет».

Но и такое толкование повести неполно, хотя, как видим, с ним совпадает само ее название. Такое толкование тоже недалеко от поверхностного назидания.

Повесть невелика, драматична, хотя течение ее кажется замедленным, неторопливо-спокойным, и это прежде всего потому, что автора больше всего интересуют не перипетии тяжкого боя, а человек в этих грозных обстоятельствах.

И, может быть, самое удивительное то, что ничего неожиданного с людьми не происходит. Вот как автор описывает, например, старшего сержанта Желтых:

«Готовится он, будто на работу в поле. Дожевывая завтрак, привычным движением вешает на шею бинокль, забрасывает за плечо автомат, надвигает на лоб помятую, выбеленную солнцем пилотку, которая всегда приплюснуто облегает его голову — от уха до уха. Пилотка и остальное обмундирование у него не новое, обыкновенное «БУ», зато все, что определяет сержанта артиллерии, досмотрено и носится даже со своеобразным шиком. Бинокль, хоть он и старенький, с выщербленным окуляром, но о нем Желтых говорит, что не променяет на новый, даже на трофейный цейсовский. К сержантской полевой сумке с наставлениями, бритвой и разной солдатской мелочью пристегнут на ремешке компас, как у начальства. Под утро он надевает промасленный ватник, на нем помятые погоны с красным лычком поперек, а на рукаве, выше локтя, будто золотая, поблескивает вырезанная из жести самоделка — перекрещенные стволы орудий. Это эмблема истребителя танков. Сапог Желтых не но-

сит, говорит, что в них душно ногам, и ходит в ботинках с обмотками. Накручивает он их низенько — на ладонь от ботинок.

— Кривенюк, разбуди Попова, — приказывает старший сержант. — Я к комбату».

Здесь точно схвачены черты характера степенного, уже немолодого колхозника, человека нефорсистого и немногословного: не любят в крестьянстве людей, ищущих себе отличие во внешности, пусторечивых, любят тех, кто держит себя с достоинством и говорит слова для дела. Но и отличие должно быть, поскольку Желтых маленький, но командир, с него спрос больший, да он и сам, не ведая того, спрашивает с себя больше всех с тех пор, как его определили командиром. Он строг и аккуратен, полбюрист. Но строгость эта не ради строгости, не ради того, чтобы показать свою власть, а опять же для дела. И аккуратность, даже своеобразный шик для этого — и компас и самодельная эмблемка. А вот сапоги уже будут как бы существенно отделять его от всех остальных, и тут уже можно схитрить, сказать, что в сапогах душно...

Эта прирожденная деликатность — одно из свойств народного характера. Мы увидим этот характер и в других проявлениях. И в том, что Желтых может на любого прикрикнуть, даже со старшим командиром поспорить, но не прикрикнет и не поспорит с наводчиком Поповым. Он бережет Попова и, если нужно куда-нибудь сбегать или постоять лишний час в карауле, никогда не назначит его. Он ценит в Попове умение, мастерство, какого нет ни у кого в расчете, даже у него самого, командира, нет. Оттого он так особенно уважителен к наводчику. Еще одну черту народного характера мы заметим в его постоянной и тихой думе о семье, о детях. Лишь изредка она прорвется, и то вызванная посторонним вмешательством. «Я бы все медали отдал, только б детей сберечь, — отвечает он на наскоки Лешки Задорожного. — Своих и чужих... А не кончится война до нового года, то и старший мой, Дмитрий, пойдет в армию. Допризывник. Восемнадцать лет парню. Попадет в пехоту, и что думаешь? Молодое, зеленое — в первом же бою и сложит голову. Не пожив, не узнав ничего. А ты — «медали!» Хорошо тебе, холостяку, ни кола, ни двора, сам себе голова. А тут четверо дома!»

Такой характер нетрудно представить в любой обстановке. Его можно передвинуть

в наши дни, и в самом существенном он останется тем же.

Это любопытная и очень примечательная черта повести Василя Быкова, свидетельствующая о реалистичности его письма, об умении схватить главное в характере человека, не поступаясь индивидуальными оттенками. В этом видно свойство таланта серьезного, не пустячного.

Тонко создает Василь Быков и атмосферу фронтовой дружбы, дружбы особого склада, встречающейся только на войне, когда одна судьба соединяет порой самых разных людей, в мирное время, наверное, никогда бы и не узнавших друг друга, — соединяет удивительно прочно и столь же хрупко. Прочно потому, что фронтовое братство — то, без чего просто нельзя делать дело, выполнять боевую работу: рыть окоп или передвигать орудие, спать по очереди, стрелять, наступать или отступать. А поскольку война отделяет на неизвестный срок возвращение к семье, старым друзьям, ко всему кругу мирных привязанностей и забот — да и свершится ли возвращение? — то эта боевая, взаимно нужная работа и повсечасная совместная жизнь сближает людей быстро и прочно. Хрупко же по вполне ясной причине: на войне можно потерять за час столько близких тебе людей, сколько не терял за всю свою жизнь.

Дух такой дружбы писатель воссоздает почти неуловимо. Вот Желтых будит солдат. Поднимаются они с неохотой, ворча, так что командиру приходится прикрикнуть на них. Просыпаются и «не спеша берутся за дело». Дело обычное, ерундовое — протирать ветшошь снаряды, и делает его каждый, как может, — один вяло и медлительно, другой ловко. «Только Задорожный, натянув на крутые плечи тесноватую гимнастерку, проходит по окопу мимо работающих».

Еще, собственно говоря, ничего не сказано — обычная утренняя картинка, — но уже появляется это самое «мы» («Мы сорокопятчики»), которое будет потом так естественно переходить в чисто авторскую речь и вновь появляться вместо авторской, что переходы эти можно обнаружить лишь со специальным желанием найти их.

В описании дружбы маленького коллектива автор застенчив, как и его герои, чувства здесь спрятаны глубоко, и проявляются: они в снах простых и щемящих — в том, как Лукьянов доедает вечером уцелев-

ший от утреннего завтрака «остаток чье й-то пайки», а все остальные глотают слюну и отводят взгляд в сторону. «Лукьянов только недавно вылез из-под шинели — дважды в день, с утра и под вечер, его трясет малярия, к ночи он немного приходит в себя, оживает. Мы прощаем солдату его несдержанность — он так наголодался в плену, что до сих пор никак не может наестся». Или в том, как, получив трудную и опасную задачу, из-за которой Желтых даже повздорил со старшим командиром, все «забеспокоились, притихли и садятся на бруствере поближе друг к другу — как всегда в предчувствии беды. Теперь все мы добреем и как бы взрослеем», и во многих других словно бы «моментальных снимках» обычной окопной жизни.

Тема фронтового братства хорошо известна западной литературе. В романах Ремарка, где эта тема звучит очень сильно, именно чувство единой фронтовой судьбы, продолжающейся и после войны, фронтового товарищества сообщает героям обаяние. Это верное, нефальшивое чувство, привязанность, которую нельзя подозревать ни в какой корысти. Но там это единственное чувство и единственные человеческие узы, которые как-то связывают горсточку страдающих на войне или выживших после войны людей. Дружба в романах Ремарка — дружба одиноких, последний теплящийся в сердце уголек. Гаснет он — и сразу же все покрывается серым пеплом безысходности. Остается только одно — ждать того же конца в этом давно уже померкшем мире. «Мы не нужны самим себе, мы будем жить и стариться, — одни приспособятся, другие покорятся судьбе, а многие не найдут себе места. Протекут годы, и мы сойдем со сцены».

В повести Василя Быкова Лозняк теряет в одном бою всех своих друзей. Нам не дано знать его дальнейшую судьбу, но мы можем о ней догадываться хотя бы по той интонации, с которой ведет он, оставшийся в живых, свой рассказ о том бое, о тех ушедших товарищах.

«Старший сержант молчит. И я не могу себе представить, что никогда уже он ничего не скажет, не закричит, не обругает. Я сижу над ним, и в моей душе появляется немой укор себе от того, что умер он, крича на меня, что, может, злость ко мне была последним проявлением его человеческих чувств. Еще

начинает казаться, что, может, это он из-за меня подставил себя под пулю, может, если бы он сзади не крикнул и я, вздрогнув, не уклонился, та пуля была бы моей. И вот меня она миновала, а встретила его...

Бережным прикосновением я закрываю командиру глаза, что-то прорывается во мне, полное неутолимой злости. Я дико ругаюсь, так что даже сам становлюсь ненавистен себе. Потом сижу, глядя в одну точку, и в голове проносится вереница горестных мыслей.

— Ничего! Не надо... — говорит Попов. — Война!..»

И как раз после этой сцены следует одно из редких в повести публицистических отступлений о войне, о необходимости навеки похоронить ее.

Мужественная, строго сдержанная интонация и это чисто человеческое, благородное ощущение собственной вины в том несчастном случае, когда вины-то ведь никакой нет и все-таки ты не можешь отвести ее от себя, — все это лучше любых слов дает понять, что человек остался человеком.

В повести один отрицательный персонаж — Лешка Задорожный. «Куда лучше понятен нам Лешка Задорожный», — признается Лозняк. Он и в самом деле понятнее в сравнении с больным и молчаливым, затаенно думающим о чем-то своем Лукьяновым. Он весь вроде бы на виду. Лешка — футболист, красавец, умеющий жить и хвастающийся этим умением. Ему завидуют, и он подчеркивает свое превосходство, и как человек, осознающий это свое право на превосходство, он бесцеремонен и бестактен, ему ничего не стоит залезть в чужую душу. Он слишком занят собой, сам себе он бесконечно интересен, все же остальные, с его точки зрения, примитив, за исключением начальства покрупнее, и он подчеркивает кое-чего добиться. «Мы с генералом ехали...», «Мы с генералом беседовали...» — Задорожный любит вспоминать свою прошлую «житуху», когда он был шофером у генерала, и потому ему ничего не стоит сказать при якуте Попове: «Бойтся, чтобы жена к шаману не перебежала... Пока он тут кукурузу ест»; или еще раз напомнить Лукьянову о его незатихающей боли: «Умник какой! Думаешь,

я глупее тебя? Я, брат, хоть институтов и не кончал, но и в плен не сдавался, не то, что ты!» И это он разозлил Желтых словами: «Слушай!.. Вот ты говоришь, война, война! Гитлер! А ты подумал, кто ты до войны был? Ну кто? Рядовой колхозник! Быкам хвосты крутил, кизяки голыми ногами месил.. Был ты ничто. А теперь? Погляди, кем тебя война сделала. Старший сержант. Командир орудия. Кавалер ордена Отечественной войны, трех медалей «За отвагу», член партии...» А в ответ на слова Желтых о детях Задорожный не то всерьез, не то в шутку говорит: «А что, пусть повоюют... Умнее будут. Война, говорят, академия».

Но сам-то он воевать не хотел бы, жизнь при генерале ему куда слаще окопов. То и дело подчеркивая свое превосходство над окружающими, сам он как раз и лишен настоящего чувства собственного достоинства. Он фальшив. Чтобы понять его, нужно все время выворачивать его наизнанку. Работа это нехитрая, но необходимая. «Черт бы их там побрал, командиров этих,— скажет Задорожный.— Им хорошо в блиндажиках сидеть, а тут попробуй — стрельни! Он задает такого, что за день трупы не поотрываешь...» Это вовсе не значит, что он сердит на командиров, он люто завидует им. Но попади он в блиндаж, дорвись до власти — он остался бы тем же. И там он попробовал бы увильнуть от ответственности, свалить ее на чужие плечи, зато уж лакейскую бы развел — это можно представить... И сознание превосходства над остальными прочими, ощущение своей избраннысти разыгрались бы там вовсю...

И такой тип, такой характер — Горький бы назвал его социальным типом мещанина — можно увидеть в любой отнюдь не военной обстановке. Этот тип живуч и обладает высокой степенью приспособляемости, тем более что в мирное время камуфлироваться как-никак легче. Это там, на поле боя, не выдержала душонка Задорожного, и он бежал, бросив всех на произвол грозной судьбы. Но и там он огрызается перед лицом расплаты, он превосходно знает, что, защищая себя, надо нападать: «Иди докажи! Пусть оживят Процкого, Люсю, пусть спросят... И прочь от меня, сопляк!»

Логика настоящего художественного произведения — логика диалектическая, не всегда совпадающая с логикой житейской и тем более формальной. Существой дей-

ствительно живой Лозняк — за пределами повести ему бы пришлось худо: трибунала бы ему не миновать за то, что он застрелил Задорожного. Но ему будет хорошо с читателями, они его не осудят: по высокому счету справедливости он прав. Огненной струей ракеты он ударил в «ненавидимое, искаженное злобой лицо» мещанина, поднявшего руку на саму память о солдатах, им же самим преданных.

Разнохарактерно проявление положительного в том случае, разумеется, когда писатель идет от жизни, а не от готового манекенного образца. Здесь нет возможности подробно описывать Лукьянова и Кривенка, Попова и самого Лозняка. Обратившись к повести, читатель не станет путаться в них, как в трех соснах. Это персонажи со своей судьбой и со своими характерами. Лучше бы даже сказать: не персонажи, а люди, настолько они реальны, нелитературны.

И только к одному герою повести я бы применил сухое, ученое слово «персонаж» — к Люсе. Она пришла в эту повесть из повестей Бондарева и Бакланова, как появилась и к последним из чужих произведений. Это женское существо имеет чисто функциональное значение — показать, что и на войне, кроме смерти, существует любовь, и подчеркнуть тем ужас и нелепость смерти. Она как бы воплощает в себе тоску солдат по миру и покою и символизирует зыбкость этих томлений и надежд. Писатели польстились на «выигрышную» фигуру и потеряли в самостоятельности, особенно же в цельности общей картины. При этом у В. Быкова фигура «женщины» оказалась самой неудачной. Стоит ему подойти в своем повествовании к Люсе, как он начинает писать мучительно тускло: «Невысокая, подвижная, с виду совсем еще девчонка лет шестнадцати, она вела себя так, будто не знала, какая красивая. У нас она пользовалась всеобщим уважением — и бойцов и командиров, и молодых и постарше. Мы чуть ли не наперебой старались сделать ей что-либо приятное, как-нибудь облегчить нелегкую фронтовую жизнь».

Так писать можно километрами... Но нужно ли?

Но это единственный упрек писателю. Повесть его талантлива. В ней мы видим реального человека на реальной войне. Созетского человека. Не на войне,

созданной воображением и литературной мольдой, а на той войне, которая была, — на великой, отечественной, перепавшей нашу землю, но закалившей наши души.

Человек остается человеком... Не звучит ли эта фраза слишком благодушно, а может, и беспечно? Если человек остается человеком, если человеческое все же не выгорает дотла в огне войны, а некоторые качества — скажем, храбрость, твердость духа, взаимная выручка, возносящаяся порой до высот самопожертвования, — даже и выявляются с особой наглядностью именно в условиях войны, то не приведет ли нас все это к тому, что мы начнем незаметно для самих себя уменьшать, сглаживать тяготы и страдания, которые несут войны людям, так сказать, облагораживать войну?

Может привести, и это будет опаснейшим заблуждением. Приведет, если мы хотя бы на минуту забудем, что войны — явление, присущее не вообще человеческому обществу, а лишь классовому, антагонистическому. Войны — то социальное зло, с которым человечество расстанется возможно даже раньше, чем окончательно рухнет капитализм. С мировой войной, например, это вполне может случиться. «Возрастающий перевес сил социализма над силами империализма, — говорится в Программе КПСС, — сил мира над силами войны ведет к тому, что еще до полной победы социализма на земле, при сохранении капитализма в части мира, возникнет реальная возможность исключить мировую войну из жизни общества». И дальше: «Победа социализма во всем мире окончательно устранил социальные и национальные причины возникновения всяких войн. Уничтожить войны, утвердить вечный мир на земле — историческая миссия коммунизма».

Мы не можем не считаться с войнами, пока еще существуют силы, порождающие их и развязывающие, пока угроза военных нападений еще не отведена окончательно и навсегда от народов. Мы должны быть готовыми к ним. Но вместе с тем мы не можем не видеть полную несовместимость войны с нормальным человеческим существованием. Это особенно ясно на нынешнем этапе исторического развития, когда вопрос с войной и мире стал основным вопросом современности. «Проблема мира и войны, — гласит Программа нашей партии, — стала проб-

лемой жизни и смерти сотен миллионов людей». И эти сотни миллионов человеческих волей в силах не только обуздать агрессию, но и ликвидировать почву, на которой она способна распускаться пышным цветом.

Все это не имеет ничего общего с дряблой идеологией пацифизма, которая лишь отшатывается от ужасов войны и по сути дела добровольно, непротивленчески уступает ей плацдарм истории. Мы за активное устранение причин возникновения всяких войн.

Эта мысль нашла свое художественное выражение в фильме «Иваново детство», поставленном А. Тарковским по известному рассказу В. Богомолова «Иван», она — ведущая идея этого нового кинопроизведения. О нем, очевидно, будут спорить. Забегая вперед, замечу, что в фильме действительно есть спорные моменты. Рассказ Богомолова простодушен, бесхитростен, интонация его традиционно спокойна, голос рассказчика задумчив и как бы приглушен самой памятью о герое рассказа — давно, да, давно уже, чуть ли не двадцать лет назад погибшем мальчике. И в этом тайный «секрет» рассказа, который был сразу же замечен читателем, потому что простодушное и словно бы обыденное повествование постепенно раскрывало нам характер резко не обыденный, если всерьез подумать, судьбу страшную. Контрастность фильма иная, я бы сказал, более внешняя, она в сопоставлении и в мгновенной смене сцен разнохарактерных, взаимно противоречивых.

...Просвеченный солнцем перелесок. Густые свежие травы. Трепетный полет бабочки. Деревья, покачивающиеся ветвями. Косуля, показавшаяся из-за дерева. И удивленное лицо мальчика, заглядевшегося на это простое чудо жизни. Еще большее чудо он сам, открывающий для себя мир, чудо его глаза — счастливые, восторженные, чудо его смех — от полноты юных, еще ни на какое горе не потраченных сил. Чудо — само это пробуждение удивленного человеческого сознания.

Резкая, нервная смена кадров — и перед нами под полутемным сводом фронтового пристанища дрожащее лицо мальчика со стиснутыми губами, с тяжелым взрослым взглядом — пристальным, усталым, мальчика в мокрых лохмотьях, кричащего на взрослых, требующего от них немедленного выполнения его просьб. Он гребует, потому что принес важные разведанные, а знает остальным о них не положено, и он отк-

няет все вопросы, настойчиво требуя одного: «Звоните!.. Передайте!.. Пришел Бондарев».

Так начинается фильм. Дальше его особенностями будут все более и более выявляться: композиция со смелыми и неожиданными переходами, со столкновением контрастных сцен и кадров, вторжением кусков из документальных фильмов; окончательно выявится и его стилистика, несколько нервическая, возбужденная, совсем другая, чем у Богомолова, но по-своему сильная, во всяком случае точно передающая дух и смысл рассказа.

Дух же и смысл рассказа состоят не в том, что «недетское это дело — война», хотя эту фразу не раз повторяют герои фильма. Смысл его шире: нелюдское это вообще дело. И то, что война втянула в себя не взрослого человека, а ребенка, втянула, беспощадно раскрыв перед ним свои трудности и заботы, кровь, муки, сгрядания — все это лишь усугубляет, доводит до крайнего выражения ее античеловеческую сущность.

Но это лишь начало мысли. Остановись авторы здесь — и мы бы имели очень талантливое антивоенное произведение. Перед нами же произведение еще и с отчетливой антифашистской направленностью. Разумеется, это не одно и то же.

И то и другое, несколько не потеряв в публицистической остроте, нашло в фильме подлинно художественное воплощение.

Верные своей несколько условной, порой даже символической манере, авторы «сталкивают» сновидение и реальность. Забывшись от войны, Иван видит сон. Он едет на машине, груженной доверху крупными налитыми яблоками. Сильный светлый дождь оmyвает его лицо теплыми струями. Он протягивает этому ласковому дождю яблоко, и яблоко сияет под дождем. Иван улыбается сидящей рядом с ним девочке, и они проносятся вместе с ней сквозь дождь и сквозь какой-то немислимо серебристый лес, словно бы весь опущенный сказочным теплым инеем, и лес кончается, а когда они выезжают на простор, падает задний борт машины и яблоки с мягким стуком застилают дорогу и к ним протягиваются добрые морды лошадей и захватывают их толстыми влажными губами.

Это сказочный сон, и это сон погибшего детства.

Человек был рожден для того, чтобы таковой сон стал явью. А явь оказалась иной,

и человек стал другим. «Ух и нож! — восхищенно восклицает Иван, увидев у старшего лейтенанта Гальцова финку с плексигласовой ручкой. — Слушай, отдай мне его!» И когда тот отдает Ивану нож, мальчик, оставшись один, долго и сурово, весь внутренне сжимаясь, смотрит на нож и вдруг с недетской силой вонзает его в стену.

Он остается ребенком: то в одной, то в другой сцене в Иване проступают наивность и непосредственность, уже, кажется, навсегда ушедшие от него, придавленное войной удивление перед жизнью. Но он слишком рано узнал и увидел то, что и взрослому не под силу знать. Он потерял семью, остался сиротой, он увидел людское горе в таком его беззащитном, не стыдящемся себя виде, какое только и возможно на войне. И что-то в нем омертвело и, может быть, навсегда лишилось возможности проявить себя. Он весь переполнен недетским чувством ненависти к тем, кто обездолил его. Он, как взрослый, несет на себе трудную ношу святого долга, возмездия. Нет, не как взрослый. Эта ноша для него, конечно, неизмеримо труднее. Но он ее ни за что не сбросит. «За то, чтобы я всегда возвращался», — повторяет он, выпивая вместе со взрослыми водку (он уже и это узнал), и когда его пробуют послать в суворовское училище, он бросается к командирам с мольбой не посылать его, он все равно убежит, он все равно вернется, пока идет война — он не может покинуть фронт!..

«...21 декабря сего года в расположении 23-го армейского корпуса, в запретной зоне близ железной дороги... был замечен и после двухчасового наблюдения задержан русский, школьник 10—12 лет, лежащий в снегу и наблюдавший за движением эшелонов на участке Калининичи—Клинск.

При задержании неизвестный... оказал яростное сопротивление...

...установлено, что «Иван» в течение нескольких суток находился в районе расположения 23-го корпуса... ночевал в заброшенной риге и сараях. Руки и пальцы ног у него оказались обмороженными и частично пораженными гангреной...

На допросах держался вызывающе: не скрывал своего враждебного отношения к немецкой армии и Германской империи.

В соответствии с директивой Верховного командования вооруженными силами от 11 ноября 1942 года расстрелян 25.12.43 г. в 6.55».

Так заканчивается рассказ Богомолова. А в фильме конец смыкается с началом: на берегу моря сам не свой от счастья бегают мальчуган, он ищет ту девочку, что сидела с ним на машине с яблоками, они играют в прятки. И когда он ее находит, они бегут в море, и море тихо катит навстречу им невысокие волны. Мальчик идет вперед, вперед и уходит, оставляя за собой серебристый след...

И резкий, перечеркивающий безмятежную картину кадр: черное, обугленное, неживое дерево во весь экран. Последний кадр. Он кричит, вопиет против войны, против фашизма, против его нынешней модификации — реваншизма. И в этом нельзя не увидеть остро актуального значения фильма. Фильма, в котором так же, как в повести В. Быкова, история звучит современно, оставаясь при этом подлинной историей.

Достоинства этих произведений особенно заметны в сравнении с попыткой показать человека на войне, так сказать, «вообще». Человек на войне — и все. Какой человек, на какой войне, за что он в конце концов сражается — неважно. Все войны одинаковы, на всех войнах человеку тяжело, все войны — зло. При этом, конечно, прямо не говорится, но как бы намекается, что именно такой взгляд и является самоновейшим, последним словом правды, которая наконец-то очистилась от шелухи привычных «пропагандистских», догматических и иных представлений.

С удивительной, я бы даже сказал трагической, наивностью это демонстрирует Булат Окуджава в повести «Будь здоров, школяр». Уже предуведомление к повести настраивает нас на то, что мы услышим рассказ простодушный и непосредственный, без единой лукавинки, рассказ юнца, брошенного в пучину войны и до того растерявшегося, что ему уже не до словесных хитростей. Это будет исповедь, крик души. «Это не приключения. Это о том, как я воевал. Как меня убить хотели, но мне повезло. Я уж и не знаю, кого мне за это благодарить. А может быть, и некого. Так что вы не беспокойтесь. Я жив и здоров. Кому-нибудь от этого известия станет радостно, а кому-нибудь, конечно, горько. Но я жив. Ничего не подделаешь. Всем ведь не угодишь».

Нетрудно, правда, заметить, что это прямое обращение к читателю слишком инфантильно, а инфантильность эта странным об-

разом кокетлива и жеманна. Но оставим это пока в стороне. Можно быть моложе своих лет, каждый изъясняется, как умеет, нам же сейчас важнее всего выяснить душевный склад героя. Мы встречаемся с ним на второй день его пребывания на фронте. Командир батареи посылает его с донесением в полк. Юнец, вчерашний школяр, не успевший закончить десятый класс, теряется в новой и страшной обстановке, вместо полка попадает на передовую, его задерживает наш дозор, мальчишка мог бы угодить и к немцам... Кошмарные мысли скачут в голове школяра, когда он мечется по степи, не зная, где что находится, и мучаясь своей жалкой заброшенностью. «Ночь. А я второй день на передовой. А за невыполнение задания — расстрел. А мне восемнадцать лет.

Кто это сказал о расстреле? Это Коля Гринченко сказал, когда я отправлялся. У него была красивая улыбка, когда он говорил об этом.

— Держись, а не то кокнут, и все...

Приставят меня к стене. Впрочем, какие здесь стены. Выведут меня в поле...

И я утираю слезы. «Ваш сын оказался трусом и...» Так будет начинаться извещение...

Заметим, опять же про себя, очевидную преднамеренность ситуации: странный попался школяру командир — рискнул послать с «очень ответственным пакетом» новичка, не знающего ни местности, ни боевой обстановки; ведь если бы пакет был не доставлен, командиру пришлось бы тоже хлебнуть горя. Ничего себе и его новые друзья, говорящие с «красивой улыбкой» гадости. И мысли юнца о том, что его могут кокнуть, приставить к стенке, вывести в поле. И то, что все же не мальчик — юноша восемнадцати лет плачет и утирает слезы.

Но мы уже начинаем догадываться, что вся эта концентрация «злых» деталей необходима автору для того, чтобы сказать так называемую жестокую правду о войне. Поскольку же эта правда будет высказана от лица юноши с чистым и недоуменным взглядом на жизнь, то она должна прозвучать особенно неотразимо: устами младенца глаголет истина.

Автор лишь не замечает, что этот «младенец» занят только собой, он и на других смотрит как на зеркало, отражающее его же: «Я чувствую себя тшедушным и маленьким. Я смотрю на свои не

очень античные ноги, тоненькие, в обмотках. И на здоровенные солдатские ботинки. Все это, должно быть, очень смешно. Но никто не смеется. И красивая связистка смотрит мимо меня. Конечно, если бы я был в сапогах, в лихой офицерской шинели... Хоть бы дали чаю. Я бы посидел за этим столом из ящика. Я бы сказал этой красавице о чем-нибудь таком... Конечно, у меня такой вид...

— Идите на батарею,— зло говорит командир полка,— и скажите вашему командиру, чтобы он таких донесений больше не посылал.

Он делает ударение на слове «таких».

— Хорошо,— говорю я. И слышу тихий смех красивой связистки.

Здесь все обнажено почти до пародийности: только что миновавшие героя боевые беды и угрозы кажутся равными переживаниям из-за невзрачного, «не античного» вида, да еще в присутствии красивой связисточки. Тогда или первое было несерьезно и преувеличено, или второе уж очень важно для героя.

Между тем как началось, так и пошло. Уже на первой страничке повести Б. Окуджавы, в сущности, все сказано: дальше будут разыгрываться одни и те же мотивы.

С одной стороны — жалобы с отчетливым декламационным оттенком. «Я познакомился с тобой, война. У меня на ладонях большие ссадины. В голове моей — шум. Спать хочется. Ты желаешь меня отучить от всего, к чему я привык? Ты хочешь научить меня подчиняться себе беспрекословно? Крик командира — беги, исполняй, оглушительно рывкой «Есть!», давай, ползи, засыпай на ходу. Шуршание мины — зарывайся в землю, рой ее носом, руками, ногами, всем телом, не испытывая при этом страха, не задумываясь. Котелок с перловым супом — выделяй желудочный сок, готовься, урчи, насыщайся, вытирай ложку о траву. Гибнут друзья — рой могилу, сыпь землю, машинально стреляй в небо три раза...»

С одной стороны — страх и бессилие, полуживотное существование, зависть к тем, кто не воюет, имеет броню или отлеживается в госпитале, совсем невысокого качества желание перекинуть ношу войны на чужие плечи и даже некоторая остервенелость, проистекающая оттого, что это не получается: «Ведь это же черт знает что... Как будто Колю Гринченко

не могли послать. В семнадцать лет мой отец создавал в подполье комсомол, а я стою, сутулый и смешной, и я ничего не создал, а только хвастаюсь своим благородством, которого, может быть, и нету...» (Какое уж там благородство! И как все это не похоже на поведение Ивана, который трепещет от одной мысли, что его запрячут в тыл!)

А с другой — варьированное на разные лады томление по связистке Ниночке, «мужские разговоры». «Может быть, Нино где-нибудь встречу». «Это Нина! Она в гимнастерке. Пустой котелок в ее руке. Это же Нина...» Да еще сладкие воспоминания о школе, где тоже начиналась любовь и было немножко больше разговоров о политике, о которой сейчас и говорить не хочется...

И снова истерика:

«Помогите мне. Спасите меня. Я не хочу умереть. Маленький кусочек свинца в сердце, в голову — и все? И мое горячее тело уже не будет горячим?.. Пусть будут страдания. Кто сказал, что я боюсь страдать? Это дома я много боялся. Дома. А теперь я все уже узнал, все попробовал. Разве не достаточно одному столько знать?»

Ничего-то он не узнал и ничего не попробовал, насмерть перепуганный школяр, начисто лишенный такого органического свойства юности, как стремление к подвигу, желание отличиться, которое в молодости бывает порой очень сильным.

Не узнал же школяр по той причине, что сам-то он вполне книжного происхождения, скорее выжимка из прочитанного, подражание прочитанному, нежели живая, реальная фигура.

Я слушаю далекий грохот,
Подпочвенный, неясный гуд,
Там подымается эпоха,
И я патроны берегу.
Я крепко берегу их к бою.
Так дай мне мужество в боях.
Ведь если бой, так я с тобою,
Эпоха громная моя.

Так писал перед войной московский школяр и студент молодой поэт Павел Коган. На его поэзию (он погиб в 1942 году под Новороссийском) пал свет романтики гражданской войны и первых пятилеток, свет вы-

сокой гражданственности и глубокой заинтересованности в судьбах родины, которая шла навстречу схватке с фашизмом. В его поэзии слышен отчетливый и чистый голос поколения, и потому каждое его стихотворение воспринимается как поэтический документ времени, а для поэзии это, пожалуй, высшая похвала.

Со студенческой скамьи уходит добровольцем на фронт Николай Терентьев из повести Василия Рослякова «Один из нас». Казалось бы, у кого-кого, а у него были причины обижаться на жизнь! Он осиротел при живых родителях, они были ни за что раскулачены: отец пел в церковном хоре, был помощником регента — только и всего. Он был исключен из комсомола под давлением сверхбдительных молодых карьеристов. И в начале войны он больше всего волновался, что из-за «биографии» его не возьмут на войну.

Он добился своего и попал на фронт. Он погиб.

Пусть простят мне нарушение литературно-критических канонов. Но я знаю прототип Николая Терентьева. Это был Коля Яковлев, студент московского ИФЛИ. Он жил очень бедно, на одну стипендию. Сколько я его помню, он ходил в одном и том же обтерханном пиджачке, когда кончались деньги — голодал. Он был стеснителен, застенчив, а товарищи не всегда замечали, что он уже второй день не обедает.

Он ушел на фронт и отчаянно воевал. Он погиб не под Москвой, как это рассказано в повести В. Рослякова, а где-то в смоленских краях, тоже в разведке, как и Павел Коган, о его подвиге в этой разведке в 1943 году рассказала «Красная звезда».

И когда в повести В. Рослякова лирический герой задумывается о жизни и смерти и начинает размышлять: «...Меня просто подмывало заглянуть в бездну. Вот немцы займут всю страну, даже всю Сибирь — что тогда будет? Если кто останется из нас в живых, мы заставим себя умереть. Все умрем...» — и добавляет: «Ты не подумай, Коля. Мы, конечно, разобьем их. Просто на минуту я интеллигентом сделался», — Коля отвечает на это: «Интеллигентом был Ленин. Ты просто раскис».

Таким было поколение юношей конца тридцатых годов. Об этом как-то даже не-

ловко писать. Неужели нужно это доказывать?

Школяр был ненамного моложе Коли Яковлева. Разница в два-три года. Одно поколение, но дистанция между ними громадная. И тут мы сталкиваемся вроде бы с парадоксом: инфантильный, ничего еще не видевший, не переживший школяр Б. Окуджавы старше хватившего фунт лиха Коли Терентьева. Но будем более точными: старше, но не взрослее.

Он ведь притворяется, школяр, будто так-таки ничего не видит и не понимает. Кое-что видит: и что старшина опять сегодня сахару недодал, и что «штабные крысы» говорят с Ниной просто и обнимают ее. Все он видит, но взгляд его брюзгливо-недоброжелательный. «Если Гринченко что-нибудь сейчас скажет, он мне опротивеет... Коля молчит. «Кровь проливал»... Он ведь и царяпины не получил!» Или: «Приходит Шонгин. Это старый солдат... Он служил во всех армиях во время всех войн. Он в каждую войну доходил до передовой, а потом у него начинался понос». Хорош гусь Шонгин, но и школяр не лучше: что-то, а преимущества тыловой жизни перед фронтовой он отлично знает и вместе с другими своими «товарищами» мечтает о тыле, как о сказочном сне, потому что: «Я не хочу умереть. Говорю об этом прямо и не стыжусь». Ну, а что касается всяких там целей, задач и долга, то это для школяра только слова. Еще до фронта его спрашивали: «А ты родину-то любишь?» — и школяр отвечал: «Люблю. Этому меня еще в первом классе научили».

Он все знает, все понимает, этот школяр. Он даже удивительным образом знаком с послевоенной литературой, поскольку в его исповеди отчетливо слышатся мотивы, появившиеся в литературе позже. Критика уже заметила, что интонация повести Б. Окуджавы напоминает «Приключения Весли Джексона» Вильяма Сарояна. Но искренность не может быть заимствованной, тогда это не искренность, а нечто совсем противоположное, скажем поза. Искусству вообще противопоказаны повторения, оно не терпит пересадок из одной почвы в другую или пренебрежения историей в угоду новым модным веяниям. Тогда начинается не изображение правды, не поиски ее, а литературная игра, может быть вполне занятая для автора, но лишенная приятности для неискущенного читателя, но

только для такого. И возникают такие противоречия и «несувязки», о которых автор и не подозревал, потому что эклектика в искусстве, как и в любом серьезном деле, вещь небезопасная.

Школяр, наверное бы, дико обиделся, если бы его попробовали поставить рядом с Задорожным. Конечно, он не Задорожный, он щенок по сравнению с Задорожным, но он ближе к нему, чем к Лозняку и уж тем более к Ивану. И в этом особенно ощутим просчет Б. Окуджавы.

Это же сравнение свидетельствует и о том, как внешние различия скрадывают порой от нас нечто более важное — общее в природе явлений. Они выглядят подчас столь различными, что ни за что не согласятся протянуть друг другу руки.

Мы уже видели также, как автору с самого начала хотелось показать войну пострашнее, войну без прикрас, без развевающихся знамен и вдохновенных призывов. А получилась война игрушечная, с заботами о потерянной ложке и мелкими нелепостями, с преувеличенным интересом к женскому полу и полной незаинтересованностью в самой войне, за исключением, конечно, того, что на войне постреливают, и иногда довольно сильно. Да и постреливают, пожалуй, ненастоящими пулями, потому что в перерыве между обстрелами школяра посещают уж столь простодушные воспоминания и мысли, что в нарочитости их уже не остается и малого сомнения: «А какие ботинки носил я перед тем, как в армию ушел? Не помню. Или у меня были модные туфли шоколадного цвета и белый рант, как флоса прибой? Или я об этом только мечтал? Наверное, носил я черные ботинки скороходовские. А зимой — калоши надевал. Да, да, калоши. На последнем комсомольском собрании я их в школе забыл. Забыл. Пришел домой без калош. А уж война была, и никто не заметил моей пропажи. Так и ушел я. А были у меня новые калоши. Глянцевые. А теперь не знаю, будут ли у меня такие?»

Так попытка создать образ человека на войне в отвлечении от конкретно-исторического опыта приводит и к литературной неудаче: характер юноши оказывается искусственным, претенциозным. И сама война

выглядит как война понарошку, представить ее как народную трагедию, как тяжелейшее испытание по повести Б. Окуджавы решительно невозможно.

Человек на войне — тема сложная, трудная. Война ставит человека в условия, противопоставленные нормальному, естественному человеческому существованию. Мы боремся за то, чтобы навсегда похоронить войны.

Но нельзя при этом терять из виду идейные ориентиры и не видеть никакой разницы между войнами. Войны не стихийные бедствия, это не ураганы и не наводнения, а бедствия социальные, имеющие свою историю в человеческом обществе — начало и, кажется, уже не столь далекий конец. Думать иначе — значит не только впасть в бессильный, пассивный в своей основе пацифизм, но и обеднять искусство. Человек, выведенный за скобки всех войн, становится художественной абстракцией, он лишается плоти и крови реального образа, его покидает живой дух живого человека.

Но было бы не меньшим заблуждением требовать под флагом борьбы с пацифизмом упрощения, смягчения в изображении трудностей войны. И справедливые войны приносят народам большие жертвы и лишения. 1941—1942 годы в истории нашей страны это с особой убедительностью доказывают. Опасно закрывать глаза на трудности. Бояться их — значит по сути дела заранее бояться, страшиться любой войны. Нельзя не увидеть в этом обратную сторону той же медали пацифизма. В искусстве же под воздействием подобных требований едва ли что-нибудь возникнет, кроме тех же самых худосочных абстракций. Разве лишь первая будет расчерчена с помощью черной туши, а вторая какой-нибудь розовой.

Только правдивый, безбоязненный взгляд на историю способен поддерживать то душевное мужество и стойкость, с которыми мы вышли из порохового чада на свежий простор мирной жизни. То мужество, с которым мы должны идти по трудным дорогам истории до более счастливых времен, когда тема «человек на войне» станет достоянием одних лишь исторических романистов.



П. ПАЛИЕВСКИЙ

★

ФАНТОМЫ

(Буржуазный мир в романах Грэма Грина)

Э тот Грэм Грин — что вы о нем думаете?» С таким вопросом обратился к своему собеседнику Гарнеру профессор Пэдли. Разговор их, взятый нами из современного английского романа, вероятно, мог произойти и в жизни.

«Гарнер на мгновение остановился. Он старался выбрать одну из нескольких мыслей, зашевелившихся в голове, — тривиальный стиль, религиозность, незнание людей и обстоятельств. — но прежде, чем он успел что-либо сказать, Пэдли заговорил вновь:

— Должен сознаться, что я от него далеко не в восторге. Быть может, я старомоден, но, читая Грина, я не могу удержаться от мысли: жизнь просто не похожа на это. Ведь я не скажу так же про Троллопа, хотя мы-то с вами знаем, как много Троллоп выпускает из виду.

Гарнер быстро перешел в ту же плоскость и сказал:

— Да, я понимаю, что вы хотите сказать. То, о чем пишет Грин, — просто ни с кем не случается, не правда ли? Ужасы в публичной уборной, духовные кризисы в разных других неподходящих местах — это уж слишком.

— Слишком, — сказал профессор Пэдли. — Мы цивилизованные люди, вот что я скажу, и в человеческих делах есть какой-то порядок. Все это происходит у нас на глазах, — он поднял трубку, чтобы показать на шумящую аудиторию, звон стаканов, табачный дым, — и в этом нет ничего зловещего. Нет за этим никакого современного Мориэрти, распустившего свои щупальца... — Пэдли засмеялся сухим смехом.

— Нет, — сказал Гарнер. — Я надеюсь во всяком случае, что нет»¹.

Соглашаться или не соглашаться нам с профессором Пэдли? Это действительно центральный вопрос, который относится не только к Грину, но — что несравненно важнее — к положению современного человека на Западе. Ибо Грин в самом деле утверждает нечто совершенно обратное. Всевозможные собрания, учреждения, интеллектуальные беседы, звон стаканов и так далее, то есть все то, «что происходит у нас на глазах» давно уже, — это правда — не являются для него твердой реальностью. В его романах они хоть и присутствуют везде, но как-то странно, почти витают, составляя призрачный покров, и читатель, хорошо знакомый с Грином, чувствует себя подобно пассажиру самолета, наблюдающему сквозь иллюминатор облака: кажется плотно, но попробуй ступить — и полетишь, уменьшаясь, в бездну. Так называемая повседневность у Грина крайне ненадежна, катастрофична и, главное, недействительна. Писатель открыто сомневается в ее подлинности.

Вот скромный коммивояжер Уормолд — он долго был уверен в несомненности своего дома, профессии, обиходных, привычных дел, пока откуда-то не вынырнуло зловещее «щупальце» и не ухватило его за пиджак. В одно прекрасное утро к нему явился посетитель, который быстро разоблачил мнимость всей этой рутины. «Ваши пылесосы, — замечает он Уормолду, — отличная мас-

¹ Roy Fuller. The Second Curtain. The Russel Reader. London. 1956 (Рой Фуллер. Второй занавес).

кировка. Великолепно придумано. Ваша профессия выглядит очень естественно».

Что за дикость? Почему «выглядит»? Уормолд пытается возражать: «Но я действительно торгую пылесосами». Эта уверенность — увы! — оказывается наивной. Пройдет немного времени — и его затянут в общество неких гигантских спрутов, которые перевернут всю его банальную реальность вверх дном. Каждая вещь, оставаясь для посторонних на том же месте, уйдет от него со своей орбиты в иные миры; окажется, что пылесосы — это не пылесосы, а секретное оружие неслыханных масштабов, его друг доктор — это не доктор, а шифровальщик. Более того, станет несомненным, что эта оборотная сторона каждой вещи и есть ее настоящая сторона, в десятки раз более важная и действенная, чем та, что проявляется в повседневном прозябании. А еще немного погода начнутся и катастрофы. Таинственное «бытие» вещей вступит с реальностью в жестокую борьбу, произойдет ряд загадочных столкновений, даже убийств — сам Уормолд с трудом ускользнет от непонятной гибели, надвигающейся из пустоты.

Так откроется перед нами типично «гриновский» мир — современный мир, как он его представляет, — и «Наш человек в Гаване» (1958) будет в нем лишь маленьким островком. Это мир художественный, сотворенный вымыслом и наполненный целым роем диковинных химер, наподобие тех электрических медуз, которые похищают в темноте зазевавшихся людей на «железной звезде» в «Туманности Андромеды» И. Ефремова. Но только особенность и достоинство этого мира в том, что Грин не просто развивает в фантазию возможности быта, а ищет фантастическое в самой жизни. И это ему, как ни странно, удается.

Правда, чтобы согласиться с ним и поверить в фантазию, нам нужно принять одно его смелое предположение. Оно не сразу укладывается в сознании, так же как и весь этот туманно колеблющийся мир; профессор Пэдди, наверное, с негодованием бы его отверг; тем не менее оно реально и относится к той самой цивилизации, на которую профессор торжественно ссылался. Грин допускает, что в окружающем его мире произошло отделение проблем от человека — выход на арену истории самостоятельно действующих абстракций.

Такая мысль в своей очевидной невероятности могла возникнуть, конечно, только в наши дни; она сугубо современна. В средние века было как будто нечто подобное: университетские схоласты заинтересовались тогда противоречием между единичной вещью и ее родом; шел ожесточенный спор о том, что существует несомненно: обыкновенный ли жилой дом, то есть дом конкретный, или дом вообще. «Реалисты», как известно, отстаивали дом вообще; за пестрой видимостью жизни они различали некие «универсалии», общие начала; «номиналисты», напротив, защищали конкретное, считая общее лишь чистым порождением ума. Однако в конце концов выяснилось, что оба лагеря были неправы. Для противопоставления общего единичному не было никаких оснований: оба начала были реальны и жили вместе, друг в друге, развиваясь в цельном бытии вещей; так оно установилось раньше и, казалось, навсегда.

Но новое время — цивилизация буржуазных отношений — оказалось и здесь в подлинном смысле новым. Силы прогресса вторглись и в это противоречие, разложив и раздвинув его, как было разложено много других неколебимых единств. Если это было необходимо для нужд производства, капитализм мог легко разделить и вывести на поверхность чистое общее, создать, например, стандартизованные дома; перед изумленным философом вырастал как из-под земли некая «дом вообще». Пока дело шло в основном в материальной сфере, все значение этого факта для человека еще прямо не ощущалось, хотя марксизм уже в середине XIX столетия вскрыл главные противоречия капиталистического строя. И лишь в XX веке, когда уже в обществе, среди людей, стали все настойчивее и заметнее бродить отделившиеся «универсалии», целое скопище абстракций, вдруг получивших независимые от человека права и собственную власть, непосредственная угроза стала очевидной.

Это «внутриобщественное» отделение было закономерным, но крайне неожиданным. Человек — господин и творец великой цивилизации — начинал вдруг чувствовать, как гигантские безликие силы вовлекают его в оборот. Именно отсюда возникло ощущение непрочности и несущественности жизни, человеческого быта; это и было источником фантазии.

Оставалось только прикоснуться к нему, чтобы попасть в царство новых превращений, чрезвычайно богатых для художника, стремящегося познать современный мир. Вместе с другими художниками Запада это сделал и Грэм Грин. Его талант, можно сказать, поселился в той щели, которая образовалась между человеком и логикой абстракций,— поселился и вырастал там, по мере того как угрожающе раздвигалась сама щель. В наши дни, когда она превратилась в целую пропасть и жителей самих передовых, высокоцивилизованных западных стран все чаще оплетают шупальца невидимых фантазий, так что, запутавшись, они вдруг «переживают кризисы в разных неподходящих местах»,— творчество Грина приобрело серьезное значение. В нем видят писателя, который лучше других осознал призрачный «фантомальный» характер нынешнего буржуазного «бытия».

Возвратимся к «Нашему человеку в Гаване» и посмотрим на то учреждение, откуда прибыл к Уормолду незванный посетитель. На поверхности — ничего необычного. Подымается и опускается бесшумный лифт. Снуют по коридорам деловитые, быстрые, исполнительные и подтянутые чиновники. У каждого из них, без сомнения, есть своя жизнь. Но главное в ином: вместе с ними, в них и во всех окружающих их предметах живет и некое целое — их «дело». Это как бы большая пружина, вращающая лифтом, кабинетами, бумагой, машинистками и даже самим шефом. «Дело» имеет свою логику, которая не может считаться ни с какой личной слабостью, побочными интересами и прочим, его нужно развивать. Это разведывательный центр, и он требует насаждения везде, где только удастся, резидентов под безликим номером вроде 59200/5.

Одного из таких людей учреждение находит в лице Уормолда, которому ничего не остается, как принять приглашение, так как он сидит без денег и ему нечем оплатить бесконечные траты своей дочери Милли. Между тем выясняется, что способности его в этой области ничтожны. Как шпион он абсолютно бездарен. Казалось бы, все для него потеряно.

Но тут случается замечательная вещь. Не считаясь с фактами и невзирая на его никчемность, пружина, скрытая в учреждении, начинает сама творить для себя все,

что ей нужно. Угнездившийся в центре ее шеф легко додумывает и создает из Уормолда вполне подходящего для шпионажа человека. «Я знаю этот тип»,— говорит он одному из подчиненных. «Маленький обшарпанный письменный стол. Несколько служащих, теснота. Допотопные арифмометры. Секретарша, которая служит фирме верой и правдой вот уже сорок лет».

Мгновенно — по законам общего, по логике, требующей именно того, что нужно,— возникает новый идеальный портрет. Слово «тип» здесь ключевое. Оно обозначает рубеж, переступив который, абстракция свободно покидает человека и улетает в фантастические выси. Но как мы уже говорили, эта фантазия реальна.

Потому что, изобретая «своего» Уормолда, шеф неведомо для себя совершает один исключительно важный акт. Он позволяет «общему», которое заключено внутри его дела, найти себе более удобную, правильную и соответственную личность, чем та, что существует в жизни. Тем самым он как бы расковывает это «общее» от сдерживавших его условий, выпускает в мир чистую абстракцию, «фантом», не обремененный ни одной из человеческих слабостей и снабженный нечеловеческой материальной силой.

Последствия этого шага неисчислимы.

Во-первых, этот фантом, ворвавшись в жизнь, начинает с необычайной скоростью освобождать другие фантомы — «типы», которые были в реальности стеснены, задержаны, спуганы в каждой личности с тысячу «типов» иных. Теперь они, как пузыри со дна, устремляются все наверх, где их ничто уже не связывает и не сцепляет в мелочах, но позволяет, напротив, свободно сливаться друг с другом в царстве отвлеченности. «Изобретенный» шпион Уормолд вынужден, чтобы удержаться в этом состоянии, измышлять других шпионов. К его услугам список членов Загородного клуба — откуда вероятнее всего мог быть завербован ценный агент,— и он бесстрашно творит их, пользуясь одной фамилией и краткими данными, как сочинил его самого лондонский шеф. Из-под случайно попавшихся имен выбегают удобные, быстрые, готовые послушно следовать за своим «общим» людидвойники: инженер Сифунтес, владеющий тайнами технического характера, профессор Санчес, вхожий в аристократиче-

ские дома. Вместе с ними появляются и новые, уже начисто вымышленные имена в лице бесстыдной танцовщицы Тересы, любовницы министра обороны.

«Иногда его даже пугало, как эти люди, без его ведома, вырастали из мрака небытия. Что там делает Тереса у него за спиной? Он боялся об этом подумать».

Бояться тут было чего. Ведь фантомы — это было неожиданным «во-вторых» — зажили самостоятельную жизнь. Стало ясно, что для безупречного расширения «дела» они подошли значительно лучше, чем настоящие люди. Получая от своей «общей» системы все большую поддержку — деньги, средства связи и так далее, — они сначала разместились на равных правах рядом с людьми, стали участвовать в их занятиях, вмешиваться в события, протягивая свое инфернальное «щупальце», а потом и смело атаковали реальность.

Их система, их «общее» натолкнулось в темноте на чью-то другую систему, и между ними завязалась тотальная война. В этот момент люди и почувствовали, как фантазия хватает их за шиворот и превращает в пешки абстрактно-шахматной игры. В ни в чем не повинного инженера Сифуэнтеса стреляют из автомобиля — «бедный господин Сифуэнтес так перепугался, что намочил в штаны, а потом напился в Загородном клубе». В доме друга Уормолда докгора Хассельбахера устраивают погром и похищают важные документы. Уормолда пытаются отравить. Фантомы мечутся по городу, ища крови, хищные химеры становятся действительней, чем сама жизнь.

Любопытно, что те из них, которые не имеют реального прототипа, все равно его находят; им достаточно любого внешнего признака, чтобы вцепиться в материю и продемонстрировать свою власть. Так погибает неизвестный пидот по имени Рауль — только потому, что Уормолд назвал своего вымышленного агента тем же именем.

Кажется, что события достигли высшего напряжения и кровавые столкновения — их самый печальный результат. Но это не так. Сквозь образовавшиеся разрывы в жизни, в «окна» и зияния, пробитые в ней фантомами, Уормолду совсем по-новому открывается весь его прежний — цивилизованный — мир.

Теперь он понимает, почему человеческий быт нельзя принимать за нечто подлинное. Не человек творит в этом мире, а его тво-

рят, не он думает, а за него придумывают разные дела мощные, хорошо организованные системы. Придумывают, в том числе, если нужно, и его самого.

Он смеялся над «посетителем», который сказал про его профессию и пылесосы: «Великолепно придумано». Теперь он увидел, что это была не шутка, а если шутка, то очень злая. Совсем по-иному зазвучал для него сейчас разговор его друга доктора Хассельбахера с неведомым господином в баре. Хассельбахер был пьян и хвастался, что выиграл 140 тысяч; тот усомнился, и доктор возразил:

«— Я их выиграл, и это так же верно, как то, что вы существуете, мой друг. Ведь вы бы не существовали, если бы я не верил, что вы существуете; вот так же и эти доллары. Я верю, и потому вы есть.

— По-вашему, я не существую?

— Вы существуете только у меня в мыслях, мой друг. Если я выйду из этой комнаты...

— Да вы просто спятили.

— Докажите тогда, что вы существуете.

— Что значит «докажите»? Конечно, я существую».

Тут господин начинает перечислять признаки, которые, по его мнению, это удостоверяют: «У меня первоклассное дело по торговле недвижимостью, жена и двое детей в Майами; я сегодня прилетел сюда на «Дельте» и пью сейчас виски — ну, что?»

Несчастный господин, без сомнения, наивен. Разве это не набор самых тривиальных свойств, которые при желании можно легко составить по кубикам, как детскую картинку? Мы понимаем теперь, что он только воображает, что существует; на самом деле существует не он, а то общее, простым производным которого он слепо и произрастает в штате Майами. Конечно, это не человек, а отделившаяся абстракция, «тип» в человеческом облике. Хассельбахер, которому вино придало способность судить свободно и свысока, уничтожает его несколькими словами.

«Бедняга, — сказал он, — вы заслуживаете более изобретательного творца, чем я. Неужели я не мог придумать для вас ничего более интересного, чем Майами и недвижимость?» После этого он говорит, что выйдет на минутку, сотрет этого господина и вернется, выдумав какой-нибудь «улучшенный вариант». И у нас, знакомых с историей Уормолда, уже нет сомнений,

что это вполне осуществимо. Только вместо Хассельбахера тут должно быть какое-нибудь мощное целое, одна из «универсалий», обособленных капиталистическим обществом для чистой и гладкой работы всего механизма. В этом случае из любого наличного материала может быть сотворено все: из коммивояжера — шпион, из скромного и неглупого человека — «кровавый стержень» капитан Сегура (для этого нужно запытать досмерти его отца), из прирожденного повара или дегустатора вин — шеф разведывательного управления.

Это первый вывод, который мы можем сделать о судьбах современного человека в буржуазном обществе по роману Грина «Наш человек в Гаване», и он, естественно, неутешителен. Писатель наводнил свой художественный мир множеством «типов». Когда-то, еще в XIX веке, художники внимательно выискивали их, гонялись за ними (например, Бальзак или Золя), стараясь стянуть бесконечную пестроту людей в удобопонятные единства; «тип» был сравнительно редок как сильное проявление «сущности» и за это ценен; к нему тянулись порой как к идеалу. Грин — резко современный писатель — берет их пригоршнями как распространенный стандарт и духовную мертвечину, желая, напротив, под «типом» раскопать притаившегося там человека. Что касается самих «типов», то он видит в них продукт капиталистического производства, который, к сожалению, стремительно растет. Типов нет, а есть живые люди. — говорил Толстой. Нет людей или их очень мало, — как будто отвечает Грин, — а типов хоть отбавляй.

Существует несколько фабрик, которые выпускают их в изобилии. Прежде всего — газеты.

«Современный мир, — говорит Уормолду его новая секретарша Беатриса, — весь устроен по образцам, взятым из газет и журналов. Мой муж целиком вышел из «Энкаунтера».

В последнем романе Грина «Перегоревший» сделана довольно смелая попытка разобраться в устройстве одной такой «фабрики» — попытка, очевидно, небезопасная, потому что газетные мандарины не жалуют тех, кто публично разглашает их «китайский секрет». Тут набросан — крупными мазками — портрет популярного журналиста,

захватывающего стилиста и проникновенного знатока душ Монтегю Паркинсона.

В глубь «Черного континента», как можно дальше от цивилизации, бежит, внезапно бросив все, известный архитектор Квэри. Этот человек совершенно опустошен. Талант после многолетнего нещадного «выжимания» покинул его — может быть, навсегда; никто из людей ему не близок и не дорог; женщины, с которыми он долго вел честолюбивую войну, брошены им «на полпути». Единственное чувство, которое развивается в нем все сильнее, это неподдельное омерзение к тому, что разносило по всему миру, независимо от желания, его успех, — к прессе. Он смутно догадывается, что в этом отвращении кроется, быть может, какой-то якорь, за который можно уцепиться и спастись; поэтому он забирается туда, где, по его расчетам, его не тронут и дадут собраться с мыслями, — в лепрозорий.

И вот когда он думает уже, что его забыли, не нашли, является Монтегю Паркинсон. С ним неизменная пишущая машинка и, как добавляет Грин, «второй, подстраховывающий жулик — фотоаппарат». Паркинсон почуял богатый материал, он жаждет рассказать в нескольких газетных номерах про нового «святого».

Еще не встретившись с Квэри, он начинает писать:

«Три недели путешествия по реке — и я достиг этих диких мест. Семь дней непрерывных укусов — москиты и мухи цеце — сделали свое дело; когда меня вынесли на берег, я был без сознания. Там, где некогда Стэнли прокладывал пулеметом свой путь, идет сейчас другая борьба — на этот раз за африканцев — борьба с тяжелым недугом проказы. Я очнулся и увидел себя в госпитале для прокаженных».

Доктор Колин, врач лепрозория, держит эти листки в руках. Он замечает Паркинсону через переводчика, что это неправда. Следует знаменательный ответ.

«Скажите ему, что это больше, чем правда, — сказал Паркинсон. — Это страница современной истории. Может быть, вы думаете, что Цезарь и в самом деле произнес: «И ты, Брут?» Это было то, что он должен был сказать, а кто-то на месте — старик Геродот, нет, он был грек, не правда ли, ну, кто-нибудь другой, например Светоний, — занес в анналы, что нужно. Правду всегда забывают... а мои статьи будут по-

мнить, как будут помнить все, что нужно, в истории. По крайней мере от одного воскресенья до другого. Заголовок в следующее воскресенье будет таким: «Святой с прошлым».

Паркинсон говорит, в сущности, то же самое, что Хассельбахер. Однако в его распоряжении имеются действительные средства, чтобы «стереть» человека и сочинить «улучшенный вариант». За его словами, не смотря на весь их цинизм, слышится уверенность и сила. «Современная история» развивается не в масштабах какого-то там маленького, хотя по-своему и реального, то есть обладающего «мизерной» правдой, Квэри. Если у читателей его газеты — а их миллионы — есть потребность получить святого, они его получают; «это больше, чем правда», и, как бы ни барахтался Квэри, он будет святым.

Квэри встречается с Паркинсоном; он пытается переубедить газетчика; два принципа сталкиваются.

«— Вы, конечно, не напишете обо мне правду?»

— Меня выгонят, если бы я вздумал это сделать. Легко рисковать, когда ты молод. Знать, что ты так далеко от небес и т. д. и т. д. Цитата. Эдгар Аллан По.

— Это не По.

— Неважно, никто таких вещей не замечает».

Паркинсон прав: заметят то, что нужно. Квэри нарочно рассказывает ему несколько самых низменных историй, без раскаяния и не рисуясь — а так, чтобы было понятно, зачем он поступал и что им двигало, — но журналист верен себе, то есть своей профессии.

«Какая же вы хладнокровная скотина! — сказал Паркинсон с глубоким уважением, как будто он говорил о хозяине «Пост».

— Тогда почему бы вам не написать об этом, а не разводите благочестивую чепуху, как вы собираетесь?»

— Я не могу. Моя газета для семейного чтения. Хотя, конечно, это словечко «с прошлым» кое-что значит. Но оно значит минувшие заблуждения, не правда ли, а не минувшую добродетель».

Так рождается новая «страничка истории», и Паркинсон ее без промедления печатает в ближайшее воскресенье — для издания миллионов семей. Вместе с текстом помещены и фотографии. «Вы не мо-

жете не доверять фотографии, или по крайней мере многие так думают», — говорит Паркинсон, и новый фантом объявляется на свет. Теперь он будет всюду представлять Квэри, им будут восхищаться, ему станут поклоняться и подражать, о нем начнут сообщать друг другу подробности, обсуждая его, незаметно впитывая в мозг, — а настоящий Квэри станет ходить за ним как привесок, о котором если и узнают, то только для того, чтобы сказать: «Ну и что с того? Разве это важно?»

«Никто не хочет любить в нас обыкновенных людей», — заметил как-то Чехов. Для XX века эта фраза была важным предвестием. Ее мог бы непрестанно повторять едва ли не каждый обитатель «гриновского» мира. Газетная сенсация, ажиотаж, властные интересы «систем» буржуазного мира заставили людей ежеминутно подтягиваться до уровня человекоподобных «типов». Их ценность стала определяться теперь только тем, насколько успешно они могли выполнять «функции» того или иного «дела». Капиталистический конвейер начал штамповать их сериями, сплющивая в колесики и винтики того или иного «потока». Раньше они были «обыкновенными», но живыми; теперь необыкновенными, чрезвычайно важными — каждая на своем месте — частями гигантского механизма, перевозносимыми за блестящее исполнение тех или иных операций, — но человеческая личность их стала катастрофически исчезать.

Как гуманист Грин, конечно, отрицает эти новые создания, но как писатель он разглядывает их с большим и несколько ироническим любопытством. Если у «фантома» есть психология, ее нужно понять. Может быть, правда, ее не стоит называть психологией, ибо подавление и выравнивание духовного организма доводится здесь до такой степени, что на месте живого мозга образуется как бы плоская мембрана для восприятия сигналов от «систем».

Вспомним опять «шефа». Это чистый фантом, поселившийся в живом теле. От человека тут только биология; на месте сознания — средоточие типовых решений и сведений, которые накопил разведывательный аппарат. Кое в чем его «фантомальность» проступает наружу, особенно в лице: в то же время в целом он оставляет приятное впечатление своей общительностью, хо-

рошим настроением; дома он умеет отлично готовить обед, знает толк в винах.

Но на работе, за столом с гигантским пресс-папье, он фантастически преобразается. В этой черепной коробке вдохновенно сочетаются, роятся абстракции, тут справляет пир чистое общее.

Прежде всего это сказывается в том, что шеф не верит ни во что неизвестное или непредвиденное. «Нужно все предусмотреть заранее»,— внушает он своим подчиненным. Поэтому он, как правило, принимает действительность за фантазию и вздор («— Знаете, Готорн, какое у меня возникло подозрение? — Да, сэр? — Никаких мятежников вообще не существует. Все это—миф»), а свою собственную фантазию внедряет в жизнь с неукоснительной настойчивостью. Он творит — безнаказанно, облеченный властью — такой мир, каким он должен быть согласно его «универсалии»; окружающие подыгрывают ему, потому что не хотят, как Паркинсон, чтобы их выгнали,— и шеф все более укрепляется в своей правоте, а «универсалия», обрстая материей, со страшной скоростью выравнивает мир. Создается впечатление, что по жизни идет абстрактный бульдозер.

Его отношение к человеку — тоже неотъемлемый признак «фантома». Во время обеда с заместителем министра шеф, поедая «ипсвичское жаркое бабушки Браун», говорит как нечто само собой разумеющееся: «Вы знаете, агент был убит; чистая случайность — он как раз ехал снимать секретные сооружения с воздуха... Большая потеря для нас. Но за эти фотографии я бы отдал куда больше, чем жизнь одного человека».

Уормолду это событие было знакомо несколько ближе, там оно выглядело по-другому. «А, может быть, рассказать вам об этом? — Капитан Сегура перевернул лицом вверх лежавшую у него на столе фотографию: ярко, как всегда на моментальных снимках, белели лица людей, толпившихся вокруг кучи истерзанного металла, бывшего когда-то автомобилем.— Или об этом? — Лицо молодого человека, не дрогнувшее даже от ослепительной вспышки магния; пустая коробочка от папирос, смятая, как его жизнь; мужские ноги у самого его плеча». Это был Рауль, жертва химеры. Но на стратегическом отдалении, там, где сидит шеф, все воспринимается как выпадение из ряда

одной легко заменимой цифры: вместо 59200/4 — 59200/6.

Иначе говоря, «фантастичность» шефа является в том, что он предельно близко, почти абсолютно совпадает с тем общим, которое заложено внутри его «дела»,— откуда и проистекает его спокойно логичный, весело-дружелюбно-уверенный «надчеловеческий» взгляд. Он видит только то, что заранее может и хочет увидеть (например, в явном чертеже пылесоса — «дьявольскую штуку» сродни водородной бомбе), слышит только то, что хочет услышать («Мне говорили, что вы плохо разбираетесь в людях, но у меня на этот счет было свое мнение. Bravo, Готорн!»), и несмотря на то, что мы обязаны с ним считаться, потому что он факт, обладающий не меньшими правами, чем живой человек,— разбираться в его гротескной психологии в общем так же скучно, как в устройстве арифмометра. Тут нужен специалист. Может быть, тот, кто создает кибернетического робота, нападёт благодаря такой фигуре на новую идею; может быть, здесь обнажится еще одно сходство между человеком и «средством связи» и вызовет ликование в «близких к науке» кругах. Но за человека его все-таки принять нельзя.

Намного занимательнее у Грина те лица, которые живут под гнетом поселившегося в них «фантома» — принудительного двойника. Они закованы в собственный «тип», как насекомые в хитиновый покров. За оцепенелым «общим» — этим защитным слоем, который обеспечивает им безопасное существование в среде,— прячется розовое тельце, которое трудно бывает разглядеть, но которое и есть единственно живое и человеческое в этом диковинном образцовании.

Таков, скажем, корреспондент Грейнджер из «Тихого американца». Это стопроцентный американец, профессиональный газетчик, наглый, напористый и беспринципный искатель сенсации — словом, настоящий «бандит пера». Он весь, так же как пресловутый господин из Майами, составлен по стандартам и нормам, отпущенным на определенный американский тип: пьет виски, гоняется за девочками, бесшабашен и навязчив, таскает с собой на «виллисе» какого-то «Мика» — француза, которого спойл; и в то же время сообразителен, практичен, цепок — на пресс-конференции, например, он рассчитанно хамским маневром

вынуждает полковника огласить — в раздражении — запретные факты.

«Грейнджер, — говорит Фаулер, — был как бы аллегорическим воплощением всего, что я ненавижу в Америке, — столь же бессмысленным и столь же плохо изваянным, как статуя «Свободы».

И вдруг с ним случается несчастье: где-то далеко на родине опасно заболевает сын. Тогда как будто кто-то приподнимает крыло у жука, растрескивается его тип; под ним обнажается совсем другая личность — готовый на самопожертвование, остро чувствующий человек; оказывается, он даже способен писать в эти страшные для него минуты о какой-то операции в Ханое, чтобы выручить своего загулявшего друга корреспондента.

«Грейнджер подобрал свое расплывшееся тело.

— Простите, что задержал вас, Фаулер. Мне надо было выговориться... Смешно, что мне попались именно вы... Ведь вы меня ненавидите...

— Да я не так уж плохо к вам отношусь, Грейнджер. Раньше я многого не замечал.

— Э, мы с вами всегда будем жить, как кошка с собакой. Но спасибо, что посочувствовали».

Крылышки быстро задвигаются назад. Перед нами все тот же «тип» — он начнет действовать снова по своей логике, но мы все-таки успели увидеть, что человек в нем не мертв.

Подобных личностей у Грина множество, и разнообразие их вариаций велико. Тут могут быть и наглухо запертые «трафареты» и тонкие, полупрозрачные типовые маски. Часть их надета сознательно и по необходимости, часть давно воспринимается их носителями как нечто естественное и свое. Тем не менее человеческое пробивается и сквозь них довольно ясно. Таков, например, следователь Виго или еще показательнее — французский летчик капитан Труэн, который вынужден выполнять приказ и расстреливать с воздуха беззащитные деревни. «На его некрасивом лице, — я вспомнил, как он подмигнул мне тогда, перед пикированием, — застыло выражение привычной жестокости, но глаза смотрели, как из отверстий картонной маски, совсем по-детски». Виго и Труэн заключены в границы своего типа и вряд ли их когда-либо покинут; их человеческая личность слаба, но их духов-

ный организм сохраняет скрытую самостоятельность.

Временами она может проглянуть и пойти против — ненадолго — тех навыков и привычек, к которым обязывает ее «тип». Так, тот же капитан Труэн вне полета, то есть вне своей кабины, достаточно приятен и даже мягок. «Когда военный не убивает, он сущий ребенок», — заметил один французский романист, но ведь в том-то и беда, что эта мягкость из его активной, то есть действительной, жизни исключена, и общается он с миром прежде всего как капитан, а не как Труэн — тайный гуманист.

Для Грина это решающее и наиболее губительное из противоречий, заложенных в современном человеке. Он возвращается к этой теме с мрачным постоянством. Его не останавливает при этом и очевидная невозможность найти тут же для каждого из своих «закрытых» какой-либо исход — он не упускает случая, чтобы показать, как в этих людях накапливается бесполезный запас любви, самопожертвования, смелых желаний, запас, который некуда девать, и как потом все это перегорает, уходит, как отработанный пар; его преследует мысль о гибнущих, пропадающих ни за что человеческих ценностях.

Вот убийца Хассельбахера — наемный агент Картер. Он пытался подsunуть Уормолду отравленный виски. «Абстрактный» субъект, который не имеет права на жизнь, Уормолд, который решил убить его, чтобы отомстить за смерть друга, нисколько не сомневается в своей правоте. Но по дороге в машине Картер случайно начинает рассказывать о себе — маленький человечек, живущий под оболочкой шпиона номер икс, оказывается, тоскует по родным местам, как-то смешно дорожит своей трубкой; Уормолд заводит его в публичный дом, но тот испытывает неподдельное отвращение, смущение и страх. «С каждой минутой, — думает Уормолд, — он все больше превращается в человека, в такое же существо, как я сам, которое можно пожалеть и утешить, но нельзя убить». Картер не притворяется, он в самом деле таков. Когда Уормолд вынимает пистолет, он с удивлением говорит: «Это вы зря. Виски дал мне Браун. Я человек подневольный... Ведь мы с вами просто рядовые, и вы и я».

Итак, кто же стоит под дулом кольта: обыкновенный ли человек, который в своей

крошечной судьбе поглощает и переживает целый мир и потому так же ценен, «такое же существо, как я сам», или поместившийся в нем, но отдельно, как в соседней комнате, бандит? Кто должен отвечать за него сейчас — абстрактный ли «рядовой», от которого ничего не зависит, или живущий скромной жизнью на его заработок «сосед»? И если Уормолд убивает — и вполне справедливо — этого рядового, то за что погиб другой, нескладный и заикающийся Картер — ответить необычайно трудно. Человеческий «остаток» здесь слишком велик; и даже такое ничтожное расхождение между абстрактным требованием и человеком обходится слишком дорого.

Впрочем, возможна ведь и иная точка зрения. Если смотреть со стороны «дел», предполагая, что так или иначе они ведут ко благу, то есть думать, что в конце концов, жертвуя человеком, мы потом получим для него же нечто высшее и лучшее, то, без сомнения, все будет выглядеть наоборот. Все зависит от того, что принять в этом перемещении за центр и какое состояние удерживать наверху, считать направляющим: человека или тысячи «дел», сцепленных в единую большую логику капиталистической экономики, политики и т. д.

Буржуазная точка зрения, которая, конечно, не является произвольно выбранным взглядом, а вытекает из самой природы новейшей цивилизации — то есть подсказана необходимостью, — толкает к признанию первенства «дел». Вы можете с этой точкой зрения соглашаться или не соглашаться и с удовольствием читать писателей вроде Грина, который не желает с ней мириться ни за какие победы науки и комфорта, но раз вы живете в этом обществе, вам придется на практике переступить через человека или через самые дорогие для него ценности. Это может протекать незаметно, так как чаще всего сама тенденция будет от вас как бы отделена и принадлежать не вам лично, а долгу («Простите, мадам, — говорит у Шоу один государственный деятель своей жертве, — лично к вам я не питаю никакой вражды; поймите, это необходимо»,) — но самый факт от этого мягче не станет.

В то же время раз этот факт существует, то понятно, что в жизни не могут не складываться — сами собой — какие-то формы, которые должны находить ему неоспоримые

оправдания. Цинизм, которым щеголяет государственный деятель у Шоу, по плечу далеко не всем; он принадлежность фантома, для которого мораль — давно пройденный этап. Простому цельному сознанию этого долго не перенести. В нем откроется неизлечимый разрыв, который будет терзать его, обесмысливать каждый шаг, внушая апатию или брезгливое желание не путать себя с «делом» — поскорее урвать от него, что попадется, и ничего не давая взамен.

Чтобы восстановить и выправить такое сознание, весь движущий строй буржуазных отношений должен вложить свою инерцию человеку в мозг, воспитать в нем убеждение, что развитие «целого» неизмеримо важнее, чем такая заменимая «часть», как он, ибо человек здесь именно «часть», а не организм, совместивший противоположности мира, — и тогда возникает особая мораль абстракций. Рождается совершенно новая психология, способ мышления, нравственность и т. д.

Наконец после стольких сомнений и опустошительных метаний живой человеческий дух обретает спокойный угол, где ему заранее обеспечены все ответы на мучительные поиски отцов. Здесь ему предоставлена возможность логично и последовательно творить «добро», невзирая на вопли «издержек производства», потому что он знает, что они пойдут на пользу целому, и, не спрашивая их мнения — они слепы и не видят своего же блага, а он прозрел, — он запускает их в машину «дела». Его уверенность теперь уже непоколебима, он заражает своим энтузиазмом других и бывает несказанно удивлен, встречая сопротивление; его отношение к человеческим собратьям весело настойчивое, беззлобное, лишенное личных чувств: порою он и не прочь пустить сентиментальную слезу, однако убеждение в том, что «так надо», быстро утешает. И не только утешает, но придает бодрости, возвышает в собственных глазах, укрепляет в сознании высокого и недоступного простым смертным бремени. Если прибавить к этому, что «дело», как только его лишают человеческих ограничителей и помех, начинает действительно неудержимо двигаться вперед и в сознание «нового человека» еще добавляется как всепоглощающее чувство — награда за труды — торжествующий над маловерами успех, то облик его становится завершенным. Он замыкается в себе как готовый, новый, непроницаемый,

со всех сторон обоснованный и добродетельный гражданин «нового порядка», провозвестником которого он и является среди растерянного человечества. Это стерильно-идеальное существо — одно из самых страшных созданий современного буржуазного мира.

У Грина оно выступило в лице «тихого» американца Олдена Пайла.

Самое замечательное в Пайле то, что он нисколько не противоречив. Не то, что, скажем, у него были бы какие-нибудь добрые намерения, а потом по слабости он им изменил. Напротив. Пайл последовательно и настойчиво делает то, что его научили считать добром, и тем больше причиняет зла. Он одновременно чистый младенец и кровавый злодей. Он не может поступать по-другому, потому что с самого рождения поставлен на рельсы «абстракций» определенной политической направленности.

«Он был поглощен насущными проблемами демократии и ответственностью Запада за устройство мира; он твердо решил — я узнал об этом довольно скоро — делать добро, и не какому-нибудь отдельному лицу, а целой стране, части света, всему миру». Такое отделенное от людей «добро» обычно предполагает одно ухищрение, которое, конечно, девственному мозгу Пайла понятно быть не могло: оно снимает с тех, кто ему служит, ответственность перед «отдельными людьми» и берет на себя право переворачивать их жизнь по своему усмотрению и произволу. Это-то отсутствие ответственности и мнимое заведомое «знание» и наполняет Пайла радостью и уверенностью.

Ему не хватало только выбрать, какое же «добро» самое лучшее. Но это также фактически было сделано за него школой, университетом и — потом — любимым идеологом, который был даже лично знаком с его отцом. Книжки Йорка Гардинга — «газетчика высшего ранга», который «выдумывает теорию и подгоняет под нее факты», примерно такого же производителя фантомов, как Паркинсон, — западают ему в душу и становятся руководством к действию. Таким образом, лучшие его побуждения, мальчишеский задор, чувство товарищества, смелость и тому подобное сразу получают зловещее «склонение» и, присоединяясь к голому общему, прямолинейно вторгаются в жизнь. Пайл состоит на секретной службе в американской миссии в Сайгоне, и в его ру-

ках сосредоточены могущественные средства. Первый результат его деятельности — сцена на улице Катина: наемники «третьей силы», которых питает американскими деньгами Пайл, заявляют о себе взрывом бомбы.

«Женщина сидела на земле, положив себе на колени то, что осталось от ее младенца: душевная деликатность вынудила ее прикрыть ребенка соломенной крестьянской шляпой... Безногий обрубок около клумбы все еще дергался, словно только что зарезанная курица. Судя по рубашке, он был когда-то рикшей».

Прекрасная идея «ответственности Запада за устройство мира» плохо обошлась с «отдельными людьми», которые не вполне укладывались в ее замысел и план. Ботинки Пайла перепачканы кровью — это настоящий символ, которому он мог бы ужаснуться и отшатнуться от своего «добра». Но не тут-то было — идея, стремительно развиваясь, извлекает для себя из всех предметов только то, что соответствует ее природе, — кровь это не кровь (как пылесосы это не пылесосы), а случайная неувязка; трупы это не трупы, а необходимые жертвы на верном пути. «Они неизбежны, — спокойно замечает Пайл. — Жаль, конечно, но не всегда ведь попадаешь в цель. Так или иначе они погибли за правое дело».

Картер из «Нашего человека в Гаване» понимает, что, подливая яд в виски, он не оказывает Уормолду никакого благодеяния. Он просто механически отделяет себя от преступления — оно выполняется рядовым, которому платят деньги. Пайл «перестроен» как человек, еще дальше — он увлеченно предан своим «занятиям»; подбрасывание пластмассовых бомб — для него целительное вмешательство в жизнь, которая, очевидно, пошла бы своим путем, не туда, куда надо. Он очень цельная натура, не изменяющая своим нормам нигде; у не раскусивших его окружающих он не может вызвать ничего, кроме уважения, хотя к нему всегда примешивается доля глухого недоверия или желания отодвинуться подальше: откровенность и «честность», выставленные у него наружу, оставляют внутри подозрительную пустоту — а где же совесть?

По-видимому, она не нужна, так как разницы между человеком и делом нет; тут полное слияние, и тревожиться не о чем, затруднения могут быть только во внешней сфере, но и они разрешимы.

Если Пайл почувствовал, например, что он влюблен, то ему нечего волноваться — надо включить этот факт в цепь взаимосвязанных обстоятельств и ждать вывода. «Лучше всего выложить свои карты на стол. Я не богат. Но, когда отец умрет, у меня будет около пятидесяти тысяч долларов. Здоровье у меня отличное: могу представить медицинское свидетельство — меня осматривали всего два месяца назад — и сообщить, какая у меня группа крови». Если Фуонг, к которой обращена эта речь, согласится, тогда он женится на ней, обеспечит семью и детей — этих, как говорит Фаулер, «жизнерадостных молодых американских граждан, готовых дать показания в сенатской комиссии»; если нет — что ж, значит, не все условия совпали, надо работать дальше, пока разные абстрактные линии не пересекутся в нужной точке. Выйдет, может быть, и не то, о чем тосковалось вначале, — зато узел будет прочен и нерасторжим.

И так каждое движение души, каждый помысел бессознательно настроены у него, чтобы спокойно ждать, пока им не будет заготовлено подобающее место. Человек растет и меняется, он будто бы живет — и сам он уверен, что живет, потому что этой прочностью он счастлив, — но на самом деле его подключает к себе и отштамповывает дальновидная «система». К тридцати пяти — сорока годам она закончит монтаж основных «узлов» — организм будет связан с миром в самых разнообразных отношениях, совершенно как живой, причем ряд устаревших схем будет заменен к этому времени новыми, так что он с полным правом сможет посмеиваться над старомодностью «предков» (то, что его истинные родители вовсе не биологические отец и мать, он никогда не узнает), и тогда он будет «функционировать» уже без структурных перемен — до полного износа.

Пайл — это искусственный человек, человек-эрац. Его пришествие было предсказано литературой давно, когда новая буржуазная цивилизация еще только разворачивала и распределяла по гигантским «ограсслям» свои возможности — не оглядываясь на противоречия и не желая признавать никаких последствий. Сначала Мэри Уолстоункрафт Шелли в романе «Франкенштейн» (1817), потом Сэмюэл Батлер в фантастической «антиутопии» «Едгин» (1872), наконец некоторые писатели XX века вызвали, как пророки, из небытия не-

сколько пугающих видений — картины уродливого, мертвенно четкого сознания, действующего прямолинейно и безотказно по вложенной в него программе, — угрозу будущего.

Но Грин как художник распознал его непосредственно в жизни, в толпе. «Тихий американец» был той книгой, которая непроизвольно доказала, что искусственный человек уже долгое время, правда не всеми признанный, гуляет по земле. Его ждали из какой-то страшной колбы, предполагали, что его выведет какой-нибудь личинный ученый эксперимент, что это будет сенсация, и не видели, как в действительности он тихо отвердевал внутри живого организма, заменяя ранние теплые клетки чем-то своим — гладким и эластичным — и неслышно переводя сознание в новый, целесообразно очищенный вид. Не научная операция, а соединенная работа всех общественных институтов капиталистического мира, «членом» которых Пайл состоит, привела его к этому образу, где он, будто бы сохраняя все человеческие свойства, переродил их между тем в нечто совершенно иное. Нужно было суметь узнать его в старой оболочке; Грин это оделал, и его художественный образ обладает несомненностью жизни.

Это последнее качество, кстати сказать, избавляет писателя от обвинений в умышленном сгущении тьмы: что может быть ужаснее, в самом деле, этого «надчеловека», если существование его доказано? Мэри Уолстоункрафт Шелли, роман которой мы только что упоминали, писала про своего воображаемого искусственного человека — он был рассеян тогда в мире как ряд отталкивающих свойств, которых стоило избегать, — весьма пронизательно и с широким историческим пониманием его опасности: «Если изучение, которому вы себя посвятили, ослабляет ваши природные склонности и разрушает ваш вкус к тем простым удовольствиям, к которым по возможности не должно ничего примешиваться, тогда это изучение наверняка противоестественно, то есть неблагоприятно по отношению к человеческому сознанию. Если бы это правило всегда соблюдалось, если бы никому не разрешалось заниматься ничем таким, что нарушало бы развитие его внутренних способностей, Греция не была бы порабощена; Цезарь спас бы свою страну; Америка была

бы открыта постепенно, а империи Мексики и Перу не были бы разрушены».

Как типично просветительное «правило» это, конечно, наивно, однако мысль Шелли о том, что люди обязаны пронести сквозь всю историю цивилизации свою человеческую меру — обогатив себя за счет абстракций, а не покоровшись им, — вскрылась позднее как тяжелая задача, которую чем дальше, тем труднее было разрешить.

У Грина она называется иначе — «потерянное детство», но смысл ее в общем тот же: удастся ли человеку уклониться от «затвердения», опасности и развить «детские» живые задатки, а если да, то каким способом? Новый абстрактный человек уже пришел и, судя по всему, склонен размножаться. Назад, к устарелому для него гуманизму, его не возвратишь — ему эти настроения попросту смешны: милая бабушкина болтовня на фоне «железной логики вещей». С другой стороны, логику эту нужно победить и преодолеть; в противном случае — понимают это «абстрактные» или нет — человечество вымрет; автоматы, выхолостив последние признаки жизни, со страшным скрежетом истребят потом друг друга. Можно, конечно, не беспокоиться о будущем, но даже и при этом условии проблема стоит не менее остро, так как «искусственные» теснят и угнетают жизнь уже сейчас.

Поэтому с пристальным, иногда даже каким-то болезненным вниманием исследует Грин судьбу затравленного, задавленного, но никак еще не убежденного в том, что ему надо от себя отказаться, человека. Он намеренно спускается в самые темные провалы, чтобы удостовериться, как и здесь тяжело пробирается к свету живое (он похож в этом на Фолкнера) вплоть до исследования таких фигур, которые, кажется, прочно закованы в границы своего «типа», как, например, капитан Сегура. И с особенным пристрастием изучает он, естественно, тех, кто мыслит, кто самостоятельно вырабатывает в себе средства защиты от Маммоны, и борется с ним.

Положение этих людей у Грина незавидно.

Большинство ищущих и «мечущихся» в его романах предпочитает избегать профессионального языка, любого общения на уровне «дела», признавая в этом только необходимое зло — добывание средств к жизни, — и считает своей первейшей обязанностью отделить себя и все сколько-ни-

будь себе дорогое от скопища «универсалий».

Беатриса, близкий Уормолду человек, говорит: «Я уже не могу верить ни во что большее, чем мой дом, ни во что более абстрактное, чем человек». Ненависть к абстракциям вырастает у них в сознательно принятую программу, как, например, у Фаулера с его «неприсоединением» («Я издеваюсь над всеми, кто тратит золотое время на то, чего нет, — на абстрактные фетиши»).

И в быту, обиходе, рядом с собой они ценят больше всего тех людей, которые умеют пробиться сквозь законы общего к личному, своеобразному, неповторимо живому. Главный герой «развлекательной» книги Грина «Проиравший получает все» с восхищением говорит о своей будущей жене Кэри: «Большинство из нас видит только сходство, каждая ситуация встречалась уже раньше, но Кэри видела только различия, подобно дегустатору вин, который способен различить самый легкий привкус».

Однако каким бы тонким различительным аппаратом ни обладал человек, все-таки от грубого вторжения в его «вкус» абстракций ему не уйти. Они часть жизни, прочная сеть, оплетающая все, и стоит ступить шаг, как неизбежно приведешь ее в движение, подчинишься ее законам. Программа оказывается недействительной и рушится в начале любого действия. Отвлеченность пробралась в самую сердцевину мысли, достигла самых интимных областей, которые можно было принять за цитадель «жизненного» начала. Например, в тех же личных отношениях. Когда Фаулер начал возражать Пайлу, который уверял, что Фуонг — дитя и потому не может самостоятельно решать свою судьбу, он неожиданно сам стал сбиваться в абстракцию.

«Когда я говорил, следя за тем, как она переворачивает страницу (семейный портрет с принцессой Анной), я уже понимал, что выдумываю ее характер не хуже Пайла».

Еще немного — и общее прихлопнуло бы Фуонг и позволило конструировать ее судьбу как угодно — было бы желание и цель. Это положение в миниатюре скрывает более широкое противоречие: если хочешь жить, надо вступать в контакт с абстракциями, если вступаешь с ними в контакт, сразу отрываешься от жизни. Как быть?

Хассельбахер, мрачный доктор из Гаваны, отвечает не задумываясь: надо лгать. Государства, королевства, державы и прочие

высокие отвлеченности, как он говорит, «не заслуживают правды». А раз так — нужно кормить их вымыслом, а самому жить, как хочется. «Помните,— замечает он Уормолду,— пока вы лжете, вы никому не приносите вреда». Он проповедует, другими словами, отделение и отгораживание «от них», распадение человека и сознательно двойное его построение: сама по себе личность — сам по себе включенный в целое тип.

Эта философия также терпит провал. Уормолд так накормил своими химерами «их», что «они», разгулявшись, проглотили и бедного старика Хассельбахера. Он погиб — и чуть не погиб Уормолд — именно потому, что принцип их жизни, как будто противоположный принципу Пайла или Картера, совпадал в главном, и там и здесь ответственность за свою и чужую жизни была безоглядно доверена правилу, общему, «универсалии»; в одном случае по глупости, наивности или ради наживы, в другом — из робости, равнодушия, во имя небольшой выгоды для близких.

Вопрос о личной ответственности человека выдвигается, таким образом, из-за прочих наслоений как нечто чрезвычайно важное. Для самых выдающихся и полноценных людей, которые населяют романы Грина, он становится неотложным, больным, первым по счету. Им терзается Фаулер, которому никак не удается успокоиться ни на одном из правильно-необходимых, то есть логично обоснованных, решений. «Какой из отдаленных предков наградил меня этой идиотской совестью? Право, она не обременяла его, когда он насиловал и убивал в свои палеолитические времена». (Уормолд, как мы помним, отчасти научился «кормить свою совесть из рук».) Тут обозначается у него внутренняя преграда, не позволяющая Фаулеру полностью совпасть с «объективной» логикой и заставляющая его взглянуть на дело всегда с целью-личной стороны. У него две — по меньшей мере — ответственности, и он хочет добиться между ними согласия, слияния выводов. Это ему не удается, ибо абстракция слишком разошлась с «мелочью», намного превосходит его и ему чаще всего остается только уступать.

Но что, если все-таки попробовать? Быть верным себе до конца? Этот вариант заманчив, героичен, хотя и опасен, безнадежен — в экзистенциалистском смысле. По-видимому, он требует какой-то великолепной гибкости и безошибочного чутья, умения

маневрировать, не скатываясь тут же «применительно к подлости» — словом, требует исключительной техники и таланта, чтобы человек, который попытается осуществить этот вариант, не сломался и не погиб. Полицейский чиновник Скоби, которого Грин наделил этим желанием, ни одним из других необычайных свойств, к несчастью, не обладал. Он был бесспорно выдающимся человеком, смело принимавшим ответственность на себя — не из принципа, а потому, что иначе не получалось, он был, как его называли окружающие, «Скоби-справедливым». И он трагически подошел к тулику, к стене, где его как спасительный выход поджидало самоубийство. «Суть дела» — роман, посвященный этой судьбе, — самое мрачное и, вероятно, самое значительное произведение Грина.

Скоби обладал той самой совестью, которую кормить из рук оказалось нельзя. Конечно ниже его стоит его антагонист, тоже чиновник, Уилсон. «Рассудок для Уилсона был более ценен, чем честность. Честность была обоюдоострым оружием, зато рассудок всегда действовал однозначно. Рассудок понимал, что сириец сможет когда-нибудь вернуться в свою страну¹, но англичанин останется; рассудок знал, что на правительстве работать хорошо, каким бы оно ни было».

Идея Скоби противоположна. Он хочет служить человеку, он берет ответственность на себя, он упрямо не желает становиться на одну какую-нибудь сторону в ущерб другой и хочет быть по-человечески справедлив к каждому. И это чем дальше, тем больше запутывает его в неразрешимые противоречия разных интересов, сцепляет его не только с людьми, но и с «типами», которых на практике отделить от людей, их носителей, нельзя. Засосанный глухой тоской и невозможностью не причинять страдания близким ему людям, Скоби тайком ото всех, симулируя грудную жабу, принимает огромную дозу снотворного. Но перед этим он произносит про себя — в разговоре со священником — одну изумительную фразу, которая ложится, как отблеск, на всю историю его характера и в нескольких словах определяет ключевую проблему книги.

Священник: «Вы должны раскаяться. Нельзя желать цели, не желая средств».

¹ Действие разворачивается в одной из бывших английских колоний в Африке.

«Да нет же, можно,— подумал он,— можно: можно желать мира, который приходит с победой, не желая разрушенных городов».

Эта мысль в своем упорстве забирает слишком глубоко, намного глубже самого Скоби и даже творчества Грина в целом.

«Лишь после того,— писал Маркс,— как великая социальная революция овладеет достижениями буржуазной эпохи, мировым рынком и современными производительными силами и подчинит их общему контролю наиболее передовых народов,— лишь тогда человеческий прогресс перестанет уподобляться тому отвратительному языческому идолу, который не желал пить нектар иначе, как из черепов убитых»¹.

Но тот, кто сделал бы отсюда вывод, что эта гуманная мысль о цели «без средств» не нужна,— автоматически перешел бы на сторону того самого идола, о котором говорит Маркс. Ибо она стоит и всегда стояла в разных словесных обликах перед всем человечеством как величественная задача, осознав которую, уже нельзя медлить с ее разрешением. Жизнь, не имеющая впереди себя этой цели, мертва; она есть бессмысленная абстракция, «универсалия», если эта идея не пронизывает ее во всех порах — маячить где-то в виде дальнего «потом» ей также невозможно; именно пропитать собою всю действительность и людей — таково ее назначение и призвание. Скоби и старался — совсем непреднамеренно — выразить и найти ее внутри своего мизерного дела, наверняка ничего не зная о ее всеобщем значении, и в этом как раз была его негнбаемая истинная человечность.

Мы найдем у Грина огромное разнообразие оттенков этой прорывающейся во что бы то ни стало человечности: то любопытнейшее «приспособление» под формы цинизма и равнодушия, которое поворачивается к давящей, невидимой и требовательной «заказчице» морального распада искусственными, заранее заготовленными для нее штампами вроде той куриной косточки, которую совал маленький Ганс кормившей его ведьме (так поступает, например, Фаулер); то не менее интересное, причудливое смешение и срашенные форм преступности — или, вернее, того, что официально считается преступным, — с глубочайшим человеколюбием, оптимизмом и преданностью настоящим людям

(таков сирийский торговец Юсеф, жулик, страстно увлекающийся Шекспиром: «Временами из-за Шекспира мне хочется уметь читать, но я слишком стар, чтобы учиться. Я думаю, может быть, я потерял бы память» — редкая и несомненно человеческая личность), но выше всех по сложности сознания поднимается, без сомнения, Скоби.

Сложность эта много теряет, когда критика, хотя это ее обязанность, нащупывает смысл и гвоздь его характера расчлененным языком рассуждений. Ибо лучший человеческий ответ абстракции — это сам человек. Он живой залог того, что проблема будет решена.

Нам остается только добавить, как к ней относится сам Грин. Он тоже человек неустанно ищущий. Само собой понятно, что он: не отвечает за мнения своих вымышленных персонажей. «Я надеюсь,— сказал писатель в интервью «Советской культуре»¹, — что советские люди не смешивают меня с Фаулером, героем моего романа «Тихий американец», как это делают некоторые американцы». Но он отвечает за свои книги в целом, где все эти мнения, поступки приведены во взаимную связь и тут обнаруживают некое единое направление.

Оно, впрочем, было высказано Грином довольно недвусмысленно в выступлении по английскому радио в 1948 году. «Я считаю,— сказал он,— что писатель должен быть скребушей песчинкой в государственной машине». Мы вправе это расшифровать так, что сам Грин не склонен преувеличивать роли художника и не считает, что тот может переделывать своими силами мир. Но с другой стороны, он полагает, что абстрактные механизмы функционируют в том обществе, где он живет, чересчур гладко и что поэтому угроза человеку от них велика и с ней надо бороться. Он ни на что не хочет положиться, кроме как на глухой, немой призыв своих читателей, которые как будто тихо, одними глазами, указывают ему на скрытую правду, которую хотят от него, как от человеческого свидетеля, «правильные» абстракции утаить. Ее тон и старается он, очевидно, уловить, отвечая комплиментами сопровождающей его «железной логике». «Хорошо, хорошо,— словно говорит он,— а что у вас там?»

«Там» — в буржуазном мире — он открывает своими романами жестокое неблаго-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 9, М. 1957, стр. 230.

¹ «Советская культура», 5 апреля 1948 года.

получие. Человек, которого он обследовал, оказался фантастически заперт.

Мы не можем, например, оценивать этого человека по его идеям — потому что это не его идеи, идеи паразитируют на нем, делают его пешкой, простым своим орудием и «медиумом», которым человек становится либо из наивности, либо из естественного желания сохранить себе жизнь и как-то поддерживать существование (Хассельбахер, Уормолд). С другой стороны, мы не можем оценивать его из его личных убеждений, потому что они в этой реальности нереальны и не имеют никаких внешних опор (Скоби). Наконец, мы не можем считать выражением его существа и его поступки, поскольку они заранее предопределены действущими помимо и через него всеильными «универсалиями».

Напрашивается вывод, что всю эту систему отношений стоит перевернуть и восстановить человека в его попранных ныне правах. Но, несмотря на то, что гуманизм писателя от романа к роману крепнет и растет, такого вывода Грин не делает нигде. И это, конечно, сказывается на нем как художнике. Во всем его художественном мире, с его героями и событиями, чувствуется какое-то заклятие, как тяжелый сон, в котором нельзя пошевелиться, хотя опасность приближается со страшной быстротой. Как бы ни была эта опасность велика, Грин не желает сражаться «делом с делом». Он ищет «потерянное детство».

Но это неблагоприятное, хотя и трогательное занятие. В детстве человека, так же, впрочем, как и в «детстве человечества», действительно таится источник полноты и равновесия, которое потом разрушается, расщепляется в борьбе мучительных противоречий и остается позади — как нечто вечно дорогое и незаменимо прекрасное.

Однако, как пишет Маркс, «на более ранних ступенях развития отдельный индивид выступает более полным, именно потому, что он еще не выработал полноты своих отношений и не противопоставил их себе в качестве независимых от него общественных сил и отношений. Точно так же как смешно тосковать по этой первоначальной цельности, столь же смешна мысль о необходимос-

ти остановиться на той полной опустошенности»¹.

Это значит, что вернуть свое «детство», иначе полноту и цельность жизни, человек может лишь путем практического, революционного переустройства мира. И если капитализм, как та самая стадия развития, которая произвела «опустошенность», противопоставил человеку отделенные от него «универсалии», то общественное развитие на них не останавливается; напротив, оно порождает неудержимое стремление широких народных масс победить «отчуждение» и построить подлинно человеческое общество — коммунизм. В ходе этого переустройства открываются и вырабатываются совершенно новые формы прогресса, не совпадающие с отвлеченным движением «дел» и вовсе не рабски привязанные к тому, что, с точки зрения этих «дел», обязательно и необходимо. Люди учатся раздвигать рамки необходимости и подчинять всестороннему и гармоничному развитию человека все богатство и всю сложность общественных сил и отношений. В этом смысле коммунизм и есть «возвращение человека к самому себе», или, еще точнее, «завершенный гуманизм»².

Грэм Грин явно не видит еще путей этого «возвращения человека к самому себе», страшится действия и весьма мрачно оценивает прогресс. Не исключено, что он думает — так может порой показаться, — что движение вперед идет лишь на руку «машине» и человек трагически обречен. Но если он так и думает, то, ясно, далеко не всегда. Иначе зачем «скрести песчинкой»? Тогда можно было бы просто сказать примерно так, как ответил в одном своем интервью скатившийся к фашизму Селин: «Милая барышня, нам остается только ждать, пока чудовище поглотит нас в своем ужасном брюхе». Грин явно не согласен с этим. Он сопротивляется и старательно докапывается до «сути дела» — с большой обстоятельностью, грезовостью и простотой. И это делает его одним из наиболее глубоких писателей современного Запада.

¹ «Архив Маркса и Энгельса», т. IV, М. 1935, стр. 99.

² К. Маркс и Ф. Энгельс. Из ранних произведений. М. 1956, стр. 588.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ

★

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Турков. Тропка вокруг Земли.— **Е. Старикова.** История одной семьи.—
Л. Арутюнов. Гомер гор.— **Р. Орлова.** В борьбе за реализм.— **Л. Лазарев.**
Точка опоры.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Дм. Рудь. Одна из немногих.— **Мих. Цунц.** Мост в завтрашний день.—
И. Брайнин. Книга о старшем брате Леина.— **Николай Габинский.** Свободная территория Америки.— **Сергей Львов.** Большое путешествие — большой труд.— **Б. Могилевский.** Молчаливый профессор Флеминг.— **А. Иглицкий.** Шахматная поэзия.

Литература и искусство

ТРОПКА ВОКРУГ ЗЕМЛИ

Петрусь Бровка. А дни идут.. Стихи и поэмы. Авторизованный перевод с белорусского Якова Хелемского. Редактор Н. Сидоренко. «Советский писатель». М. 1961. 180 стр.

Существует — а одно время даже процветал — небезызвестный стандарт «композиции» сборника стихов: сначала идет раздел «гражданской» поэзии, а уж потом «собственно лирика». И не секрет, что очень часто первый раздел составляет наиболее слабую часть книги. Довольствуясь чисто тематическим подходом к отбору произведений, автор, сказать по правде, совершает вреднейшее дело — дискредитирует в глазах читателя гражданскую тематику, создавая впечатление, будто бы здесь извинительно отсутствует оригинальная мысль и сердечного пафоса, хотя без этого стихи на самую что ни на есть актуальнейшую тему попросту не существуют.

Книга П. Бровки начинается, на первый взгляд, очень «личными» стихами — раздумьями о своем жизненном пути, о людях, слушавших его первые стихи, о поисках нужного слова:

На ночлеге весною
Я открылся друзьям.
И курили махрью
Мне тогда фирмам...
Путь открылся безбрежный,
Жар души не иссяк.

Огонек тот ночлежный
Светит, словно маяк.

Беларусь — это не только родина самого автора, но и родина его стихов. Здесь прошел поэт суровую жизненную выучку,

Переходя из класса в класс:
Сперва гусей у речки пас,
Потом свиней, потом коров.

Здесь он научился различать тонкую прелесть неброских красок родной природы и, как к пенью цимбалов, прислушиваться к звучанью белорусской речи.

Даже в мерном рокоте самолетных моторов слышится ему давний отзвук мельничного помола:

С гулом, похожим на эхо обвала,
Крутится жернов,
Крутится жернов.

Очередь спит на траве, на телегах.

Вот что привиделось в кресле самолета посреди дремлющих пассажиров поэту, вечно любящему свой край, помнящему его не легкую историю, его будни и праздники. И в шумном Нью-Йорке, устав наблюдать «че-

харду» рекламных вспышек, поэт переносится мыслью к скромному торжеству в белорусской хате:

Я помню —
Как ждали с тобою мы встречи
И ты выезжал
На лопате из печи.

С почетом, с улыбкой
Тебя принимали
Лицо золотое твое
Обмывали.

Дышал ты
Под глянцем запекшейся корки
На бедном столе,
На нехитрой скатерке.

(«Черный хлеб»)

Читая эти стихи, думаешь, что по ясности и предметности поэтической речи Петрусь Бровка — достойный наследник таких своих предшественников, как Янка Купала и Якуб Колас.

Цикл стихов, написанных в Нью-Йорке и про Нью-Йорк, вовсе не исчерпывается мотивами воспоминаний и тоски по родине. Хотя они и занимают в нем немалое место, что вполне естественно, П. Бровка, по счастью, не уподобляется некоторым нашим поэтам, с лица которых, если судить по их стихам, во все их пребывание за границей не сходило кислое и пренебрежительное выражение. М. Горький как-то рассказывал, что один такой путешественник на вопрос, как ему понравилось море в Италии, ответил: «Что у нас своих-то морей нету, что ли!»

Помня про «свои моря», П. Бровка, однако, дружески болтает с «американским скворцом», с улыбкой наблюдает за веселым ребячьим гвалтом возле мороженщика, точно таким же, как где-нибудь в Минске, с благодарностью прощается с комнатой в океанском городе, «где так влекло к карандашу, где закипали строки». Как на товарищей военных лет глядит он на недвижно стоящие на Гудзоне суда, прорывавшиеся с грузами к Архангельску и Мурманску сквозь засады врага и под бомбами воющих «юнкерсов». Но он не может утаить от них и своей тревоги:

Но если убийца, маньяк оголтелый,
Отыщется в Штатах и в бой вас погонит,
Служить откажитесь неправому делу,
Суда на Гудзоне.

Себя не давайте вы переупрямить,
Не двигайтесь с места, останьтесь в затоне.
Оставьте в сердцах благодарную память,
Суда на Гудзоне!

Эта тревога за судьбы мира, которому так идут детский смех и ничем не омраченная весна, что «бубенчик жаворонка милый пришла к небу-полотну», снова и снова возникает на страницах книги. Так, в цикле «Из Стокгольмской тетради» выделяется стихотворение «Разговор с небом» — отголосок той тревоги, с которой теперь смотрят люди на облака: они могут пролиться на землю радиоактивными дождями. Сильное впечатление производят многие строфы поэмы «Голос сердца». Судьба матери, бесследно сгнувшей в страшном жерле освенцимской печи, переполняет поэта ненавистью не только к тем, кто когда-то мирно спал на матрацах, набитых волосами сожженных, но и к вдохновителям новых злодейств, по чьему наущению «снова фанфары вовсю завывают, черная свастика вновь оживает».

Война перестала быть средством разрешения споров. В нынешних условиях она была бы похожа на судью, который дочиста обобрал бы и ответчика и истца. Стихи П. Бровки делают благородное дело, внушая отвращение к тем, кто играет с огнем.

Так тропка, берущая свое начало в белорусском селе, вывела нас на большие просторы, в самую гущу животрепещущих проблем, на поля яростных сражений между друзьями и врагами человечества.

Какой добрый мир достался нам, люди! — говорит своими стихами Бровка. — Пусть мы прожили нелегкую жизнь, но мы многое сделали. Мы вели себя, как листья, рожденные неумирающим деревом народной жизни. Каждый из нас был похож на этот дубовый лист.

Когда зимою
Вьюга стонет
И злобно щерится мороз,
Он прикрывает, как ладонью,
Ту ветку,
На которой рос.

Но, вешней зорькой
Оволдован,
Он, встретив солнечный восход,
Уступит место листьям новым
И тихо наземь
Упадет.

(«Дубовый лист»)

С добрым чувством читаете эту книгу, нежную и мужественную, полную светлой веры в людей, которую поэт вынес из крутой и сложной жизни:

Как лемех в глубине земли,
Я сердце высветлил свое.

А. ТУРКОВ.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

М и х. Ж е с т е в. Татьяна Тарханова. Роман. «Звезда», № 1—3, 1962.

«Татьяна Тарханова» Мих. Жестева — большой роман. Большой по размерам, большой по теме, большой по времени, которое захвачено повествованием, — с начала тридцатых годов и почти до наших дней. Это история рабочей семьи, вышедшей из деревни и осевшей в городе на заре коллективизации. Татьяна Тарханова — внучка главы этой семьи и первого рабочего в ней Игната Тарханова.

Некогда, в 30-е годы, наша литература и в прозе и в стихах поэтически рассказала о драматизме превращения отсталой крестьянской страны в индустриальную державу. Она рассказала и о том, как меняла свой облик Россия, и о том, как в результате этих перемен забытые голодные люди выходили из тупиков и захолустий на путь исторические осмысленного существования. Так что эта тема Мих. Жестева, по моему мнению самая интересная, будто совсем и не нова. Но есть во взгляде писателя на те уже далекие от нас события нечто такое, что могло появиться только в наши дни: более широкая историческая перспектива.

Мы заново вглядываемся в страницы летописей революции и гражданской войны, заново вспоминаем события Отечественной войны. Но история коллективизации — момент не меньшего драматизма и не менее серьезных общественных последствий. И очень знаменательно, что истоком истории современной русской рабочей семьи в романе Мих. Жестева является время, когда его герой Игнат Тарханов перестает быть крестьянином и становится рабочим.

Середняк, однажды и по ошибке выступивший во вред колхозу, он неожиданно для себя попадает в жестокий переплет.

«И невдомек этому середняку, что в великое время крутых поворотов самый маленький необдуманный поступок может привести к самым большим и очень печальным последствиям», — рассказывает Мих. Жестев. Этим маленьким поступком оказалась исконная крестьянская привязанность к своей лошади: Игнат не мог смотреть, как плохо обращаются с его Находкой, и увел ее с колхозного двора. И вот его, вчерашнего бойца гражданской войны и одного из основателей колхоза в родных Пухляках, высылают в Хибины вместе с

его врагом и подстрекателем кулаком Ефремовым. По совету того же Ефремова Игнат бежит из-под конвоя, теряет потом всю семью и в сорок лет вынужден заново начать жизнь городского рабочего — одного из строителей индустрии первой пятилетки.

Суровая беспощадность истории и в то же время стремительность ее поступательного движения выражены в этом рассказе о судьбе рядового человека нашей эпохи. И крестьянское терпеливое спокойствие, с которым Игнат и подчинился неожиданной ломке, необычным обстоятельствам и одновременно подчинил эти обстоятельства себе, формируя их своей живучестью, стойкостью, трудолюбием, — это и черты индивидуального характера и черты исторического типа, зорко увиденные и глубоко истолкованные писателем. «Мы, деревенские, и в городе не пропадем», — говорит новая подруга Игната, трудолюбивая и хозяйственная Лизавета. Привычка к тяжелому труду, отсутствие какой-либо избалованности материальными благами, терпение, совестливость, вера в справедливость — эти социально-психологические особенности русского крестьянства, вовлеченного в индустриализацию страны, составили немалую долю того фундамента, на котором был построен социализм в России. В спокойном летописно-хроникальном повествовании Мих. Жестева процесс построения нашего общества увиден именно с этой социально-психологической и социально-бытовой точки зрения, причем в широкой временной перспективе.

Несколько однообразный жестевский рассказ о жизни Игната Тарханова иногда перебивается отступлениями, которые трудно назвать лирическими, ибо меньше всего они говорят о чувствах самого автора, но в которых все-таки больше всего ощущается автор, в которых он позволяет себе вдруг, оторвавшись от подробностей, свободно подняться над судьбой своего героя и, так сказать, с высоты птичьего полета увидеть ее в потоке множества сходных судеб. Так возникают в романе обобщенные описания города Глинска и его рабочих окраин — может быть, лучшие страницы произведения. Именно здесь Мих. Жестеву удается точнее и поэтичнее всего передать диалектику и динамику тех исторических

процессов, в которые оказался вовлеченным его герой. Вот они, эти тысячи Игнатов Тархановых, вольей или невольей водворились в Глинске, отвоевывая в нем метр за метром. Кажется, что деревенская стихия — ее быт, ее обряды, ее нравы — готова затопить город и изменить его по своему образу и подобию: никогда еще здесь так громко не звучали деревенские песни, никогда еще не росли в нем так быстро новые и новые огороды, никогда еще крестьянские обычаи не чувствовали себя здесь так вольно. Но рядом с Раздольем есть керамический комбинат, построенный руками тех же Игнатов, и власть этого громадного индустриального предприятия оказывается сильнее власти деревенских традиций: проходят годы, и обычаи города и завода, постепенно, но полностью подчиняют себе и самого основоположника полукрестьянского Раздолья — Игната Тарханова.

Постоянными спутниками Игната Мих. Жестев делает многих свидетелей той первоначальной драмы, что произошла некогда в Пухляках: здесь, в Глинске оказывается и злой гений семьи Тархановых, сломленный и опустившийся пухляковский кулак Ефремов, и паразитирующий бедняк, «люмпен», Афонька Князев с его психологией потомственного лакея, и идейно не приемлющий коллективизацию агроном Чухарев, последовательно сменяющий роли советского служащего, злостствующего обывателя и, наконец, темного дельца и притондержателя. Здесь же теперь работает и некогда проводивший коллективизацию в Пухляках коммунист Сухоруков, ставший теперь добрым другом и наставником Игната Тарханова.

Постоянное вторжение в судьбу Игната одних и тех же лиц кажется иногда несколько назойливым, но в то же время нельзя не увидеть в этом устойчивом интересе писателя к давним участникам Игнатовой драмы определенной и справедливой мысли. Все они — люди разного происхождения, разных убеждений, разных нравственных устоев — вовлечены в могучую жизнь одного и того же строящегося и развивающегося организма, которому нужна их сила, их живучесть, самая их численность и который постепенно должен переболеть их болезнями и выковать из них новое единое качество — современное нам общество.

Бурная и драматичная вначале, в переломный момент, жизнь Игната Тарханова

далее течет спокойнее, отражая в себе и выражая собой эти процессы формирования нашего общества — избавление от крестьянских собственнических привычек, постепенный выход людей из узколичных интересов к общественной жизни, осознание ими себя нераздельной частью общества (что для Игната Тарханова выразилось в его вступлении в партию).

Очень существенно, что в орбите наблюдений и размышлений Мих. Жестева оказался не только человек, вышедший из деревни, но и сама деревня, отпустившая от себя этого человека. Правда, деревня живет в романе как далекий фон, как предмет мыслей и воспоминаний, тревоги и тоски Игната Тарханова, но ее постоянное, хотя и подспудное ощущение очень важно для общей идеи романа, оно усиливает его современное звучание, свидетельствуя еще раз о попытке автора осознать историю и процессы нашего общества в единстве и реальном взаимодействии всех ее сил и тенденций, ее прошлого и настоящего.

Невозможно перечислить все то, что дало Игнату Тарханову, рядовому труженику с нелегкой судьбой, его освобождение от власти земли. Он обрел уверенность в завтрашнем дне, независимость от случайностей природы, более просторный горизонт, общение с широким кругом разнообразных людей. Но почему же временами так тоскует его сердце, почему до конца дней не может он забыть проклятых, обидевших его Пухляков? Почему и внукам своим, родившимся и выросшим в городе, передает он по наследству эту горестно-сладкую тоску по «утраченному раю», где не был он сыт, не знал покоя и претерпел обиду и унижения? Да потому, что вместе с тяжелым трудом, небезопасностью, отсутствием комфорта, замкнутостью существования в «своей деревне» ушла от Игната и поэзия постоянного активного общения с природой, которая пронизывала его существование в прошлом и которую он по-настоящему смог оценить на расстоянии и времени и пространства.

Это поэтическое чувство, составляющее правдивую и непреходящую черту того социального типа, который изображен в Игнате, усиливалось реальной его тревогой за оставленные им Пухляки. Для этой тревоги у Игната было много оснований. Не имея ни желаний, ни возможности вернуться к земле, Игнат ощущает какую-то не-

ясную свою вину перед пей — вину исконого крестьянского сына, не забывшего ни ее тепла, ни ее запаха и почти забывшего ее тяжесть. Эта тема романа — неотчетливая вина Игната перед родной землей и его тоска по ней — одна из самых поэтических в книге (где вообще-то поэтических страниц не так уж много), она проходит через все повествование. И еще тревожная нежная любовь Игната к внучке, к Татьяне Тархановой, ставшей самым близким ему человеком, — ей он и передает свою любовь-тревогу к земле. Эти две сквозные темы романа сообщают характеру Игната человеческое тепло и художественную цельность, выделяющие его из всех остальных образов произведения. Потому-то мне и кажется, что роман Мих. Жестева с большим правом мог бы называться «Игнат Тарханов», а выбранная автором в главные героини Татьяна Тарханова все-таки воспринимается только как итог жизни Игната: она прежде всего потомок и наследница своего деда — его ошибок, его удач, его судьбы. Самое стремление увидеть в человеке продолжение истории его предков может свидетельствовать о глубине взгляда писателя (кто же из нас свободен от истории и традиции?), но все-таки, когда персонаж становится логически выведенным «потомком», не обретая ни своего индивидуально-го лица, ни своей поэтической темы, это говорит о слабости писателя.

У Татьяны Тархановой нет обаяния неповторимой человеческой личности. В ее жизни есть тайна (она долго думает, что дед Игнат — ее отец, и не знает о том, что ее мать умерла от родов, а отец пропал без вести в далеких Хибинах: он возвращается только после войны); у нее есть любовь, которая не сразу обретает счастливый конец и чуть не приводит ее к браку с чуждым ей человеком; она долго и тревожно ищет своего пути. И все-таки, несмотря на столь сложные обстоятельства, подробно описанные писателем, в этой жизни, в этом образе нет ни подлинного драматизма, ни волнующей поэзии.

Жестев не живописец, он внимательный наблюдатель и точный рассказчик, и я думаю, что причину неудачи образа его главной героини надо искать не в слабости тех или иных сцен, описаний, сюжетных перипетий, языка и т. д., а в самом существенном — во взгляде писателя на те явления, которые должен был вобрать в себя

образ Татьяны Тархановой. В этом взгляде нет определенности, ведущей идеи. Сама жизнь Татьяны Тархановой не подсказывает ее писателю, и он остается в плену этой жизни, не поднимаясь над ней достаточно высоко, чтобы осмыслить ее более широко.

Человек самого демократического происхождения, хороших и глубоко воспринятых трудовых и нравственных традиций, Татьяна Тарханова отравлена какой-то почти постоянной неудовлетворенностью. Писатель нигде не делает такого вывода, может быть, даже не замечает этого, увлеченный множеством частных подробностей жизнеописания героини. Но читатель видит, что ни любовь, ни работа, ни отношения с близкими не дают Татьяне Тархановой здорового, поэтического ощущения полноты жизни, определенности цели.

Получившая образование, живущая уже в иных, чем отцы и деды, условиях, героиня Мих. Жестева нелегко смиряется с необходимостью заниматься физическим трудом на том самом заводе, где работает ее дед. Она долго воспринимает эту необходимость как крах своих неопределенных мечтаний и неопределенной жизненной программы, ибо та работа, которая для деда была и выходом из безвыходного положения, и судьбой, и суровой необходимостью, и чудом открытия нового мира, для внучки является лишь одной из вероятных и далеко не лучших возможностей. Но для выбора лучшей возможности, которая наполнила бы ее существование высшим смыслом и окончательно сформировала бы ее личность, у нее нет ни убежденности, ни стойкости желаний, ни крайней необходимости.

Как видим, Жестев и здесь нащупал достаточно распространенное и типичное противоречие действительности. О нем много писали и говорили в связи со школьной реформой. Но для того, чтобы эта реальная проблема стала поэтической темой романа, а его героиня — типичной фигурой, видимо, нужно, чтобы и у самого писателя было более резкое суждение о явлении — и о его нравственной и о его социальной сущности. Но Жестев здесь откровеннее, чем в любом другом месте своего романа, ограничивается ролью хроникера: так было, так бывало, так бывает.

Именно здесь, во второй половине романа, где преимущественно рассказывается о жизни Татьяны Тархановой, яснее всего обнаруживает свою слабость повествователь-

ная манера автора, последовательно и несколько однотонно излагающего (а часто просто иллюстрирующего) события, не всегда умея выделить более существенное среди менее существенного, расставить ударения, вовремя повысить или понизить голос, сменить план, выделив одну деталь за счет приглушения других. Повествование течет ровно, плавно, не спеша и не задерживаясь, о горестях любви здесь рассказывается тем же тоном, что и о столкновении с заводскими хулиганами.

История прихода Игната Тарханова в город была нам поведана в той же манере, но там сама мысль автора расставляла акценты: следя за ней, за тем новым и интересным, что открывал нам Мих. Жестев среди давно, казалось бы, известного, мы сами опускали второстепенное, находя нужное нам и существенное. Когда же речь идет не об Игнате, а о Татьяне, не о прошлом, а о настоящем, мысль автора перестает быть для нас путеводной нитью.

Нам своевременно и достаточно подробно сообщили и о юннатских увлечениях маленькой Тани, и о ее удачливой помощи в огородных делах приемной матери, и о тех беседах с дедом-отцом о земле, которые заронили в ее душу любовь к незнакомым ей Пухлякам. Но эти рассказы-сообщения,

не выделенные из хроники особым настроением, не подготовили нас к тому повороту в жизни героини, который должен ознаменовать обретение ею своего места в жизни, своей ответственности за нее.

Прямой потомок человека, кровно связанного с землей и волею истории отторгнутого от земли, Татьяна Тарханова в конце романа уезжает в деревню, чтобы своим трудом возместить то, что потеряла когда-то родная земля, вынужденная расстаться с Игнатом Тархановым. Так читается замысел Мих. Жестева. Но неожиданное для нас (несмотря на далекую подготовку) решение героини искать судьбы и счастья в деревне выглядит все-таки умозрительно сконструированным решением. Подсказанный недавними событиями реальной действительности, этот чисто головной «ход» — ход мысли автора и сюжета произведения — не подкреплен теми достоверными жизненными наблюдениями, которые сделали интересной первую часть романа, повествующую о разрыве потомственного крестьянина с деревней, о его вкоренении в город и о всех изменениях в душах людей в результате великого переселения миллионов Игнатов с земли на стройки и заводы.

Е. СТАРИКОВА.



ГОМЕР ГОР

Важ а Пшавела. Том I. Стихи и поэмы. 504 стр. Том II. Рассказы, пьеса, статьи. 632 стр. Перевод с грузинского. Редакционная коллегия: Т. Буачидзе, В. Жгенти, С. Чиковани. Издательство «Заря Востока». Тбилиси. 1961.

После широко отмеченного по решению Всемирного Совета Мира столетия со дня рождения Важа Пшавела, после торжественных юбилейных статей и речей читатель получил двухтомник избранных произведений великого поэта и смог реально ощутить величие и мощь его необычайного дарования.

Современник И. Чавчавадзе и А. Церетели, Важа Пшавела шел своей дорогой в грузинской литературе. В прошлом некоторые критики склонны были видеть в нем лишь интерпретатора горского фольклора, замкнувшегося в узком кругу племенных тем и проблем, далекого от передовых идейно-общественных поисков и потрясений своего века.

Слава и понимание поднялись к поэту на Чарглиц-цвери из долины, как к Шекспи-

ру, — с течением времени. Но даже самые горячие почитатели навряд ли могли предвидеть то мировое признание, которое пришло к поэту в наши дни.

Важа Пшавела — поэт могучего и широкого эпического дыхания; его поэзия «словно рождена в мире изначальных прозрений народа, где еще не утрачено ощущение детства», — пишет С. Чиковани во вступительном слове. Его герои — гордые дети природы — как будто высечены из монолитных глыб гранита, их чувства и помыслы сильны, благородны и цельны. Поэзия Важа Пшавела проникнута естественной и органической народностью, в ней же истоки его эстетического идеала.

Уже ранняя поэма Важа Пшавела «Гоготур и Апшина» не просто «старинный рассказ» о непутевом и хвастливом разбой-

нике Апшице, проученном народным героем Гоготуром. Землепашцу Гоготуру претят не только грубые и нечистоплотные методы Апшины, который «грабит недруга и друга», — он не приемлет вообще всей философии паразитизма, стяжательства и насилия, все нечестные и окольные пути в жизни, хотя бы они и сулили жизненные блага. «Мне жизнь бы вмиг осточертела, когда б я ел чужой кусок», — гневно обрывает он жену, посмевавшую поставить ему в пример удалого и расторопного Апшину, у которого «весь конь украшен серебром», да и он сам тоже. Жизненный и моральный кодекс горца прост и честен: «Война — так бейся смело, а нет — размахивай косой. Великий грех для земледела ходить с оружием на разбой».

Образ Гоготура воплощает в себе лучшие и истинные черты могучего национального характера, его духа и миропонимания. Свобода и честный труд — вот предпосылки его существования. Они же формируют и особенности его облика — и человеческие и национальные. И наоборот, внешние, так сказать экзотически-орнаментные, черты скорее условно традиционного портрета, чем национального характера, закреплены за хвастливым, стремящимся к легкой жизни Апшиной. Нет трудовой основы — и образ утрачивает истинно человеческие и национальные черты, извращая или пародируя их внутренний смысл и содержание. (Кстати, заметим в скобках: наше общество далеко ушло вперед, а некоторые писатели еще нередко потчуют нас вместо истинного национального и человеческого характера традиционной стандартно-типовой схемой некоего универсально-разборного «апшины», будь то узбек-хлопкороб, татарин-нефтяник или грузин-сталевар. Особенно это можно поставить в упрек тем произведениям, в которых предстает многонациональный коллектив советских людей, — в романах о войне, целине и т. д.).

В поэзии Важа Пшавела национальный колорит (если использовать этот изрядно набивший оскомину термин) не становится главным характеризующим моментом в изображении мира, не превращается в плоскостной градиционный национальный силуэт, лишая эстетические явления глубины третьего измерения — общечеловеческого. Творчеству поэта маленького горского племени присущи общечеловеческий смысл и

пафос, общечеловеческое содержание страстей и конфликтов.

Характеры героев Важа Пшавела лишены однозначности, свойственной героическому эпосу, хотя они и созданы на основе этого эпоса. В маленькой общине вскипают титанические страсти и конфликты. В ней рождаются свои Прометей, Каины, Фаусты, бунтари и канонборцы, в сознании которых вечная неколебимость, изначальность законов и неподвижное мирозерцание общины начинают терять свою былую магическую силу.

Существовал родовой, освященный веками обычай — отрубать руку убитого врага и, как торжественный трофей победы, пригвоздить ее к башне Имеды. Алуда Кетелаури, герой одноименной поэмы, хевсур из Шатиля — в честном поединке убивает кистина Муцала, угнавшего табун лошадей у общины. Но, что мужество и благородство, проявленное соперником в поединке, не рубит его руки. Святой завет предков в его глазах оборачивается слепым законом, враг — человеком. Алуда вступает на тернистый путь, он отстаивает новые человеческие качества в себе самом. Он не только прославляет доблесть «неверного», он позволяет себе смело усомниться в том, что было до сих пор непреложно:

Эх, лишь себя считаем мы
 людьми, достойными спасенья,
 А басурманам, детям тьмы,
 Пророчим адские мученья.
 Все, что твердим мы невопад,
 Сыны господни лучше знают.
 Едва ль всю правду говорят
 Те, кто о боге вспоминают.
 И понял я, что отрубить
 Десницу храбрую негоже.
 Убудет слава, может быть,
 Но голос сердца мне дороже.

(Перевел Н. Заболоцкий)

Несмирившийся, непокоренный, восставший против догматов Алуда — этот горский Уриэль Акоста — изгоняется общиной. Со старой матерью, с женой и малыми детьми он уходит в метель от родимых мест, чтобы или погибнуть в дороге, или умереть на чужбине.

Также трагически кончается аналогичный конфликт в поэме «Гость и хозяин». Только здесь переменились роли: мусульманин Джохола и его жена Агаза встали против общины на защиту собственной чести и чести своего гостя — хевсура Звиа-

даури. Все герои гибнут, не в силах побороть религиозную нетерпимость и косность общины. Их дружеское единение, которому помешали люди на земле, происходит за гранью жизни. Символом братской любви встает здесь лирический образ Агазы.

И вот среди вершин Кавказа
 Мерцает зарево костра,
 И снова трапезу Агаза
 Готовит братьям, как сестра.
 Сквозь сумрак ночи еле зримы,
 В сиянье трепетных огней
 Ведут беседу побратимы
 О дивном мужестве людей...

(Перевел Н. Заболоцкий)

Но братство и дружба людей — лишь мечта и надежда; «воля рока» оказывается сильнее человеческих «заклятий», и виденье будущего завлакивается холодным земным туманом.

Встает он пологом заклЯтым
 Над очарованным холмом,
 И не разбить его булатом,
 И не рассеять волшебством.

(Перевел Н. Заболоцкий)

Герои Важа Пшавела ценою своей жизни утверждают право на собственную, не ограничиваемую канонами общинной морали индивидуальность, на свободное проявление своей личности.

Идеал поэта, осуществимый лишь в будущем, становится естественным состоянием человечества в поэзии Важа Пшавела. В этом противоречии — ее весь драматический накал и общечеловеческий смысл его поэзии, в этом и величайшая победа духа великого борца.

Есть среди поэм Важа Пшавела одна, которая является как бы загадкой. Речь идет о поэме «Змеед». До сих пор исследователи несколько теряются при ее анализе. Ее кажущаяся простота таит в себе бесчисленные грани и оттенки глубокой философской мысли, которую невозможно постичь и охватить разом.

Герой поэмы Миндия двенадцать лет провел в плену у дэвов. Подневольная жизнь ему наконец стала невмочь, и он решил покончить с собою, попробовав змеиного отвара. Но пища дэвов придала ему мощь всеведения, он стал неразрывной частью мироздания и природы, познал их сокровенный смысл и законы, стал всезнающим и всечувствующим, подобно пушкинскому «Пророку».

Прозрел он — и точно замок
 С очей и ушей его взломан.
 Все слышно ему и вдомек.
 И птичий напев, и о чем он,
 Крик счастья, и лепет истом,
 Зверей и растений усилья,—
 Все, созданное творцом,
 С душой ли оно, без души ли...
 Лес, небо, что ни попади —
 Теперь с ним в беседе совместной,
 И в Миндиевой груди
 Лишь зло не нашло себе места.

(Перевел Б. Пастернак)

Гармония и сила природы как бы перешодит, вливается в Миндию, проникает в его плоть и душу, в его помыслы.

Здесь и возникает трагическая коллизия. Союз с природой одарил Миндию необычайной, нечеловеческой мощью. Но он же властно повелевает стремиться к гармонии, присущей природе. Человек должен быть гармоничен и прекрасен, он осознает это, он даже хочет этого. Но может ли он?

Мудрость Миндии делает его первым в общине, во благо которой он использует свое всеведение: он — защитник отечества, праведный судья и исцелитель от неизлечимых недугов. Подобно Фаусту, Миндия смысл жизни видит в активном деянии на благо людей. Но прекрасного мгновения для Миндии не наступает, более того — оно невозможно. Ибо Миндия стремился не только к идеальному человеку, но и к идеальному обществу.

Община не понимает Миндию и не хочет его понять. Он слышит и понимает всех живущих в природе, его родичи — только себя и свои непосредственные потребности.

Они не в состоянии постичь гуманистическую мечту Миндии об обществе, в котором будут царствовать истинно человеческие законы. Важа Пшавела как к идеалу апеллирует к природе, однако мысль его, несомненно, гораздо шире.

Мало кто из поэтов был так близок к природе и слился с нею так полно и самозабвенно, как Важа Пшавела. Но его пантеизм вовсе не означал отчуждения от человека и человеческих стремлений. Миндия не просто природу стремится сохранить в первозданной красоте, но природу человеческую. Однако человек как явление и природы и общества — «дисгармоничен». Он «выломался» из гармонии природы и еще не достиг гармонии общественной. Миндия трагически теряет власть и мудрость. Ведь всякое его деяние и благо на пользу общине

было сопряжено с отчуждением жизни или блага у других, в природе живущих. Договор с природой был нарушен. Сколько горечи, гнева и боли в словах Миндии: «Я мудрость и мощь растерял, чтоб только живот ваш раздулся». Это противоречие приводит его к поражению и самоубийству. Трагическая фигура Миндии встает как оплаченный и неосуществленный до конца долг человечества перед самим собой.

Поиски гармонии, свободы, человечности, труда, красоты и любви, борьба за эти идеалы — вот что движет поэзию Важа Пшавела. Его раздумья и мечты, подобно проповедям пророка, вторгаются — порою неожиданно — в эпический сюжет повествования, становясь главной темой драматической симфонии о человеке и человеческом.

В поэме «Бахтриони» доведена до апофеоза идея патриотизма, гражданского и ратного служения отчизне. Перед героями крепость Бахтриони, которую надо взять штурмом, чтобы освободить Грузию от персидского ига. Впереди бой с врагом, впереди смерть, но и победа и свобода! Но прежде чем поразить врага, поэт останавливается перед вечной красотой природы, и виденье будущего — без рабства, крепостей и крови людской, виденье любви человеческой — встает перед ним.

Герой Важа Пшавела не боится смерти, но стремится к постижению истины и будущего, он предпочитает видеть людей братьями и побратимами, чем врагами и трупами.

И поэт развертывает гигантскую панораму гор, застывших в недвижности как символ человечества, полного внутрискрытых сил любви и добра, готовых, как магма, взломать каменный покров предрассудков, уже окутанных туманом «размышленья».

Туманы — это размышленья
Могучих гор, седой венец
Их человечности, томленья
Несокрушимых их сердец.
Люблю травы я колыханье
На их груди и в поздний час
Ветров безродных завыванье,
Испепеляющее нас.

(Перевел Н. Заболоцкий)

Эпическая поэзия Важа Пшавела глубоко современна по духу своему, по гуманистической, философской направленности. В ней нет ничего патриархального и замкнуто-ограниченного, нет никакой сентиментальности, никакого умиления перед законами «родимой» общины как таковыми, этими почти обязательными спутниками малых литератур.

Поэзии Важа Пшавела присущ высокий символизм, драматизм мысли, высокая степень обобщенности в изображении человеческих характеров, страстей и конфликтов.

В ней предстает величественная картина человеческого духа и его победа. В ней маленький народ обуреваем великими страстями и порывами, стремлением к великим свершениям.

Сам поэт был на высоте культуры и образования своего времени — об этом, в частности, свидетельствуют его критические статьи, помещенные в двухтомнике, хотя внешне Важа Пшавела ничем не отличался от простого горца. Он сам пахал землю, рубил лес.

...Важа Пшавела умирал душевным летом 1915 года в тифлисском госпитале. Он просил постелить ему последнюю постель — плащ на каменном полу — и принести цветов и трав, чтоб в последний раз вдохнуть аромат своих гор и умереть среди них.

Газовый туман уже вползал в солдатские окопы. А впереди дымили печи Освенцима и Майданека, прорастали чудовишно небывалые цветы на атомных пепелищах Хиросимы и Нагасаки. Борьба за человека еще не кончена. Борьба, которая была смыслом и стремлением гуманиста Важа Пшавела.

Мы остановили внимание читателей только на пяти поэмах Важа Пшавела. Но он автор тридцати пяти поэм (из них двенадцать представлены в двухтомнике), более пятисот лирических стихотворений, около восьмидесяти рассказов и новелл. Охватить все в рецензии невозможно. В великолепных переводах Н. Заболоцкого, Б. Пастернака, Н. Тихонова, Л. Пеньковского и других вновь предстал самобытный и могучий поэтический мир великого горца.

Л. АРУТЮНОВ.

В БОРЬБЕ ЗА РЕАЛИЗМ

Т. Мотылева. *Иностранная литература и современность*. Статьи. Редактор Е. Колюхова. «Советский писатель». М. 1961. 368 стр.

Книга Т. Мотылевой «Иностранная литература и современность» включает статьи: «О некоторых вопросах реализма XX века», «Так ли надо изучать зарубежную литературу?», «Лев Толстой и современные иностранные писатели», «Достоевский и мировая литература», «О социалистическом реализме в зарубежных литературах», «О реализме и условности». Автор формулирует общую тему книги так: судьба реализма в зарубежных литературах нашего столетия. Эта тема в книге Т. Мотылевой поставлена очень широко и связана с общими идеологическими процессами, в частности с преодолением схематизма и догматизма в подходе к явлениям зарубежного искусства.

В предшествующий период у нас нередко принималось за аксиому, что в современной американской литературе есть только два писателя — Теодор Драйзер и Говард Фаст, в английской два писателя — Джеймс Олдридж (притом не со всеми его книгами) и Джек Линдсей, во французской тоже два писателя — Луи Арагон (без «Орельена», без большинства стихов) и Андре Стиль...

Писатели, которые не умещались в рамки привычных схем — Хемингуэй, Томас Манн, Ремарк, — подчас отбрасывались в болото декаданса. Те же, кто пришел в литературу в конце тридцатых, в сороковые, в пятидесятые годы — Грэм Грин, Альберто Моравиа, Генрих Бёлль, А. Миллер и многие другие, — просто как бы не существовали.

Теперь положение дел изменилось. Т. Мотылева приводит справедливые слова чешского критика Иржи Гаека: «Мы отрешились — надеюсь, окончательно — от неверного представления, будто в капиталистических странах вся литература (кроме писателей, политически созревших до идей коммунизма) автоматически и обязательно — загнивает... Мы учимся оценивать не социалистических западных писателей на основе единственно возможного критерия — отношения их художественного творчества к действительности».

В 1956—1961 годах советские критики и литературоведы, занимающиеся иностранной литературой, значительно расширили и

углубили представление о литературных процессах, помогая советским читателям разобраться в изданных впервые и переизданных книгах Синклера Льюиса и Хемингуэя, Брехта и Ремарка, Грина и Миллера, лучше понять жизнь и литературу, существующую за пределами нашей страны.

Книга Т. Мотылевой — своеобразное отражение этого сложного и нелегкого процесса.

Наиболее сильная сторона книги Т. Мотылевой, на мой взгляд, и связана с борьбой против всего, что мешало и еще мешает изучению иностранной литературы, в особенности же — с борьбой против вульгарной социологии, которая в свое время с полной очевидностью сказала, например, в учебнике Московского университета «Курс лекций по истории зарубежных литератур XX века» (изданного в 1956 году под редакцией Л. Андреева и Р. Самарина). Статья Т. Мотылевой «Так ли надо изучать зарубежную литературу?», углубленная и дополненная по сравнению с журнальным вариантом, представляется самой сильной главой книги; она важна и интересна не только критикой неверных концепций, но и стремлением самого автора уловить, передать своеобразие художников Запада, определить особый вклад каждого из них в мировое искусство.

Т. Мотылева убедительно доказывает, что в «Курсе лекций» живой процесс развития литературы укладывается в прокрустово ложе жестких и неверных схем и догм.

Авторам «Курса» при этом словно бы все настолько известно и понятно, что остается лишь удивляться: почему же их «подопечные» — Манн, Роллан, Франс, Лондон, Голсуорси и многие другие — не сумели «до конца понять» все то, что так ясно для любого простого смертного?

Критика вульгарной социологии важна еще и сегодня, хотя, конечно, многое уже переменялось. Важна не только потому, что подвергшийся справедливой критике (впрочем, отвергнутой авторами) «Курс лекций» до сих пор принят в качестве учебника в высших учебных заведениях, но также и потому, что и сейчас продолжают издаваться работы подобного рода.

Т. Мотылева справедливо говорит, что Л. Андреев в книге о современной французской литературе, изданной уже в 1959 году, прививает «странные нравственные представления» нашей молодежи, осуждая французских писателей за их внимание к вопросам морали. Особенно ясно это видно на примере Сент-Экзюпери. Его книги сурово осуждаются Л. Андреевым за «двусмысленность», «неопределенность» политической программы. О «Маленьком принце» автор не упоминает вовсе. А между тем трудно найти в современной зарубежной литературе произведения, которые в большей степени завоевали бы сердца наших читателей и воздействие которых было бы столь плодотворно для нравственного воспитания молодежи, как книги Сент-Экзюпери.

Естественно, что в книге, посвященной борьбе за реализм в современной литературе, публикуются большие работы о Достоевском и о Толстом (статья «Лев Толстой и современные иностранные писатели» как бы продолжает ранее изданную книгу Т. Мотылевой «О мировом значении Л. Н. Толстого»). Естественно потому, что творчество гигантов русского реализма продолжает и сегодня оплодотворять не только нашу отечественную, но и мировую литературу.

На большом новом материале Т. Мотылева показывает, как Толстой и Достоевский и сегодня помогают нашей борьбе за глубину, широту, диалектичность понимания реализма, борьбе против всех видов вульгаризации. Т. Мотылева приводит и многочисленные примеры фальсификации творчества великих русских писателей на Западе.

Очень плодотворным представляется мне стремление Т. Мотылевой говорить о больших, общих методологических проблемах современного литературоведения, в частности ее попытка выявить особенности реализма XX века.

Этот вопрос — один из самых сложных и насущно необходимых, — как и другие вопросы, поставленные в книге, вызывает желание спорить, соглашаться или возражать, а самое главное — думать, дальше думать над решениями, выдвигаемыми автором.

Спорить с Т. Мотылевой мне хочется больше всего тогда, когда она сама становится непоследовательной в борьбе за широкое понимание реализма, когда в ее

книге проявляются «родимые пятна» схематизма.

В хорошей статье «О некоторых вопросах реализма XX века» она все-таки изображает творческий процесс в виде двух стадий — сначала художник должен верно понять мир, затем отразить его в искусстве, сначала мысль, потом образ. Такая прямолинейность восприятия искусства проявляется и в некоторых других статьях книги.

Не свободна книга и от разного рода заклинаний, от которых нам всем вместе надо решительно отказываться. Стершиеся формулы, к которым мы сами привыкли и не чувствуем их пустоты, до сих пор мешают понять литературный процесс в его живой противоречивости. Особенно мешает это в анализе сложных явлений литературы. Когда Т. Мотылева упоминает о Кафке, везде звучит мысль о некой «злонамеренности» умершего в 1924 году писателя. Не могу согласиться с тем, будто Кафка любовался «мрачным подпольем изломанной, эгоцентрической души». Он мучительно страдал, был придавлен этим подпольем, не мог преодолеть ни страха, ни страдания, но вовсе он не «любовался».

Инерция старого мышления особенно отчетливо проявляется, на мой взгляд, в статье «О реализме и условности».

Сколько бы ни было в статье оговорок, все равно она воспринимается как частокोल семафоров, опасно напоминающих читателям и издателям, редакторам и режиссерам: «Осторожно, условность!»

Просто отрицать условность в искусстве, целиком зачислять ее по «ведомству декаданса» сегодня уже невозможно хотя бы потому, что в наших театрах ставятся «Иркутская история» Арбузова и «Четвертый» Симонова, пьесы Хикмета и Брехта, Когоута и Блажека.

Но сейчас уже недостаточно признания того, что условность существует, «допущена». Мало принять условность, надо еще понять, что условность в искусстве не «криминал» (в книге Т. Мотылевой есть и такое выражение), не «уступка». Давно пора перестать писать: «Хотя и условная, но...» А Т. Мотылева уже признает условность, но еще не считает ее равноправным элементом искусства, более того, тем элементом, без которого искусство вообще не существует.

Это вредит, между прочим, и провозглашаемому и доказываемому ею неоднократно

на протяжении книги принципу: видеть у каждого художника его особое своеобразие, ценить Мопассана за его специфический вклад в литературу, Роллана — за его вклад, то есть тому плодотворному, единственно плодотворному принципу, который так хорошо применяет критик в статьях «Так ли надо изучать зарубежную литературу?» и «О некоторых вопросах реализма XX века».

Совершенно справедливо «забирая» условность в общий арсенал реалистического искусства, критик в своих замечаниях о драме В. Незвала «Сегодня солнце еще заходит над Атлантидой» и о драматургии Брехта рассуждает об условности таким образом, что условность почти целиком совпадает с правдоподобностью.

Возражая в свое время Т. Мотылевой, И. Фрадкин писал: «Зачем же отлучать Брехта от Брехта и в стремлении сделать его для себя приемлемым превращать его в нечто, уже совершенно непохожее на него самого?» Думается, что он прав.

Кстати сказать, эта полемика И. Фрадкина с Т. Мотылевой об условности (в журнале «Вопросы литературы») — живая творческая полемика и по серьезности содержания и по тону своему — может служить примером тех настоящих творческих дискуссий, которые так жизненно необходимы нашей литературе и критике.

Важно отметить, что и полемика Т. Мотылевой с врагами нашей литературы и нашего строя, полемика подчас очень резкая, всегда основана на глубоко и серьезно, из первоисточников почерпнутом знании и предмета спора и взглядов оппонента.

В сборнике «Иностранная литература и современность» проявляются особенности Т. Мотылевой, завоевавшие ей признание и уважение многих читателей, — исключительная образованность, широкая начитанность в классической и в современной западной литературе, в русской и в советской. Эта та литературная работа, на которой лежит печать — добыто опытом, личным опытом исследователя, почерпнуто из множества прочитанных, продуманных книг. Т. Мотылева всегда ищет возможности отметить чье-то открытие, микрооткрытие, высказанное кем-то предположение. По приблизительным подсчетам в книге около восьмидесяти ссылок на работы советских критиков. Доброжелательное внимание, глубокое уважение к труду своих товарищей не только характеризует облик автора книги, но и составляет значительную часть профессионального умения.

Можно было бы еще умножать и частные согласия и частные разногласия с автором. Но следует подчеркнуть главное — книга Т. Мотылевой помогает нашей борьбе за реализм.

Р. ОРЛОВА.

★

ТОЧКА ОПОРЫ

Анн Зегерс. Транзит. Перевод с немецкого Л. Лунгиной. Гослитиздат. М. 1961. 278 стр.

Талантливая книга живет долго. Приходит новое поколение, для которого описанные автором события — уже только история, но и оно в этом произведении находит для себя нечто важное и поучительное. А иной раз с годами вдруг обнаруживаются в книге такие, как говорится, глубины, о которых те, кто знакомился с произведением по только что вышедшему номеру литературного журнала, и не подозревали. И читателя, если он не критик и не литературовед, интересует в книге главным образом то, что созвучно, «в рифму» сегодняшнему дню, а не обязательно то, что ценили когда-то в ней современники.

Все это так. Но чем талантливее книга, тем прочнее нити, связывающие ее с совре-

менностью, тем резче и неизгладимее кладут на нее отпечаток годы, в которые она создавалась, — с их тревогами и заботами, добром и злом, социальными и нравственными проблемами. Вот почему дата создания вещи — первый ключ к постижению ее пафоса и особенностей.

Недавно переведенный на русский язык роман Анны Зегерс «Транзит» вышел в свет в 1943 году. В содержательном предисловии к книге Л. Копелев приводит слова из письма Зегерс, вспоминающей о том, как создавался роман: «Эта книга возникла в Марселе, — в тех самых кафе, что в ней упоминаются, кажется, именно в те часы, когда мне приходилось слишком долго ожидать в приемных консульствах, потом на кораблях, на

островах, где нас интернировали, на Элис-Айленд в США,— а закончена была в Мехико...» Да, в тяжкое, мрачное время писался «Транзит» — книга, в которую Зегерс мужественно вынесшая все испытания и унижения эмиграции, вложила так много личного.

«Говорят, «Монреаль» затонул где-то между Дакаром и Мартиникой: наскочил на мину. Пароходство не дает никаких справок. А быть может, все это только слухи... Вам все это не интересно? Вы скучаете?.. Я тоже. Разрешите пригласить вас поужинать... Мне было бы очень стыдно только, если бы я заставил кого-нибудь скучать. И однако мне хочется рассказать все, как было, с самого начала». Так — разговором героя с неизвестным собеседником — начинается роман. Вскоре выяснится, что этот собеседник героя — читатель. Но так уже и будет вестись повествование, как рассказ случайному соседу, с которым чаще и охотнее всего делятся самым сокровенным — тем, что самому необходимо понять и осмыслить.

Герой «Транзита» — его настоящей фамилии мы так и не узнаем до конца книги, он достает себе документы на имя Зайдлера — рассказывает, как он прожил несколько месяцев в Марселе, наводненном эмигрантами и беженцами. Самая интересная жизнь вовсе не складывается только из значительных событий и поступков. В судьбе каждого человека тесно переплетаются общезначимое и частное, большое и малое. В первой главе романа размышления Зайдлера об эмигрантах, покинувших Европу в поисках земли обетованной («Если за океаном и в самом деле еще есть края, куда не ступала нога человека, где молодеешь душой и телом,— я почти готов сожалеть, что не отправился туда...»), о подлинных ценностях человеческого бытия («Вряд ли что-нибудь взволнует меня теперь, разве только подсчеты метража, сколько метров проволоки он вытянул за свою долгую жизнь, да круг света, падающий на стол, за которым дети делают уроки»); перемежаются с его впечатлениями от пищи («Удивительнейший пирог. Круглый; румяный, как сдобная булка. Думаешь, он сладкий, а откусишь — огонь»), от розе («Пьетея оно на редкость легко — не вино, а малиновый сок, недаром они одного цвета,— и сразу тебе море по колено»). Но в дальнейшем... Здесь бы, вероятно, следовало сказать, что в дальнейшем автор сосредоточивает внимание лишь на главном, всячески выделяя его. Но это не так. И в даль-

нейшем жизнь героя предстает перед читателем во всей сложности ее реального повседневного течения — здесь и случайные встречи, когда «влопыхах перекинешься несколькими словами, будто торпливо размениваешь потертые купюры»; и мгновенно промелькнувшие впечатления; «какой-то возглас, какая-то фраза, чье-нибудь лицо — словно ударит электрическим током». Но именно потому, что герой не «очищен» от всей этой житейской обыденности и даже суеты, мы поверили в него, и там, где его судьба открывает характер эпохи, мы вслед за ним как бы вошли и погрузились в те годы...

Сейчас даже трудно представить себе, что все это было на самом деле, что гитлеровские солдаты, самодовольно улыбаясь, фотографировались на фоне Акрополя и Эйфелевой башни, Кавказских гор и норвежских фиордов. Они чувствовали себя уже победителями, хозяевами Европы. «В немецких приказах,— пишет в «Транзите» Зегерс,— звучало что-то откровенно наглое, до цинизма ясное: мол, не вздумайте только роптать! Уж раз вашему жизненному укладу суждено погибнуть, раз вы не сумели его защитить, раз допустили, чтобы он был уничтожен, так подчиняйтесь без всяких утерток! Мы теперь будем командовать!» И многие — даже из тех, кто отчаянно ненавидел гитлеровцев,— думали: что поделаешь, их взяла,— если не навсегда, то во всяком случае надолго. Тогда казалось, что конца не будет чудовищной ночи, покрывшей Европу.

Все эти настроения были особенно сильны в немецкой эмиграции и, естественно, нашли отражение в книгах немецких писателей, созданных за пределами Германии. Писатели-антифашисты бились над решением одних и тех же жизненных проблем: отсюда сходство некоторых ситуаций в произведениях разных авторов, общие мотивы, близость ряда персонажей. Но, пожалуй, именно эти бросающиеся в глаза совпадения позволяют так осязаемо ощутить разницу, которая рождена и своеобразием дарований художников, конечно, и, в первую очередь, существенными отличиями их жизненных позиций.

Есть в романе Зегерс один персонаж, который, находясь все время, если воспользоваться терминологией кино, «за кадром» (он погибает до начала действия романа, и мы узнаем о нем из рассказов и воспоминаний других персонажей), вместе с тем чрезвы-

чайно важен для понимания пафоса произведения. Это писатель Франческо Вайдель. Если этот образ сравнить с образом публициста Пауля Крамера—одного из центральных героев романа Фейхтвангера «Братья Лаутензак», появившегося в том же, что и «Транзит», году,—то нельзя не заметить сходства этих характеров. И Крамер и Вайдель—фигуры трагические. Но не только потому, что Крамера замучили в гестапо—фюрер приказал на него «надеть намордник», а Вайдель, предательски брошенный на произвол судьбы в оккупированном немцами Париже людьми, которых считал друзьями, покончил с собой. Главное в другом. И Вайдель и Крамер потеряли веру в то, что оружие, которым они владеют— правда,—способно разить фашистов. Можно ли пьесой, прославляющей добро, победить зло, вооруженное танками? Могут ли правдивые стихи одолеть ложь, орудующую автоматом? И самое важное, есть ли на их родине люди, не закрывшие уши для истины, жаждущие услышать и найти ей должное применение? Нет, Крамер и Вайдель не капитулировали перед фашистами, не сдались им на милость. Просто им не хватило веры и сил, чтобы бороться дальше. Это бессилие, эта безысходная тоска—от одиночества.

Образы Вайделя и Крамера рождены горькими размышлениями писателей об ответственности деятелей немецкой культуры за то, что произошло в Германии после 1933 года,—за равнодушие и эгоизм миллионов обывателей, за массовое одичание и бесчеловечность, ставшую нормой поведения, за расстрелы заложников и смрадный дым печей в лагерях уничтожения, за то, что воздействие культуры оказалось столь поверхностным и нестойким. Это были мучительные размышления, это были больные для каждого честного художника вопросы, на которые не так просто было найти верные ответы. И вовсе не всем удавалось тогда отыскать такие ответы.

Когда Пауль Крамер приходит к выводу, что он оказался в тупике («Вот он написал хорошую статью, несколько тысяч людей прочтут ее, и несколько сот будут усмехаться и одобрительно кивать умными головами. А дальше что? Дальше ничего. Толку ни на грош»),—Фейхтвангер не торопится его опровергнуть, потому что в словах героя слышится и его собственная тоска. И здесь кончается сходство между

«Транзитом» и «Братьями Лаутензак». Кончается, потому что Зегерс, понимая трагедию Вайделя, от всего сердца сочувствуя ему, оправдывает его не может и не хочет.

К Зайдлеру попадает рукопись незаконченного романа Вайделя, попадает в минуту, когда герой, казалось бы, оцепенел от беспросветной тоски, стал равнодушен и к своей собственной судьбе, и ко всему на свете. Он начал читать рукопись Вайделя и оторваться уже не мог. «Этот язык не скрежетал и не шелкал, в нем не было тех звуков, что вырывались из глоток нацистов, когда они выкрикивали смертоносные приказы, подобострастно рапортовали начальству или хвастались своими гнусными подвигами. Речь Вайделя была тиха и серьезна». И слыша эту тихую и серьезную речь, которую, оказывается, не могут заглушить ни лязг танковых гусениц, ни вой бомб, ни вопли нацистских команд, герой «Транзита» словно заново обретает то ясное и четкое представление о мире, о том, что хорошо, а что дурно, которое было в детстве. Этот, казалось, взбесившийся, почти фантастический в своей неразумности мир—зловещая свастика, от которой он бежал из Германии и которая настигла его в Париже, смерть и кровь, равнодушные и страх—становится пусть страшной и жестокой, но все же реальностью. Зайдлер надеется, что книга Вайделя поможет ему найти утраченную точку опоры. Но... «Он бросил меня одного перед последним, недописанным листом. Меня вновь охватила безграничная тоска, смертельная скука. Почему он убил себя? Он не должен был оставлять меня одного. Он должен был дописать эту историю до конца, тогда я мог бы читать ее до рассвета. Он должен был написать еще тысячи других историй, которые уберегли бы меня от беды...»

Зегерс еще не раз на протяжении романа вернется к судьбе Вайделя—и для того, чтобы сказать, что книги его, написанные тогда, когда он чувствовал «острую необходимость вмешаться», «нечто настолько живое, что его боятся, что перед ним закрывают границы, что ему не разрешают въезд в страну»—значит, писатель владеет отнюдь не призрачным оружием; и для того, чтобы подтвердить свою мысль о позиции художника, о его долге, о его обязанностях перед своим народом. Но уже в одном из первых эпизодов «Транзита», посвященном судьбе Вайделя, возникает

главная тема романа, выходящая за пределы вопросов искусства, хотя и очень важных, но, конечно же, не всеобщих — тема преодоления одиночества, тема сопротивления и борьбы.

Тысячи людей, порвавших с привычным укладом жизни, растерявших родных и близких, без документов, без денег и даже без права на работу, искали какую-нибудь точку опоры, чтобы удержаться, чтобы их не смыло за борт жизни волной событий. «Люби своего ближнего», — предлагает Ремарк, даже назвав так свой первый роман об эмиграции, вышедший в свет за два года до «Транзита». Ремарку кажется, что для измученных, изверившихся, затравленных людей эта заповедь — единственная надежда на спасение. Будь верен друзьям и любимой, протяни руку хорошему человеку, попавшему в беду, держись на ногах чего бы это тебе ни стоило — так поступают самые лучшие из героев Ремарка, но, в сущности, даже они не борются против зла, а спасаются от невзгод.

Как будто бы одних и тех же людей изображают Зегерс и Ремарк. В большинстве своем это не сознательные противники гитлеровцев, не антифашисты, а жертвы нацистского режима, те, кто в третьем рейхе по разным причинам подвергался преследованиям. Но как по-разному изображают их Ремарк и Зегерс! У Ремарка одно чувство, одна нота — жалости, сострадания. Зегерс сочувствует далеко не всем. Некоторых она презирает, иные вызывают у нее гнев.

В отличие от Ремарка, отказывающегося что-то требовать от своих несчастных героев, Зегерс считает, что каждый должен бороться не за себя одного, а за всех, что одолеть фашизм можно только общими усилиями, преодолев растерянность и эгоизм равнодушия. Вот почему она не скрывает презрения к тем, кто, потеряв голову от любви и жалости к себе, от страха перед фашизмом, старается во что бы то ни стало спасти свою жизнь. Писательница ясно видит, что среди эмигрантов есть и такие, которые бы отличнейшим образом поладили с фашистами, не преследуй их. Всем этим людишкам, блестяще описанным Зегерс — Штроблю, Аксельроту и их компаниям, — ничего не стоит продать, предать, толкнуть падающего. Невзгоды и мытарства эмиграции, кровавая сумятица и несчастья эвакуации развязали им

руки, помогли сбросить обременявший их груз обязанностей даже по отношению к «ближним». Оказалось, что по-настоящему любить «ближних» невозможно, не любя «дальних», — к этому выводу подводит главного героя и читателей Зегерс.

Зайдлер не шадит себя и не старается выглядеть лучше, чем он есть на самом деле. Искренне и откровенно он рассказывает свою историю, и она поучительна, потому что это история того, как беженец становится борцом, как он преодолевает в себе отупение и отчаяние жертвы, как он находит смысл жизни, точку опоры, обретает «непреходящие вещи».

Ничего исключительного нет в этой истории. Молодой парень дал по морде штурмовику — вероятно, не потому, что понимал, какое будущее они готовят Германии, над такими вещами он даже не задумывался, просто не терпел этих наглых скотов. Затем концлагерь, из которого он бежал, и жалкая жизнь эмигранта во Франции, куда он добрался, переплыв Рейн. Но «та вспышка гнева у меня на родине, которая решила мою судьбу», признается герой, — тоже была преходящей. В дальнейшем я не оказался на высоте своего гнева, я бродил по свету и растерял свой гнев». А когда Францию захватили гитлеровцы, «жизнь превратилась в непрекращающееся бегство, все стало преходящим». Он дал этому потоку увлечь себя, оцепеневшего от бессельности, от бессмысленной суеты «транзитного» существования. Ни призрачная любовь к странной женщине Мари, ни еще более призрачная надежда, что, покинув Европу, которая во власти гитлеровских банд, за океаном он отыщет, наконец, во имя чего надо жить, — все это не могло вывести его из оцепенения, пока он не понял: надо «делить со своими друзьями и радость и горе, подвергаться с ними преследованиям и искать убежища. А как только патриоты организуют сопротивление, мы... возьмем в руки винтовки. И даже если они меня убьют, я думаю, им не удастся меня уничтожить... Когда истечешь кровью на земле, которая стала тебе родной, ты не можешь исчезнуть бесследно, ты даешь начало какой-то новой жизни, подобно тому как корни срубленного дерева дают новые побеги».

В том, что герой принял это решение, немалую роль сыграла встреча с одним человеком. Это был коммунист. Гейнц бежал из

немецкого концлагеря, чтобы сражаться в Испании, в интернациональной бригаде. Там он потерял ногу, а после этого ему пришлось познакомиться и с французскими концлагерьми. Изувеченный, больной — в чем только душа держится, — этот человек твердо знал, что нужно делать в жизни, за что бороться, — у него была точка опоры. Он воплощал в себе те качества сознательного борца, которых так не хватало Зайдлеру, «таким, как безусловная верность, казавшаяся мне в то время бессмысленной и скучной, или надежность, в которой я все равно сомневался, или неколебимая вера, ставшая для меня чем-то наивным и бесцельным».

Стараясь понять, «в чем заключалась сила этого человека», Зайдлер открывает, что «Гейнц в каждую минуту своей жизни, даже в самые мрачные ее минуты, был убежден, что он не один, что, где бы он ни был, рано или поздно он повстречает своих единомышленников». Это не совсем точно, потому что Гейнц не только отыскивал единомышленников, он и создавал их. Вот почему он помог Зайдлеру найти в себе «нечто такое, что, мне казалось, я уже давным-давно утерять». А это и были надежность, неколебимая вера, непримиримость ко злу и готовность к самоотверженной борьбе.

Образный строй «Транзита» сложен: в романе естественно сливаются два далеких, редко соприкасающихся стилистических потока. (Это создавало особые трудности при переводе, с которыми справилась Л. Лунгина.)

Один из них — своеобразная символика, знакомая русскому читателю по таким вещам Зегерс, как «Седьмой крест» и «Мертвые остаются молодыми». Своеобразная, потому что она не только не противостоит бытовому правдоподобию повествования, а опирается на него. Вполне достоверный и житейски мотивированный образ имеет и второе, уже символическое значение. Таков, например, образ «транзита», проходящий через всю книгу, — за ним стоят и

мытарства, унижения, страдания эмигрантов, для которых Марсель всего лишь пункт случайной пересадки в их далеком транзитном пути; за ним стоит и мысль о переходе героя в новое состояние — преследуемый и жертва становится борцом и воином, и этот «транзит» обязателен для настоящего человека.

Второй — лиризм, несколько необычный для Зегерс, во всяком случае не в одном из ее произведений не получивший столь широкого и свободного выхода. «Транзит» лиричен не только потому, что автор вложил в книгу так много личного, и не только потому, что повествование ведется от первого лица, но и потому, что сама манера рассказа, требующая от читателя, чтобы он все время был «настроен» на ту же эмоциональную «волну», что и герой, многое понимая с полуслова, улавливая в невольных паузах и недомолвках, — сама эта манера очень близка к лирической исповеди. Впрочем, в этом источник не только обаяния и поэтичности романа, но и одной его существенной слабости. Речь идет о том, что в истории любви героя к Мари кое-где недосказанность, «пунктирность» лирического повествования не таит действительно содержательного подтекста. Здесь манера автора кажется уже претенциозной, подтекст — мнимым, глубокомыслие — беспочвенным.

Как каждое талантливое произведение «Транзит» неотделим от того времени, когда он создавался, — этой мыслью начался разбор романа Зегерс. Но, как по-настоящему талантливая вещь — этой мыслью хочется кончить рецензию, — «Транзит» с годами не утратил живой силы. Он близок нам и позией человеческой солидарности, которую венчает в романе символический образ «длинной, многокилометровой цепи дружеских рук», и требованием, чтобы каждый отвечал за все, что делается в мире, и утверждением, что лишь «тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой».

Л. ЛАЗАРЕВ.

★

Политика и наука

ОДНА ИЗ НЕМНОГИХ

Д. П. Горин. *Колхоз и наука*. Редактор Н. И. Терещенко. Сельхозиздат. М. 1961. 136 стр.

Литературы, пропагандирующей достижения науки и передовой опыт в сельском хозяйстве, у нас издается немало. В прошлом году, например, таких изданий вышло в стране, по свидетельству Всесоюзной книжной палаты, 1755, и общий тираж их составил 7,9 миллиона экземпляров. Это в среднем по 160 экземпляров на каждый колхоз и совхоз. Как будто неплохо.

Но количество изданий — лишь одна сторона дела. Важно еще их качество. Важно, насколько они действительны, насколько отвечают известному и по сей день не утратившему своего значения требованию В. И. Ленина, «чтобы наша пропаганда, наши руководства, наши брошюры были восприняты народом на деле и чтобы результатом этого явилось улучшение народного хозяйства».

Сказать по этому поводу что бы то ни было определенное, точно измеряемое цифрами, разумеется, трудно. Несомненно, однако, что далеко не все издания, пропагандирующие достижения науки и передового опыта, способны выдержать проверку при помощи критерия, так сжато и ясно сформулированного Владимиром Ильичем. Во всяком случае далеко не о всяких работах подобного рода доводится читать или слышать, что они помогли колхозу либо совхозу внедрить то или иное достижение науки, тот или иной опыт и что хозяйство в результате получило такой-то выигрыш. К этим работам я безоговорочно причисляю книжку Д. П. Горина «Колхоз и наука».

Это не интригующий своей новизной трактат ученого, прокладывающего пути в неизвестное, и не захватывающий рассказ человека, мастерски владеющего пером, о выдающемся достижении науки или практики. Но это и не скроенное по обычному шаблону, не написанное суконным языком «произведение», которое читатель после первых же двух-трех страниц закрывает, чтобы к нему уже больше никогда не возвращаться. Книжка Горина — боевая, содержательная и поучительная. К сожалению, такие книги очень редко появляются у нас. А ведь

это и есть экономическая публицистика в лучшем понимании слова.

Кто же по роду занятий автор этой книжки? Экономист? Публицист? Ни тот и ни другой. Дмитрий Петрович Горин — председатель колхоза «Подгорное» Семилукского района Воронежской области, кандидат сельскохозяйственных наук.

Его книга родилась, если можно так выразиться, «в походе», на переднем крае сельскохозяйственного фронта, в горячем дыхании всенародной борьбы за подъем колхозов. Книжка написана не сторонним наблюдателем этой борьбы, а ее непосредственным и активным участником, одним из ее героев, написана с прямотой и страстью искателя, борца и потому не может не привлечь к себе самого пристального внимания.

Автор книжки окончил Московскую сельскохозяйственную академию имени К. А. Тимирязева и до войны заведовал Лискинским сортоиспытательным участком при колхозе «Свободный труд» Воронежской области. Там-то, задавшись целью превратить отстававший колхоз в образцовое хозяйство района и с успехом осуществив этот замысел, Горин нашел свое призвание: всецело посвятил себя благородной деятельности — распространению достижений науки и передового опыта. По его почину коллектив сортоучастка развернул было работу и за пределами колхоза «Свободный труд», однако внедрить его опыт в соседних хозяйствах помешала война.

Но Горин не оставил своих намерений. Демобилизовавшись из армии, он вернулся к прежнему делу, а в 1955 году по зову партии в числе «тридцати тысяч» сменил занятие научного работника на сложный и беспокойный труд председателя колхоза. Впрочем, сменил ли? «Свой переход в колхоз,— пишет он,— я никогда не рассматривал как геройский поступок, самоограничение. Для меня это был естественный шаг работника науки, ушедшего на производство, чтобы воплотить в жизнь то, что задумано в лаборатории, на опытной установке».

Справедливо сетуя на то, что между научно-исследовательскими учреждениями и

колхозно-совхозным производством существует своеобразная «пограничная зона», что в силу этого нередко важные достижения науки и передовиков сельского хозяйства остаются втуне или же долго не находят себе применения в колхозах и совхозах, автор резко ставит вопрос: как преодолеть эту «зону»? И он не только знакомит с проблемой — одной из важнейших в борьбе за дальнейший прогресс сельского хозяйства, — но и вплотную подводит к ее радикальному решению. Горину одинаково дороги интересы и одной и другой стороны, и, на мой взгляд, он рассуждает здраво, реалистично.

Излагая свою точку зрения на проблему в целом, Горин пишет: «Что же нужно практически сделать, чтобы... дать «зеленую улицу» науке в производство? Для этого следует использовать самое верное и действенное средство, на которое указывал еще Владимир Ильич Ленин, — материальную заинтересованность. Равнодушие к новым и эффективным методам появляется потому, что у людей нет материальных стимулов, нет личной заинтересованности».

Развивая и конкретизируя эту мысль, автор полагает, что следовало бы установить порядок, при котором в первый же год применения нового приема выдавалась премия тем, кто ввел этот прием на полях или животноводческих фермах. Нельзя не согласиться с высказанной им уверенностью, что в этом случае ни одно полезное нововведение не останется под спудом и все прогрессивное, что дают наука и практика, будет использовано в производстве.

От общих суждений автор переходит затем к частному, занимающему, впрочем, более девяти десятых всей книжки. Это пространный рассказ о больших и добрых переменах, происшедших за недолгое время в колхозе «Подгорное».

Нельзя сказать, чтобы Горину пришлось начинать с нуля. И до него в колхозе получали по пятидесяти—шестидесяти центнеров кукурузного зерна, по тридцати центнеров проса с гектара, а на каждые сто гектаров производили мяса тридцать восемь и молока двести центнеров. Тем примечательнее, что урожайность зерновых за последние несколько лет поднялась тут в полтора, а овощей даже в два с половиной раза, что производство продуктов почти утроилось,

а денежный доход на каждый затраченный человеко-день вырос более чем вчетверо, хотя себестоимость продукции и резко снизилась, в частности зерна и молока — в три с лишним раза. Решающую роль во всем этом сыграло усиление материальной заинтересованности колхозников в общественном хозяйстве — тот же фактор, который Горин считает залогом успеха в распространении достижений науки и передового опыта.

Книжка «Колхоз и наука» вышла в свет за несколько месяцев до мартовского Пленума ЦК КПСС, но как много в ней созвучного его духу, его решениям! Это относится не только к показу того, как много значит материальный стимул в борьбе за подъем колхозов, за быстрее создание изобилия продуктов питания. Книжка дает наглядное представление и о том, какие поистине неисчерпаемые резервы роста колхозного хозяйства таятся еще и в перестройке структуры посевных площадей, и в наиболее рациональном, интенсивном использовании земли, и в разумном, вдумчивом подходе к специализации, и в дальнейшем усилении механизации и химизации, и во многом другом. Колхоз «Подгорное» с успехом и уже не первый год вводит эти резервы в действие. Только с заменой чистых паров занятыми и многолетними трав — кукурузой и горохом колхоз почти утроил продуктивность своего кормового севооборота, а вместе с тем и производство продуктов животноводства. Таких успехов добился, как известно, не он один. И в том-то сила решений мартовского Пленума ЦК КПСС, что они продиктованы самой жизнью, подсказаны практикой и опытом десятков и сотен таких хозяйств, как «Подгорное», свято соблюдающих ленинский принцип материальной заинтересованности, по-хозяйски использующих землю, широко применяющих в производстве новое, прогрессивное и потому преуспевающих.

В отличие от некоторых изданий о передовом опыте книжка Горина дает читателю ясное представление и о том, каких успехов достиг колхоз «Подгорное», и — что всего важнее! — как он их достиг. Это делает ее особенно ценной для руководителей, специалистов и среднего состава многих не только отстающих хозяйств, а также для работников вновь созданных производственно-территориальных управлений. Опыт колхоза «Подгорное» лишний раз

подчеркивает, какими резервами роста располагают даже средние по успеваемости колхозы. Если здесь за пять лет смогли на сто гектаров увеличить производство мяса на восемьдесят два и молока на триста двадцать три центнера, а в среднем по всей Центрально-Черноземной зоне РСФСР оно повысилось соответственно лишь на шесть и семьдесят один центнер, то нетрудно уяснить себе, сколь велики эти резервы.

Интересны многие высказывания автора по поводу увеличения производства этих продуктов. Горин считает, например, неверной позицию тех хозяйств, которые делают ставку на возможно большее повышение молочной продуктивности коров и не заботятся об увеличении их поголовья. С цифрами в руках доказывает он, что выгоднее содержать больше коров с удоем в три тысячи килограммов, нежели от меньшего количества их получать по четыре тысячи килограммов молока. И рост поголовья коров на единицу земельной площади способствует, как правильно отмечает автор, не только расширению молочного хозяйства, но и огромному увеличению производства самого высококачественного и дешевого мяса — говядины, а также накоплению в хозяйстве

самого ценного вида удобрений — навоза.

Автор книжки «Колхоз и наука» отнюдь не замыкается в рамки одной этой темы. Человек с широким кругозором, он попутно затрагивает и немало других актуальных для сельского хозяйства вопросов, каждый из которых и сам по себе смог бы послужить поводом для большого и острого публицистического выступления в печати. Таковы, в частности, его претензии зоотехническим учебным заведениям, которые, по словам Горина, «готовят в первую очередь зоотехников как таковых, упуская из виду, что на практике им придется быть организаторами производства», его замечание о том, что пора кончать с кустарщиной в производстве оборудования для механизации трудоемких работ на фермах и т. д.

Хорошие книги, пропагандирующие достижения науки и передовой опыт в сельском хозяйстве, — пока еще очень редки. Книжка «Колхоз и наука» — один из таких, я сказал бы, подарков. И остается пожелать, чтобы Сельхозиздат и наши периферийные издательства выпускали таких книжек побольше.

Дм. РУДЬ.



МОСТ В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ

А. Б. Авакян, Е. Г. Ромашков. Проекты близкого и далекого будущего.
Редактор В. А. Мякушков. Географгиз. М. 1961. 112 стр.

Осуществлено уже немало крупных технических проектов, меняющих лицо нашей страны. Советский человек успешно овладевает энергией равнинных и горных рек, орошает пустыни, превращает болота в плодородные поля. На наших глазах 3700-километровая Волга преобразуется в цепочку искусственных морей-водохранилищ. Становятся явью такие сквозные водные рейсы, как Ленинград — Сочи или Белое море — Азов, рождается полноводная река в глубине Каракумов...

Все это только начало изменений, которые внесут советские люди в географическую среду. Человеку еще не подвластен круговорот воды в природе. Не покончено с засухами, свирепствуют гайфуны и циклоны. Но силы науки нарастают, и мы подходим вплотную к тому времени, когда

изменение облика обширных территорий станет задачей дня.

Вот об этом — об увлекательнейших инженерных проектах преобразования природы, дерзких, но отнюдь не фантастических — и рассказывают А. Авакян и Е. Ромашков. Проекты, с которыми знакомят нас авторы, созвучны грандиозным планам, намеченным Программой партии. Советскому человеку по душе и по плечу претворение в жизнь самых смелых научных мечтаний!

Обратимся, например, к проекту переброски части стока Оби и Енисея в пустыни Средней Азии и степи Казахстана. Живым, конкретным содержанием наполняют авторы древнюю формулу «вода+солнце=жизнь». Мы еще не в состоянии «транспортировать» на север, где много воды, солнечное тепло, но перебрасывать в знойные районы северную воду можем.

Переброска обской и енисейской воды на юг даст огромный народнохозяйственный эффект, она будет служить развитию не только энергетики и водного транспорта, но и сельского хозяйства. На пустынных пространствах Средней Азии и Казахстана будут введены в эксплуатацию гигантские оросительные системы. Обильная влага и солнце дадут возможность получать высокие урожаи таких культур, как хлопок, сахарная свекла, кенаф, арахис, акклиматизировать ценные тропические растения.

Речь идет о коренном преобразении тридцати пяти миллионов гектаров земли, то есть о включении в сельскохозяйственный оборот площади, превосходящей всю Италию. Обводнение пастбищ, закрепление песков откроет благоприятные возможности для развития животноводства. Подсчитано, что освоение этого огромного массива обеспечит питанием и одеждой около двухсот миллионов человек. Вот что даст разумное перераспределение водных богатств страны, вот что значит власть над природой!

Еще один важный плацдарм будущих работ — бассейн Лены, одной из крупнейших рек мира. Настанет время освоения и ее энергетической мощи. На нижнем участке реки, как это показывают первые исследования, можно построить грандиозную Нижне-Ленскую гидроэлектростанцию, способную вырабатывать больше электричества, чем вся современная Франция. Ленская плотина создаст искусственный водоем, почти равный Аральскому морю. Проект будущих работ в бассейне Лены предусматривает превращение этой реки в основную магистраль транссибирского водного пути, который соединит море Лаптевых и Охотское море. Дорога от Мурманска до Владивостока сократится почти на три тысячи километров.

Перед читателем проходят планы будущих инженерных работ на берегах и в русле Енисея, северных рек европейской части страны, дальневосточного богатьера Амура. Вполне возможно создание водной трассы от Москвы до... Гёкина!

В Программе партии говорится об освоении новых видов энергии. Одним из них является использование сил межпланетного притяжения. И хотя для непосвященного это звучит как чистая фантастика, на деле речь идет о проекте, уже принявшем четкие очертания. Как известно, под влиянием сил межпланетного притяжения океаны и моря

«дышат», то набегая на сушу, то отступая от нее. Вечная сила приливов и отливов вполне может быть обуздана, и в недалеком будущем.

В СССР намечается сооружение Кисло-губской приливной электростанции (ПЭС) в северной части Кольского полуострова, западнее Мурманска, где средняя высота прилива равна примерно двум с половиной метрам. На том же побережье возможно строительство еще более мощной Лумбовской приливной электростанции. Мечта? Да, и в то же время сама жизнь. В нашей стране нет пропасти между научной мечтой и возможностью ее воплощения. Кислогубская и Лумбовская электростанции, использующие «дыхание океана», включены в перспективный план энергетического строительства. Заметим, что запасы приливной энергии в нашей стране сосредоточены не только на побережьях Баренцева и Белого морей, но и на побережье Охотского моря, где высота приливов достигает тринадцати метров. Разработанные советским инженером Л. Б. Бернштейном схемы приливных электростанций предусматривают использование ряда бухт и заливов на европейском побережье Северного Ледовитого океана.

«Планетная хирургия» — очерк, посвященный интересной, но еще мало изученной идее изменения климата Арктики путем возведения почти стокилометровой плотины через Берингов пролив. Очерк наводит на мысль, что наука и техника делают реальным изменение географического облика целых стран и даже материков. Что же мешает претворению в жизнь многообещающих планов? На этот вопрос исчерпывающе ответил В. И. Ленин: «Куда ни кинь — на каждом шагу встречаешь задачи, которые человечество вполне в состоянии разрешить немедленно. Мешает капитализм».

Эти слова находят новое подтверждение в наши дни. Немецкий инженер Герман Зергель разработал, например, проект преобразования Центральной и Северной Африки, средиземноморских территорий Европы. Отсекая Средиземное море от Атлантики плотиной в Гибралтарском проливе, а затем перекрывая другой плотиной африканскую реку Конго, первую в мире по запасам гидроэнергии, Зергель мечтает прирезать Италии, Испании, Франции, Египту, Алжиру сотни тысяч квадратных километ-

ров «новорожденной» суши, увеличить раз в десять Сицилию, создать второй, искусственный Нил. Можно напомнить и другие интересные планы западных инженеров. Но реализации их мешает капитализм.

А у нас в начавшемся двадцатилетии будет осуществлено множество увлекательных проектов, которые внесут коренные перемены в географию обширных территорий. Как в наших условиях научная мечта переходит в явь проектных и строительных работ, можно проследить на примечательном примере, взятом из самой книги. В то время, когда авторы работали над ней, в числе других инженерных замыслов значилась переброска части стока Печоры и Вычегды через Каму и Волгу в Каспийское море. «Проекты близкого и далекого будущего пока еще не включены в планы ближайших лет»,— оговариваются авторы во вступительной главе, имея в виду и проект обуздания Печоры и Вычегды. Но теперь это уже не инженерная мечта, а реальный план, принятый к исполнению страной. Это проект, который будет осуществляться в шестидесятых годах. И если авторы свой очерк о пополнении водных ресурсов мелеющего моря назвали почти трагически — «Умирать ли старому Каспию?», то уже теперь ясен ответ: нет, не умирать, а возрождаться, начинать новую жизнь. Более сорока миллиардов кубометров северной воды (это почти сток Днепра!) двинется по Каме и Волге, чтобы усилить мощь гидроэлектростанций, созданных в руслах этих рек, улучшить условия судоходства на важнейших воднотранспортных трассах, оросить и обводнить земли засушливого Заволжья и поднять уровень усыхающего Каспийского моря.

Поистине в наших условиях разумная научная мечта — это первый шаг к проектированию. Ныне на берегах Печоры и Вычегды уже идут изыскания, в республику Коми и Пермскую область движутся вагоны с буровым оборудованием, тракторами, машинами, на трассу выходят геологические партии. И в отдел кадров «Гидропроекта» из различных районов страны идут письма: «Сообщите, когда можно поехать на строительство пути Печора — Каспий»

Книга А. Авакяна и Е. Ромашкова заслуживает и некоторых упреков. Авторы ничего не говорят о значении переброски вод Печоры и Вычегды для орошения Заволжья и расцвета сельского хозяйства в этой богатой солнцем, но маловодной зоне; они слишком категорично излагают вариант поворота течения сибирских рек, нуждающийся в значительных поправках. Есть в книге и стилистические огрехи.

Но не об этом хочется говорить. Значение этой небольшой книжки, на наш взгляд, заключается в том, что она как бы первая ласточка, призванная вызвать к жизни целую серию увлекательных, написанных со знанием дела, полных романтики книг, рассказывающих о планах преобразования природы. Какое благодатное поле деятельности для писателей, публицистов, людей науки! Такие книги призваны увлечь миллионы читателей, и в первую очередь молодых, пафосом покорения могучих сил природы, стремлением прокладывать новые тропы в науке.

Сколько заманчивых тем, связанных с преобразованием облика нашей земли, с утверждением власти человека над природой, содержится в докладах Н. С. Хрущева на XXII съезде КПСС и в Программе партии! Единая система водных дорог европейской части страны... Новая «страна хлопководства» в бассейне Сыр-Дарьи... Преображенные Крым, Южная Украина, Молдавия (в связи с проектами гидротехнических работ на Днепре, Буге, Днестре, Дунае)... Водная система Черное море — Балтика... Единая энергетическая система Советского Союза, объединяющая сотни электростанций, работающих на угле, падающей воде, торфе, сланцах, газе, энергии подземного тепла, морских приливов, расщепленного атома... Изменение климата, управление погодой...

Лучшим эпиграфом к такой серии книг были бы слова Н. С. Хрущева, прозвучавшие с трибуны XXII съезда партии: «Наша партия добьется того, чтобы избавить человека от влияния стихии, сделать его властелином природы».

Мих. ЦУНЦ.

КНИГА О СТАРШЕМ БРАТЕ ЛЕНИНА

В. Л. К а н и в е ц, Александр Ульянов. Редактор Т. Гладков. «Молодая гвардия». М. 1961. 280 стр.

В «Правительственном сообщении о Деле 1 марта 1887 года» говорилось, что Александр Ульянов принадлежал «к преступному сообществу, стремящемуся ниспровергнуть, путем насильственного переворота, существующий государственный и общественный строй...» и что он «принимал самое деятельное участие» в подготовке покушения на царя.

Суд состоялся в апреле того же года. Ульянов отказался от адвоката, чтобы в своей защитительной речи изложить идейные мотивы, которыми руководствовались революционеры. Его речь прозвучала как обвинительный приговор, вынесенный царизму передовой интеллигенцией восьмидесятих годов. Ульянов знал, на что шел. Он был одним из тех самоотверженных людей, которые, говоря его словами, «настолько преданы своим идеям и настолько горячо чувствуют несчастье своей родины, что для них не составляет жертвы умереть за свое дело».

Как формировались убеждения этого юноши? Какие причины побудили его столь решительно встать на путь революционной борьбы? Нам интересно узнать, каков он, этот замечательный человек с задатками талантливого ученого и с горячим сердцем борца за свободу и счастье народа.

В книге «Александр Ульянов» В. Канивец рассказывает о дружной семье Ульяновых, рисует обстановку, в которой воспитывался любознательный и трудолюбивый Саша. Мы видим его и в гимназии, и на летних каникулах в Кокушкино, и в своей домашней химической лаборатории; мы узнаем о первом впечатлении, которое произвел на юного Ульянова Петербург, в частности Петропавловская крепость, где он побывал на экскурсии вместе с сестрой.

Автор показывает Александра Ульянова на улицах города во время знаменитой добродушской демонстрации, когда он гневно протестует против насилия над студентами и призывает решительно идти вперед. Арест большой группы участников демонстрации возмутил студентов, университет забурлил. Ульянов пишет страстную прокламацию, в которой решительно заявляет: «Грубой силе, на которую опирается правительство, мы противопоставим тоже силу,

но силу организованную и объединенную сознанием своей духовной солидарности».

Когда во время беседы группы студентов заходит речь о том, на кого же можно надеяться в предстоящей борьбе, писатель приводит размышления Александра Ульянова: «На крестьянство? Но мы знаем, к чему привели даже крупные крестьянские движения прошлого века. Мы сами видели, чем кончилось хождение в народ. Класс пролетариев в нашей стране еще не вырос в могучую силу, способную нанести удар самодержавию. Остается одно: систематический террор...»

И вот террористическая группа приступила к действию. Саша уезжает на несколько дней в Парголово, чтобы там изготовить нитроглицерин, организует встречу металликов, приводит в боевую готовность гранаты... Никто не останется равнодушным, читая страницы, посвященные мужественному поведению Александра Ульянова на суде и в дни, предшествовавшие казни.

Книга содержит богатый материал. И все-таки мы не можем не высказать несколько критических замечаний о ее содержании.

Книги, издающиеся в серии «Жизнь замечательных людей», имеют свою особенность. Это документальные повествования о выдающихся деятелях на фоне той исторической обстановки, в которой они жили.

Хотелось бы прежде всего заметить, что обстановку эту В. Канивец показывает неполно. В распоряжении автора было достаточно материала, чтобы подробно рассказать о бедственном положении рабочих и крестьян, о революционном движении в восьмидесятих годах и о большом влиянии, которое оно оказало на Александра Ульянова и его товарищей. Разумеется, он об этом говорит, но сухо, бегло, схематично. В то же время он слишком щедро цитирует источники третьестепенные. Так, он приводит пространные, на целые страницы, выдержки из дневников шталмейстерши Араповой и сына царя — будущего императора Николая II. Неужели так важно знать нам, что первого марта наследник престола проснулся в семь часов утра и пил кофе? Или что в половине четвертого он пил чай и обедал? Или читать «высочайшее» свидетельство, что 9 марта 1887 года был понедель-

ник, что «весна настала, и прилетели жаворонки, и, действительно, день был теплый»?

Думается, что автор книги об исторической личности должен быть не просто биографом-писателем, но и в некотором роде исследователем. Читая воспоминания современников Александра Ульянова и книги, написанные о нем, можно встретить иногда не совсем одинаковое описание тех или иных событий, различные оценки их, как это, впрочем, часто бывает и во многих других случаях. Чтобы найти истину, нужно хорошо знать все факты и документы. Однако автор не только не утруждает себя поисками новых архивных документов, но не использует и некоторые известные материалы. Например, его внимания не привлекли письмо Александра Ульянова своей двоюродной сестре и особенно характеристика NN, как бы выражающие моральный кодекс самого Александра Ульянова, а также написанные рукой этого одаренного юноши протоколы заседаний научного отдела студенческого научно-технического общества. Да и к известным ему фактам автор порой относится небрежно. Например, на странице 12 он пишет, что Саша Ульянов родился 31 марта 1866 года, а на странице 18 замечает, что, когда осенью 1874 года мальчик пошел в подготовительный класс гимназии, ему было «неполных восемь лет». Мелкий факт? Мелкий, но непростительный для биографа.

А. М. Горький — инициатор издания серии «Жизнь замечательных людей» — пристально следил за качествомготавливаемых к печати книг, требовал, чтобы они были безупречными «как в смысле литературной, так и в смысле социальной грамотности». Он непримиримо относился к поверхностному изложению событий, советовал глубже вникать в историческую обстановку и в психологию героев. «...В биографиях следует давать как можно больше материала «бытового», историко-культурного и — по этой линии — не брезговать мелочами. они — характерны», — писал А. М. Горький А. Н. Тихонову 27 марта 1933 года.

Сколько интересных подробностей приводит в своих замечательных воспоминаниях (к величайшему сожалению, не переиздававшихся с 1931 года) Анна Ильинична Ульянова-Елизарова! Какой в них великолепный материал для художественного осмысления, для яркого, выразительного повествования! Немало подобных золотых россыпей содер-

жится и в воспоминаниях других современников Александра Ульянова, а также в книгах, написанных о нем в годы советской власти. Материала для писательской лаборатории тут немало. Следовало лишь глубоко осмыслить его, используя этот материал применительно к характеру книги. В. Каневец же подчас неразумчиво заимствует из различных источников готовые фразы, а то и абзацы. Вот один пример.

Анна Ильинична вспоминает беседу Ильи Николаевича Ульянова со своим знакомым по поводу желания Александра поступить на естественный факультет университета:

«— Приложения к жизни никакого нет; кем быть? Только учителем? — заявил собеседник отца.

— Можно профессором, — сказал отец просто и скромно, как всегда, но гордость сыном светилась в его глазах.

— Да, если так, конечно, — сбавив тон, с видимым уважением ответил тот».

В. Каневец переносит этот эпизод в свою книгу, поступая при этом грамматической правильностью переписываемых им фраз. Мы читаем у него:

«Один знакомый Ильи Николаевича, выражая удивление выбором Саши, заметил:

— Факультет интересный. Но приложения ведь в жизни никакого нет. Ну, закончит он его, а кем быть? Только учителем?

— Можно и профессором, — просто сказал Илья Николаевич, но гордость за сына светилась в его глазах.

— Да, конечно, — переменяв тон, продолжал знакомый с видимым уважением...»

Два-три слова добавлено, столько же убавлено, да вместо правильных сочетаний «приложения к жизни» и «гордость сыном» появились неправильные: «приложения... в жизни» и «гордость за сына».

Очевидно, писатель мог бы рассказать этот эпизод и более вольно, по-своему. Но если уж он решил воспроизвести его так, как написала Анна Ильинична, то почему бы не процитировать эти слова прилежнее и не сослаться на первоисточник?

Наиболее существенная ошибка В. Каневца, думается нам, состоит в том, что буквально с первых страниц книги он сразу фиксирует типические черты героя в их чуть ли не законченном виде. В уста ученика пятого класса гимназии Саши Ульянова он вкладывает, например, такую тираду: «Кто в тюрьмы сажает лучших людей? Кто

в Сибирь их гонит? Царь, вот кто! И не зря в него стреляют!»

Перед нами готовый борец против самодержавия. Автор сам лишает себя возможности показать становление личности, совершенствование ее. Поскольку главные черты Александра Ульянова намечены сразу же, то на протяжении дальнейшего повествования они остаются почти неизменными, как бы застывшими.

В этом случае, как и в ряде других, В. Канивец прибегает к домыслу, сочиняет монологи и диалоги, которых в действительности не было. Всегда ли эти домыслы основаны на бесспорных исторических фактах? Нет. Не мог, например, летом 1880 года Саша Ульянов произнести те слова, которые приписывает ему В. Канивец. Чтобы убедиться в этом, достаточно перечитать то место из воспоминаний Анны Ильиничны, где говорится о реакции Саши на весть об убийстве царя в марте 1881 года. Саша был уже на год старше, но и тогда, как замечает Анна Ильинична, «он молчал», ибо, пишет она, «определенных воззрений им не было еще выработано».

С особым интересом читается та (наиболее значительная) часть книги, где автор рассказывает о революционной деятельности Александра Ульянова. Перед писателем стояла довольно трудная задача — показать человека, который хотя и разделял взгляды народовольцев, но идейно находился на пути к марксизму; хотя и сомневался иногда в целесообразности террора, но пришел к ошибочному выводу о его необходимости и принял самое непосредственное участие в подготовке покушения на царя. Трудность эта усугублялась еще и тем, что тут автор не мог почерпнуть достаточных сведений из воспоминаний А. И. Ульяновой и других родственников Александра, ибо он не посвящал их в свою революционную деятельность. Тем настойчивее должны были быть поиски документов и свидетельств современников.

Может быть, тогда автору удалось бы ясней показать резкий переход Александра Ульянова от довольно замкнутой жизни в Петербурге (в первые два года после приезда туда) к активному участию в революционном движении. Возможно, он шире бы показал работу Александра Ульянова в студенческих организациях, яснее и полнее осветил бы само возникновение террористической группы в Петербурге и ее связи с провинцией.

В лице Александра Ульянова страна потеряла не только страстного революционера, но и, несомненно, многообещающего ученого. Его исключительные дарования отмечались выдающимися профессорами Петербургского университета. Научная работа студента третьего курса Александра Ульянова была удостоена золотой медали. И досадно, что страницы, посвященные научным занятиям Ульянова, оказались в книге несколько бледными. Мы не думаем, что автор должен был с обстоятельностью естествоиспытателя излагать суть опытов и наблюдений студента Ульянова. Несомненно, однако, что биограф мог бы (материал для этого есть) ярче показать Александра как пытливого и подающего надежды исследователя. Небезынтересно в связи с этим заметить, что, приехав в 1893 году в Петербург, Ленин с пристрастием расспрашивал сведущих людей о научных работах старшего брата.

При всех своих существенных недостатках, книга написана живо, и многие ее страницы читаются с интересом. Но автору следовало бы приложить гораздо больше усилий, чтобы создать действительно полную и по-настоящему художественную биографию такого замечательного человека, каким был старший брат В. И. Ленина.

Желанием видеть книгу лучшей и продиктованы наши критические замечания.

И. БРАЙНИН.



СВОБОДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ АМЕРИКИ

(Книги о Кубе)

В день нового, 1962 года кубинский народ отметил знаменательную дату в своей истории — третью годовщину победоносной революции. Для Кубы этот отрезок времени по своему историческому и политиче-

скому значению равен не одному десятилетию. Естественно, что в Советском Союзе, который был и остается верным другом кубинского народа, а также кое-где за рубежом вышли и продолжают выходить изда-

ния, посвященные героическому острову. О некоторых из этих книг, заслуживающих, как нам кажется, внимания широкого читателя, мы и хотим рассказать.

Жорж Сориа — популярный французский драматург и очеркист; Джозеф Норт — известный левый журналист США, а Марио Хиль — один из ведущих обозревателей прогрессивного информационного агентства Пренса Латина. Все они, каждый по-своему, определяют свои задачи, и поэтому книги их не повторяют одна другую. Так, объехавший почти весь земной шар Жорж Сориа обращает в своей книге больше всего внимания на жизнь народа, рассказывает о встречах с людьми новой Кубы, уделяет много места вождю революции Фиделю Кастро. Джозеф Норт с чисто журналистской оперативностью стремится познакомить своих читателей с новыми явлениями, которые принесла острову революция; он разоблачает ходячую легенду американской прессы об «экспортном» характере кубинской революции, показывая подлинно национальные корни всех мероприятий, проводимых правительством республики. Мексиканский литератор Марио Хиль в книге «Куба — да! Янки — нет!» с большим публицистическим темпераментом рассказывает о более чем полувековой истории американского господства на Кубе. Он с гневом говорит о беззакониях, которые творили на острове всяческие американские марионетки, начиная от «президентов» начала XX века до последнего, вышвырнутого с острова Батисты. Автор подчеркивает, что проблемы, которые встали перед кубинской революцией, ждут своего разрешения в большинстве стран Центральной и Южной Америки. Он убедительно показывает, что у всех этих государств один общий враг — империализм янки. Вот почему дело кубинского народа должно быть близким всему латиноамериканскому континенту.

В изданном «Молодой гвардией» сборнике «Куба — да!» выступают три известных советских журналиста: Г. Ошеверов, В. Поляковский и В. Чичков. Их очерки печатались в центральных газетах, а затем издавались отдельными брошюрами. Собранные вместе, они помогают читателям услышать биение пульса Кубы наших дней, понять те проблемы, которые волнуют ее народ. Г. Ошеверов посвящает свой очерк

вождю кубинской революции Фиделю Кастро.

Шесть месяцев провела в 1961 году дружная группа советских журналистов на Кубе. Очерки Д. Горюнова, Т. Гайдара, В. Степанова и А. Калинина, также печатавшиеся в центральной прессе, собраны издательством «Правда» в сборнике «Героический остров». Корреспонденции одного из авторов этого сборника — Тимура Гайдара — мы все с волнением читали на страницах «Правды» в апрельские дни прошлого года, когда кубинский народ победоносно отбил вторжение американских наемников на свою землю. В те дни сообщения собкора «Правды» волновали нас как непосредственный оперативный отклик очевидца на события большого значения.

Собранные вместе, дополняя друг друга, советские и зарубежные работы помогают читателю понять все своеобразие и историческую неизбежность кубинской революции, ощутить животворный оптимизм ее народа, поверить, что дело, за которое он борется, непобедимо.

У Кубы много насущных задач, и все они настоятельно требуют своего разрешения. 1960 год прошел под лозунгом аграрной реформы; прошлый, 1961 год проходил под знаком ликвидации неграмотности, повышения культурного уровня народных масс.

Чтобы представить себе всю грандиозность мероприятий, ежедневно проводимых в революционной Кубе, надо постоянно помнить: Куба во времена Батисты, при населении свыше шести миллионов человек, не имела никакой тяжелой промышленности. Она производила лишь сахар, который главным образом отправлялся в США. Диктуя свои цены на сахар, американцы в свою очередь монополично ввозили на остров все предметы потребления — от сапожных гвоздей до роскошных автомобилей. Такова извечная беда стран, чья экономика строится на монокультурном производстве.

Джозеф Норт, двукратно посетив свободный остров, писал в книге «Куба — надежда континента»: «Общезвестно, что целый миллион кубинских женщин и детей никогда не носили башмаков, что полмиллиона крестьян никогда не пробовали молока и мяса... Из 2,4 миллиона работоспособного населения около 700 тысяч ежегодно после окончания сельскохозяйственного сезона оставались без работы (сезон уборки сахарного тростника длится только три месяца),

а около 200 тысяч были безработными круглый год».

В этом статистическом примере выражена вся степень нищеты, какую испытывал кубинский народ, будучи полуколонией США. Эти слова полностью приложимы и к Гватемале, и к Колумбии, и к другим республикам Центральной Америки, правительства которых послушно голосовали в Пуэнта дель Эсте за резолюции, предложенные их вашингтонскими хозяевами.

Великие перемены на Кубе начались с земельной реформы. Вот почему все авторы, побывавшие на острове, неизменно обращают внимание на новую жизнь кубинской деревни.

Советский журналист В. Поляковский во время посещения Кубы имел преимущество перед большинством своих коллег, так как неплохо знал испанский язык и общался с населением непосредственно, без переводчика. В очерке «Куба, 1961-й» он рассказывает о положении в деревне. Посетив несколько кооперативов и встретившись со множеством бывших батраков, ставших полноправными хозяевами своей земли, он приводит слова одного крестьянина: «Революционное правительство дало нашему кооперативу тракторы, семена и двести коров; на средства государства нам построили дома. Для каждой семьи — отдельный домик с водопроводом, электричеством, газом. Но это еще не все: мы высадили, помимо тростника, фасоль, кукурузу, картофель, рис и теперь у нас работа круглый год».

Последнее замечание здесь особенно многозначительно, и нам бы хотелось остановить внимание читателей на этих словах. Помимо круглогодичной занятости крестьянства, что уже само по себе ликвидирует большой слой безработных в стране, подобная структура земледелия помогает освободить страну от импорта сельскохозяйственных продуктов. Куба же, подобно большинству латиноамериканских государств, долгие годы ввозила все пищевые продукты из США. Одного лишь риса она ежегодно импортировала, по данным статистики, на пятьдесят—шестьдесят миллионов долларов.

В своем очерке В. Поляковский рассказывает, как в одном народном имении он встретился с двенадцатилетним парнишкой — Рамоном Кесадо, который заменил отца на уборке урожая сахарного тростника. Отец в рядах народной милиции охра-

няет страну от угрозы вторжения интервентов.

«— Ты учишься? — спросил автор.

— Конечно, учусь. У нас в именин в этом году построили школу. Честно скажу, мне бы хотелось сейчас взяться за автомат. Но отец сказал: «Учись, сынок, это нужно для революции». Вот я и учусь.

— Когда?

— Поздно вечером, после работы.

— А тебе не трудно, Рамон?

— Трудно? Конечно, нелегко. Но ведь мы делаем революцию. Вы думаете, Фиделю легче?»

Так возникает перед нами вторая капитальная проблема кубинской революции — повышение культурного уровня страны и ликвидация неграмотности.

В канун нового, 1962 года министр просвещения республики доктор Армандо Харт объявил, что общенациональное наступление на наследие колониализма — неграмотность — победоносно завершилось. Более ста тысяч юношей и девушек, добровольно пойдя в деревню и в рабочие кварталы, за один год обучили грамоте свыше семисот тысяч человек. Благодаря этой победе Куба стала первой по грамотности среди государств Америки.

Строительство школ, целых школьных городков проводится в республике с подлинно государственным размахом. И, может быть, как символ воспринимается тот факт, что в здании знаменитых казарм Монкада, от героического штурма которых 26 июля 1953 года ведет свое летосчисление кубинское революционное движение, теперь размещен школьный городок. Такие же школьные городки находятя и в других военных казармах, которых при Батисте было в стране великое множество.

Советский журналист В. Степанов в очерке «Куба борется и строит» (сборник «Героический остров») пишет: «За два года на Кубе уже создано одиннадцать тысяч и будет открыто в этом году еще полторы тысячи классов начальной школы. Для этого надо строить новые школьные здания. Их уже построили или продолжают строить отряды повстанческой армии с помощью населения».

Знаменитый кубинский революционер-просветитель, или, как его любовно называет народ, «апостол», отдавший свою жизнь в конце XIX века за освобождение

острова от испанского владычества, Хосе Марти, мечтая о светлом будущем своей родины, как-то сказал: «Самым счастливым будет тот народ, который лучше всех обучит своих детей». Завет великого демократа воплощается в жизнь. 1961 год — год образования — проходил в стране под впечатляющим лозунгом: «Быть образованными — значит быть свободными».

Одна из главнейших очередных проблем, возникших перед молодой кубинской республикой, — индустриализация страны, создание национальной промышленности.

Жорж Сориа, побывавший на острове в дни празднования первой годовщины революции, с горечью отметил: «Много телевизоров, холодильников, автомобилей, электрических бритв, кока-кола и консервированных томатов, на которых вы найдете клеймо «Made in USA»; вы тщетно будете искать товара с надписью «Made in Cuba». При всей своей полемической заостренности, эти слова правильно отражали экономическую обстановку предреволюционной Кубы. Но уже в очерке В. Чичкова «Путь к свободе» (сборник «Куба — да!»): мы встретим весьма многозначительный эпизод. Автор рассказывает, как на улицах Гаваны были вывешены плакаты с призывом: «Покупай только кубинское!»

Заинтересовавшись этим лозунгом, советский журналист побывал в нескольких магазинах и записал: «Часто бывает так. На прилавке два товара — один американский, другой кубинский. Американский чуть дешевле. И рука тянется к нему. Теперь... гля-

дишь, покупают «кубинское». Платят они за этот товар немножко дороже, но знают, что их копейка поможет сократить безработицу на Кубе. Ведь каждый купленный товар, сделанный на Кубе, дает работу кубинцам». Национализированная промышленность Кубы составляет в настоящее время девять десятых всего производства в стране.

Если мы не упомянем о кубинских встречах, об изображении облика гражданина новой Кубы, наш обзор останется неполным. Для ощущения всей неповторимости атмосферы кубинской революции, для того, чтобы буквально воочию увидеть образ народа героического острова, весьма полезно будет обратиться к двум работам, которые выделяются из произведений своего жанра. Речь пойдет об альбоме рисунков «Куба» (художники В. Иванов и П. Оссовский) и книге фоторепортажа «Куба. 1961», выпущенной молодым московским фотожурналистом В. Володкиным в издательстве «Молодая гвардия». Оба эти произведения снабжены текстом: вместе с художниками выступает журналист В. Кузьмищев, а фоторепортаж отлично дополняет эмоциональный рассказ писателя С. С. Смирнова.

Сейчас Куба живет новыми делами, решает новые проблемы. Но и то, чем кубинцы жили в прошлом, 1961 году, все, что героически создано ими, уже стало памятником славных деяний народа революционной страны, которая по праву называется Свободной территорией Америки.

Николай ГАБИНСКИЙ.

★

БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ — БОЛЬШОЙ ТРУД

И. Ганзелка, М. Зикмунд. Меж двух океанов. Перевод с чешского С. Бабина и Р. Назарова. Редактор Г. Малинина. «Молодая гвардия». М. 1961. 392 стр.

Чехословацкие путешественники И. Ганзелка и М. Зикмунд столь популярны в нашей стране, что не нуждаются в особом представлении. С тех пор, как на экранах юявился их первый документальный фильм об Африке, а затем на прилавках книжных магазинов трехтомник «Африка грез и действительности», круг читателей и читателей Ганзелки и Зикмунда непрерывно расширялся.

И вот перед нами их последняя работа — «Меж двух океанов», отчет о завершающей части путешествия по странам Латин-

ской Америки. В него входят главы, посвященные Панаме, Коста-Рике, Никарагуа, Гондурасу, Сальвадору, Гватемале и Мексике.

Книга заканчивается интереснейшим приложением. Оно называется «Факты, цифры, итоги». По нему можно проследить хронологию беспримерного путешествия Ганзелки и Зикмунда от апрельского утра 1947 года, когда они взяли старт у дверей пражского автоклуба, до 1 ноября 1950 года, когда они завершили первый круг своего путешествия, оставив позади сорок четыре евро-

пейские, африканские и латиноамериканские страны. Первый круг — потому что в 1959 году неутомимые путешественники отправились снова в дорогу по странам Европы, Азии и Океании. Сейчас, когда сотни тысяч читателей, раскрывая тома их путевых очерков, мысленно повторяют проделанный ими путь, «Татры» Зикмунда и Ганзелки по-прежнему в дороге.

Из приложения можно узнать, что первый круг путешествия длился без малого тысячу триста дней, что его длина составила сто одиннадцать тысяч километров, что путешественники поднимались на шесть тысяч метров над уровнем моря и спускались на восемьсот метров ниже его уровня, что они сделали десять тысяч фотоснимков, отсняли одиннадцать километров пленки, израсходовали десять тысяч литров бензина, опубликовали тысячу с лишним репортажей, а вернувшись, написали пять больших книг и выпустили на экраны тринадцать фильмов. В таблицах много интересных цифр, поражающих воображение своей неожиданностью и грандиозностью. Но в них не сказано самого главного...

Ганзелка и Зикмунд задумали путешествие как мечтатели, они готовились к нему как техники, они совершили его как коммерческие деятели, проверявшие «Татру» и прославлявшие чехословацкую автомобильную промышленность, но в ходе его они родились как писатели.

Интересно, что между африканской частью путешествия и его литературным отражением прошло значительно меньше времени, чем между совершением латиноамериканской части путешествия и выходом книги, посвященных ей.

«Африка грез и действительности» была интересна прежде всего заключенным в этом трехтомнике огромным фактическим материалом. Проблемы литературной формы занимали начинающих авторов мало. Но чем больше видели Зикмунд и Ганзелка, чем больше они размышляли об увиденном, тем упорнее они работали над словом. Книга «Меж двух океанов» не просто путевой отчет о странах Центральной Америки. Это самостоятельное литературное произведение. Его авторы владеют пером не хуже, чем управляют машиной.

Каждый, кому случалось принимать участие в поездках даже не столь длительных и многосложных, как описанные в этой книге, знает, как в дороге наслаиваются

впечатления, как перекрываются путевые картины, как краски сегодняшнего дня заставляют померкнуть в памяти то, что было увидено вчера. Нужна большая и постоянно тренируемая наблюдательность, чтобы, повидав десяток чужих городов кряду, написать запоминающийся портрет каждого из них в отдельности.

Зикмунд и Ганзелка овладели этим искусством. Стремясь передать читателю, например, то ощущение, которое вызвали у путешественников улицы Панама, авторы книги не просто называют ее мозаикой, собранной из осколков всевозможных городов, но разворачивают целую панораму сравнений, показывая, чем Панама напоминает французскую Ниццу, североафриканский Триполи, портовые кварталы Марселя и Касабланки, авеню Буэнос-Айреса, переулки Среднего Востока. Но они не просто перечисляют десятки виденных ими городов в разных концах планеты. Они для каждого умеют найти характерный эпитет, запоминающуюся деталь пейзажа, и когда после этого цель как будто бы достигнута и Панама предстала перед читателями причудливым соединением множества городов мира, они начинают новую главу, где ставят перед собой еще более трудную задачу — доискаться до того, что составляет своеобразие Панама после вычета всех примет сходства с иными городами.

Почему так увлекательны эти страницы? Потому что мы не только едем и идем вместе с написавшими их людьми по улицам неведомого города, мы следуем за ними и по напряженному маршруту их мысли, которая не довольствуется первыми пришедшими на ум сравнениями, которая пылливо добирается до самой сути и которая опирается на обширные познания, почерпнутые не из вторых рук, а из собственных наблюдений.

Таких портретов в книге много. Их характернейшая черта состоит в том, что приметы внешнего облика существуют в них не отдельно от социальной характеристики города, а каждая характерная деталь служит лишь мазком в общей картине, где всегда присутствует определяющая всю ее суть социальная светотень. Именно таков портрет Панама с ее резкой социальной зональностью.

Ганзелка и Зикмунд не претендуют на чисто беллетристический пейзаж. В их опи-

саниях природы всегда слиты два начала — изобразительное и познавательное. Но разве это не обязательное свойство научно-популярной прозы, к которой принадлежит и рецензируемая книга?

В начале своего путешествия по Мексике наши авторы повстречали знаменитую «Arbol de Tule» — одно из самых больших и самых старых деревьев на свете. Путешественники знают о нем немало, и то, что они знают, казалось бы, само по себе очень интересно. Возраст дерева — две тысячи лет, высота — сорок метров, объем древесины — семьсот пять кубических метров, окружность ствола — тридцать шесть метров, тень от дерева покрывает площадь в восемьсот квадратных метров. Двадцать девять человек должны взяться за руки, чтобы охватить его ствол руками.

Ей-ей, многие сочинители путевых очерков удовлетворились бы перечислением этих экзотических цифр, представив воображению читателя сделать все остальное. Но сколько бы цифр ни нагромождать, из них не возникнет картины, поразившей воображение Ганзелки и Зикмунда, когда они вошли в тенистую сень этого дерева. Вот она: «На обширной площади к небу бьет гейзер зелени. Огромная сила выталкивает его из земли, поднимает все выше и выше над увенчанным крестом куполом храма Девы Марии в стиле барокко. После того как эта сила заставит тебя задраить голову так, что едва не теряешь равновесия, она позволяет зелени мощными бирюзовыми каскадами падать к земле, опуская покрытые нежным духом ветви вдоль членистого массивного ствола, напоминающего ребристую колонну готического кафедрального собора. Стайка ребятишек, гоняющая под сенью дерева мяч, похожа на кучку сказочных лилипутов, в страну которых вступил Гулливер».

И вот уже читатель знает не только все, что стоит знать об этой ботанической достопримечательности, но видит ее так, словно бы сам побывал в ее тени.

Особую прелесть описаниям придает их мягкая лиричность. Мы почти всюду слышим голос, видим улыбку, ощущаем настроение авторов. Казалось бы, что может быть эпичнее, чем отчет о путешествии, но как лиричен этот отчет! Подробный рассказ о «перуанском» бальзаме заканчивается так: «Сальвадорский бальзам подобен благородному человеку. Он не выносит обмана, помогает людям в чем только может и не

поддается пересадке. Он обошел весь мир, всюду ему рады, но дома он себя чувствует только в своем родном уголке — в Сонсонате».

В какую бы далекую даль ни заносил путешественников их головоломный маршрут, они всюду старались принести пользу простым людям, с которыми их сводила судьба, и всюду и всегда помнили о своей далекой и родной Чехословакии. Их книга от начала и до конца проникнута неразрывно сплетенными чувствами бесконечной любви к своей родине и огромного уважения ко всем народам Земли.

...В прошлом году мне довелось побывать в Мексике. Десятки раз вспоминал я там прочитанную перед путешествием книгу Ганзелки и Зикмунда, десятки раз убеждался в зоркости их зрения и меткости их слога. Как верно пишут они, например, о поразительном зрении грубом контрасте, возникающем оттого, что на стенах мексиканских городов соседствуют пламенные в своем гневе и неповторимые в своем своеобразии фрески «трех великих», как там называют, художников — Ороско, Сикейроса и Риверы, с разлитым морем пошлейшей американизированной рекламы! Как точны описания Пасэо де ла Реформа и собора на главной площади Мехико, и поездки к пирамидам, и ночных концертов бродячих певцов!

...Огромный багаж предшествующих впечатлений помогает авторам совершенно по-особенному увидеть и оценить каждое последующее. Не могу удержаться, чтобы не процитировать удивительный в этом смысле отрывок.

«Обращали ли вы когда-нибудь внимание на то, как люди сидят? Как сидят целые народы? Нет, не те народы, что обзавелись скамьями, стульями, креслами, тронами или хотя бы высокими табуретами в барах, а как это делают народы, привыкшие сидеть, так сказать, естественно, на земле. Люди на такие пустяки, казалось бы, почти не обращают внимания. У тебя болят ноги? Ладно, садись! При виде новой манеры сидеть в голове вдруг мелькает мысль: в других местах сидят не так!

Ну, ладно. Арабская Африка и значительная часть Америки сидят, скрестив ноги, спина прямая, колени на земле, бедра как-то совершенно развернуты. В Центральной Африке женщины вытягивают ноги перед собой вправо. Мужчины подтягивают колени к подбородку, но им даже и в голову

не приходится обхватывать их руками, чтобы ноги не скользнули. Пигмеи в Конго целиком складываются: они садятся на корточки, колени под мышками, ступни полностью на земле. Едва вы попытаетесь так сесть, как непременно свалитесь на землю. Судан, особенно Судан ремесленников, любит сидеть, подтянув одно колено к подбородку, а второе положив на землю.

Что же касается гватемальских торговцев, то мы долгое время подозревали их в том, что они занимаются классическим балетом. Подъем и голень у них составляют одну прямую, ноги сложены под собой, сидят они прямо, как изваяния, и только из-под задних округлостей торчат пальцы босых ступней».

Для того, чтобы написать такую страницу, нужно было проехать полсвета. Но это еще не все. Нужно было каждый день совершенствовать зоркость своего зрения и точность своего пера.

Книга Ганзелки и Зикмунда — книга любви и гнева. Любви к простым людям всего мира. Гнева, направленного на тех, кто подавляет простых людей, кто уродует и губит их жизнь.

Сквозь все путешествие по странам Центральной Америки проходят раздумья о зловещей роли Соединенных Штатов в судьбе этих государств. Путешественники рассказывают о том, что они знают из книг, напоминая историю насильственного отторжения Соединенными Штатами части колумбийской территории и превращения ее в якобы независимую республику Панаму. Они рассказывают о том, что они видели сами. В десятках остро очерченных сцен возникают картины беспардонного и неприкрытого хозяйничанья янки в «банановых республиках» Латинской Америки.

Ганзелка и Зикмунд пишут об этом не как сторонние наблюдатели; они сами — двое граждан социалистической Чехословакии — не раз чувствовали на себе грубое вмешательство всемогущих в Центральной Америке североамериканских властей. Таможенные придирки, обыски, провокация, кража документов, уговоры принять гражданство США и отречься от своей родины — к каким

уловкам ни прибегали официальные и полуофициальные представители США, чтобы сорвать путешествие! Что побуждало их к этому? Боязнь конкуренции со стороны молодой чехословацкой автомобильной промышленности? Отчасти и это. Но прежде всего — боязнь той правды, которую, как они знали, обязательно расскажут миру неутомимые Ганзелка и Зикмунд.

Одна из наиболее драматических глав книги рассказывает об аресте и издевательствах, которым по приказу из США были подвергнуты путешественники в Коста-Рике.

Освободившись из застенка, они не могут его забыть. «Либерийская тюрьма, — пишут они, — это не только этап пути... Это жизненный опыт, и его уже не искоренить из сознания». Почему они делают этот вывод? Потому что, освободившись, они не могут вычеркнуть из памяти тех людей, которых встретили в тюрьме, простых костариканцев, брошенных за решетку полицейским произволом.

Десять с лишним лет прошло с тех пор, как было завершено путешествие Ганзелки и Зикмунда. Но книга их не устарела, потому что им удалось запечатлеть не только географический, но и социальный ландшафт тех земель, по которым они проехали, подметить процессы, которые продолжают и развиваются на описанном ими маршруте в наши дни.

Когда я читал и перечитывал «Меж двух океанов», мне вспоминались замечательные слова, сказанные автором «Фрегата «Паллада» о том, что без приготовления, да еще без воображения, без наблюдательности, без идеи путешествие, конечно, только забава.

У авторов книги «Меж двух океанов» было все, что почитал Гончаров необходимым для превращения путешествия из забавы в такой урок, какого ни в книгах, ни в каких школах не отыщешь. Их книга — свидетельство тщательных приготовлений и глубоких знаний, помноженных на воображение, свидетельство высокой наблюдательности, благородной идеи и огромного труда.

Сергей ЛЬВОВ.

★

МОЛЧАЛИВЫЙ ПРОФЕССОР ФЛЕМИНГ

Андрэ Моруа. Жизнь Александра Флеминга. Перевод с французского И. Эрбург.
Послесловие И. Кассирского. Издательство иностранной литературы. М. 1961. 306 стр.

Имя французского писателя — академика Андрэ Моруа, автора многочисленных романов, посвященных жизни писателей, поэтов, политических деятелей, широко известно. Перу Моруа принадлежат художественные биографии Шелли, Байрона, Виктора Гюго, Жорж Санд, Тургенева.

В обращении к читателям автор книги «Жизнь Александра Флеминга» пишет: «Возможно, многих удивит, что я выбрал такую тему. До сих пор я писал о поэтах, писателях, политических деятелях, но никогда еще не писал о людях науки, об ученых-исследователях. Пожалуй, уже одной этой причины было достаточно, чтобы я наконец обратился к этой теме. В наш век, когда наука столь глубоко изменяет человеческое существование — как в лучшую, так и в худшую сторону, — вполне естествен тот интерес, который возбуждает жизнь ученого, ход его мысли, сущность его исследований».

Герой новой книги Андрэ Моруа стоит в ряду великих охотников за микробами. Пастер, Кох, Мечников... Их самоотверженным трудом создавалась микробиология. Это они помогли уничтожить в странах Европы и Америки эпидемии таких грозных болезней, как чума, оспа, холера. Это они нанесли тяжелые удары по туберкулезу, венерическим заболеваниям.

От поколения к поколению передавалась эстафета науки. Илья Ильич Мечников, наш замечательный соотечественник, работал в Пастеровском институте в Париже, англичанин Алмрот Райт был другом и учеником Мечникова. Александр Флеминг учился бактериологии у Райта.

Что в мире микроорганизмов происходят ожесточенные сражения между различными видами мельчайших живых существ, что среди микробов есть и враги и друзья человека — все это хорошо было известно еще Илье Ильичу Мечникову. Ему принадлежит открытие антагонизма среди мельчайших живых существ — явления, которое теперь в науке называют антибиозом. Уходя из жизни, Мечников оставил завещание своим ученикам — направить все их усилия на изучение антагонизма среди микроорганизмов. Одним из наиболее верных заветов старого учителя, его последователем, оказался Алек-

сандр Флеминг. Идя по дороге, указанной Мечниковым, он пришел к открытию пенициллина.

Писатель неторопливо рисует психологический портрет своего героя:

«У него была потребность вносить в серьезные вопросы немного легкомыслия и фантазии. Этому человеку чужда была какая бы то ни было напыщенность, интересы его отличались бесконечным разнообразием».

Выдающийся игрок в ватерполо, прекрасный снайпер, Александр Флеминг как бы случайно, по чисто спортивным соображениям, становится студентом-медиком. По таким же случайным обстоятельствам Флеминг после завершения образования попадает на службу в бактериологическое отделение, которым заведует Алмрот Райт. «Случайным» оказывается не только выбор жизненного пути, но и научное открытие, которое прославило имя Александра Флеминга.

Где-то под одной из лестниц лондонской больницы Сент-Мэри разместилась маленькая лаборатория Флеминга. Его высмеивали и поругивали за беспорядок в лаборатории, совершенно недопустимый там, где имеют дело с опасными микробами. Невозмутимый шотландец отвечал, что в его убогом помещении невозможно навести порядок: в нем тесно, сыро и темно. В таких условиях проходили годы напряженного труда.

Однажды утром Флеминг, приступая к работе, машинально снимал крышечки с чашек, в которых находились старые, уже забытые культуры бактерий.

«Многие из них оказались испорчены плесенью. Вполне обычное явление. «Как только вы открываете чашку с культурой, вас ждут неприятности, — говорил Флеминг. — Обязательно что-нибудь попадет из воздуха». Вдруг он замолк и, рассматривая что-то, сказал безразличным тоном: «...Это очень странно». На этом агаре, как и на многих других, выросла плесень, но здесь колонии стафилококков вокруг плесени растворились и вместо желтой мутной массы виднелись капли, напоминавшие росу».

С этого момента и началось тщательное изучение Флемингом плесени. Он исследовал ее способность останавливать рост не-

которых микробов — возбудителей тяжелых болезней.

Известно, что русские ученые А. Г. Полотебнов, В. А. Манассеин более чем за полвека до Флеминга наблюдали аналогичные явления: подавление плесенью роста и размножения микробов. Они были не менее талантливыми и трудолюбивыми исследователями, чем герой книги Андрэ Моруа. Но при тогдашнем уровне развития науки и техники их открытие не могло найти широкого практического применения.

Здесь уместно отметить присущую не только Моруа, но и многим другим писателям и ученым на Западе досадную неосведомленность об истории научного прогресса в России. Эта неосведомленность привела автора книги «Жизнь Александра Флеминга» к одностороннему освещению вопроса об открытии пенициллина.

Выяснив свойство плесени задерживать рост бактерий, а затем выделив действенное начало плесени (пока еще неочищенный пенициллин), доказав безвредность пенициллина, Флеминг сумел направить силы ученых многих специальностей на продолжение начатых им работ.

Для того чтобы выделить из плесени чистый пенициллин, организовать его промышленное производство, требовались усилия сотен и сотен ученых, инженеров и рабочих. Требовался тот уровень развития науки и техники, каким он стал к сороковым годам нашего века. Да, поистине счастье Флеминга было в том, что его открытие было сделано вовремя.

История о том, как английские и американские ученые и техники, подхватив открытие Флеминга, организовали промышленное производство пенициллина, увлекательна и драматична не менее, чем история раскрытия тайны атомного ядра.

Первое свое сообщение об удивительных свойствах пенициллина Флеминг опубликовал в июне 1929 года. Попытки выделить чистый и устойчивый, не меняющий своих свойств пенициллин производились настойчиво и упорно в течение ряда лет, но успеха не имели.

Говард Флори — профессор патологии в Оксфорде и биохимик доктор Чэйн, вынужденный эмигрировать в Англию из нацистской Германии в 1933 году, включились в работу по получению стойкого и очищенного пенициллина. Эти работы продолжались до 1940 года.

Уже полыхала вторая мировая война, и работы ученых приобретали особо важное значение. Получение даже миллиграммов чистого препарата было по-прежнему сопряжено с величайшими трудностями. В Англии не было надежд довести дело с пенициллином до масштабов промышленного производства. «Оставалось одно: обратиться к Америке», — пишет об этих трудных временах Моруа.

В Соединенных Штатах в 1941 году был сделан еще один шаг по пути разрешения проблемы пенициллина. В качестве прекрасной питательной среды для культуры плесневого грибка был предложен кукурузный экстракт. Продукт, имевшийся в любых количествах и дешевый. Производство пенициллина сразу же возросло в двадцать раз. Но все еще было далеко не достаточно.

Лишь в 1943 году заводы в Англии и Америке наладили производство пенициллина. И «внезапно Слава, эта богиня, чьи порывы никогда нельзя предвидеть, обрушилась на молчаливого шотландца... На Флеминга дождем посыпались почести...»

В конце 1945 года Флеминг, Флори и Чэйн за открытие и производство пенициллина были удостоены Нобелевской премии. В истории медицины началась новая эра — эра антибиотической терапии. Осуществилась давняя идея Ильи Ильича Мечникова — антагонизм в мире микробов стал на службу здоровью людей.

Об этом научном подвиге Флеминга и всех, кто работал вместе с ним и далеко от него, с большим мастерством написал Андрэ Моруа. Не специалист в области бактериологии, Моруа оказался на высоте своей трудной задачи. Александр Флеминг, каким его изобразил писатель и каким он в действительности был в жизни, читателю запомнится надолго.

Андрэ Моруа показал почерк ученого, неповторимый характер работы исследователя. Это большое искусство — изобразить науку в ее движении, представить ее не складом готовых открытий, а в процессе преодоления всяческих препятствий, в борьбе, полной внутреннего напряжения и драматизма.

Можно с открытой душой присоединиться к словам научного редактора русского издания книги Андрэ Моруа — профессора И. А. Кассирского, который пишет в своем послесловии: «Флеминг, величайший врач-

гуманист, отныне дорог не только народу Англии, его имя почитается всеми простыми людьми мира».

В век величайших научных свершений мастера литературы все чаще обращаются в поисках героев своих произведений к людям

науки. Научно-художественное произведение Андре Моруа написано горячо и талантливо. Его книга будет с благодарностью встречена советским читателем.

Б. МОГИЛЕВСКИЙ.

★

ШАХМАТНАЯ ПОЭЗИЯ

А. С. Гурвич. Этюды. Редактор И. З. Романов. «Физкультура и спорт». М. 1961. 190 стр.

И в Советском Союзе, где древняя шахматная игра переживает вторую молодость, и в ряде зарубежных стран собрание этюдов А. С. Гурвича встретило живой отклик. Шахматисты высоко оценивают яркую фантазию и виртуозное мастерство автора.

Этюд относится к особому виду шахматного творчества, называемого композицией. Автор этюда придумывает позицию (то есть определяет местоположение фигур обеих сторон — белых и черных), где белые выполняют задание (выигрыш или ничья) единственно возможным и притом оригинальным, неожиданным путем. Одна из особенностей современного этюда — это то, что он представляет собой своего рода диспут, в котором обе стороны должны обнаружить силу и красоту мысли, находчивость, изобретательность. Благодаря этому этюд становится художественно содержательным, подчас мудрым спором, а не мнимой полемикой, где один из спорящих облегчает победу другого тем, что он заведомо глуп, и «реплики» его представляют собой лишь удобные «подставки» для остроумных ответов.

Почти все этюды А. С. Гурвича отвечают высоким требованиям художественности. Они оригинальны, и большей частью заложенная в них идея представляет собой открытие автора. Значительная их роль в общем развитии современного шахматного этюда давно признана.

Известный французский проблемист В. Гальберштадт пишет в парижском шахматном журнале «Themes 64»: «Только что появился сборник этюдов А. С. Гурвича. Это событие, потому что автор — один из наиболее тонких композиторов нашего времени. Не так легко сделать выбор лучших этюдов среди семидесяти, составляющих книгу, потому что все они являются лучшими».

Без чисто шахматных иллюстраций невозможно познакомить читателя с этюдами А. С. Гурвича, дать представление о содержательной, изобилующей тончайшими красивыми маневрами, подчас поистине драматической борьбе фигур, завершающейся неожиданной и эффектной комбинацией. Труд читателя, который обратится к книге А. С. Гурвича, несомненно, будет вознагражден удовольствием, которое она ему доставит.

Но не только чисто шахматный материал находим мы в сборнике. В обстоятельной статье автор разрабатывает некоторые эстетические вопросы.

Эта часть книги носит название «Шахматная поэзия» (так часто называют творчество проблемистов), и начинается она с выяснения принципиально важного для данной работы вопроса: можно ли говорить о шахматной композиции как об искусстве? И хотя чувственная, пластическая природа художественного образа, на первый взгляд, не может иметь никакого отношения к шахматной абстракции, не следует забывать, что и в шахматах, в очень своеобразной, конечно, форме, действуют многие законы, с которыми неизбежно встречается человек в различных областях своей практической деятельности.

Не случайно основоположник современного шахматного этюда А. А. Троицкий был удостоен звания заслуженного деятеля искусств. Взгляд на шахматы как на искусство отстаивал А. А. Алехин, отстаивает этот взгляд и М. М. Ботвинник.

А. С. Гурвич не склонен ставить искусство шахматной композиции в один ряд с другими видами изящных искусств, однако общепринятое в отношении к этюдам понятие «красоты» позволяет применить к ним художественные критерии. Вспомним оценку, которую дал В. И. Ленин (в письме к

брату Д. И. Ульянову) восхитившему его этюду В. и М. Платовых: «Красивая штука!» Эти слова, пишет автор, говорят об эстетическом наслаждении, которое способна принести красивая шахматная комбинация самому серьезному и глубокому уму, отвергавшему всякую беспредметную абстракцию.

Наиболее впечатляющей в работе А. С. Гурвича является его полемика с композиторами, подчас отрицающими эстетическую основу этюда и прибегающими к вычурным, искусственным (с точки зрения практической партии, из которой этюд и вырос) построениям. Poleмика эта ведется с привлечением целого арсенала средств, которыми умело владеет Гурвич-литературовед, подкрепляющий взгляды Гурвича — шахматного композитора.

Говоря об оригинальничаньи некоторых нынешних составителей этюдов, автор приводит замечательные слова Белинского, применимые и к шахматной поэзии, то есть к этюдному творчеству: «...Простота есть необходимое условие художественного произведения, по своей сущности отрицающее всякое внешнее украшение, всякую изысканность. Простота есть красота истины — и художественные произведения сильны ею, тогда как мнимохудожественные часто гибнут от нее, и потому по необходимости прибегают к изысканности, запутанности и необыкновенности».

Правда, современный этюд обычно приводит к исключительному, парадоксальному финалу, и этот финал тем более будет нас поражать, чем неожиданнее он возник. Именно поэтому особенно важны естественная исходная позиция этюда, не предвещающая никаких исключительных событий, а также изобретательная обоюдоострая игра. Простота, «натуральность» начальной позиции и замаскированная в ней автором интересная борьба, которую должен найти решатель, являются условиями, значительно повышающими художественную силу воздействия «драмы» или «комедии», разыгрываемой на шахматной доске. Они придают идее этюда, как бы она ни была своеобраз-

разна, поучительность и повышают его значение в развитии общешахматной культуры.

В этом отношении «диалог» в шахматном этюде, несмотря на специфику своего языка, подчинен законам драматургии. Идеи и пафос полемической части статьи А. С. Гурвича целиком отвечают требованиям одного из великих драматургов, утверждавшего, что дело поэта не в том, чтобы выдумывать небывалую интригу, а в том, чтобы происшествие, даже невероятное, объяснить законами жизни. Для шахматных же поэтов «жизнью» является практическая шахматная партия.

Конечно, как и во всяком искусстве, нелегко соединить невероятность и естественность, неожиданность и закономерность, но на трудном пути находятся истинные ценности.

Здесь не место разбирать чисто шахматные тонкости и останавливать внимание читателя на тех моментах книги А. С. Гурвича, которые, возможно, будут оспаривать композиторы, стоящие на иных, чем автор, творческих позициях. Разнообразие взглядов на природу этюдного творчества и неодинаковость эстетических оценок характерны для любой отрасли искусства.

Заключая свою увлекательную и своеобразную книгу, А. С. Гурвич пишет: «Споря горячо и страстно, но не утрачивая принципиальной взыскательности, будем доискиваться тайны того, что является единственно ценным в нашем искусстве, а именно красоты истины». Статья «Шахматная поэзия» после первых теоретических положений А. А. Тронцкого и Л. И. Куббеля двинула вперед разработку эстетических вопросов шахматного этюда.

Мы уже упоминали о том, что этюд вырос из шахматной партии. Поэтому эстетика этюдного творчества не может не иметь отношения к борьбе за шахматную доску. Не сомневаемся, что книга А. С. Гурвича заинтересует не только любителей шахматной композиции, но и квалифицированных шахматистов-разрядников. А число их в нашей стране достигает внушительной цифры — два с половиной миллиона.

А. ИГЛИЦКИЙ.



МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ПИСЬМО ПЯТИДЕСЯТИ И С. ЕСЕНИН

Предлагаемые вниманию читателей некоторые новые документы, недавно обнаруженные мною в материалах Центрального государственного исторического архива в Москве (ЦГИАМ), рассказывают о том, как русские рабочие, отстаивая единство в рядах большевистской партии, боролись с раскольнической политикой ликвидаторов — представителей крайне правого оппортунистического течения в РСДРП, требующих ликвидировать революционную нелегальную партию пролетариата и подчинить рабочее движение интересам буржуазии.

В марте 1913 года рабочие-москвичи направили члену Государственной думы Р. В. Малиновскому письмо — протест против подрывных действий меньшевиков. Суть дела такова.

Как известно, в IV Государственной думе большевики и меньшевики создали единую социал-демократическую фракцию. Шесть депутатов-большевиков были избраны от промышленных губерний, насчитывающих более миллиона рабочих, а семь депутатов-меньшевиков — от непромышленных губерний, в которых было лишь сто тридцать шесть тысяч рабочих.

Прикрываясь лицемерными фразами о единстве, «семерка» использовала свое большинство в один голос в попытках всячески сковать деятельность большевистских депутатов. Меньшевики выставляли в Думе своих ораторов, вытесняли депутатов-большевиков из думских комиссий и так далее.

В начале 1913 года борьба внутри фракции разгорелась с новой силой в связи с отказом рабочих депутатов от сотрудничества в меньшевистской газете «Луч». Первого февраля члены Государственной думы большевики А. Бадаев, Г. Петровский, Ф. Самойлов и Н. Шагов опубликовали в «Правде» следующее заявление:

«18 декабря 1912 года мы, в согласии с пожеланием с[оциал]-д[емократической] фракции от 15 декабря, приняли предложение газеты «Луч» о зачислении нас в состав ее сотрудников.

С тех пор прошло больше месяца. За все это время «Луч» не переставал выступать ярким противником антиликвидаторства. Его проповедь «открытой» рабочей партии, его нападки на подполье мы считаем при настоящих условиях русской жизни недопустимыми и вредными. Не считая возможным покрывать своими именами проповедуемые «Лучом» ликвидаторские взгляды, просим редакцию исключить нас из состава сотрудников».

Раскольнические действия ликвидаторов вызвали многочисленные отклики у рабочих. Одним из откликов на эти события и явилось впервые публикуемое письмо, адресованное Малиновскому.

В письме говорилось: «Мы, нижеподписавшиеся, пять групп сознательных рабочих Замоскворецкого района гор. Москвы, прочитав в газетах «Правда» и «Луч» о тех разногласиях, какие существуют среди депутатов с.-д. фракции и рабочей прессой, приветствуем отказ шести депутатов от сотрудничества в газ. «Луч», но не можем простить той ошибки, которую сделали четыре депутата, не заручившиеся согласием с мест, а изъявили дать свои подписи в газете «Луч»... Мы возмущаемся тем насилем, производимым семью против шести, [которые] лишают последних [возможности] проводить взгляды посланных их [в Думу] — требовать осуществления тех начертанных старых лозунгов, за которые боролись и пали жертвой наши товарищи в 1905 году. Семерка при голосовании, имея перевес одним голосом, всякий раз проваливая предложения шести, проводит в жизнь ликвидаторскую платформу... Ликвидаторы, приспособляясь к национальным чувствам народности, идя им навстречу для того, чтобы привлечь их в свой лагерь, выставляют требование «культурно-национальной автономии». Вместо отчуждения земель помещичьих, монастырских, удельных и т. д., ликвидаторы выставляют требование пересмотра аграрного закона III Думы и т. п. Мы глубоко возмущаемся узурпаторством семерки против

шести. Если они будут уклоняться и дальше от старoproграммных требований и будут проводить ликвидаторскую тактику... прикрываясь единством, а в принципе делая раскол, то мы их более не можем признать, как принадлежащих к с.-д. партии...»¹

(ЦГИАМ, ф. МОО, 1911, д. 132, лл. 213, 214).

Под письмом — пятьдесят подписей.

Известно, что Малиновский был провокатором. Он передал это письмо департаменту полиции, а тот дал указание начальнику Московского охранного отделения выяснить личности подписавшихся.

Как видно из архивных документов, значительная часть авторов письма — рабочие Даниловской прядильной фабрики в Замошворечье.

Любопытно, что свою подпись поставил под этим письмом Сергей Есенин. О поэте Московское охранное отделение сообщало: «Есенин Сергей Александрович, кр. Рязанской губ. и уезда, Кузьминской вол., села Константинова, 19 лет, корректор в типографии Сытина, по Пятницкой ул., проживает в доме № 24 кв. 11, по Строгановскому пер.».

(ЦГИАМ, ф. ДП. 00, 1913, д. 5, ч. 46, лит. Б, пр. 1, л. 190).

Подпись Есенина не случайна. Имеется ряд сведений, указывающих на то, что в

¹ Кроме письма пятидесяти, мной обнаружены в ЦГИАМе и другие материалы аналогичного характера: письмо рабочих Московского металлического завода (ф. ДП, 00, 1913, ед. хр. 5, ч. 46, лит. В., л. 74); письмо группы костромских рабочих (ф. ДП, 00, 1913, д. № 307, лл. 292—293) и другие. Материалы эти, осуждающие раскольническую деятельность ликвидаторов, служат еще одним доказательством поддержки большевиков рабочим классом России.

1912—1913 годах он был тесно связан с революционными рабочими. В ЦГИАМе я нашла целое дело, которое завело Московское охранное отделение на С. А. Есенина. Сюда вошли регистрационная карточка с полными сведениями о Есенине и донесения сыщиков о нем. Поэту была дана кличка «Набор».

За поведением Есенина велось весьма тщательное наблюдение. Об этом можно судить хотя бы по такому донесению сыщиков, датированному 3 ноября 1913 года:

«От 9 часов утра до 2 часов дня выходил несколько раз из дома в колоннальную и мясную лавку Крылова, в упомянутом доме, где занимается его отец; в 2 часа 25 минут дня вышел вместе с отцом из лавки, пошли домой на квартиру.

В 3 часа 20 мин. дня вышел из дому «Набор», имея при себе сверток вершков 7 длины квадр. 4 вер., по-видимому, посылка, завернутый в холстину и перевязанный бичевкой. На Серпуховской улице сел в трамвай, на Серпуховской площади пересел, доехав до Красносельской ул., слез, пошел в дом № 13 по Краснопрудному переулку во двор во вторые ворота от фонаря домового № 13, где пробыл 1 час 30 мин., вышел без упомянутого свертка, на Красносельской улице сел в трамвай, на Серпуховской площади слез и вернулся домой. Более выхода до 10 часов вечера замечено не было».

(ЦГИАМ. ф. МОО, 1913. д. 4983).

Приведенные здесь письма проливают, таким образом, свет на один из интересных эпизодов революционной борьбы рабочего класса. Вместе с тем они прибавляют новые сведения к биографии замечательного русского поэта.

Л. ШАЛАГИНОВА.



КОРОТКО О КНИГАХ

★

В. ПЛАТКОВСКИЙ. Политическая организация общества при переходе к коммунизму. Госполитиздат. М. 1962. 144 стр. Цена 16 к.

Наше движение к коммунизму происходит во всех сферах общественной жизни — экономической, идеологической, политической. В книге В. Платковского рассказывается о путях перерастания социалистической государственности в коммунистическое общественное самоуправление.

Автор не обходит острых вопросов, которые часто возникают в связи с рассматриваемой темой и которые, к сожалению, не всегда находят должное освещение в литературе. Интересны его суждения о сроках и темпах отмирания государства, о «переходных ступенях» постепенного отмирания государства, о том, что означает укрепление социалистического государства, как понимать само отмирание государства, как будет происходить развитие органов государственной власти и органов управления, какова роль общественных организаций в переходный к коммунизму период, а также о том, как будет организовано общественное самоуправление и управление народным хозяйством при коммунизме.

Книга В. Платковского проникнута духом непримиримой воинственности, направленной против ревизионизма и догматизма. Автор не только излагает материал с марксистских позиций, но в острой полемике разоблачает несостоятельность попыток извратить понимание тех явлений, которые свойственны политической организации общества при переходе к коммунизму.

В. Кравченко.

★

В КРАЮ ПРОСТОРОВ И ПОДВИГОВ. Молодежь на целине. Сборник документов. «Молодая гвардия». М. 1962. 280 стр. Цена 60 к.

В речи на XIV съезде комсомола Н. С. Хрущев сказал: «Великий подвиг комсомола, молодежи по освоению целинных и залежных земель, по освоению природных богатств Сибири навсегда войдет в историю нашего народа, будет служить вдохновляющим примером для воспитания новых поколений». Всем своим содержанием книга «В краю просторов и подвигов» подтверждает эту высокую оценку самоотверженного труда комсомольцев.

Книга необычна и по содержанию и по форме. В ней помещены обращения и письма молодых строителей коммунизма, опубликованные главным образом в местной печати, а также впервые публикуемые чрезвычайно интересные и разнообразные по содержанию документы из архива ЦК ВЛКСМ. В этих документах нашли отражение энергия, напористость и самоотверженность нашей замечательной молодежи.

Нельзя без волнения читать очерк «Юрий Волков — Маресьев целины». Юноша, потерявший ногу, поехал из Ленинграда в далекий край и овладел искусством водителя самоходного комбайна. А разве можно оставаться спокойным, читая предсмертные письма В. Я. Рагузова жене и детям? Своим сыновьям он писал: «Я поехал на целину, чтобы наш народ жил богаче и краше. Я хотел бы, чтобы вы продолжили мое дело. Самое главное — нужно быть в жизни человеком».

В книге немало страниц, рассказывающих и о быте покорителей целины: заметка «Первая свадьба», четырехстрочная справка «Распространители книги»... Много в сборнике удачных фотографий.

Расположенные по тематически-хронологическим разделам, материалы этой книги представляют в целом правдивую летопись покорения целины, летопись славных дел комсомола.

А. Орлов.

★

С. А. НЕУСТРОЕВ. Путь к рейхстагу. Воениздат. М. 1961. 96 стр. Цена 30 к.

Эта небольшая книга написана Героем Советского Союза подполковником С. А. Неустроевым, батальон которого поднял над рейхстагом Знамя Победы. Автор знакомит нас со своими боевыми друзьями. Мы видим их — тех, кто сейчас живет и работает в разных концах страны, и тех, кому суждено было пасть у порога победы. Вместе с ними мы проходим километр за километром по немецкой земле, от озера Мантель к Одеру и дальше — на Берлин. И вот путь батальона капитана Неустроева отсчитывается уже не городами и селами, а улицами, домами: Моабитская тюрьма (где прошли последние дни Тельмана, Фучика, Джалиля), Шпрее с гранитными берегами, министерство внутренних дел — «Дом Гимmlера» и наконец рейхстаг.

Батальон капитана Неустроева, который вместе с другими принимал участие в штурме Берлина, первым пробрался к рейхстагу, и ему было поручено водрузить Знамя Победы. Его бойцы расчищали дорогу разведчикам Егорову и Кантария, которые несли знамя. И вот оно уже реет над поверженным Берлином.

«Читатель, если вы москвич или приедете в Москву по делам, обязательно зайдите в Центральный музей Советской Армии...», — советует С. А. Неустроев. Вспоминая свое первое посещение музея в мае 1958 года, он пишет: «С благоговением подошел я к Знамени Победы и долго стоял перед ним, вспоминая горящий рейхстаг, где задохнулись мы в дыму, колонны пленных фашистов, понуро выходящих из подземелья...»

Эти строки написаны шестнадцать лет спустя. Молодое поколение, которое не знает, что такое война, найдет в книге Неустроева не только интересный фактический материал, но и неумирающую правду о том, как мы победили.

Т. Галактионова.

★

П. ШАПОШНИЧЕНКО. Политика Бонна — угроза безопасности в Европе. Соц-экзиз. М. 1962. 132 стр. Цена 20 к.

«Фриденштёрер» — возмутителями спокойствия называют сами западные немцы боннское правительство. В самом деле, есть ли сейчас более яростные противники разрядки международной напряженности, чем Аденауэр и его единомышленники? Они делают все, чтобы помешать ликвидации остатков второй мировой войны, всячески препятствуют заключению мирного договора, демагогически связывают вопрос о германском единстве с вопросом о разоружении, решения которого ждет все человечество.

Автор этой книги, рассчитанной на широкий круг читателей, ставит своей целью не столько детально осветить все аспекты внешней политики боннского правительства, сколько выяснить ее основные направления. Он сосредоточивает внимание на тех приемах и методах, с помощью которых западногерманский империализм при попустительстве и прямой поддержке США, Англии и Франции развернул после второй мировой войны борьбу за восстановление своих прежних мировых позиций, надеется вновь насильственно перекроить карту Европы.

Три главы книги под заголовками «Под флагом «объединенной Европы», «Политика атомного вооружения» и «Программа реванша» составляют основное содержание книги. Автор дает также немало интересных материалов, свидетельствующих о том, как силы мира борются против сил милитаризма и реакции. Эти силы действуют не только вне Западной Германии, но и внутри ее. Живет и борется КПГ. Живет и борется рабочий класс и прогрессивная интеллигенция

Западной Германии. Их главная задача — обуздать западногерманских милитаристов. В своей борьбе эти силы опираются на сочувствие и помощь стран социалистического лагеря и всех людей доброй воли.

Л. Лерер.

★

А. Н. ГЛИНКИН. Новейшая история Бразилии (1939—1959 гг.). Издательство ИМО М. 1961. 404 стр. Цена 1 р. 40 к.

Бразилию называют «страной великих возможностей» и «страной великой нищеты». И то и другое справедливо. «Новейшая история Бразилии», написанная советским исследователем, дает исчерпывающий материал для понимания этого.

Бразилия — сравнительно молодое государство. Четыре с половиной столетия назад на территории нынешней Бразилии жили разрозненные индейские племена. В XVI веке эту часть Южной Америки захватили португальские конкистадоры. Они создали здесь самую большую колонию, которая по территории в 93 раза превышала площадь Португалии. Почти три века длилось их господство. Это была, по выражению бразильского историка Ж. Салгадо Фрейре, «долгая, страшная ночь средневековья».

В начале XIX века освободительное движение лишило колонизаторов их власти, и Бразилия стала независимым государством. Провозглашение Бразилии в 1889 году республикой не сопровождалось какими-либо серьезными социально-экономическими реформами. На смену португальским рабовладельцам в страну устремились новые колонизаторы из Европы и Америки.

Подобно большинству других латиноамериканских государств, Бразилия и ныне скована тяжелыми цепями экономической и политической иностранной зависимости. Народ Бразилии ведет длительную и тяжелую борьбу против темных сил внутренней реакции и власти чужеземного капитала. Недаром общественность Бразилии решительно выступает в защиту прав кубинского народа на самоопределение, против агрессивных планов США, стремящихся задушить первый маяк свободы на американском континенте — революционную Кубу.

Книга А. Глинкина поможет советскому читателю глубже понять исторические процессы, происходящие сегодня не только в Бразилии, но и в других странах латиноамериканского континента.

С. Воробьев.

★

РУДОЛЬФ ИТС. Цветок лотоса. Рассказы этнографа. Географиз. М. 1962. 120 стр. Цена 18 к.

Немало уникальных экспонатов хранится в Кунсткамере, как называют порой Музей антропологии и этнографии Академии наук СССР. Эти диковинные вещи — немые свидетели культуры народов всех континентов. Немые ли? На эти экспонаты взглянул Рудольф Итс — ученый-этнограф и подлинный художник. И вещи заговорили, ожили, осре-

ли свою неповторимую судьбу. Так возникли увлекательные рассказы, включенные в сборник «Цветок лотоса».

Изогнутая в лук ветвь, связанная тетивой из тюленьих сухожилий, послужила основой рассказа о трагедии коренного населения Огненной Земли. Кусочек дерева, заостренный и обожженный с одного конца — амулет посла африканского племени к русскому путешественнику, — дал повод для рассказа о злодеяниях колонизаторов в Африке.

...Ложка из бивня сибирского мамонта; буддийская книга — восемь тоненьких пластинок зеленого нефрита; плащ из птичьих перьев — результат труда нескольких поколений жителей одного из племен Гавайских островов — основа сюжетов других рассказов. Автор вводит читателя в жизнь и быт далекого прошлого. И тем не менее книга современна — она учит уважать человеческий труд, знакомит с жизнью народов, населяющих нашу планету, обличает колонизаторов.

А. Глухов.

★

СОВЕТСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ 1959 ГОДА. Географгиз. М. 1962. 304 стр. Цена 68 к.

Авторы этого сборника — географы, геологи, археологи, биологи, океанографы и другие специалисты, принимавшие участие в различных экспедициях. Книга дает яркое представление о разнообразии экспедиционных исследований, проводимых нашими учеными. Статьи сборника разбиты на четыре крупных раздела: «Европейская часть СССР», «Азиатская часть СССР», «Моря Советского Союза», «В зарубежных землях и водах».

В очерках показано тесное содружество нашей науки и практики, большой вклад ученых в решение крупных народнохозяйственных задач. Так, в очерке К. И. Иванова рассказано об экспедиции по изучению природных и экономических условий сельскохозяйственного производства в Рязанской области. Исследуя качество земель и их особенности, ученые помогли работникам сельского хозяйства использовать эти земли с наибольшей эффективностью. Большую практическую пользу приносят также исследовательские работы, проводимые в Голодной степи, где все более расширяются посевы хлопчатника.

Романтика труда ученых хорошо передана в поэтическом очерке В. П. Шестакова и К. В. Шохина «У истоков сказания о невидимом граде Китеже». Увлекателен рассказ З. К. Тинтилозова о подземном мире западной Грузии. Читатели узнают также и о других интересных экспедициях.

Хотелось бы пожелать, чтобы подобные сборники выпускались регулярно и богатому содержанию материала соответствовала более яркая литературная форма. Неудачно, на наш взгляд, название сборника: «Советские экспедиции». Его можно было бы оставить в подзаголовке, дав название более

привлекательное для широкого читательского круга. Думается, что было бы целесообразно помещать в таких сборниках больше иллюстраций.

Е. Р.

★

Т. ЖУРАВЛЕВ. Была война. Фронтовые новеллы. «Советский писатель». М. 1961. 244 стр. Цена 23 к.

Читатель помнит, вероятно, военные повести Тихона Журавлева «Комбат» и «Рядовой Антипов». Теперь перед ним новеллы писателя, также посвященные Великой Отечественной войне.

Сила этих небольших рассказов в их безыскусной правде. Журавлев изображает события и характеры точным пером участника и очевидца.

Поэтому так ясно чувствуешь и тяжелое напряжение боя («Плацдарм»), и радость случайной фронтовой встречи двух давних друзей («Земляк»), и необычайную тишину на переднем крае в первый день мира («Минувшие дни»), и волнение демобилизованных, возвращающихся в родные края («Шумел камыш»).

Естественность — так, думается, можно определить главное в стиле Журавлева.

Писатель хорошо использует возможности жанра. Мы находим в этом сборнике новелл живую зарисовку военных будней, забавную сценку дорожного спора рядового с генералом, взволнованный монолог бойца, горячую исповедь вчерашнего воина.

«Была война. И вы ее не забывайте», — как бы обращается к читателю автор словами одного из героев книжки. И своими рассказами зовет нас еще больше дорожить сегодня мирным днем нашей Родины.

М. Хейфец.

★

АРСЕНИЙ РУТЬКО. У зеленой колыбели. Повесть. «Советский писатель». М. 1962. 216 стр. Цена 41 к.

Это повесть о лесе, который защищает от суховея и зноя, о лесе — зеленом друге людей, приносящем в их жизнь радость и красоту, о «зеленой колыбели человечества». Действие ее происходит в 1921 году. Первые страницы повести — где маленький герой Павлик, похоронивший в Петрограде мать, едет в Заволжье к деду-леснику — полны острой, шемящей грусти. Тоска по матери и страшные картины голода, которые видит по дороге мальчик, кажутся навсегда согнавшими улыбку с его лица. Только новые друзья Андрейка и Кланы, встретившие его у деда, да огромный прохладный дубовый лес вернули Павлику детство. Лес становится кормильцем и добрым другом ребят. Он — смысл и содержание всей их жизни.

Но жестокие события голодного двадцать первого года вновь врываются в жизнь Павлика. Рубят лес, чтобы заплатить Америке древесиной за «бескорыстную» помощь голодающим — посылки АРА.

«Дерево рухнуло, вытянув к земле сучья, словно зеленые руки, которыми оно защищалось от гибели... Полетели в стороны обломки ветвей, взметнулось при ударе зеленое пламя листвы, и ствол тяжело ударился о землю и врезался в нее. Земля загудела от удара, задрожала. И в такт этой дрожи трепетала, замирая и затихая, листва. И когда листва застыла, неподвижная, окоченевшая, громкий голос Глотова крикнул:

— С почином, стало быть, братцы!»

Как потерю дорогого человека воспринимают маленькие герои повести уничтожение их чудесного зеленого мира. Они пытаются защитить, спасти лес. Кульминация повести — самосуд, который устраивает над Павликом разъяренная, голодная толпа, когда он признается в умышленной порче локомотива.

И хотя трагические обстоятельства того времени привели, во имя спасения людей от голода, к уничтожению зеленого кордона, вся повесть воспринимается как гимн лесу, который еще будет расти «на радость людям, для красоты земли».

Г. Койранская.

★

М. ТЕВЕЛЕВ. Рассказы о цветах. Закарпатское областное издательство. Ужгород. 1961. 83 стр. Цена 9 к.

«Цветы проходят спутниками человека через всю жизнь, ими она начинается, ими она бывает отмечена на главных ее вехах...»

Книга о цветах? Или о вехах, чьими регистраторами они оказываются? Нет, не об этом.

«Видишь людей, которых встречал в прежних странствованиях по Верховине, думаешь о тех, кого встретишь на этот раз. Что ты узнаешь о них? Что от них услышишь? И что ляжет... записью на дорожную тетрадь, как бесценные золотые крупички самой жизни, подаренные ею тебе за твое беспокойство? Мертвый ведь не тот, кто похоронен, а тот, кто любить перестал...»

Да, в книге прежде всего — разговор о людях...

Исполненный веры в человека рассказ «Пион», суровый — «В плавани», грустный, лирический — «Тюльпаны»... Каждый рассказ знакомит нас с хорошими людьми («которые любить не перестали»). А цветы, так естественно входящие в жизнь человека, еще яснее оттеняют чистоту и душевное богатство самых обыкновенных людей. Каждый рассказ написан в каком-то негромком и очень правдивом ключе.

Очень жаль, что этот сборник только что скончавшегося писателя, так же как и предыдущая его книга рассказов «Хозяин и постоялец», изданная три года назад, вышел лишь в Ужгороде небольшим тиражом и поэтому вряд ли знаком широкому читателю.

Б. Яранцев.

★

Л. БАТЬ. Спасибо за правду. Повесть о русской трагической актрисе П. А. Стрепетовой. Детгиз. М. 1961. 240 стр. Цена 47 к.

Жизнь Полины Стрепетовой могла бы послужить материалом для многих книг различного жанра. Гениальная актриса, чья игра в «Грозе» потрясала самого Островского, неповторимая Катерина, Лизавета в «Горькой судьбине» Писемского, шиллеровская Мария Стюарт, Кручинина в «Без вины виноватых», создательница прекрасных трагических образов. Женщина с трудной судьбой, с детства и до последних горьких лет знавшая мало радости; человек с очень сложным, противоречивым, тяжелым характером: сурово прямая — и болезненно чувствительная, искренняя до самозабвения — и настороженно подозрительная, совершенно не умеющая ладить ни с врагами, ни с друзьями, побеждающая зрителей на сцене и теряющая самых дорогих людей в жизни. Дочь своего народа, человек своей эпохи, связанная сложной и глубокой связью с жизнью страны, с тем, что происходило в России шестидесятых—восемидесятых годов прошлого столетия... Все это — материал очень богатый, интересный; к тому же большинство читателей, особенно молодежь, знает о Стрепетовой, в сущности, очень мало.

Писательница Л. Бать, работая в трудном жанре биографической повести для детей, сумела воссоздать сложный облик великолепной актрисы на фоне общественной жизни страны.

Книга эта адресована детям; однако, как всякая по-настоящему удавшаяся детская книга, она, несомненно, найдет немало читателей и среди взрослых.

А. Громова.

★

Г. ЛЕНОБЛЬ. От слова — к образу. О языке советской художественной литературы. «Советский писатель». М. 1961. 169 стр. Цена 31 к.

Леонид Леонов, рассказывая о писательском труде, о художественном мастерстве, сравнивал произведение художника с живым организмом, все элементы которого взаимосвязаны.

Книжка Г. Ленобля, посвященная искусству слова, строится именно на таком понимании художественного целого. Для ее автора «слово образное свое звучание приобретает лишь в контексте произведения», и оценить язык художественного произведения можно правильно, по словам критика, «только рассматривая его как слагаемое художественного целого».

Эта верная методологическая позиция автора дает нужный поворот его рассуждениям и наблюдениям о языке художественной литературы, о ее образной ткани. Показывая на ряде примеров особенности языка советских писателей (Горького, Маяковского, Ал. Толстого, Шолохова, Тренева, Г. Николаевой, Твардовского,

Олеши и многих других), автор рассматривает поэтическое слово в соотношении с другими элементами художественной литературы, с ее содержанием, идеей, образами.

Книга Г. Ленобля адресуется широкому кругу читателей, она написана популярно, автор ее стремится к конкретности, к максимальной доступности. Поэтому в связи с общим профилем книги, к тому же очень небольшой по листажу, едва ли целесообразно было касаться (при этом поневоле бегло) дискуссии о соотношении слова и образа, происходившей на страницах журнала «Вопросы литературы». В той форме, как эта дискуссия представлена в книжке, она вряд ли чем-нибудь обогатит читателя.

Г. Ленобль сравнительно много и правильно говорит об отношении Горького к языку как «первозлементу» художественной литературы. Однако вряд ли нужно, игнорируя метафоричность и спорность некоторых суждений Горького о языке, приводить его высказывания о «лживости» ряда слов типа «бог», «грех», «смирение», «кротость» и т. п. Ведь речь идет здесь, само собой разумеется, не о «живых словах», а о понятиях, скрывающихся за ними. Но подобные цитаты, освященные именем Горького, могут только внести путаницу в сознание мало искушенного в науке о языке читателя.

К сожалению, и в других местах книги автор неотчетливо различает слово как явление языка и содержание, которое стоит за этим словом. Так, в диалоге Вассы Железновой с Рашелью о «болезни класса» происходит не «спор о словах», как утверждает критик, а столкновение различных политических взглядов.

И еще одно замечание. Литературоведческая терминология, как известно,— одно из самых уязвимых мест нашей науки. Этот непреложный факт сказался и на книжке Г. Ленобля. Образ — термин многозначный. В работе популярной особенно требуется в каждом случае уточнение этого термина. Между тем иной раз трудно понять, что имеет в виду автор: словесный ли образ, образ ли — характер или — шире — образное воплощение жизненного материала?

Но находить недостатки легче всего. Надо уметь оценить и достоинства книги. А они есть. Работы, подобные книге Г. Ленобля, привлекающие внимание широкого читателя к слову, к слову художника, нужны и полезны.

Л. Поляк.

★

ЮРИЙ БОРЕВ. О трагическом. «Советский писатель». М. 1961. 392 стр. Цена 90 к. Эта книга — добросовестное и обстоятельное исследование многовековой истории самого понятия трагического, а также большого числа конкретных примеров его художественного воплощения.

В своем исследовании автор стремится к единству логического и исторического принципов в изучении общих теоретиче-

ских проблем и творческой практики. В первой части книги рассказывается о предьстории и о возникновении трагедии и понятия трагического. Вторая часть посвящена анализу различных представлений о трагическом в искусстве античности, средневековья, Возрождения, классицизма, романтизма, критического реализма. Третья часть содержит полемику с модернистскими течениями в современной буржуазной литературе. В четвертой части автор рассматривает примеры трагедийных коллизий в социалистическом искусстве и формулирует основные теоретические выводы и обобщения.

В книге много ценных наблюдений и соображений, и даже те из них, которые мне кажутся неверными, полезны уже тем, что могут побуждать к плодотворным спорам.

В частности, трудно согласиться с тем, что автор, занятый установлением различий между конкретными формами трагедийного искусства и понятиями трагического в различные исторические периоды, проходит мимо тех особенностей, которые позволяют в равной мере называть трагедиями произведения Эсхила и Брехта, Эврипида и Артура Миллера.

Природа трагического, понятие о трагической неизбежности изменяется в разные эпохи, в разных краях. Она может определяться мифологическими или религиозными представлениями, условиями классовой, политической борьбы, законами социальной этики. Меняются философские взгляды и политические идеи, воплощенные в коллизиях трагедий. Но неизменной остается та глубоко человеческая и в то же время героическая основа, без которой никакая печальная драма не может стать трагедией. Антигуманизм, непризнание или непонимание абсолютной ценности каждой человеческой жизни исключают возможность трагического искусства.

В книге Ю. Борева эти объективные закономерности развития трагического в конечном счете проявляются, но сформулированы они, как мне кажется, недостаточно определенно и отягощены многими хотя и очень красноречивыми, но не всегда последовательными и верными оговорками.

Л. Копелев.

★

ЭЛВИО РОМЕРО. Стихи. Составление и перевод с испанского Павла Грушко. Издательство иностранной литературы. М. 1961. 93 стр. Цена 13 к.

Для читателя, не знающего ни испанского, ни языка гуарани, на которых говорят в Парагвае — маленькой стране в Латинской Америке, книжечка стихов парагвайского поэта Элвио Роме́ро в переводах Павла Грушко будет подлинным художественным открытием — неизвестного мира народной жизни, поразительного душевного и духовного поэтического опыта.

Эти стихи — о народе. О его суровой

жизни, жестоких страданиях, неукротимости духа и удивительном чувстве природы.

Два мотива повторяются особенно часто в стихах поэта — мотивы дерева и ножа. Исследователи объясняют это и тем, что Ромеро — сын плотника, и тем, что лес для жизни страны имеет огромное значение. Но вот как звучит один из этих «мотивов» в стихотворении «Напев»:

Нож прорубает люто
красные тропы мести,
нож помечает утро
черной тропою смерти.

...Нож, вонзи свое жало —
спереди или сзади —
в тех, кто грабастает жадно
даже речные заводы.

Если ты в их тела не войдешь —
для чего ты тогда,
нож?!

А вот как выглядит другой мотив в стихотворении «Родина — дерево»:

Кровь твоя из дерева,
как красный водопад.

Взгляд суров, как дерево,
как дерево твой взгляд.

...Ты мечта моя, цветущая, как дерево.
Твое сердце загрузело, словно дерево.
Но ведь дерево горит!

В стихах Ромеро много суровости, порой даже жестокости. Но это суровость подлинного гуманиста, исполненного любви к своему народу, живущему трудной, мучительной жизнью.

Нет возможности дать здесь анализ поэтики Ромеро и — тем более, — не зная языка, оценить искусство переводчика. Но думается все же, что переводчик справился со своей нелегкой задачей, потому что и на русском языке отлично чувствуется неповторимая индивидуальность поэта, национальный колорит, динамичность и тонкая звукопись его произведений.

А. Белкин.

★

ХОСЕ РИСАЛЬ. Избранное. Издательство восточной литературы. М. 1961. 259 стр. Цена 60 к.

Хосе Рисаль — национальный герой Филиппин. Он был писателем, политическим деятелем, ученым-этнологом и поэтом, философом и врачом, скульптором и лингвистом, естествоиспытателем, сотрудником Р. Вирхова. Он знал двадцать один язык (в том числе русский), свободно писал на нескольких из них. Он имел дипломы университетов Манилы и нескольких европейских. Был создателем первых прогрессивных политических организаций филиппинцев, борющихся против испанского господства. Романы Рисаля «Не тронь меня» и «Флибустьеры», в которых отражена трагедия поработанного народа и его борьба за освобождение, пользовались огромной по-

пулярностью и сыграли на Филиппинах такую же роль, как роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?» в истории русской революции.

То, что успел сделать Х. Рисаль, хватило бы на несколько прекрасных и долгих человеческих жизней. Он прожил всего тридцать пять лет, из них четыре года в ссылке. 30 декабря 1896 года на Багумбийском поле — месте казни многих филиппинских патриотов — пули испанских палачей оборвали его жизнь.

Х. Рисаль был великим просветителем своего народа, гуманистом и демократом. Смертельной ненавистью к церкви, к национальному угнетению, к социальному неравенству, к лжи и обману, колониализму и особенно к расизму проникнуто все его творчество.

Его антицерковные памфлеты «Видение брата Родригеса», «По телефону» и другие, помещенные в сборнике «Избранное», с вольтеровской силой обрушивались на монашеские ордена и католическую церковь, разоблачая их губительную роль в истории Филиппин. Его статьи «Филиппины через сто лет», «О праздности филиппинцев», «К девушкам Малолоса», «О Тагалском театре» Баррантеса не только поражают глубиной мысли и эрудицией, но дают яркое представление об истории и настоящем народа Филиппин, о его характере. Страстно разоблачает Х. Рисаль колониалистскую политику великих держав, утверждает право народа на свободу и самобытную национальную культуру.

С гениальной прозорливостью писал он об угрозе, которую представляет для Филиппин экспансионистская политика Соединенных Штатов Америки.

Публицистические произведения и письма Х. Рисаля (впервые публикуемые на русском языке) не потеряли своей силы и актуальности сегодня, когда его народ активно продолжает борьбу за подлинную независимость от американских благодетелей, когда в борьбу за свободу вступили многие отсталые народы Азии, Африки, Латинской Америки и Полинезии.

Сборник «Избранное» радует добротностью и тщательностью переводов, осуществленных группой переводчиков с трех языков (испанского, тагалского, английского). Переводчикам удалось передать тонкие оттенки мысли и своеобразие стиля Х. Рисаля. Содержательное предисловие А. Губера и комментарии М. Аковой и М. Филиппова дают на широком историческом фоне представление о деятельности и творчестве великого сына филиппинского народа.

Следует пожалеть, что объем книги мал и в нее не включен роман «Флибустьеры», изданный у нас в 1937 году и давно ставший библиографической редкостью.

В. Ясный.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТЗДАТ

Беседа Н. С. Хрущева с американским издателем Г. Коулсом. 32 стр. Цена 4 к.

Е. И. Бугаев, Б. М. Лейбзон. Беседы об Уставе КПСС. 244 стр. Цена 27 к.

Н. Будрейно. Познание тайн материи. Философский очерк. 138 стр. Цена 24 к.

В тылу врага. Листовки партийных организаций и партизан периода Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. 344 стр. Цена 65 к.

Григорий Константинович Орджоникидзе (Серго). Биография 324 стр. Цена 75 к.

XIX Национальный съезд Коммунистической партии Австралии. Сидней 9—12 июня 1961 г. 212 стр. Цена 25 к.

В. Жамин. О выравнивании уровней экономического развития социалистических стран. 88 стр. Цена 10 к.

Б. Заславский, И. Сазонов, Х. Астрахан. «Правда» 1917 года. 275 стр. Цена 51 к.

Д. Караунджев В. Крючков, Л. Николаев. Укрепление и развитие мировой системы социализма. (Великое содружество народов). 64 стр. Цена 7 к.

К. Комарова, Я. Пантелеев. Славный начдив Чапаевской. 72 стр. Цена 9 к.

Е. Кононенко. Человек—человеку... 64 стр. Цена 7 к.

Марк Лангман. Верность. 80 стр. Цена 10 к.

К. В. Островитянов. Строительство коммунизма и товарно-денежные отношения. 151 стр. Цена 18 к.

А. Перемыслов. Дом будущего (Заметки архитектора.) 120 стр. Цена 15 к.

Перед лицом смерти. Письма приговоренных к смерти борцов итальянского Сопротивления. 208 стр. Цена 18 к.

Галина Серебрякова. Свет неугасимый. 32 стр. Цена 4 к.

Страницы славной истории. Воспоминания о «Правде» 1912—1917 гг. 407 стр. Цена 66 к.

Элизабет Герли Флинн. Своими словами. Жизнь «бунтарки». Перевод с английского. 379 стр. Цена 71 к.

А. Ф. Хавин. Краткий очерк истории индустриализации СССР. 440 стр. Цена 74 к.

Екатерина Шевелева. Людям нужен мир (Записки советского корреспондента). 87 стр. Цена 10 к.

XVI съезд Французской Коммунистической партии (Сен-Дени. 11—14 мая 1961 г.).

VI съезд Коммунистической партии Индии. Виджаяпада (штат Андхра-Прадеш), 7—16 апреля 1961 года. 167 стр. Цена 20 к.

Это в обычаях советского человека. 135 стр. Цена 14 к.

СОЦЭКГИЗ

Д. Г. Жимерин. История электрификации СССР. 458 стр. Цена 1 р. 20 к.

И. Зинченко, Н. П. Филимонов. Переход от капитализма к социализму — основное содержание современной эпохи. 175 стр. Цена 22 к.

А. В. Игнатьев. Русско-английские отношения накануне первой мировой войны (1908—1914 гг.). 244 стр. Цена 70 к.

М. М. Лебедев. Воспоминания о ленинских событиях 1912 года. 328 стр. Цена 35 к.

Новейшие приемы защиты старого мира. 556 стр. Цена 1 р. 25 к.

А. Ф. Смирнов. Революционные связи народов России и Польши. 428 стр. Цена 1 р. 20 к.

Антонио Нуньес Хименес. Империя янки—враг Латинской Америки. 111 стр. Цена 12 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Ю. Азим-заде. Вторая жизнь. Повесть. Перевод с азербайджанского. 244 стр. Цена 47 к.

Б. Ахмадулина. Струна. Стихи. 120 стр. Цена 14 к.

Г. Банланов. Мертвые сраму не имут. Повесть. 104 стр. Цена 11 к.

Б. Бедный. Неразменное счастье. Повесть и рассказы. 403 стр. Цена 70 к.

Р. Бершадский. В двух шагах от экватора. 124 стр. Цена 32 к.

С. Владимиров. Драматург и современность. 192 стр. Цена 43 к.

А. Вольнов. Вагряные дожди. Рассказы. 212 стр. Цена 23 к.

Г. Гор. Докучливый собеседник. Научно-фантастическая повесть. 248 стр. Цена 32 к.

А. Дымшиц. В великом походе. Сборник статей. 444 стр. Цена 93 к.

Д. Зигмонте. Дети и деревья тянутся к солнцу. Морские ворота Романы. Перевод с латышского. 536 стр. Цена 88 к.

М. Зошенко. Рассказы. Фелытоны. Комедии. Неизданные произведения. 404 стр. Цена 65 к.

И. Киселев. Герой и обстоятельства. Очерк современной украинской эпической поэзии. Перевод с украинского. 212 стр. Цена 54 к.

Ю. Константинов. Летит наше время... Роман. 396 стр. Цена 46 к.

Г. Корин. Люди мои, люди... Стихи. 104 стр. Цена 12 к.

Э. Крустен. В поисках весны. Рассказы и миниатюры. Перевод с эстонского. 240 стр. Цена 33 к.

М. Корюн. Чужой успех. Басни. Перевод с армянского. 64 стр. Цена 6 к.

С. Куняев. Звено. Стихи. 80 стр. Цена 11 к.

А. Лебеденко. Ошибка в пути. Повести. 308 стр. Цена 37 к.

А. Минчковский. Небо утром и вечером. Рассказы. 304 стр. Цена 35 к.

Г. Мирзоев. Жизнь продолжается. Стихи. Перевод с таджикского. 64 стр. Цена 9 к.

Э. Огнецвет. Белорусская рябина. Стихи. Перевод с белорусского. 100 стр. Цена 12 к.

В. Панков. На стройке жизни. Проблемы и герои современной советской литературы. 356 стр. Цена 82 к.

Л. Пасенюк. Семь спичек. Рассказы и повесть. 220 стр. Цена 26 к.

И. Рахми. Капитан голубого корабля. Повесть и рассказы. Перевод с узбекского. 284 стр. Цена 51 к.

В. Рождественский. Страницы жизни. Воспоминания. 384 стр. Цена 89 к.

Ш. Роква. Улыбка отца. Стихи. Перевод с грузинского. 68 стр. Цена 8 к.

А. Турнов. Поэзия создания. Литературно-критические статьи. 256 стр. Цена 60 к.

Л. Уварова. Старшая сестра. Повесть и рассказы. 352 стр. Цена 47 к.

И. Харабаров. Синие камни. Стихи. 96 стр. Цена 12 к.

Н. Шакинов. Ночные огни. Стихи. Перевод с казахского. 76 стр. Цена 10 к.

А. Шумский. М. Горький и советский очерк. 404 стр. Цена 92 к.

ГОСЛИТИЗДАТ

Анекдоты Моллы Насреддина. Перевод с азербайджанского. 239 стр. Цена 39 к.

Евгений Винокуров. Лирика. 311 стр. Цена 47 к.

Хоакин Дисента. Храбрецы. Рассказы. Перевод с испанского. 112 стр. Цена 21 к.

Елин Пелин. Сочинения. В двух томах. Перевод с болгарского. Том I. 495 стр. Цена 62 к.

Ахмед Ерикеев. Стихотворения. Перевод с татарского. 271 стр. Цена 39 к.

М. Ильин. Избранные произведения. В трех томах. Том I. 612 стр. Цена 1 р. 14 к. Том 2. 599 стр. Цена 1 р. 9 к.

В. Г. Короленко в воспоминаниях современников. 654 стр. Цена 1 р. 14 к.

И. Крамов. Джон Рид. 131 стр. Цена 19 к.

Юнас Ли. Пожизненно осужденный. Повесть. Перевод с норвежского. 168 стр. Цена 31 к.

Иван Манжура. Степные думы и песни. Перевод с украинского. 143 стр. Цена 20 к.

Маро Маркарян. Горная дорога. Стихи. Перевод с армянского. 223 стр. Цена 37 к.

Назым Хикмет. Избранные стихи. 1921—1961 г. Переводы с турецкого. 407 стр. Цена 75 к.

Сергей Наровчатов. Стихи. 275 стр. Цена 48 к.

Народная мексиканская поэзия. Перевод с испанского. 191 стр. Цена 28 к.

Виктор Некрасов. Избранные произведения. Повести Рассказы. Путевые заметки. 687 стр. Цена 1 р. 26 к.

В. А. Солягуб. Повести и рассказы. 388 стр. Цена 72 к.

Сигрид Унсет. Кристина, дочь Лавранса. Трилогия. Перевод с норвежского. Книга I. 311 стр. Цена 1 р. 4 к. Книга 2. 427 стр. Цена 1 р. 36 к. Книга 3. 448 стр. Цена 1 р. 46 к.

Р. Файнберг. К. А. Тренев. Очерки творчества. 403 стр. Цена 1 р. 6 к.

Бонкимчондро Чоттопадхай. Ядовитое дерево. Романы и повести. Перевод с бенгальского. 431 стр. Цена 76 к.

М. Шерин. Школа мужества. О «Поднятой целине» М. Шолохова. 118 стр. Цена 15 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Мицос Александруполос. Ночи и рассветы. Роман. Перевод с новогреческого. 256 стр. Цена 79 к.

Голос юности мира. Сборник материалов Всемирного Форума молодежи (Москва, 25 июля — 3 августа 1961 г.). 312 стр. Цена 50 к.

Манфред Грегор. Мост. Роман. Перевод с немецкого. 200 стр. Цена 38 к.

Жан Грива. Человек ли ты? Рассказы. Перевод с латышского. 208 стр. Цена 45 к.

Евг. Евтушенко. Взмах руки. Стихи. 352 стр. Цена 71 к.

Есть у нас беспокойное племя. Страницы комсомольской летописи. 248 стр. Цена 63 к.

А. Зябров. Енисейская тетрадь. Лирические записки. 256 стр. Цена 53 к.

Нин Корсунов. Подснежники. Роман. 336 стр. Цена 65 к.

Владимир Львов. Час космоса. 208 стр. Цена 48 к.

Роберт Рождественский. Ровеснику. Стихи. 184 стр. Цена 46 к.

Ю. Слепухин. Джоанна Аларика. Повесть. 311 стр. Цена 61 к.

Ангабаев Солмон. Забайкалье. Стихи. 96 стр. Цена 29 к.

ДЕТГИЗ

С. Вальдгард. О Земле и Вселенной. 272 стр. Цена 58 к.

А. Дорохов. Сердце на ладони. 128 стр. Цена 45 к.

М. Ефетов. Света и Камилла. Повести. 128 стр. Цена 30 к.

Л. Киришнер. Шифрованная записка. Повесть. 144 стр. Цена 33 к.

В. Мехов. Красный губернатор. Повести. Перевод с белорусского. 128 стр. Цена 29 к.

Г. Новогрудский. Большая жемчужина. Повесть. 80 стр. Цена 24 к.

По дорогам сказки. Сказки писателей разных стран в пересказах Т. Габбе и А. Любарской. 544 стр. Цена 1 р. 11 к.

К. Седых. Солпки в огне. Роман. 304 стр. Цена 59 к.

Ю. Стрижевский. Белая нерпа. Чукотские и эскимосские сказки. 48 стр. Цена 8 к.

Цзе Сянь-линь. Вот мы какие! Навстречу буре. Повести. Перевод с китайского. 240 стр. Цена 47 к.

В. Четвертек. Трое нас и пес из Петипас. Повесть. Перевод с чешского. 176 стр. Цена 35 к.

М. Шмушкевич. Два Гавроша. Повесть. 208 стр. Цена 37 к.

Ж. Яновская. Сестры. Повесть. 218 стр. Цена 44 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

Автоматическое регулирование и управление. 527 стр. Цена 2 р. 82 к.

Вопросы образования восточно-славянских национальных языков. 152 стр. Цена 89 к.

Е. Ф. Грекулов. Православная церковь — враг просвещения. 191 стр. Цена 31 к.

В. П. Зенкович. Основы учения о развитии морских берегов. 711 стр. Цена 4 р. 55 к.

Из истории литературных связей XIX в. 334 стр. Цена 1 р. 92 к.

Критика буржуазных концепций истории России периода феодализма. 430 стр. Цена 1 р. 95 к.

Лаврентий из Бржезовой. Гуситская хроника. 331 стр. Цена 1 р. 17 к.

А. А. Матюгин. Рабочий класс СССР в годы восстановления народного хозяйства (1921—1925). 362 стр. Цена 1 р. 68 к.

Монгольский археологический сборник. Посвящается славному XL-летию Монгольской Народной Республики. 112 стр. Цена 55 к.

В. А. Никифоровский. Экспедиция на «Седове» в Атлантический океан. 96 стр. Цена 15 к.

Советская историческая наука от XX к XXII съезду КПСС. История СССР. Сборник статей. 628 стр. Цена 2 р. 90 к.

Ю. И. Соловьев. Герман Иванович Гесс. 104 стр. Цена 37 к.

Н. Л. Степанов. Проза Пушкина. 300 стр. Цена 1 р.

М. Н. Тихомиров. Краткие заметки о летописных произведениях в рукописных собраниях Москвы. 181 стр. Цена 73 к.

А. А. Чернасов. Записки охотника-натуралиста. 502 стр. Цена 1 р. 12 к.

Д. И. Щербанов. Пучины океана. 120 стр. Цена 20 к.

ГЕОГРАФИЗ

География населения СССР. 230 стр. Цена 97 к.

В. С. Игнатов. Год на полюсе холода. 144 стр. Цена 27 к.

У. Макош. Япония сегодня. 216 стр. Цена 56 к.

В. В. Никольская. Дальний Восток. 216 стр. Цена 72 к.

Н. Н. Сушкина. На пути вулканы, киты, льды. 160 стр. Цена 24 к.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»

М. Васильев. Металлы и человек. 416 стр. Цена 1 р. 12 к.
А. Говоров. Свадьба. Книга лирики. 128 стр. Цена 16 к.
Валентин Ерашов. Поезда все идут. Рассказы. 104 стр. Цена 11 к.
За работу, товарищи! Делегаты XXII съезда КПСС рассказывают... 312 стр. Цена 71 к.
Владимир Орлов. Богатырский атом. 176 стр. Цена 47 к.
А. К. Рухадзе, В. Ф. Рудаков. Индустрия Южного Урала. 144 стр. Цена 42 к.
Вик. Сидельников. Писатель и народ. Очерки. 264 стр. Цена 69 к.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Высшие органы государственной власти европейских стран народной демократии. 220 стр. Цена 58 к.
В. А. Дмитриев. На страже социалистической законности. 52 стр. Цена 6 к.
Ю. М. Козлов. Самодеятельные организации населения. 120 стр. Цена 14 к.
Коллектив авторов. Государственное право буржуазных стран. 488 стр. Цена 1 р. 1 к.
А. Ф. Коротков, В. И. Шинд. Общественность в борьбе с нарушениями социалистической законности. 136 стр. Цена 17 к.

Н. Н. Паше-Озерский. Необходимая оборона и крайняя необходимость по советскому уголовному праву. 184 стр. Цена 49 к.
Подсудимые обвиняют. Сборник речей деятелей коммунистического и рабочего движения. 632 стр. Цена 92 к.

АЗЕРНЕСП (Баку)

Мысли и афоризмы. Сборник. 262 стр. Цена 69 к.
М. А. Сабир. Избранное. Перевод с азербайджанского. 246 стр. Цена 47 к.

КРЫМИЗДАТ

Н. Ф. Карамышев. Сила ключевой воды. Короткие рассказы. 54 стр. Цена 4 к.
М. Л. Лезинский. Они зажигают огни (Из дневника рабочего). 141 стр. Цена 20 к.

ЭСТГОСИЗДАТ

Оскар Лутс. «На задворках» и другие повести. Перевод с эстонского. 542 стр. Цена 1 р. 7 к.
Э. Г. Рянгель. Марта из Совиного гнезда. Повесть. Перевод с эстонского. 426 стр. Цена 92 к.



Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора),
Б. Г. Закс (ответственный секретарь), **А. И. Кондратович**
 (зам. главного редактора), **А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).

Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 21/IV 1962 г.

Формат бумаги 70×108¹/₁₆.

Подписано к печати 30/V-62 г.

9 бум. л.—24,66 печ. л.

А 06711.

Зак. 790.

Тираж 94 100.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
 имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 70 коп.